Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



СОЧИНЕНИЯ

2



Ф. М. Достоевский.

Рисунок К. А. Трутовского. 1847 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1972

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1848—1859

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1972

7-3-1
подписное

ПОЛЗУНКОВ

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны — или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностию подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материяльных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время — и я даю клятву в том — его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностию, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материяльной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал,

что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества — всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностию и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление — всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностию, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих *покровителей*, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

— Слушайте, — шепнул мне хозяин. — Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он вас?

Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внима-

ние. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло.

— Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! — кричал чудак с своего возвышения. — Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю — чудо!..

— Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

— Рассказывай!!

— Слушайте же...

— Слушайте, слушайте!!!

— Начинаю; но, господа, это история особенная...

— Хорошо, хорошо!

— Это история комическая.

— Очень хорошо, превосходно, прекрасно, — к делу!

— Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...

— Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая!

— И даже немного трагическая!

— А???!

— Словом, та история, которая вам всем доставляет счастие слушать меня теперь, господа, — та история, вследствие которой я попал в такую *интересную* для меня компанию.

— Без каламбуров!

— Та история...

— Словом, та история, — уж доканчивайте поскорее апролог, — та история, которая чего-нибудь стоит, — примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.

— Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!

— Женился!.. жена!.. Ползунков хотел жениться!!

— Признаюсь, я бы желал теперь видеть madame Ползункову!

— Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую madame Ползункову, — пищал один юноша, пробираясь к рассказчику.

— Итак, первая глава, господа: то было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта, — заметьте число, господа, — накануне...

— Первого апреля! — закричал юноша в завитках.

— Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер. Над уездным городом N. сгущались сумерки, хотела выплыть луна... ну, и всё там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартиренки, — простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне *замкнутая*:

она была слепа, нема, глуха, глупа, — всё что угодно!.. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.

— Позвольте, monsieur Ползунков!

— Чего требуете?

— Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!

— Слушаю-с, — проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч. — Я вошел в домик Федосея Николаича (благоприобретенный-с). Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы и остаемся с ним в темноте...

— Что ж бы такое произошло между вами? — спросил один офицер.

— А как вы полагаете-с? — спросил Ползунков, немедленно обращаясь, с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.

— Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, — я просто-запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными...

— Ассигнациями?

— Ассигнациями-с, и мы поменялись.

— Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, — проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

— Взятками-с! — подхватил Ползунков. — Эх!

Пусть я буду либералом,
Каких много видел я!

если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погреете рук... на родном очаге... Зане, сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем!..

Поднялся общий смех.

— А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, — сказал Ползунков, недоверчиво оглядывая всё собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова.

— Право, так, господа...

Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, — кто знает, — может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

— Итак, — начал Ползунков, когда все поумолкли, — хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

— Так, стало быть, он их выкупил?

— Выкупил-с.

— Много дал?

— Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, — но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича...

— Ну, что ж он, простил?

— Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

— Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч.

Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: «Чем же, я говорю, бога не боюсь, Федосей Николаич?..» Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

— Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, — и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! «Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?» Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой скверный норов и схватился за шляпу...

— Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чем я против вас согрешил?..

— Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич!

Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, — словно пять пудов в нем, так тянет... (А если б и взаправду в нем пять пудов было!..)

— Вижу, — говорит Федосей Николаич, — вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...

— Марии Египетские-с...

— Ну, не плачь, — говорит Федосей Николаич, — полно: согрешил и покаялся! пойдем! Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный... Может быть, скромные

пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очерств... не скажу очерствелое, — заблудшее сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

— Уж не госпожа ли Ползункова?

— Марья Федосеевна-с, — только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке, Михайло Максимыч Двигайлов по прозвищу. Только он волею божию помре, а завещание-то совершить всё в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскали потом...

— Ух!!!

— Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, — каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, — штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке — хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинны!), — а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

— Ага!!

— Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтер наскакал на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, — только так плотно утвердился у Федосея Николаича, — ну, словно мортира, засел! Я обиходцем да стороночкой, по подлому норову, «так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отеческого-то, отеческого когда я дождусь...» Начал он мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно вьюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вчуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрить выдумал! нет же! не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом, — ну, и зло меня взяло, за горло совсем захватило, — я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал — да хвать донос! Ну, поподличал,

друга выдать хотел, сознаюсь, материяльцу-то было много, и славный такой материял, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

— А! так вот она, взятка-то!

— Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притащил он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречают меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, — разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, — вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне *ты* с первого слова начала говорить: «Что ты, батенька, так похудел», — говорит. «Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна...» Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое ввернуть, ехидна такая: «Что, видно, совесть, говорит, твоей душе не по мерке пришлась, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопияла к тебе! Отлились, знать, тебе мои слезки кровавые!» Ей-богу, так и сказала, пошла против совести; чего! то ли за ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки раскраснелись, будто от слез, — я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтере она слезки роняла: тот утек восвояси, улепетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду, — своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накосился на шляпу, хотел схватить да улепетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел — ну, думаю, — нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикорды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, — смерть моя! «Ну, — говорит Федосей Николаич, — всё забыто, приди, приди... в объятия!» Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. «Благодетель мой, отец ты мой родной!» — говорю, да как зальюсь своими горючими! Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба

его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда — со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком господь!), и те ревут... сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? — сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пуншику выпили, — ну, уходили, усластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей всё счастье поведал. «Да денег-то дал ли, разбойник?» — «Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворяй ворота!» — «Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, — говорит мне старуха, — знать, молитвы мои услышаны!» Софрона разбудил. «Софрон, говорю, снимай сапоги». Софрон потащил с меня сапоги. «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барин твой женится!» Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдруг и мелькни у меня в голове: завтра-де первое апреля, день-то такой светлый, игривый, как бы так? — да и выдумал! Что ж, сударики! с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расходился совсем, заигрался, — знаете, господа, когда человек разыграется! Всей головой, отцы мои, в грязь полез! То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами — и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные... э-эх!..

Хохот, начинавший мало-помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

— Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге; видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз,

заблудился, напутал вздору, наврал, — нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего-то и спал часик-другой, и за то же! Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. «Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите», — да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то такого-то Осипа Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой-то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее-то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлецом представился, напугать их выдумал! и выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. «Что ж, Осип Михайлыч?» А я как дурак: «Первое апреля! с праздником вас, Федосей Николаич!» — то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во всё горло, — пугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

— Да нет, что же дальше?

— Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! — поднялось со всех сторон.

— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник-то я, и забавник-то я, и перепугал-то я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! «Ну, родной ты мой, — запищала советница, — напугал меня так, что о сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полуумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким *твой-то* оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дурного ничего не скажу! Слава богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!..»

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезились, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для первого апреля штучку изволили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже надуть хотел, — смех-то пошел какой! умиление-то было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, — смотрю: беспорядок ужаснейший, всё в запустении, везде крючки да кавыки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот всё прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. «Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!» Бегу сломя голову — что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голове примочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! «Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставлю, птенцы мои!» Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, — ну, я и сам зарюмил! «Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения!» Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. «Просьба есть до тебя!» — «Какая-с?» — «Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя, зануждался совсем!» — «Как так?» Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. «Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше! С меня, братец, взыщут: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!» Святители, думаю, вот праведник! вот душа! А он: «Да, говорит, дочерних брать не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь!» Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. «Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!» Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. «Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благо-

словляю тебя во веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, всё, только пятьдесят целковых извел!» — «Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья пятьдесят рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано...» Ну что ж, господа! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

— Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

— Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. Назавтра же, на другой же день, ранехонько поутру пакет за казенной печатью. Смотрю — и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны!..

— Как так?

— Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал спроста, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: «Что?» — говорю. «А что ж?» — говорит. «Да вот же отставка!» — «Какая отставка?» — «А это?»— «Ну что ж, и отставка-с!» — «Да как же, разве я пожелал?» — «А как же, вы подали-с, первого апреля вы подали» (а бумагу-то я не взял назад!). — «Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видят очи мои!» — «Меня-с, а что-с?» — «Господи, бог мой!» — «Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!» — «Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!» — «Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас там как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у Матвеева сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь!» Я домой со всех ног: «Пропали мы, бабушка!» — взвыла она, сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит: *первое апреля*, а больше и нет ничего. Вот, господа, что, как вы думаете-с?!

— Ну, что же, что же дальше???

— Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать...

— Ну!

— Да как-то не выговорилось, господа!

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

ПОВЕСТЬ

Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили два молодые сослуживца, Аркадий Иванович Нефедевич и Вася Шумков... Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем, хоть бы, например, для того только, чтоб не сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц; а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предлагаемой повести, единственно для того чтоб не походить на них (то есть, как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего самолюбия), решается начать прямо с действия. Кончив такое предисловие, он начинает.

Вечером, накануне Нового года, часу в шестом, Шумков воротился домой. Аркадий Иванович, который лежал на кровати, проснулся и вполглаза посмотрел на своего приятеля. Он увидал, что тот был в своей превосходнейшей партикулярной паре и в чистейшей манишке. Это, разумеется, его поразило. «Куда бы ходить таким образом Васе? да и не обедал он дома!» Шумков между тем зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул, два раза прошелся по комнате и, наконец, совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую было стал набивать в уголку, возле печки. Аркадия Ивановича взял смех про себя.

— Вася, полно хитрить! — сказал он.

— Аркаша, не спишь?

— Право, наверно не могу сказать; кажется мне, что не сплю.

— Ах, Аркаша! здравствуй, голубчик! Ну, брат! ну, брат!.. Ты не знаешь, что я скажу тебе!

— Решительно не знаю; подойди-ка сюда.

Вася, как будто ждал того, немедленно подошел, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. Тот как-то преловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя и начал, как говорится, «душить» жертвочку, что, казалось, доставляло неимоверное удовольствие веселому Аркадию Ивановичу.

— Попался! — закричал он, — попался!

— Аркаша, Аркаша, что ты делаешь? Пусти, ради бога, пусти, я фрак замараю!..

— Нужды нет; зачем тебе фрак? зачем ты такой легковерный, что сам в руки даешься? Говори, куда ты ходил, где обедал?

— Аркаша, ради бога, пусти!

— Где обедал?

— Да про это-то я и хочу рассказать.

— Так рассказывай.

— Да ты прежде пусти.

— Так вот нет же, не пущу, пока не расскажешь!

— Аркаша, Аркаша! да понимаешь ли ты, что ведь нельзя, никак невозможно! — кричал слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля, — ведь есть такие материи!..

— Какие материи?..

— Да такие, что вот о которых начнешь рассказывать в таком положении, так теряешь достоинство; никак нельзя; выйдет смешно — а тут дело совсем не смешное, а важное.

— И ну его, к важному! вот еще выдумал! Ты мне рассказывай так, чтоб я смеяться хотел, вот как рассказывай; а важного я не хочу; а то какой же ты будешь приятель? вот ты мне скажи, какой же ты будешь приятель? а?

— Аркаша, ей-богу, нельзя!

— И слышать не хочу...

— Ну, Аркаша! — начал Вася, лежа поперек кровати и стараясь всеми силами придать как можно более важности словам своим. — Аркаша! я, пожалуй, скажу; только...

— Ну что!..

— Ну, я помолвил жениться!

Аркадий Иванович, не говоря более праздного слова, взял молча Васю на руки, как ребенка, несмотря на то что Вася был не совсем коротенький, но довольно длинный, только худой, и преловко начал его носить из угла в угол по комнате, показывая вид, что его убаюкивает.

— А вот я тебя, жених, спеленаю, — приговаривал он. Но, увидя, что Вася лежит на его руках, не шелохнется и не говорит более ни слова, тотчас одумался и взял в соображение, что шутки, видно, далеко зашли; он поставил его среди комнаты и самым искренним, дружеским образом облобызал его в щеку.

— Вася, не сердишься?..

— Аркаша, послушай...

— Ну, для Нового года.

— Да я-то ничего; да зачем же ты сам такой сумасшедший, повеса такой? Сколько я раз тебе говорил: Аркаша, ей-богу, не остро, совсем не остро!

— Ну, да не сердишься?

— Да я ничего; на кого я сержусь когда! Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты!

— Да как огорчил? каким образом?

— Я шел к тебе как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою душу, рассказать тебе мое счастие...

— Да какое же счастие? что ж ты не говоришь?...

— Ну, да я женюсь-то! — отвечал с досадою Вася, потому что действительно немного был взбешен.

— Ты! ты женишься! так и вправду? — закричал благим матом Аркаша. — Нет, нет... да что ж это? и говорит так, и слезы текут!.. Вася, Васюк ты мой, сыночек мой, полно! Да вправду, что ль? — И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями.

— Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло? — сказал Вася. — Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным, и вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство... Ты понимаешь, Аркаша, — продолжал Вася полусмеясь, — ведь это было в комическом виде: ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела... Вот еще б ты спросил меня: как зовут? Вот клянусь, скорей убил бы меня, а я бы тебе не ответил.

— Да, Вася, что же ты молчал! да ты бы мне всё раньше сказал, я бы и не стал шалить, — закричал Аркадий Иванович в истинном отчаянии.

— Ну, полно же, полно! я ведь так это... Ведь ты знаешь, отчего это всё, — оттого, что у меня доброе сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принесть удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя... Право, Аркаша, я тебя так люблю, что, не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем!

Аркадий Иванович, который необыкновенно был чувствителен, и смеялся, и плакал, слушая Васю. Вася тоже. Оба снова бросились в объятия и позабыли о бывшем.

— Как же, как же это? расскажи мне всё, Вася! Я, брат, извини меня, я поражен, совсем поражен; вот точно громом сразило, ей-богу! Да нет же, брат, нет, ты выдумал, ей-богу, выдумал, ты наврал! — закричал Аркадий Иванович и даже с неподдельным сомнением взглянул в лицо Васи, но, видя в нем блестящее подтверждение непременного намерения жениться как можно скорее, бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга, так что стены дрожали.

— Вася, садись сюда! — закричал он, усевшись наконец на кровати.

— Уж я, братец, право, не знаю, как и начать, с чего!

Оба в радостном волнении смотрели друг на друга.

— Кто она, Вася?

— Артемьевы!.. — произнес Вася расслабленным от счастия голосом.

— Нет?

— Ну, да я тебе уши прожужжал об них, потом замолк, а ты ничего и не приметил. Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя; да боялся, боялся говорить! Думал, что всё расстроится, а я ведь влюблен, Аркаша! Боже мой, боже мой! Видишь ли, вот какая история, — начал он, беспрерывно останавливаясь от волнения, — у ней был жених, еще год назад, да вдруг его командировали куда-то; я и знал его — такой, право, бог с ним! Ну, вот он и не пишет совсем, запал. Ждут, ждут; что бы это значило?.. Вдруг он, четыре месяца назад, приезжает женатый и к ним ни ногой. Грубо! подло! да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная, а я и влюбись в нее... да я и давно, всегда был влюблен! Вот стал утешать, ходил, ходил... ну, и я, право, не знаю, как это всё произошло, только и она меня полюбила; неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей всё — ну! что люблю ее — одним словом, всё!.. «Я вас сама любить готова, Василий Петрович, да я бедная девушка, не насмейтесь надо мной; я и любить-то никого не смею». Ну, брат, понимаешь! понимаешь?.. Мы тут с ней на слове и помолвились; я думал-думал, думал-думал; говорю: как сказать маменьке? Она говорит: трудно, подождите немножко; она боится; теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам; сама плачет. Я, ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизанька перед ней на колени, я тоже... ну, и благословила. Аркаша, Аркаша! голубчик ты мой! будем жить вместе. Нет! я с тобой ни за что не расстанусь.

— Вася, как я ни смотрю на тебя, а не верю, ей-богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне всё что-то кажется... Послушай, как же это ты женишься?.. Как же я не знал, а? Право, Вася, я, уже признаюсь тебе, я сам, брат, думал жениться; а уж как теперь ты женишься, так уж всё равно! Ну, будь счастлив, будь счастлив!..

— Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе... — сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате. — Не правда ли, не правда ли? ведь ты чувствуешь то же? Мы будем жить бедно, конечно, но счастливы будем; и ведь это не химера; наше счастье-то ведь не из книжки сказано: ведь это на деле счастливы мы будем!..

— Вася, Вася, послушай!

— Что? — сказал Вася, остановясь перед Аркадием Ивановичем.

— Мне пришла мысль; право, я как-то боюсь и сказать тебе!.. Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жить будешь? Я, знаешь, я в восторге, что ты женишься, конечно, в восторге и владеть собой не могу, но — чем ты жить будешь? а?

— Ах, боже, боже мой! какой ты, Аркаша! — сказал Вася, в глубоком удивлении смотря на Нефедевича. — Да что ты в самом деле? Даже старуха, и та двух минут не подумала, когда я ей представил всё ясно. Ты спроси, чем они жили? Ведь пятьсот рублей в год на троих: ведь всего-то пенсиону после покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за которого в школу платят из тех же денег, — ведь вот как живут! Ведь это только мы капиталисты с тобой! А у меня, поди-ка ты, в иной год, в хороший, даже семьсот наберется.

— Послушай, Вася; ты меня извини; я, ей-богу, я так ведь, я всё только думаю, как бы это не расстроить, — каких же семьсот? только триста...

— Триста!.. А Юлиан Мастакович? забыл?

— Юлиан Мастакович! да ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного жалованья, где всякий рубль как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек, я его уважаю, понимаю его, даром что он так высоко стоит, и, ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит, тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника — но ведь согласись сам, Вася... Послушай еще: я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк, я готов тебе уступить, — не без восторга заключил Нефедевич, — но вдруг, боже сохрани! ты не понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет — ну да, наконец, мало ли что может случиться! Ведь Юлиан-то Мастакович был да сплыл, Вася...

— Послушай, Аркаша, ведь этак, пожалуй, над нами сейчас потолок провалится...

— Ну, конечно, конечно... я ведь ничего...

— Нет, послушай меня, ты выслушай — видишь что: каким он образом может со мною расстаться... Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я всё исполняю рачительно; ведь он такой добрый, ведь он мне, Аркаша, ведь он мне сегодня дал пятьдесят рублей серебром!

— Неужели, Вася? так тебе награждение?

— Какое награждение! из своего кармана. Говорит: уж ты, брат, пятый месяц денег не получал; хочешь, возьми; спасибо, говорит, тебе, спасибо, доволен... ей-богу! не даром же ты мне, говорит, работаешь — право! так и сказал. У меня слезы полились, Аркаша. Господи боже!

— Послушай, Вася, а ты дописал те бумаги?..

— Нет... еще не дописал.

— Ва...сенька! ангел мой! что ты сделал?

— Послушай, Аркадий, ничего, еще два дня сроку, успею...

— Как же ты это так не писал?..

— Ну вот, ну вот! ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болит! Ну, что ж?

ты меня всегда этак убиваешь! Так и закричит: а-а-а!!! Да ты рассуждай; ну, что ж такое? ну, кончу, ей-богу, кончу...

— Что если не кончишь? — закричал Аркадий, вскочив. — А он же тебе сегодня дал награждение! Ты же тут женишься... Ай-ай-ай!..

— Ничего, ничего, — закричал Шумков, — я сейчас же и сажусь, сию минуту сажусь; ничего!

— Как это ты манкировал, Васютка?

— Ах, Аркаша! ну, мог ли я усидеть? такой ли я был? Да я в канцелярии-то едва сидел; ведь я сердца сносить не мог... Ах! ах! теперь ночь просижу, и завтра ночь просижу, да послезавтра еще, и — докончу!..

— Много осталось?

— Не мешай. ради бога, не мешай, замолчи...

Аркадий Иванович на цыпочках подошел к кровати и уселся; потом вдруг хотел было встать, но потом опять принужден был сесть, вспомнив, что помешать может, хотя и сидеть не мог от волнения: видно было, что его совсем перевернуло известие и первый восторг еще не успел выкипеть в нем. Он взглянул на Шумкова, тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив брови (как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы), уставился глазами в бумаги.

Казалось, и он тоже еще не пересилил своего волнения, переменял перья, вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться.

— Аркаша! Я им говорил об тебе, — закричал он вдруг, как будто только что вспомнил.

— Да? — закричал Аркадий, — а я только спросить хотел; ну!

— Ну! ах да, я тебе после всё расскажу! Вот, ей-богу, сам виноват, а совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, покамест не напишу четырех листов; да вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу: всё об вас вспоминаю... — Вася улыбнулся.

Настало молчание.

— Фу! какое скверное перо! — закричал Шумков, ударив в досаде им по столу. Он взялся за другое.

— Вася! послушай! одно слово...

— Ну! поскорей и в последний раз.

— Много тебе осталось?

— Ах, брат!.. — Вася так поморщился, как будто ничего в свете не было ужаснее и убийственнее такого вопроса. — Много, ужасно много!

— Знаешь, у меня была идея...

— Что?

— Да нет, уж нет, пиши.

— Ну, что? что?

— Теперь седьмой час, Васюк!

Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе, но, однако ж, все-таки несколько с робостию, не зная, как примет он это.

— Ну, что ж? — сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и даже побледнев от ожидания.

— Знаешь что?

— Ради бога, что?

— Знаешь что? Ты взволнован, ты много не наработаешь... Постой, постой, постой, постой — вижу, вижу — слушай! — заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения. — Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли?

— Аркаша! Аркаша! — закричал Вася, вскочив с кресел. — Я просижу всю ночь, ей-богу, просижу!

— Ну, да, да! Ты к утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

— Нет, нельзя, нельзя; конечно, заснешь, в пять часов засни. В восемь я тебя бужу. Завтра праздник; ты садишься и строчишь целый день... Потом ночь и — да много ль осталось тебе?..

— Да вот, вот!..

Вася, дрожа от восторга и от ожидания, показал тетрадку.

— Вот!..

— Послушай, брат, ведь это немного...

— Дорогой мой, еще там есть, — сказал Вася, робко-робко смотря на Нефедевича, как будто от него зависело разрешение, идти или нет.

— Сколько?

— Два... листочка...

— Ну, что ж? ну, послушай! Ведь кончить успеем, ей-богу, успеем!

— Аркаша!

— Вася! послушай! Теперь под Новый год все по семействам собираются, мы с тобой только бездомные, сирые... у! Васенька!..

Нефедевич облапил Васю и стиснул в своих львиных объятиях...

— Аркадий, решено!

— Васюк, я только об этом сказать хотел. Видишь, Васюк, косолапый ты мой! слушай! слушай! ведь...

Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него.

— Ну! — проговорил он наконец.

— Представь им сегодня меня!

— Аркадий! идем туда чай пить! Знаешь что? знаешь что? даже до Нового года не досидим, раньше уйдем, — закричал Вася в истинном вдохновенье.

— То есть два часа, ни больше ни меньше!..

— И потом разлука до тех пор, пока не докончу!..

— Васюк!..

— Аркадий!

В три минуты Аркадий был по-парадному. Вася только почистился, затем что и не снимал своей пары: с таким рвением присел он за дело.

Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого. Путь лежал с Петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о благополучии всё более и более счастливого Васи. Вася семенил более мелким шажком, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не знает читатель (Вася был немного кривобок), вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более способствовал к глубокому умилению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту и которого Вася, уж разумеется, всячески был достоин. Аркадию Ивановичу даже хотелось заплакать от счастия; но он удержался.

— Куда, куда, Вася? здесь ближе пройдем! — вскричал он, видя, что Вася норовит повернуть к Вознесенскому.

— Молчи, Аркаша, молчи...

— Право, ближе, Вася.

— Аркаша! Знаешь ли что? — начал Вася таинственно, замирающим от радости голосом. — Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек Лизаньке...

— Что ж такое?

— Здесь, брат, на углу мадам Леру, чудесный магазин!

— А, ну!

— Чепчик, душечка, чепчик; сегодня я видел такой чепчоночек миленький; я спрашивал: фасон, говорят, Manon Lescaut[1] называется — чудо! ленты серизовые, и если недорого... Аркаша, да хоть бы и дорого!..

— Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася! идем!..

Они побежали и через две минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же, при первом взгляде на своих покупателей, сделалась так же весела и счастлива, как они сами, даже счастливее, если можно сказать. Вася готов был расцеловать мадам Леру от восторга...

— Аркаша! — сказал он вполголоса, бросив обыкновенный взгляд на всё прекрасное и великое, стоявшее на деревянных столбиках на огромном столе магазина. — Чудеса! Что это такое? что это? Вот этот, например, бонбончик, видишь? — прошептал Вася, показывая один миленький крайний чепчик, но вовсе не

[1] Манон Леско (*франц.*).

тот, который купить хотел, потому что уже издалека нагляделся и впился глазами в другой, знаменитый, настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-нибудь возьмет да украдет или будто сам чепчик, именно для того чтоб не доставаться Васе, улетит с своего места на воздух.

— Вот, — сказал Аркадий Иванович, указав на один, — вот, по-моему, лучший.

— Ну, Аркаша! это даже делает честь тебе; я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус, — сказал Вася, плутовски схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей, — прелесть твой чепчик, но поди-ка сюда!

— Где же, брат, лучше?

— Смотри-ка сюда!

— Этот? — сказал Аркадий с сомнением.

Но когда Вася, не в силах более выдержать, сорвал его с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захрустели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая всё свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во всё время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полною улыбкою одобрения, так что всё в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке, разом проговорило — да! вы угадали и достойны счастия, которое вас ожидает.

— Ведь кокетничал, кокетничал в уединении! — закричал Вася, перенеся всю любовь свою на миленький чепчик. — Нарочно прятался, плутишка, голубчик мой! — И он поцеловал его, то есть воздух, который его окружал, потому что боялся дотронуться до своей драгоценности.

— Так скрывает себя истинная заслуга и добродетель, — прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав фразу из одной остроумной газеты, которую читал поутру. — Ну, Вася, что же?

— Виват, Аркаша! да ты и остришь сегодня, ты сделаешь *фурор*, как они говорят, между женщинами, предрекаю тебе. Мадам Леру, мадам Леру!

— Что прикажете?

— Голубушка, мадам Леру!..

Мадам Леру взглянула на Аркадия Ивановича и снисходительно улыбнулась.

— Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту... Позвольте поцеловать вас... — и Вася поцеловал магазинщицу.

Решительно, нужно было призвать на минуту всё достоинство, чтоб не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врожденную, неподдельную любезность и грацию, с которою мадам Леру приняла восторг Васи. Она

извинила его, и как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае! Неужели же можно было рассердиться на Васю?

— Мадам Леру, сколько цена?.

— Это пять рублей серебром, — отвечала она, оправившись, с новой улыбкою.

— А этот, мадам Леру, — сказал Аркадий Иванович, указав на свой выбор.

— Этот восемь рублей серебром.

— Ну, позвольте! ну, позвольте! ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее, милее, который из них более походит на вас?

— Тот богаче, но ваш выбор — c'est plus coquet. [1]

— Ну, так его и берем!

Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой, и, казалось, бумага с завернутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде, без чепчика. Вася взял всё это бережно, чуть дыша, раскланялся с мадам Леру, что-то еще сказал ей очень любезное и вышел из магазина.

— Я вивёр, Аркаша, я рожден быть вивёром! — кричал Вася, хохоча, заливаясь неслышным, мелким, нервическим смехом и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременном покушении измять его драгоценнейший чепчик!

— Послушай, Аркадий, послушай! — начал он минуту спустя, и что-то торжественно, что-то донельзя любящее зазвенело в настрое его голоса. — Аркадий, я так счастлив, так счастлив!..

— Васенька! как я-то счастлив, голубчик мой!

— Нет, Аркаша, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю; но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце так полно, так полно! Аркаша! Я недостоин этого счастия! Я слышу, я чувствую это. За что мне, — говорил он голосом, полным заглушенных рыданий, — что я сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я! меня любит такая девушка, меня... но ты сам ее увидишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания, теперь чин у меня и независимый доход — жалованье. Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть. Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый; он со мною редко говорит; подошел: «Ну, что, Вася (ей-богу, так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а?» (Сам смеется.)

«Так и так, говорю, ваше превосходительство, дело есть, да тут же ободрился и говорю: — и повеселюсь, может быть, ваше превосходительство», — ей-богу, сказал. Он мне тут денег дал, потом еще сказал мне два слова. Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли, а он тоже, кажется, тронут был, потрепал меня

[1] это кокетливее (*франц.*).

по плечу да говорит: «Чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь...»

Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже отер кулаком слезинку.

— И еще, еще... — продолжал Вася. — Я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий... Аркадий! Ты так счастливишь меня дружбой своею, без тебя я бы не жил на свете, — нет, нет, не говори ничего, Аркаша! Дай мне пожать тебе руку, дай по...благо...дар...ить тебя!.. — Вася опять не докончил.

Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу и почти над ушами их раздалось визгливое «падь-падь-пади!» — то оба, испуганные и взволнованные, добежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому. Он извинил излияние благодарности Васи разве только исключительностию настоящей минуты. Самому же ему было досадно. Он чувствовал, что он до сих пор так мало сделал для Васи! Ему даже стыдно стало за себя, когда Вася начал благодарить его за такую малость! Но еще целая жизнь была впереди, и Аркадий Иванович вздохнул свободнее...

Решительно, их совсем перестали ждать! Доказательство — что уж сидели за чаем! А право, иногда стар-человек прозорливее молодежи, да еще какой молодежи! Ведь Лизанька-то пресерьезно уверяла, что не будет; «не будет, маменька; уж сердце чувствует, что не будет»; а маменька всё говорила, что ее сердце, напротив, чувствует, что непременно будет, что не усидит, что прибежит, что и занятий-то служебных теперь нет у него, что и под Новый-то год! Лизанька, и отворяя, не ждала совсем — глазам не верила, и встретила их запыхавшись, с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся заалев, зарумянившись, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Боже мой, какой сюрприз! какое радостное «ах!» вылетело из ее губок! «Обманщик! Голубчик ты мой!» — вскричала она, обвив шею Васи... Но представьте всё удивление ее, весь ее стыд внезапный: прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял, немного потерявшись, Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами, даже очень неловок, даже однажды случилось, что... Но это потом. Однако ж войдите и в его положение: смешного тут нет ничего; он стоит в передней, в калошах, в шинели, в ушатой шапке, которую поспешил было сдернуть, весь пребезобразно обмотанный желтым вязаным прескверным шарфом, еще для большего эффекта завязанным сзади. Всё это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут Вася, досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася! «Вот, — кричит он, — Лизанька, вот тебе мой Аркадий! Каков? Вот мой лучший друг, обними его, поцелуй его, Лизанька, наперед поцелуй, узнаешь потом лучше,

сама расцелуешь...» Ну что? ну что, я спрашиваю, было делать Аркадию Ивановичу? А он еще размотал всего половину шарфа! Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи; она, конечно, означает доброе сердце, но... неловко, нехорошо!

Наконец оба вошли. Старушка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Ивановичем; она так много слышала, она... Но она не докончила. Радостное «ах!», звонко раздавшееся в комнате, остановило ее на полфразе. Боже мой! Лизанька стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, пренаивно сложив свои ручки и улыбаясь, улыбаясь так... Боже мой, да зачем это у madame Леру не было еще лучшего чепчика!

Ах, боже мой, да где ж вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон! Где же вы сыщете лучше? Я говорю серьезно! Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюбленных. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амурчика-чепчика! Ну, взгляните... Но нет, нет, мои пени напрасны; они уже согласились все со мною; это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства; я готов им простить... Да зато посмотрите... вы уж извините, господа, я всё об этом чепчике: тюлевый, легонький, широкая серизовая лента, покрытая кружевом, идет между тульею и рюшем и сзади две ленты, широкие, длинные; они будут падать немного ниже затылка, на шею... Нужно только и весь чепчик немного надеть на затылок; ну, посмотрите; ну, я вас спрошу после этого!.. Да вы, я вижу, не смотрите!.. Вам, кажется, всё равно! Вы загляделись в другую сторону... Вы смотрите, как две крупные-крупные, словно перлы, слезинки накипели в один миг в черных как смоль глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение madame Леру... И опять мне досадно: ведь почти не за чепчик были эти две слезинки!.. Нет! по-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее! Я, признаюсь, господа, всё за чепчик!

Уселись — Вася с Лизанькой, а старушка с Аркадием Ивановичем; начали разговор, и Аркадий Иванович вполне поддержал себя. Я с радостию отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мастаковиче, его благодетеле. Да так умно, так умно заговорил, что разговор, право, не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мастаковича, имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и старушка была очарована, истинно очарована: она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону и там сказала ему, что друг его превосходнейший, любезнейший молодой человек и, главное, такой серьезный, солидный молодой человек.

Вася чуть не захохотал от блаженства. Он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели! Потом старушка мигнула Васе и сказала, чтоб он вышел за нею тихонько и осторожнее в другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизаньки: она, конечно от избытка сердца, изменила ей и вздумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизанька Васе к Новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком: на одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал, и так похоже, так хорошо! На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходно и весьма похоже отделанный. Я уж не говорю о восторге Васи. Между тем и в зале не прошло даром время. Лизанька прямо подошла к Аркадию Ивановичу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался наконец, что дело идет о том же драгоценнейшем Васе. Лизанька даже была глубоко растрогана: она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что, право, она, Лизанька, не может не благодарить его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович полюбит и ее хоть вполовину так, как любит Васю. Потом она стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье, изъявила некоторые опасения насчет особенной пылкости его характера, насчет несовершенного знания людей и практической жизни, сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним, хранить и лелеять судьбу его и что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе.

— Мы будем втроем как один человек! — вскричала она в пренаивном восторге.

Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать, но Вася объявил наотрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал то же самое. Спросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело, вверенное Юлианом Мастаковичем Васе, спешное, нужное, ужасное, которое нужно представить послезавтра утром, а что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, как услышала об этом, а Лизанька просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого; он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой.

Немедленно оба взапуски начали поверять друг другу свои впечатления, только что очутились на улице. Да тому так и следовало быть: Аркадий Иванович был влюблен, насмерть влюблен в Лизаньку! И кому ж это лучше поверить, как не самому счастливчику Васе? Он так и сделал: он не посовестился и тотчас же признался Васе во всем. Вася ужасно смеялся и страшно был рад,

даже заметил, что это вовсе не лишнее и что теперь они будут еще больше друзьями. «Ты угадал меня, Вася, — сказал Аркадий Иванович, — да! я люблю ее так, как тебя; это будет и мой ангел, так же как твой, затем что и на меня ваше счастие прольется, и меня пригреет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася; в ее руках будет счастие мое; пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе, дружба к ней; вы у меня нераздельны теперь; только у меня будут два такие существа, как ты, вместо одного...» Аркадий замолчал от избытка чувств; а Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил; теперь же тотчас пустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные! «Как я буду хранить вас обоих, лелеять вас, — заговорил он опять. — Во-первых, я, Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до единого, а во-вторых, Вася, надобно похлопотать и о будущем. Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять, так чтоб и ей, и тебе, и мне были каморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. Три... нет, две комнаты, нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил, денег достанет; чего! я как взглянул в ее глазки, так тотчас расчел, что достанет. Всё для нее! Ух, как будем работать! Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей двадцать пять за квартиру. Квартира, брат, всё! Хорошие комнаты ... да тут и человек весел и мечтания радужные! А во-вторых, Лизанька будет наш общий кассир: ни копейки лишней! Чтоб этак я теперь в трактир побежал! да за кого ты меня принимаешь? ни за что! А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить, у! как работать, как волы землю пахать!.. Ну, представь себе, — и голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия, — вдруг этак совсем неожиданно целковых тридцать иль двадцать пять на голову!.. Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, чулочки какие-нибудь! Она мне непременно должна связать шарф; смотри, какой скверный у меня: желтый, поганый, наделал он мне сегодня беды! Да и ты, Вася, хорош: представляешь, а я в хомуте стою... да не в том вовсе дело! А вот, видишь ли: я всё серебро беру на себя! я вам ведь обязан сделать подарочек — это честь, это мое самолюбие!.. А ведь наградные мои не уйдут: Скороходову, что ли, их отдадут? небось не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных, ножей хороших — не серебряных ножей, а отличных ножей, и жилетку, то есть жилетку-то себе: я ведь шафером буду! Только уж ты теперь держись у меня, уж держись, уж я над тобой, брат, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду с палкой стоять, замучаю на работе: кончай! кончай, брат, скорее! и потом опять на вечер, и потом оба счастливы; в лото пустимся!.. вечера сидеть будем — у, хорошо! фу, черт! как досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и всё бы, всё бы писал за тебя... Зачем это у нас не одинаковый почерк?»

— Да! — ответил Вася. — Да! нужно спешить. Я думаю, теперь часов одиннадцать будет; нужно спешить... За работу! — И, проговорив это, Вася, который всё время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излияние дружеских чувств и, одним словом, оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. Казалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледенила его пылавшую голову; казалось, всё сердце его сжалось.

Аркадий Иванович даже стал беспокоиться; на ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделывался словцом-другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. «Да что с тобой, Вася? — закричал он наконец, едва догоняя его. — Неужели ты так беспокоишься?..» «Ах, брат, полно болтать!» — ответил Вася даже с досадою. «Не унывай, Вася, полно, — прервал Аркадий, — да я видывал, что ты и гораздо больше в меньший срок писывал ... чего тебе! у тебя просто талант! В крайнем случае можно даже ускорить перо: ведь не литографировать же на прописи будут. Успеешь!.. вот разве только ты взволнован теперь, рассеян, так работа тяжелее пойдет...» Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой.

Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих, втихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи... Какой-то страх нашел на него... «Что с ним? — сказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, на беспокойство, выказавшееся в каждом движении. — У него и рука дрожит ... фу ты, право! да не посоветовать ли ему заснуть часа два; хоть бы он переспал свое раздражение». Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия и, тотчас же потупившись, схватился опять за перо.

— Послушай, Вася, — начал вдруг Аркадий Иванович, — не лучше ль было бы тебе переспать немножко? Смотри, ты совсем в лихорадке...

Вася с досадой, даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал.

— Послушай, Вася, что ты над собой делаешь?..

Вася тотчас одумался.

— Не выпить ли чайку, Аркаша? — сказал он.

— Как так? зачем?

— Силы придаст. Я спать не хочу, уж я спать не буду! Я всё буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжелое перешло бы.

— Лихо, брат Вася, чудесно! именно так; я сам хотел предложить. Но я дивлюсь, как мне самому не пришло в голову. Только знаешь ли что? Мавра не встанет, ни за что не проснется...

— Да...

— Вздор, ничего! — закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. — Я сам самовар поставлю. Впервой, что ли, мне?..

Аркадий Иванович побежал в кухню и пустился хлопотать с самоваром; Вася покамест писал. Аркадий Иванович оделся и сбегал сверх того в булочную, затем чтоб Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился. Вася всё был рассеян.

— Вот, — сказал он наконец, как будто одумавшись, — нужно завтра пойти поздравлять...

— Тебе вовсе не нужно.

— Нет, брат, нельзя, — сказал Вася.

— Да я за тебя у всех распишусь... чего тебе! ты завтра работай. Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы. А то на что ты завтра будешь похож? Я бы тебя ровно в восемь часов разбудил...

— Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься? — сказал Вася, полусоглашаясь.

— Да чего же лучше? так делают все!..

— Право, боюсь...

— Да чего же, чего?

— Оно, знаешь, у других ничего, а Юлиан Мастакович — он, Аркаша, мой благодетель; ну, как заметит, что чужая рука...

— Заметит! Ну, какой ты, право, Васюк! ну, как он может заметить?.. Да ведь я, знаешь, твое имя ужасно как похоже подписываю и завиток такой же делаю, ей-богу. Полно; что ты! кому тут заметить?..

Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан... Потом он сомнительно покачал головою.

— Вася, голубчик! ах, кабы нам удалось! Вася, да что с тобою? Ты меня просто пугаешь! Знаешь, я теперь и не лягу, Вася, не засну. Покажи мне, много ль осталось тебе?

Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось и язык осекся.

— Вася! что с тобой? что ты? чего ты так смотришь?

— Аркадий, я, право, пойду завтра поздравить Юлиана Мастаковича.

— Ну, ступай, пожалуй! — говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании.

— Послушай, Вася, ускори перо; я зла тебе не советую, ей-богу же так! Сколько раз говорил сам Юлиан Мастакович, что у тебя в пере ему всего более нравится четкость! Ведь это Скороплёхин только любит, чтоб было четко и красиво, как пропись, чтоб потом как-нибудь зажилить бумажку да детям домой нести переписывать: не может купить, болван, прописей! А Юлиан Мастакович только и говорит, только и требует: четко, четко и четко!.. чего же тебе! право! Вася, я уж не знаю, как и говорить с тобой... Я боюсь даже... Ты меня убиваешь тоской своей.

— Ничего, ничего! — говорил Вася и в изнеможении упал на стул. Аркадий встревожился.

— Не хочешь ли воды? Вася! Вася!

— Полно, полно, — сказал Вася, сжимая его руку. — Я ничего; мне только стало как-то грустно, Аркадий. Я даже и сам не могу сказать отчего. Послушай, говори лучше о другом; не напоминай мне...

— Успокойся, ради бога, успокойся, Вася. Ты докончишь, ей-богу, докончишь! А хоть бы и не докончил, так что ж за беда? Точно преступленье какое!

— Аркадий, — сказал Вася, так значительно смотря на своего друга, что тот решительно испугался, ибо никогда Вася не тревожился так ужасно. — Если б я был один, как прежде... Нет! я не то говорю. Мне всё хочется тебе сказать, поверить, как другу... Впрочем, зачем же беспокоить тебя?.. Видишь, Аркадий, одним дано многое, другие делают маленькое, как я. Ну, если б от тебя потребовали благодарности, признательности — и ты бы не мог этого сделать?..

— Вася! я решительно не понимаю тебя!

— Я никогда не был неблагодарен, — продолжал Вася тихо, как будто рассуждая сам с собою. — Но если я не в состоянии высказать всего, что чувствую, то оно как будто бы... Оно, Аркадий, выйдет, как будто я и в самом деле неблагодарен, а это меня убивает.

— Да что ж, да что! Неужели же в том вся благодарность, что ты перепишешь к сроку? Подумай, Вася, что ты говоришь! разве в этом выражается благодарность?

Вася вдруг замолчал и посмотрел во все глаза на Аркадия, как будто его неожиданный аргумент разрушил все сомнения. Он даже улыбнулся, но тотчас же принял опять прежнее задумчивое выражение. Аркадий, приняв эту улыбку за окончание всех страхов, а тревогу, опять явившуюся, за решимость на что-нибудь лучшее, крайне обрадовался.

— Ну, брат Аркаша, проснешься, — сказал Вася, — взгляни на меня; неравно я засну, беда будет; а теперь я сажусь за работу... Аркаша?

— Что?

— Нет, я так только, я ничего... я хотел...

Вася уселся и замолчал, Аркадий улегся. Ни тот, ни другой не сказали двух слов о коломенских. Может быть, оба чувствовали, что провинились немножко, покутили некстати. Вскоре Аркадий Иванович заснул, всё тоскуя об Васе. К удивлению своему, он проснулся ровно в восьмом часу утра. Вася спал на стуле, держа в руке перо, бледный и утомленный; свечка сгорела. В кухне возилась Мавра за самоваром.

— Вася, Вася! — закричал Аркадий в испуге... — Когда ты лег?

Вася открыл глаза и вскочил со стула...

— Ах! — сказал он. — Я так и заснул!..

Он тотчас же бросился к бумагам — ничего: всё было в порядке; ни чернилами, ни салом от свечки не капнуло.

— Я думаю, я заснул часов в шесть, — сказал Вася. — Как ночью холодно! Выпьем-ка чаю, и я опять...

— Подкрепился ли ты?

— Да-да, ничего, теперь ничего!..

— С Новым годом, брат Вася.

— Здравствуй, брат, здравствуй; тебя также, милый.

Они обнялись. У Васи дрожал подбородок и повлажнели глаза. Аркадий Иванович молчал: ему стало горько; оба пили чай наскоро...

— Аркадий! Я решил, я сам пойду к Юлиану Мастаковичу...

— Да ведь он не заметит...

— Да меня-то, брат, почти мучит совесть.

— Да ведь ты для него же сидишь, для него же убиваешься... полно! А я, знаешь что, брат, я зайду туда...

— Куда? — спросил Вася.

— К Артемьевым, поздравлю с моей и с твоей стороны.

— Голубчик мой, миленький! Ну! я здесь останусь; да, я вижу, что ты хорошо придумал; ведь я же тут работаю, не в праздности время провожу! Постой на минутку, я тотчас письмо напишу.

— Пиши, брат, пиши, успеешь; я еще умоюсь, побреюсь, фрак почищу. Ну, брат Вася, мы будем довольны и счастливы! Обними меня, Вася!

— Ах, кабы, брат!..

— Здесь живет господин чиновник Шумков? — раздался детский голосок на лестнице...

— Здесь, батюшка, здесь, — проговорила Мавра, впуская гостя.

— Что там? что, что? — закричал Вася, вспрыгнув со стула и бросаясь в переднюю. — Петенька, ты?..

— Здравствуйте, с Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович, — сказал хорошенький черноволосый мальчик лет десяти, в кудряшках, — сестрица вам кланяется, и маменька тоже, а сестрица велела вас поцеловать от себя...

Вася вскинул на воздух посланника и влепил в его губки, которые ужасно походили на Лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй.

— Целуй, Аркадий! — говорил он, передав ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные в полном смысле слова объятия Аркадия Ивановича.

— Голубчик ты мой, хочешь чайку?

— Покорно благодарю-с. Уж мы пили! Сегодня поднялись рано. Наши к обедне ушли. Сестрица два часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице: мы в снежки стали играть...

— Ну-ну-ну-ну!

— Ну, всё меня наряжала к вам идти; потом напомадила, а потом зацеловала совсем, говорит: «Сходи к Васе, поздравь да спроси, довольны ли они, покойно ли почивали и еще... и еще что-то спросить — да! и еще, кончено ль дело, об котором вы вчера... там как-то... да вот, у меня записано, — сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из кармана, — да! беспокоились.

— Будет кончено! будет! так ей и скажи, что будет, непременно кончу, честное слово!

— Да еще... ах! я и забыл; сестрица записочку и подарок прислала, а я и забыл!..

— Боже мой!.. Ах ты, голубчик мой! где... где? вот — а?! Смотри, брат, что мне пишет. Го-лу-бушка, миленькая! Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня; он не кончен, так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри!

И потрясенный от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу; потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу.

— Вася! Я тебе медальон закажу для этих волос! — решительно сказал наконец Аркадий Иванович.

— А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги; маменька хочет бисквиты готовить... а пшенной каши не будет, — сказал мальчик, подумав, как заключить свои россказни.

— Фу, какой хорошенький мальчик! — закричал Аркадий Иванович. — Вася, ты счастливейший смертный!

Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему.

— Ну, брат, — заговорил обрадованный Аркадий Иванович, — видишь, как хорошо, видишь! Всё уладилось к лучшему, не горюй, не робей! вперед! Кончай, Вася, кончай! В два часа я домой; заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу...

— Ну, прощай, брат, прощай... Ах, кабы!.. Ну, хорошо, ступай, хорошо, — сказал Вася, — я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу.

— Прощай!

— Стой, брат, стой; скажи им... ну, всё, что найдешь; ее поцелуй... да расскажи, братец, всё потом расскажи...

— Ну уж, ну уж — известно, знаем что! Это счастье перевернуло тебя! Это неожиданность; ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, конечно! оправься, голубчик Вася! Прощай, прощай!

Наконец друзья расстались. Всё утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый, раздражительный характер его. «Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся! — говорил он сам про себя. — Боже мой! Он и на меня нагнал тоску. И из чего этот человек способен поднять трагедию! Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти! нужно спасти!» — проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до

беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в одиннадцать часов попал он в швейцарскую Юлиана Мастаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе закапанной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление, когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова! Это его поразило. «Что с ним делается?» — подумал он. Аркадий Иванович, взыгравший еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно, приготовлялась беда; но где? но какая?

В Коломну он приехал с мрачными мыслями, был рассеян сначала, но, поговорив с Лизанькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал.

— Куда ты? — закричал Аркадий Иванович.

Вася остановился, как пойманный в преступлении.

— Я, брат, так; я прогуляться хотел.

— Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася! Ну, зачем ты ходил к Юлиану Мастаковичу?

Вася не отвечал; но потом махнул рукой и сказал:

— Аркадий! я не знаю, что со мной делается! я...

— Полно, Вася, полно! ведь я знаю, что это такое. Успокойся! ты взволнован и потрясен со вчерашнего дня! Подумай: ну, как не снесть этого! Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно кончишь, я знаю: ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то...

— Нет, ничего, ничего...

— Помнишь, Вася, помнишь, ведь это было с тобою; помнишь, когда ты чин получил, ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое...

— Да, да, Аркадий; но теперь другое, теперь совсем не то...

— Да как не то, помилуй! И дело-то, может быть, вовсе не спешное, а ты себя убиваешь...

— Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем!

— Что ж ты домой, а не к ним?

— Нет, брат, с каким я лицом явлюсь?.. Я раздумал. Я только один без тебя не высидел; а вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем!

Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил.

— Что ж ты меня не расспрашиваешь об них? — сказал Аркадий Иванович.

— Ах, да! Ну, Аркашенька, что ж?

— Вася, ты на себя непохож!

— Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне всё, Аркаша! — сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяс-

нений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю.

Рассказ о коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтоб просидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в восемь часов. Три часа разлуки прошли для него как три года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что всё темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что всё писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом, час тому назад, убежал, сказав, что через полчаса будет; «а когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, — заключила Мавра, — что гулять я пошел, и три, не то, мол, четыре раза наказывал».

«У Артемьевых он!» — подумал Аркадий Иванович и покачал головой.

Через минуту он вскочил, оживленный надеждой. Он просто кончил, подумал он; вот и всё; не утерпел да и убежал туда. Впрочем, нет! Он меня бы дождался... Взгляну-ка я, что там у него!

Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи: работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася...

— А, ты здесь? — закричал он, вздрогнув от испуга.

Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось...

— Вася, брат мой, что с тобой? что ты? — закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. — Объяснись со мной; я не понимаю тебя и тоски твоей; что с тобой, мученик ты мой? что? Скажи мне всё без утайки. Не может быть, чтоб это одно...

Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило.

— Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебе, что ж такое? Я не понимаю тебя; открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя... Ах, боже мой, боже мой! — говорил он, шагая по комнате и хватаясь за всё, что ни попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. — Я сам завтра, вместо тебя, пойду к Юлиану Мастаковичу, буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему всё, всё, если только это так тебя мучает...

— Боже тебя сохрани! — вскричал Вася и побелел как стена. Он едва устоял на месте.

— Вася, Вася!..

Вася очнулся. Губы его дрожали; он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия... Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза.

— Вася! бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой.

Слезы градом хлынули из глаз Васи; он бросился на грудь Аркадия.

— Я обманул тебя, Аркадий! — говорил он. — Я обманул тебя; прости меня, прости! Я обманул твою дружбу...

— Что, что, Вася? что ж такое? — спросил Аркадий решительно в ужасе.

— Вот!..

И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал.

— Что это?

— Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал! Не спрашивай, не спрашивай... как это сделалось! — продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. — Аркадий, друг мой! Я не знаю сам, что было со мной! Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. Я всё... я... ходил к ней... У меня сердце болело, я мучился... неизвестностью... я и не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся.

— Вася! — начал Аркадий Иванович решительно. — Вася! я спасу тебя. Я понимаю всё это. Это дело не шутка. Я спасу тебя! Слушай, слушай меня: я завтра же иду к Юлиану Мастаковичу... Не качай головой, нет, слушай! Я расскажу ему всё, как было; позволь уж мне сделать так... Я объясню ему... я на всё пойду! Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучишься.

— Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня? — проговорил Вася, весь похолодев от испуга.

Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся.

— Только-то? только это? — сказал он. — Помилуй, Вася, помилуй! не стыдно ли? Ну, послушай! Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу! Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Лизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься... Ну, постой, постой! Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мастаковича! Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего! Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не

было даже и несчастных на земле, когда ты женишься... Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смеюсь, это так; ты уж давно мне всё почти такое же в разных видах представлял. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь! Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое радение, уменье... ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал! Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мастакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, — и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность... Ведь так, не правда ли? Ведь так?

Аркадий Иванович, у которого дрожал голос оканчивая, замолчал и перевел дух.

Вася смотрел с любовью на своего друга. Улыбка скользила по губам его.

Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его.

— Ну, так слушай же, — начал снова Аркадий, еще более вдохновленный надеждою, — так и не нужно, чтоб Юлиан Мастакович изменил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой? в этом вопрос? А коль в этом, так я же, — сказал Аркадий, вскочив с места, — я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мастаковичу... И не противоречь мне! Ты, Вася, свой проступок до преступленья возводишь. А он, Юлиан Мастакович, великодушен и милосерд, да к тому же не таков, как ты! Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну! спокоен ли ты?

Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия.

— Полно, Аркадий, полно, — сказал он, — дело решенное. Ну, я не кончил, ну, и хорошо; не кончил, так не кончил. И тебе ходить не нужно: я сам всё расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен; только ты не ходи... Да послушай.

— Вася, дорогой ты мой! — вскричал в радости Аркадий Иванович. — Я по твоим словам говорил; я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, я при тебе, это помни! Я вижу, тебя терзает то, чтоб я не говорил ничего Юлиану Мастаковичу, — и не скажу, ничего не скажу, ты сам скажешь. Видишь ли: ты завтра пойдешь... или нет, ты не пойдешь, ты здесь будешь писать, понимаешь? а я там узнаю,

какое это дело, очень ли спешное или нет, нужно ли его к сроку или нет, и если просрочишь, так что может выйти из этого? Потом я к тебе прибегу... Видишь, видишь! уж есть надежда; ну, представь, что дело не спешное — ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может не напомнить, и тогда всё спасено.

Вася сомнительно покачал головою. Но благодарный взор его не сходил с лица друга.

— Ну, полно, полно! Я так слаб, так устал, — говорил он задыхаясь, — мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом! Я, видишь ли, и писать, пожалуй, не буду теперь, а только так, две странички только окончу, чтоб дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай... я давно хотел спросить тебя: как это ты так хорошо меня знаешь?

Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия.

— Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, — да!

— Да, да, Аркадий, я не знаю этого, потому... потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил! Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала? Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе (потому что и всегда думаю об тебе, когда засыпаю), я обливался слезами, и сердце мое дрожало оттого, оттого... Ну, оттого, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог...

— Видишь, Вася, видишь, какой ты!.. Смотри, как ты расстроен теперь, — говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю сцену на улице.

— Полно; ты хочешь, чтоб я успокоился, а я никогда еще не был так спокоен и счастлив! Знаешь ли... Послушай, мне бы хотелось тебе всё рассказать, да я всё боюсь тебя огорчить... Ты всё огорчаешься и кричишь на меня; а я пугаюсь... смотри, как я дрожу теперь, я не знаю отчего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде, — да! да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце... во мне было черство... Слушай, как это случилось, что никому-то, никому я не сделал добра на свете, потому что сделать не мог, — даже и видом-то я неприятен... А всякий-то мне делал добро! Вот ты первый: разве я не вижу. Я только молчал, только молчал!

— Вася, полно!

— Что ж, Аркаша! Что ж!.. Я ведь ничего... — прервал Вася, едва выговаривая слова от слез. — Я тебе говорил вчера про Юлиана Мастаковича. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой, даже ты несколько раз на замечанье к нему попадал, а со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне...

— Ну, что ж, Вася? Это только показывает, что ты достоин своего счастия.

— Ах, Аркаша! Как мне хотелось кончить это всё дело!.. Нет, я сгублю свое счастье! У меня есть предчувствие! да нет, не через это, — перебил Вася, затем что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе, — это ничего, это бумага писаная... вздор! Это дело решенное... я... Аркаша, был сегодня там, у них... я ведь не входил. Мне тяжело было, горько! Я только простоял у дверей. Она играла на фортепьяно, я слушал. Видишь, Аркадий, — сказал он, понижая голос, — я не посмел войти...

— Послушай, Вася, что с тобой? ты так на меня смотришь?

— Что? ничего? мне немного дурно; ноги дрожат; это оттого, что я ночью сидел. Да! у меня в глазах зеленеет. У меня здесь, здесь...

Он показал на сердце. С ним сделался обморок.

Когда он пришел в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно докончить свои две страницы. Чтоб не разгорячить его, Аркадий допустил его до бумаг.

— Видишь, — сказал Вася, усаживаясь на место, — видишь, и у меня идея пришла, есть надежда.

Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды.

— Вот что: я понесу ему послезавтра не всё. Про остальное солгу, скажу, что сгорело, что подмокло, что потерял... что, наконец, ну, не кончил, я лгать не могу. Я сам объясню — знаешь что? я объясню ему всё; я скажу: так и так, не мог... я расскажу ему про любовь мою; он же сам недавно женился, он поймет меня! Я сделаю это всё, разумеется, почтительно, тихо; он увидит слезы мои, он тронется ими...

— Да, разумеется, поди, поди к нему, объяснись... да тут и слез не нужно! из чего? Право, Вася, ты и меня совсем запугал.

— Да, я пойду, пойду. А теперь дай мне писать, дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону, дай мне писать!

Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на всё. Но просить прощения, в чем, как? Дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым *сам пред собою*, чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастием и считает себя его недостойным, что, наконец, он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности. «Вот что такое! — подумал Аркадий Иванович. — Нужно спасти его. Нужно помирить его с самим собою. Он сам себя отпевает». Он думал, думал да и решил немедленно идти к Юлиану Мастаковичу, завтра же идти, и рассказать ему всё.

Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович прилег, чтоб пораздумать о деле опять, и проснулся перед рассветом.

— Ай, черт! опять! — закричал он, посмотрев на Васю; тот сидел и писал.

Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался: глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить.

— Я и сам хотел лечь, — сказал он. — Знаешь, Аркадий, у меня есть идея; я кончу. Я *ускорил* перо! Дальше сидеть я был неспособен; разбуди меня в восемь часов.

Он не договорил и заснул как убитый.

— Мавра! — шепотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносившей чай, — он просил разбудить его через час. Ни под каким видом! пусть спит хоть десять часов, понимаешь?

— Понимаю, барин-батюшка.

— Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе! Коли спросит меня, скажи, что я в должность ушел, понимаешь?

— Понимаю-ста, батюшка-барин; пусть почивает вволю, что мне! Я рада барскому сну; и барское добро берегу. А намедни, что чашку разбила и попрекать изволили, так это не я, это кошка Машка разбила, а я не догляди за ней; брысь, говорю, проклятая!

— Тсс, молчи, молчи!

Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мастаковичу, и ловко ли, и не дерзко ли будет? В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство; ответили, что нет да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мастакович не приехал, так, стало быть, занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукою он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями, — какими, не знал никто. Наконец пробило три часа, и Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил, этак будет в первом часу, и спрашивал, прибавил писарь: тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мастакович. Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга.

Шумков был дома. Он ходил по комнате чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, затем что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой, пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную, бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и муче-

ния Аркадия возросли до последней степени. Наконец, часу в одиннадцатом, Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло две-три минуты; Вася молчал. «Вася! — крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. — Вася! — повторил он, вскочив с кровати. — Вася, что с тобой? что ты?» — закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. «На него столбняк нашел!» — подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках, — и Вася очнулся. «Вася, Вася! — кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. — Вася, не губи себя, вспомни! вспомни!..» Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи; он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится.

— Не знаю, что это со мною! — проговорил он наконец, — я, кажется, надорвался. Ну, хорошо, хорошо! Полно, Аркадий, не печалься; полно! — повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом, — чего беспокоиться? полно!

— Ты же, ты же меня утешаешь, — закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. — Вася, — сказал он наконец, — приляг, засни немножко, что? Не мучь себя понапрасну! Лучше потом опять сядешь работать!

— Да, да! — повторял Вася. — Изволь! я лягу; хорошо; да! видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал, да...

И Аркадий утащил его на постель.

— Слушай, Вася, — сказал он твердо, — нужно окончательно решить это дело! Скажи мне, что ты задумал?

— Ах! — сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову.

— Полно, Вася, полно! решись! Я не хочу быть убийцей твоим: я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не решишься, я знаю.

— Как хочешь, как хочешь, — загадочно повторил Вася.

«Сдается!» — подумал Аркадий Иванович.

— Последуй мне, Вася, — сказал он, — вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра; завтра я решу твою участь! Что я говорю, участь! Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую твоими словами. Какая участь! Просто вздор, пустяки! Тебе не хочется потерять расположение, любовь, если хочешь, Юлиана Мастаковича, да! и не потеряешь, увидишь... Я...

Аркадий Иванович еще долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его.

— Довольно! — сказал он слабым голосом, — довольно! полно об этом!

И он снова повернул к стене свою голову.

«Боже мой! — думал Аркадий, — боже мой! что с ним? Он совсем потерялся; на что он решился такое? Он погубит себя».

Аркадий смотрел на него в отчаянии.

«Если б он заболел, — думал Аркадий, — может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить всё дело. Но что я вру! Ах, создатель мой!..»

Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. «Добрый знак!» — думал он. Он решился сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминутно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх; казалось, он заснул как убитый. Было около двух часов утра; Аркадий Иванович задремал на стуле, облокотясь локтем на стол.

Сон его был тревожен и странен. Ему всё казалось, что он не спит и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело! Ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его и вот-вот встает потихоньку, наблюдая его вполглаза, и крадется за письменный стол. Жгучая боль захватывала сердце Аркадия; ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унесть на кровать... Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия, сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал.

Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель: там не было Васи. Аркадий вскочил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся. Он всё писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело! «Нет, это не столбняк! — подумал Аркадий Иванович и затрясся всем телом. — Вася, Вася! откликнись же мне!» — закричал он, схватив его за плечо. Но Вася молчал и по-прежнему продолжал строчить сухим пером по бумаге.

— Наконец я *ускорил* перо, — проговорил он, не подымая головы на Аркадия.

Аркадий схватил его за руку и вырвал перо.

Стон вырвался из груди Васи. Он опустил руку и поднял глаза на Аркадия, потом с томительно-тоскливым чувством провел рукою по лбу, как будто желая снять с себя какой-то тяжелый, свинцовый груз, налегший на всё существо его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову.

— Вася, Вася! — вскричал Аркадий Иванович в отчаянии. — Вася!

Через минуту Вася посмотрел на него. Слезы стояли в его больших голубых глазах, и бледное кроткое лицо его выразило бесконечную муку... Он что-то шептал.

— Что, что? — закричал Аркадий, наклоняясь к нему.

— За что же, за что меня? — шептал Вася. — За что? Что я сделал?

— Вася! что ты? чего ты боишься, Вася? чего? — закричал Аркадий, ломая руки в отчаянии.

— За что ж меня в солдаты-то отдавать? — сказал Вася, посмотрев прямо в глаза своего друга. — За что? что я сделал?

Волосы стали дыбом на голове Аркадия; он не хотел верить. Он стоял над ним как убитый.

Через минуту он опомнился. «Это так, это минутное!» — говорил он про себя, весь бледный, с дрожащими, посинелыми губами, и бросился одеваться. Он хотел бежать прямо за доктором. Вдруг Вася кликнул его; Аркадий бросился на него и обнял его, как мать, у которой отнимают родное дитя...

— Аркадий, Аркадий, не говори никому! слышишь; моя беда! Пусть я один и несу...

— Что ты? что ты? опомнись, Вася, опомнись!

Вася вздохнул, и тихие слезы заструились по щекам его.

— За что же ее убивать? чем же она, чем же она виновата!.. — проворчал он мучительным, раздирающим душу голосом. — Мой грех, мой грех!..

Он замолчал на минуту.

— Прощай, моя люба! Прощай, моя люба! — шептал он, качая бедной своей головою. Аркадий вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором. — Идем! пора! — закричал Вася, увлекшись последним движением Аркадия. — Идем, брат, идем; я готов! Ты меня проводи! — Он замолчал и взглянул на Аркадия убитым, недоверчивым взглядом.

— Вася, не ходи за мной, ради бога! подожди меня здесь. Я сейчас, сейчас ворочусь к тебе, — говорил Аркадий Иванович, сам теряя голову и схватив фуражку, чтобы бежать за доктором. Вася уселся тотчас; он был тих и послушен, только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый перочинный ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры.

Был восьмой час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате.

Он не нашел никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адресы которых узнавал он у дворников, наведываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали, кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел Нефедевич: от кого, кто и как, по какой надобности и как даже будет приметами ранний посетитель? — и заключил тем, что нельзя, дела много и ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу везти.

Тогда убитый, потрясенный Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил всё, всех докторов на свете, и пустился домой, в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывала, мела пол, ломала лучинки и готови-

лась печь топить. Он в комнату — Васи и след простыл: он ушел со двора.

«Куда? где? куда побежит несчастный?» — подумал Аркадий, леденея от ужаса. Он начал допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел, прости его господи! Нефедевич бросился к коломенским.

Ему, бог знает отчего, пришло на мысль, что он там.

Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася? У старухи подломились ноги; она рухнулась на диван. Лизанька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басню, которой, разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство, чтоб по крайней мере не опоздать и дать знать туда, чтоб поскорее приняли меры. Дорогою ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мастаковича. Это было вернее всего: Аркадий прежде всего, прежде коломенских, подумал об этом. Проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать: нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству по крайней мере в качестве рапортующего об Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать!

Еще в приемной окружили его товарищи помоложе, все большею частию ему равные чином, и в один голос стали расспрашивать, что сделалось с Васей? Все они в то же время говорили, что Вася с ума сошел и помешался на том, что его в солдаты хотят отдать за неисправное исполнение дела. Аркадий Иванович отвечал на все стороны или, лучше сказать, не отвечая положительно никому, стремился во внутренние покои. На дороге узнал он, что Вася в кабинете Юлиана Мастаковича, что туда все пошли и что Эспер Иванович тоже туда пошел. Он было приостановился. Кто-то из старших спросил его, куда он и что ему надо? Не отличив лица, он проговорил что-то об Васе и пошел прямо в кабинет. Оттуда уже слышался голос Юлиана Мастаковича. «Куда вы?» — спросил его кто-то у самых дверей. Аркадий Иванович почти потерялся; он уже хотел было воротиться, но из-за приотворенной двери увидел своего бедного Васю. Он отворил и протеснился кое-как в комнату. Там царствовала суматоха и недоумение, затем что Юлиан Мастакович был, по-видимому, в сильном огорчении. Около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решили ровно ничего. Поодаль стоял Вася. Всё замерло в груди Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Он глядел прямо в глаза Юлиану Мастаковичу. Тотчас заметили Нефедевича, и кто-то, знавший, что они сожители, доложил о том его превосходительству. Аркадия подвели. Он хотел что-то ответить на предло-

женные вопросы, взглянул на Юлиана Мастаковича и, видя, что на лице его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдал как ребенок. Он даже сделал более: бросился, схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юлиан Мастакович принужден был отнять ее наскоро, махнуть ею по воздуху и сказать: «Ну, полно, брат, полно; вижу, что у тебя доброе сердце». Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нем. «Как же это, как же это с ним сделалось? — говорил Юлиан Мастакович. — Отчего же он с ума сошел?»

— От бла-благо-дарности! — мог только выговорить Аркадий Иванович.

Все выслушали ответ его в недоумении, и всем показалось странным и невероятным: как же это так может из благодарности сойти с ума человек? Аркадий объяснился как умел.

— Боже, как жаль! — проговорил наконец Юлиан Мастакович. — И дело-то, порученное ему, было неважное и вовсе не спешное. Так-таки, не из-за чего, погиб человек! Что ж, отвести его!.. — Тут Юлиан Мастакович обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. — Он просит, — сказал он, указав на Васю, — чтоб не говорили об этом какой-то девушке; что она, невеста, что ли, его?

Аркадий стал объяснять. Между тем Вася как будто думал о чем-то, как будто с величайшим напряжением припоминал одну важную, нужную вещь, которая вот именно теперь бы и пригодилась. Порой он страдальчески поводил глазами, как будто надеялся, что кто-нибудь напомнит ему про то, что забыл он. Он устремился глазами на Аркадия. Наконец, вдруг, как будто надежда блеснула в глазах его, он двинулся с места с левой ноги, ступил три шага как только мог ловче и даже пристукнул правым сапогом, как делают солдаты, подойдя к подозвавшему их офицеру. Все ожидали, что будет.

— Я с телесным недостатком, ваше превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу, — сказал он отрывисто.

Тут все, кто ни были в комнате, все почувствовали, как будто кто-нибудь сжал им сердце, и даже как ни тверд был характером Юлиан Мастакович, но слеза потекла из глаз его. «Уведите его», — сказал он, махнув рукою.

— Лоб! — сказал Вася вполголоса, повернулся налево кругом и вышел из комнаты. За ним бросились все, кого интересовала его участь. Аркадий теснился за прочими. Васю усадили в приемной в ожидании предписания и кареты, чтоб отвезти его в больницу. Он сидел молча и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут: «пора». Кругом его столпился тесный кружок; все покачивали головами, все сетовали. Многих поразила его история, которая уже вдруг

сделалась известною; одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю, говорили, что был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много; рассказывали, как он старался учиться, был любознателен, стремился образовать себя. «Собственными силами вышел из низкого состояния!» — заметил кто-то. С умилением говорили о привязанности к нему его превосходительства. Некоторые пустились объяснять, почему именно пришло в голову Васе и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что бедняк недавно из податного звания и только по ходатайству Юлиана Мастаковича, умевшего отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. Одним словом, очень много было разных толков и мнений. В особенности, из потрясенных, заметен был один, очень маленький ростом, сослуживец Васи Шумкова. И не то чтобы-таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати. Он был бледен как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался — может быть, потому, что всякое скандалезное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя. Он поминутно обегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать, и всё говорил, что он знает, отчего это всё, что это не то чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя; потом опять становился на цыпочки, нашептывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и снова перебегал далее. Наконец кончилось всё: явился сторож, фельдшер из больницы, подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами! «Вася! Вася!» — закричал, рыдая, Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий-таки протеснился к нему. Они бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга... Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастие вырывало слезы из глаз их? об чем они плакали? где эта беда? зачем они не понимали друг друга?..

— На, на, возьми! сбереги это, — говорил Шумков, всовывая какую-то бумажку в руку Аркадия. — Они у меня унесут. Принеси мне потом, принеси; сбереги... — Вася не договорил, его кликнули. Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою, прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку: это был локон черных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. «Ах, бедная Лиза!»

По окончании служебного времени он пошел к коломенским. Нечего говорить, что там было! Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол, закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его детского сердца. Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя

к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит па фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту...

Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна — он взял другую. К коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через два года он встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит... Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе...

ЧУЖАЯ ЖЕНА
И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

(Происшествие необыкновенное)

I

— Сделайте одолжение, милостивый государь, позвольте вас спросить...

Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков, в восьмом часу вечера, среди улицы. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается.

Итак, прохожий вздрогнул и несколько испугался.

— Извините, что я вас потревожил, — говорил господин в енотах, — но я... я, право, не знаю... вы, вероятно, извините меня; вы видите, я в некотором расстройстве духа...

Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был точно в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу, может быть к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фрак и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фрак. Видно было, что всё это смущало самого господина в енотах, так что наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить свое волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же вызвал.

— Извините меня, я не в себе; но вы, правда, меня не знаете... Извините, что обеспокоил вас; я раздумал.

Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее.

— Но позвольте, сделайте милость.

Маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше.

«Что за чудак!» — подумал господин в бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед наконец из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечноэтажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежно весь день простоявший извозчик мог заметить ее.

— Извините!

Прохожий опять вздрогнул: опять тот же господин в енотах стоял перед ним.

— Извините, что я опять... — заговорил он, — но вы, вы — верно, благородный человек! Не обращайте на меня внимания как на лицо, взятое в общественном смысле; я, впрочем, сбиваюсь; но вникните, по-человечески... перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе...

— Если могу... что вам угодно?

— Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу! — сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея.

— Помилуйте-с...

— Нет,я вижу, что я вам в тягость! Извините, я не могу переносить себя; считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь...

— Но к делу, к делу! — отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой.

— А! Теперь вот как! Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка! Я решительно выжил из ума!.. Как я вам кажусь теперь в моем унижении, скажите откровенно?

Молодой человек сконфузился и смолчал.

— Позвольте вас спросить откровенно: не видали ль вы одной дамы? В этом вся просьба моя! — решительно проговорил наконец господин в енотовой шубе.

— Дамы?

— Да-с, одной дамы.

— Я видел... но их, признаюсь, так прошло много...

— Так точно-с, — отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. — Я сбиваюсь, я не то хотел спросить, извините меня; я хотел сказать, не видали ль вы одной госпожи в лисьем салопе, в темном бархатном капоре с черной вуалью?

— Нет, такой не видал... нет, кажется, не заметил.

— А! в таком случае извините-с!

Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в остолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А, черт бы его взял!» — подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный.

Он с досадою закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечноэтажного дома. Он злился.

«Что ж она не выходит? — думал он. — Скоро восемь часов!»

На башне пробило восемь часов.

— Ах! черт вас возьми, наконец!

— Извините-с!..

— Извините меня, что я вас так... Но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем, — проговорил прохожий, морщась и извиняясь.

— Я опять к вам-с. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с.

— Сделайте одолжение, без пустяков, объяснитесь скорее; я еще не знаю, в чем ваше желанье?..

— Вы торопитесь? Видите ли-с. Я вам всё расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать! Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров... Но, я вижу, вы нетерпеливы, молодой человек... Так вот-с... впрочем, я не знаю, как и говорить: я ищу даму-с (я уж решился всё говорить). Я именно должен знать, куда пошла эта дама? Кто она,— я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек.

— Ну-с, ну-с, дальше.

— Дальше! но ваш тон со мной! Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего... одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот-с, одна дама-с, то есть я хочу сказать порядочная женщина, из превосходного семейства, моих знакомых... мне поручено... я, видите ли, сам не имею семейства...

— Ну-с.

— Вникните в мое положение, молодой человек (ах, опять! извините-с; я всё называю вас молодым человеком). Каждая минута дорога... Представьте себе, эта дама... но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?

— Да... тут много живут.

— Да, то есть вы совершенно справедливы, — отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения приличий, — чувствую, я немного сбиваюсь... но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь, и если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели мое унижение... Я говорю, одна дама, благородного поведения, то есть легкого содержания, — извините, я так сбиваюсь, точно про литературу какую говорю; вот — выдумали, что Поль де Кок легкого содержания, а вся беда от Поль де Кока-то-с... вот!..

Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в енотах, который, казалось, окончательно сбился. замолчал, глядел на него, бессмысленно улыбаясь, и дрожащею рукою, без всякой видимой причины, хватал его за лацкан бекеши.

— Вы спрашиваете, кто здесь живет? — спросил молодой человек, несколько отступая назад.

— Да, многие живут, вы сказали.

— Здесь... я знаю, что здесь Софья Остафьевна тоже живет, — проговорил молодой человек шепотом и даже с каким-то соболезнованием.

— Ну, вот видите, видите! вы что-нибудь знаете, молодой человек?

— Уверяю вас, нет, ничего не знаю... Я судил по расстроенному вашему виду.

— Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит; но вы не на то напали, то есть не к Софье Остафьевне... она с ней незнакома...

— Нет? ну, извините-с...

— Видно, что вам это всё неинтересно, молодой человек, — проговорил странный господин с горькой иронией.

— Послушайте, — сказал молодой человек заминаясь, — я в сущности не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили, вы скажите прямо?

Молодой человек одобрительно улыбнулся.

— Мы по крайней мере поймем друг друга, — прибавил он, и всё тело его великодушно обнаружило желание сделать легкий полупоклон.

— Вы убили меня! но — откровенно признаюсь вам — именно так... но с кем не случается!.. До глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми... Я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостёжью, известно...

— Ну, уж известно, известно! Но чем же я могу вам помочь?

— А вот-с; согласитесь, что посещать Софью Остафьевну... Впрочем, я еще не знаю наверно, куда пошла эта дама; я знаю только, что она в этом доме; но, видя вас прогуливающимся, — а я сам прогуливался по той стороне, — думаю... я вот , видите ли, жду эту даму... я знаю, что она тут, — мне бы хотелось встретить ее и объяснить, как неприлично и гнусно... одним словом, вы меня понимаете...

— Гм! Ну!

— Я и не для себя это делаю; вы не подумайте — это чужая жена! Муж там стоит, на Вознесенском мосту; он хочет поймать, но он не решается — он еще не верит, как и всякий муж... (тут господин в енотах хотел улыбнуться), я — друг его; согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважением, — я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете.

— Конечно-с; ну-с, ну-с!..

— Так вот, я всё ее ловлю; мне поручено-с (несчастный муж!); но я знаю, это хитрая молодая дама (вечно Поль де Кок под подушкой); я уверен, что она прошмыгнет как-нибудь незаметно... Мне, признаюсь, кухарка сказала, что она ходит сюда; я как сумасшедший бросился, только что известие получил; я хочу поймать; я давно подозревал и потому хотел просить вас, вы здесь ходите... вы — вы — я не знаю...

— Ну, да, наконец, что ж вам угодно?

— Да-с... Не имею чести знать вас; не смею любопытствовать, кто и как... Во всяком случае, позвольте познакомиться; приятный случай!..

Дрожащий господин жарко потряс руку молодого человека.

— Это бы я должен был сделать в самом начале, — прибавил он, — но я забыл всё приличие!

Говоря, господин в енотах не мог постоять на месте, с беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека.

— Видите ли-с, — продолжал он, — я хотел обратиться к вам по-дружески... извините за вольность... хотел испросить у вас, чтоб вы ходили — по той стороне и со стороны переулка, где черный выход, этак *покоем,* описывая букву *П* то есть. Я тоже, с своей стороны, буду ходить с главного подъезда, так что мы не пропустим; а я всё боялся один пропустить; я не хочу пропустить. Вы, как увидите ее, то остановите и закричите мне... Но я сумасшедший! Только теперь вижу всю глупость и неприличие моего предложения!

— Нет, что ж! помилуйте!..

— Не извиняйте меня; я в расстройстве духа, я теряюсь, как никогда не терялся! Точно меня под суд отдали! Я даже признаюсь вам — я буду благороден и откровенен с вами, молодой человек: я даже вас принимал за любовника!

— То есть, попросту, вы хотите знать, что я здесь делаю?

— Благородный человек, милостивый государь, я далек от мысли, что вы *он;* я не замараю вас этою мыслию, но... но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник?..

— Ну, хорошо, извольте, честное слово, что любовник, но не вашей жены; иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею!

— Жены? кто вам сказал жены, молодой человек? Я холостой, я, то есть, сам любовник...

— Вы говорили, есть муж... на Вознесенском мосту...

— Конечно, конечно, я заговариваюсь; но есть другие узы! И согласитесь, молодой человек, некоторая легкость характеров, то есть...

— Ну, ну! Хорошо, хорошо!..

— То есть я вовсе не муж...

— Очень верю-с. Но откровенно говорю вам, что, разуверяя вас теперь, хочу сам себя успокоить и оттого собственно с вами

и откровенен; вы меня расстроили и мешаете мне. Обещаю вам, что кликну вас. Но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду.

— Извольте, извольте-с, я удаляюсь, я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю!

— Хорошо, хорошо...

— До свидания!.. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам... Я не знаю, как сказать... Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник!

— Ах, господи, бог мой!

— Еще вопрос, последний: вы знаете фамилию мужа вашей... то есть той, которая составляет ваш предмет?

— Разумеется, знаю; не ваша фамилия, и кончено дело!

— А почему ж вы знаете мою фамилию?

— Да послушайте, ступайте; вы теряете время: она уйдет тысячу раз... Ну, что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке... Ну, что ж вам еще? чего ж больше?

— В голубой бархатной шляпке! У ней есть и клетчатый плащ и голубая шляпка, — закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги.

— Ах, черт возьми! Ну, да ведь это может случиться... Да, впрочем, что ж я! Моя же туда не ходит!

— А где она — ваша?

— Вам это хочется знать; что ж вам?

— Признаюсь, я всё про то...

— Фу, бог мой! Да вы без стыда без всякого! Ну, у моей здесь знакомые, в третьем этаже, на улицу. Ну, что ж вам, по именам людей называть, что ли?

— Бог мой! И у меня есть знакомые в третьем этаже, и окна на улицу. Генерал...

— Генерал?!

— Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал: ну, генерал Половицын.

— Вот тебе на! Нет, это не те! (Ах, черт возьми! черт возьми!)

— Не те?

— Не те.

Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга.

— Ну, что ж вы так смотрите на меня? — вскрикнул молодой человек, с досадою отряхая с себя столбняк и раздумье.

Господин заметался.

— Я, я, признаюсь...

— Нет, уж позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне... Кто у вас там?..

— То есть знакомые?

— Да, знакомые...

— Вот видите, видите! Я по глазам вашим вижу, что я угадал!

— Черт возьми! да нет же, нет, черт возьми! слепы вы, что ли? ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь; ну! ну же! Да, впрочем, мне всё равно; хоть говорите, хоть нет!

Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой.

— Да я ничего, помилуйте, как благородный человек, я вам всё расскажу: сначала жена сюда ходила одна; она им родня; я и не подозревал; вчера встречаю его превосходительство: говорит, что уж три недели как переехал отсюда на другую квартиру, а же... то есть не жена, а чужая жена (на Вознесенском мосту), эта дама говорила, что еще третьего дня была у них, то есть на этой квартире... А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительства снял молодой человек Бобыницын...

— Ах, черт возьми, черт возьми!..

— Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе!

— Э, черт возьми! да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе? Ах! вон-вон мелькнуло, вон...

— Где? где? вы только крикните: Иван Андреич, а я побегу...

— Хорошо, хорошо. Ах, черт возьми, черт возьми! Иван Андреич!!

— Здесь, — закричал воротившийся Иван Андреич, совсем задыхаясь. — Ну, что? что? где?

— Нет, я только так... я хотел знать, как зовут эту даму?

— Глаф...

— Глафира?

— Нет, не совсем Глафира... извините, я вам не могу сказать ее имя. — Говоря это, почтенный человек был бледен как платок.

— Да, конечно, не Глафира, я сам знаю, что не Глафира, и та не Глафира; а впрочем, с кем же она?

— Где?

— Там! Ах, черт возьми, черт возьми! (Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства.)

— А, видите! почему же вы знали, что ее зовут Глафирой?

— Ну, черт возьми, наконец! еще с вами возня! Да ведь вы говорите — вашу не Глафирой зовут!..

— Милостивый государь, какой тон!

— А, черт, не до тону! Что она, жена, что ли, ваша?

— Нет, то есть я не женат... Но не стал бы я сулить почтенному человеку в несчастии, — человеку — не скажу достойному всякого уважения, но по крайней мере воспитанному человеку, — черта на каждом шагу. Вы всё говорите: черт возьми! черт возьми!

— Ну да, черт возьми! вот же вам, понимаете?

— Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это?

— Где?

Раздался шум и хохот; две смазливые девушки вышли с крыльца; оба бросились к ним.

— Ах какие! что вы?

— Куда вы суетесь?

— Не те!

— Что, не на тех напали! Извозчик!

— Куда вас, мамзель?

— К Покрову; садись, Аннушка, я довезу.

— Ну, а я с той стороны; пошел! Смотри же, шибче вези... Извозчик уехал.

— Это откуда?

— Боже мой, боже! Но не пойти ли туда?

— Куда?

— Да к Бобыницыну.

— Нет-с, нельзя...

— Отчего?

— Я бы, конечно, пошел; но тогда она скажет другое; она... обернется: я ее знаю! Она скажет, что нарочно пришла, чтоб меня поймать с кем-нибудь, да беду на меня же и свалит!

— И знать, что, может быть, там она! Да вы — я не знаю, почему же — ну, да вы подите к генералу-то...

— Да ведь он переехал!

— Всё равно, понимаете? она же ведь пошла; ну, и вы тоже — поняли? Сделайте так, что как будто не знаете, что генерал переехал, приходи́те как будто к нему за женой, ну и так далее.

— А потом?

— Ну, а потом накрывайте кого следует у Бобыницына; фу, ты, черт, какой бестолк...

— Ну, а вам-то что до того, что я накрываю? Видите, видите!..

— Что, что, батенька? что? опять за то же, что прежде? Ах, ты, господи, господи! Срамитесь вы, смешной человек, бестолковый вы человек!

— Ну, да зачем же вы так интересуетесь? вы хотите узнать...

— Что узнать? что? Ну, да, черт возьми, не до вас теперь! Я и один пойду; ступайте, подите прочь; стерегите, бегайте там, ну!

— Милостивый государь, вы почти забываетесь! — закричал господин в енотах в отчаянии.

— Ну, что ж? ну, что ж, что я забываюсь? — проговорил молодой человек, стиснув зубы и в бешенстве приступая к господину в енотах, — ну, что ж? перед кем забываюсь?! — загремел он, сжимая кулаки.

— Но, милостивый государь, позвольте...

— Ну, кто вы, перед кем забываюсь; как ваша фамилия?

— Я не знаю, как это, молодой человек; зачем же фамилию?.. Я не могу объявить... Я лучше с вами пойду. Пойдемте, я не отстану, я на всё готов... Но, поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений! Не нужно нигде терять присутствия духа, и если вы чем расстроены,— я догадываюсь чем, — то по крайней мере забываться не нужно... Вы еще очень, очень молодой человек!..

— Да что мне, что вы старый? Эка невидаль! ступайте прочь; чего вы тут бегаете?..

— Почему ж я старый? какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю...

— Это и видно. Да убирайтесь же прочь...

— Нет, уж я с вами; вы мне не можете запретить; я тоже замешан; я с вами...

— Ну, так тише же, тише, молчать!..

Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж; было темнехонько.

— Стойте! Есть у вас спички?

— Спички? какие спички?

— Вы курите сигары?

— А, да! есть, есть; здесь они, здесь; вот, постойте... — Господин в енотах засуетился.

— Фу, какой бестолков... черт! кажется, эта дверь...

— Эта-эта-эта-эта-эта...

— Эта-эта-эта... что вы орете? тише!..

— Милостивый государь, я скрепя сердце... вы дерзкий человек, вот что!..

Вспыхнул огонь.

— Ну, так и есть, вот медная дощечка! вот Бобыницын; видите: Бобыницын?..

— Вижу, вижу!

— Ти...ше! Что, потухла?

— Потухла.

— Нужно постучаться?

— Да, нужно! — отозвался господин в енотах.

— Стучитесь!

— Нет, зачем же я? вы начните, вы постучите...

— Трус!

— Сами вы трус!

— Уб-бир-райтесь же!

— Я почти раскаиваюсь, что поверил вам тайну; вы...

— Я? Ну, что ж я?

— Вы воспользовались расстройством моим! вы видели, что я в расстроенном духе...

— А наплевать! мне смешно — вот и кончено!

— Зачем же вы здесь?

— А вы-то зачем?..

— Прекрасная нравственность! — заметил с негодованием господин в енотах...

— Ну, что вы про нравственность? вы-то чего?

— А вот и безнравственно!

— Что?!!

— Да, по-вашему, каждый обиженный муж есть колпак!

— Да вы разве муж? Ведь муж-то на Вознесенском мосту? Что ж вам-то? Чего вы пристали?

— А вот мне кажется, что вы-то и есть любовник!..

— Послушайте, если вы будете так продолжать, то я должен буду признаться, что вы-то и есть колпак! то есть знаете кто?

— То есть вы хотите сказать, что я муж! — сказал господин в енотах, как будто кипятком обваренный, отступая назад.

— Тсс! молчать! слышите...

— Это она.

— Нет!

— Фу, как темно!

Всё затихло; в квартире Бобыницына послышался шум.

-- За что нам ссориться, милостивый государь? — прошептал господин в енотах.

— Да вы же, черт возьми, сами обиделись!

— Но вы меня вывели из последних границ.

— Молчите!

— Согласитесь, что вы еще очень молодой человек...

— Мо-л-чите же!

— Конечно, я согласен с вашей идеей, что муж в таком положении — колпак.

— Да замолчите ли вы? о!..

— Но к чему же такое озлобленное преследование несчастного мужа?..

— Это она!

Но шум в это время умолк.

— Она?

— Она! она! она! Да вы-то, вы-то из чего хлопочете! ведь не ваша беда!

— Милостивый государь, милостивый государь! — бормотал господин в енотах, бледнея и всхлипывая. — Я, конечно, в расстройстве... вы достаточно видели мое унижение; но теперь ночь, конечно, но завтра... впрочем, мы, верно, не встретимся завтра, хотя я и не боюсь встретиться с вами, — и это, впрочем, не я, это мой приятель, который на Вознесенском мосту; право, он! Это его жена, это чужая жена! Несчастный человек! уверяю вас. Я с ним знаком хорошо; позвольте, я вам всё расскажу.Я с ним друг, как вы можете видеть, ибо не стал бы я так теперь из-за него сокрушаться, — сами видите; я же несколько раз ему говорил: зачем ты женишься, милый друг? звание есть у тебя, достаток есть у тебя, почтенный ты человек, что ж менять это всё на прихоть кокетства! Согласитесь! Нет, женюсь, говорит: семейное счастие... Вот и семейное счастие! Сначала сам мужей обманывал, а теперь и пьет чашу... вы извините меня, но это объяснение было вынуждено необходимостию!.. Он несчастный человек и пьет чашу — вот!.. — Тут господин в енотах так всхлипнул, как будто зарыдал не на шутку.

— А черт бы взял их всех! Мало ли дураков! Да вы кто такой?

Молодой человек скрежетал зубами от бешенства.

— Ну, уж после этого, согласитесь сами... я был с вами благороден и откровенен.. этакой тон!

— Нет, позвольте, вы меня извините... как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилия?

— А!!

— Мне нельзя сказать фамилию...

— Шабрина знаете? — быстро сказал молодой человек.

— Шабрин!!!

— Да, Шабрин! а!!! (Тут господин в бекеше несколько поддразнил господина в енотах.) Поняли дело?

— Нет-с, какой же Шабрин! — отвечал оторопевший господин в енотах, — совсем не Шабрин; он почтенный человек! Извиняю вашу невежливость мучениями ревности.

— Мошенник он, продажная душа, взяточник, плут, казну обворовал! Его скоро под суд отдадут!

— Извините, — говорил господин в енотах, бледнея, — вы его не знаете; совершенно, как я вижу, он вам неизвестен.

— Да, в лицо-то не знаю, а из других очень близких ему источников знаю.

— Милостивый государь, из каких источников? Я в расстройстве, вы видите...

— Дурак! ревнивец! за женой не усмотрит! Вот он какой, коль приятно вам знать!

— Извините, вы в ожесточенном заблуждении, молодой человек...

— Ах!

— Ах!

В квартире Бобыницына послышался шум. Стали отворять дверь. Послышались голоса.

— Ах, это не она, не она! Я узнаю ее голос; я теперь узнал всё, это не она! — сказал господин в енотах, побледнев как платок.

— Молчать!

Молодой человек прислонился к стене.

— Милостивый государь, я бегу: это не она, я очень рад.

— Ну, ну! ступайте, ступайте!

— А чего ж вы стоите?

— А вы-то чего?

Дверь отворилась, и господин в енотах, не выдержав, стремглав покатился с лестницы.

Мимо молодого человека прошли мужчина и женщина, и сердце его замерло... Послышался знакомый женский голос, и потом сиплый мужской, но совсем незнакомый.

— Ничего, я прикажу сани подать, — говорил сиплый голос.

— Ах! ну, ну, согласна; ну, прикажите...

— Они там, сейчас.

Дама осталась одна.

— Глафира! где твои клятвы? — вскричал молодой человек в бекеше, хватая за руку даму.

— Ай, кто это? Это вы, Творогов? Боже мой! что вы делаете?

— С кем вы здесь были?

— Но это мой муж, уйдите, уйдите, он сейчас выйдет оттуда... от Половицыных; уйдите, ради бога, уйдите.

— Половицыны три недели как переехали! Я всё знаю!

— Ай! — Дама бросилась на крыльцо. Молодой человек догнал ее.

— Кто вам сказал? — спросила дама.

— Муж ваш, сударыня, Иван Андреич; он здесь, он перед вами, сударыня...

Иван Андреич действительно стоял у крыльца.

— Ай, это вы? — закричал господин в енотовой шубе.

— А! c'est vous? [1] — закричала Глафира Петровна, с неподдельною радостью бросаясь к нему, — боже! что со мной было! Я была у Половицыных; можешь себе представить... ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста; я говорила тебе, помнишь? Я взяла сани оттудова. Лошади взбесились, понесли, разбили сани, и я упала отсюда во ста шагах; кучера взяли; я была вне себя. К счастию, monsieur [2] Творогов...

— Как?

M-r Творогов походил более на окаменелость, чем на m-r Творогова.

— Monsieur Творогов увидал меня здесь и взялся проводить; но теперь ты здесь, и я могу вам только изъявить мою жаркую благодарность, Иван Ильич...

Дама подала руку остолбенелому Ивану Ильичу и почти ущипнула, а не сжала ее.

— Monsieur Творогов! мой знакомый; на бале у Скорлуповых имели удовольствие видеться: я, кажется, говорила тебе? Неужели ты не помнишь, Коко?

— Ах, конечно, конечно! ах, помню! — заговорил господин в енотовой шубе, которого называли Коко. — Очень приятно, очень приятно.

И он жарко пожал руку господину Творогову.

— Это с кем? Что же это значит? Я жду... — раздался сиплый голос.

Перед группой стоял господин бесконечного роста; он вынул лорнет и внимательно посмотрел на господина в енотовой шубе.

— Ах, monsieur Бобыницын! — защебетала дама. — Откудова? вот встреча! Представьте, меня тотчас разбили лошади... но вот мой муж! Jean! [3] Monsieur Бобыницын, на бале у Карповых...

---

[1] это вы? (*франц.*)
[2] господин (*франц.*).
[3] Жан (*франц.*).

— Ах, очень, очень, очень приятно!.. Но я сейчас возьму карету, мой друг.

— Возьми, Jean, возьми: я вся в испуге; я дрожу; со мной даже дурно... Сегодня в маскараде, — шепнула она Творогову... — Прощайте, прощайте, господин Бобыницын! мы, верно, встретимся завтра на бале у Карповых...

— Нет, извините, я завтра не буду; я уж завтра того, коль теперь не так... — Господин Бобыницын проворчал что-то еще сквозь зубы, шаркнул сапожищем, сел в свои сани и уехал.

Подъехала карета; дама села в нее. Господин в енотовой шубе остановился; казалось, он не в силах был сделать движения и бессмысленно смотрел на господина в бекеше. Господин в бекеше улыбался довольно неостроумно.

— Я не знаю...

— Извините, очень рад быть знакомым, — отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и немного сробев.

— Очень, очень рад...

— У вас, кажется, свалилась калоша...

— У меня? Ах да! благодарю, благодарю; хочу всё завести резинные...

— В резинных нога как будто потеет-с, — сказал молодой человек, по-видимому с безграничным участием.

— Jean! да скоро ли ты?

— Именно потеет. Сейчас, сейчас, душенька, вот разговор интересный! Именно, как вы изволили заметить, потеет нога... Впрочем, извините, я...

— Помилуйте-с.

— Очень, очень, очень рад познакомиться...

Господин в енотах сел в карету; карета тронулась; молодой человек всё еще стоял на месте, в изумлении провожая ее глазами.

II

На другой же вечер шло какое-то представление в Итальянской опере. Иван Андреевич ворвался в залу как бомба. Еще никогда не замечали в нем такого furore,[1] такой страсти к музыке. По крайней мере положительно знали, что Иван Андреевич чрезвычайно любил всхрапнуть часок-другой в Итальянской опере; даже отзывался несколько раз, что оно и приятно, и сладко. «Да и примадонна-то тебе, — говаривал он друзьям, — мяукает, словно беленькая кошечка, колыбельную песенку». Но он это уже давно что-то говаривал, еще в прошлый сезон; а теперь, увы! Иван Андреевич и дома не спит по ночам. Однако ж он все-таки ворвался как бомба в залу, набитую битком. Даже капельдинер взглянул на него как-то подозрительно и тут же накосился глазом на его боковой карман, в полной надежде увидеть ручку припрятанного

[1] неистовство (*итал.*).

на всякий случай кинжала. Нужно заметить, что в то время процветали две партии и каждая стояла за свою примадонну. Одни назывались ****зисты*, другие ****нисты*. Обе партии до того любили музыку, что капельдинеры наконец решительно стали опасаться какого-нибудь очень решительного проявления любви ко всему прекрасному и высокому, совмещавшемуся в двух примадоннах. Вот почему, смотря на такой юношеский порыв в залу театра даже седовласого старца, хотя, впрочем, не совсем седовласого, а так, около пятидесяти лет, плешивенького, и вообще человека с виду солидного свойства, капельдинер невольно вспомнил высокие слова Гамлета, датского принца:

Когда уж старость падает так страшно,
Что ж юность?
и т. д.

и, как было сказано выше, накосился на боковой карман фрака, в надежде увидеть кинжал. Но там был только один бумажник, и более ничего.

Влетев в театр, Иван Андреевич мигом облетел взглядом все ложи второго яруса, и — о ужас! сердце его замерло: она была здесь! она сидела в ложе! Тут был и генерал Половицын с супругою и свояченицею; тут был и адъютант генерала — чрезвычайно ловкий молодой человек; тут был еще один статский... Иван Андреевич напряг всё внимание, всю остроту зрения, но — о, ужас! статский человек предательски спрятался за адъютанта и остался во мраке неизвестности.

Она была здесь, а между тем сказала, что будет вовсе не здесь!

Вот эта-то двойственность, проявлявшаяся с некоторого времени на каждом шагу Глафиры Петровны, и убивала Ивана Андреевича. Вот этот-то статский юноша и поверг его наконец в совершенное отчаяние. Он опустился в кресла совсем пораженный. Отчего бы, кажется? Случай очень простой...

Нужно заметить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возле бенуара, и вдобавок предательская ложа второго яруса приходилась прямо над его креслами, так что он, к величайшей своей неприятности, решительно ничего не мог заметить, что делалось над его головою. Зато он злился и горячился, как самовар. Весь первый акт прошел для него незаметно, то есть он не слыхал ни одной ноты. Говорят, что музыка тем и хороша, что можно настроить музыкальные впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный — печаль; в ушах Ивана Андреевича завывала целая буря. К довершению досады, сзади, спереди, сбоку кричали такие страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце. Наконец акт кончился. Но в ту минуту, как падал занавес, с нашим героем случилось такое приключение, которое никакое перо не опишет.

Случается, что иногда с верхних ярусов лож слетает афишка. Когда пьеса скучна и зрители зевают, для них это целое приклю-

чение. Особенно с участием смотрят они на полет этой чрезвычайно мягкой бумаги с самого верхнего яруса и находят приятность следить за ее путешествием зигзагами до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не приготовленную к этому случаю голову. Действительно, очень любопытно смотреть, как эта голова сконфузится (потому что она непременно сконфузится). Мне всегда тоже бывает страшно за дамские бинокли, которые лежат зачастую на бордюрах лож: мне всё так и кажется, что они вот тотчас слетят на чью-нибудь не приготовленную к этому случаю голову. Но я вижу, что некстати сделал такое трагическое примечание, и потому отсылаю его к фельетонам тех газет, которые предохраняют от обманов, от недобросовестности, от тараканов, если они у вас есть в доме, рекомендуя известного господина Принчипе, страшного врага и противника всех тараканов на свете, не только русских, но даже и иностранных, как-то пруссаков и проч.

Но с Иваном Андреевичем случилось приключение, до сих пор еще нигде не описанное. К нему слетела на голову, — как уже сказано, довольно плешивую, — не афишка. Признаюсь, я даже совещусь сказать, что́ к нему слетело на голову, потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как например любовная раздушенная записочка. По крайней мере бедный Иван Андреевич, совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю, вздрогнул так, как будто поймал на своей голове мышь или другого какого-нибудь дикого зверя.

Что записка была любовного содержания, в этом ошибаться было нельзя. Она была писана на раздушенной бумажке, совершенно так, как пишутся записки в романах, и сложена в предательски малую форму, так что ее можно было скрыть под дамской перчаткой. Упала же она, вероятно, по случаю, во время самой передачи: как-нибудь спрашивали, например, афишку, и уж записочка проворно была ввернута в эту афишку, уже передавалась в известные руки, но один миг, может быть, нечаянный толчок адъютанта, чрезвычайно ловко извинившегося в своей неловкости, — и записочка выскользнула из маленькой дрожавшей от смущения ручки, а статский юноша, уже протягивавший свою нетерпеливую руку, вдруг получает, вместо записки, одну афишку, с которой решительно не знает, что делать. Неприятный, странный случай! совершенная правда; но, согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее.

— Prédestiné, [1] — прошептал он, обливаясь холодным потом и сжимая записочку в руках, — prédestiné! Пуля найдет виноватого! — промелькнуло в его голове. — Нет, не то! Чем же я

[1] Предопределено (*франц.*).

виноват? А вот там есть другая пословица: на бедного Макара и так далее.

Но мало ли что начнет перезванивать в голове, оглушенной таким внезапным происшествием! Иван Андреевич сидел на стуле окостенев, как говорится, ни жив ни мертв. Он уверен был, что его приключение замечено со всех сторон, несмотря на то что во всей зале, в это самое время, началась суматоха и вызов певицы. Он сидел так сконфузившись, так покраснев и не смея поднять глаз, как будто с ним случилась какая-нибудь неожиданная неприятность, какой-нибудь диссонанс в прекрасном многолюдном обществе. Наконец он решился поднять глаза.

— Приятно пели-с! — заметил он одному франту, сидевшему по левую его сторону.

Франт, который был в последней степени энтузиазма и хлопал руками, но преимущественно выезжал на ногах, бегло и рассеянно взглянул на Ивана Андреевича и тотчас же, сделав руками щиток над своим ртом, чтоб было слышнее, крикнул имя певицы. Иван Андреевич, который еще никогда не слыхал подобной глотки, был в восторге. «Ничего не заметил!» — подумал он и обратился назад. Но толстый господин, сидевший сзади его, теперь в свою очередь стал к нему задом и лорнировал ложи. «Тоже хорошо!» — подумал Иван Андреевич. Впереди, разумеется, ничего не видали. Он робко и с радостной надеждой покосился на бенуар, возле которого были его кресла, и вздрогнул от самого неприятного чувства. Там сидела прекрасная дама, которая, закрыв рот платком и упав на спинку кресел, хохотала как исступленная.

— Ох уж эти мне женщины! — прошептал Иван Андреевич и пустился по ногам зрителей к выходу.

Теперь я предлагаю решить самим читателям, я прошу их самих рассудить меня с Иваном Андреевичем. Неужели прав был он в эту минуту? Большой театр, как известно, заключает в себе четыре яруса лож и пятый ярус — галерею. Почему же непременно предположить, что записка упала именно из одной ложи, именно из этой самой, а не другой какой-нибудь, — например хоть из пятого яруса, где тоже бывают дамы? Но страсть исключительна, а ревность — самая исключительная страсть в мире.

Иван Андреевич бросился в фойе, стал у лампы, сломал печать и прочел:

«Сегодня, сейчас после спектакля, в Г—вой, на углу ***ского переулка, в доме К***, в третьем этаже, направо от лестницы. Вход с подъезда. Будь там, sans faute, [1] ради бога».

Рукú Иван Андреевич не узнал, но сомнения нет: назначалось свидание. «Поймать, изловить и пресечь зло в самом начале» — была первая идея Ивана Андреевича. Ему было пришло в голову изобличить теперь же, тут же на месте; но как это сделать? Иван Андреевич взбежал даже во второй ярус, но благоразумно воро-

[1] без ошибки (*франц.*).

тился. Решительно, он не знал: куда бежать. От нечего делать он забежал с другой стороны и посмотрел чрез открытую дверь чужой ложи на противоположную сторону. Так, так! во всех пяти ярусах по вертикальному направлению сидели молодые дамы и молодые люди. Записка могла упасть из всех пяти ярусов разом, потому что Иван Андреевич подозревал решительно все ярусы в заговоре против него. Но его ничто не исправило, никакие видимости. Весь второй акт он бегал по всем коридорам и нигде не находил спокойствия духа. Он было сунулся в кассу театра, в надежде узнать от кассира имена особ, взявших ложи во всех четырех ярусах, но касса уже была заперта. Наконец раздались неистовые восклицания и аплодисменты. Представление кончилось. Начинались вызовы, и особенно гремели с самого верха два голоса — предводители обеих партий. Но не до них было дело Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнейшего его поведения. Он надел бекешь и пустился в Г—вую, чтоб там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашел дом и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно под руками у него, прошмыгнула фигура франта в пальто, обогнала его и пустилась по лестнице в третий этаж. Ивану Андреевичу показалось, что это тот самый франт, хотя он не мог различить и тогда лицо этого франта. Сердце в нем замерло. Франт обогнал его уже двумя лестницами. Наконец он услышал, как отворилась дверь в третьем этаже, и отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего. Молодой человек промелькнул в квартиру. Иван Андреевич достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумать свой шаг, поробеть немного и потом уже решиться на что-нибудь очень решительное; но в эту самую минуту загремела карета у подъезда, с шумом отворились двери и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем свое восшествие в верхний этаж. Иван Андреевич не устоял, отворил дверь и очутился в квартире со всею торжественностью оскорбленного мужа. Навстречу к нему бросилась горничная, вся в волнении, потом явился человек; но остановить Ивана Андреевича не было никакой возможности. Как бомба влетел он в покои и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала от страха и смотрела на него с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В эту минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню: это были те самые шаги, которые всходили на лестницу.

— Боже! это мой муж! — вскрикнула дама, всплеснув руками и побледнев белее своего пенюара.

Иван Андреевич почувствовал, что он не туда попал, что сделал глупую, детскую выходку, что не обдумал хорошо своего шага, что не поробел достаточно на лестнице. Но делать было нечего.

Уже отворилась дверь, уже тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам, входил в комнату... Не знаю, за кого принял себя Иван Андреевич в эту минуту! не знаю, что ему помешало прямо стать навстречу мужа, объявить, что попался впросак, сознаться, что бессознательно поступил неприличнейшим образом, попросить извинения и скрыться, — конечно, не с большою честью, конечно, не со славою, но по крайней мере уйти благородным, откровенным образом. Но нет, Иван Андреевич опять поступил как мальчик, как будто бы считал себя Дон-Жуаном или Ловеласом! Он сначала прикрылся занавесками у кровати, а потом, когда почувствовал себя в полном упадке духа, припал на землю и бессмысленно полез под кровать. Испуг подействовал на него сильнее благоразумия, и Иван Андреевич, сам оскорбленный муж, или по крайней мере считавший себя таким, не вынес встречи с другим мужем — может быть, боясь оскорбить его своим присутствием. Так или не так, но он очутился под кроватью, решительно не понимая, как это сделалось. Но, что всего было удивительнее, дама не оказала никакой оппозиции. Она не закричала, видя, как чрезвычайно странный пожилой господин ищет убежища в ее спальне. Решительно, она была так испугана, что, по всей вероятности, у нее отнялся язык.

Муж вошел, охая и кряхтя, поздоровался с женой нараспев, самым старческим образом, и свалился на кресла так, как будто только что принес бремя дров. Раздался глухой и продолжительный кашель. Иван Андреевич, превратившийся из разъяренного тигра в ягненка, оробев и присмирев, как мышонок перед котом, едва смел дышать от испуга, хотя и мог бы знать, по собственному опыту, что не все оскорбленные мужья кусаются. Но это не пришло ему в голову или от недостатка соображения, или от другого какого-нибудь припадка. Осторожно, тихонько, ощупью начал он оправляться под кроватью, чтоб как-нибудь улечься удобнее. Каково же было его изумление, когда он ощупал рукою предмет, который, к его величайшему изумлению, пошевелился и в свою очередь схватил его за руку! Под кроватью был другой человек...

— Кто это? — шепнул Иван Андреевич.

— Ну, так я вам и сказал сейчас, кто я такой! — прошептал странный незнакомец. — Лежите и молчите, коли попались впросак!

— Однако же...

— Молчать!

И посторонний человек (потому что под кроватью довольно было и одного), посторонний человек стиснул в своем кулаке руку Ивана Андреевича так, что тот едва не вскрикнул от боли.

— Милостивый государь...

— Тсс!

— Так не жмите же меня, или я закричу.

— Ну-ка, закричите! попробуйте!

Иван Андреевич покраснел от стыда. Незнакомец был суров и сердит. Может быть, это был человек, испытавший не раз гонения судьбы и не раз находившийся в стесненном положении; но Иван Андреевич был новичок и задыхался от тесноты. Кровь била ему в голову. Однако ж нечего было делать: нужно было лежать ничком. Иван Андреевич покорился и замолчал.

— Я, душенька, был, — начал муж, — я, душенька, был у Павла Иваныча. Сели мы играть в преферанс, да так, кхи-кхи-кхи! (он закашлялся) так... кхи! так спина... кхи! ну ее!.. кхи! кхи! кхи!

И старичок погрузился в свой кашель.

— Спина... — проговорил он наконец со слезами на глазах, — спина разболелась... геморрой проклятый! Ни стать, ни сесть... ни сесть! Акхи-кхи-кхи!..

И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долее, чем старичку, обладателю этого кашля. Старичок что-то ворчал языком в промежутках, но решительно ничего нельзя было разобрать.

— Милостивый государь, ради бога, подвиньтесь! — прошептал несчастный Иван Андреевич.

— Куда прикажете? места нет.

— Однако же, согласитесь сами, мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении.

— А я в таком неприятном соседстве.

— Однако же, молодой человек...

— Молчать!

— Молчать? Однако вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человек... Если не ошибаюсь, вы еще очень молодой; я постарше вас.

— Молчать!

— Милостивый государь! вы забываетесь; вы не знаете, с кем говорите!

— С господином, который лежит под кроватью...

— Но меня привлек сюда сюрприз... ошибка, а вас, если не ошибаюсь, безнравственность.

— Вот в этом-то вы и ошибаетесь.

— Милостивый государь! я постарше вас, я вам говорю. .

— Милостивый государь! знайте, что мы здесь на одной доске. Прошу вас, не хватайте меня за лицо!

— Милостивый государь! я ничего не разберу. Извините меня, но нет места.

— Зачем же вы такой толстый?

— Боже! я никогда не был в таком унизительном положении!

— Да, ниже лежать нельзя.

— Милостивый государь, милостивый государь! я не знаю, кто вы такой, я не понимаю, как это случилось; но я здесь по ошибке; я не то, что вы думаете...

— Я бы ровно ничего не думал об вас, если б вы не толкались. Да молчите же!

— Милостивый государь! если вы не подвинетесь, со мной будет удар. Вы будете отвечать за смерть мою. Уверяю вас... я почтенный человек, я отец семейства. Не могу же я быть в таком положении!..

— Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайтесь же! вот вам место; больше нельзя!

— Благородный молодой человек! милостивый государь! я вижу, что я в вас ошибался, — сказал Иван Андреевич, в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие члены, — я понимаю стесненное положение ваше, но что же делать? вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте мне поднять в вашем мнении мою репутацию, позвольте мне сказать, кто я такой, я пришел сюда против себя, уверяю вас; я не за тем, за чем вы думаете... Я в ужаснейшем страхе.

— Да замолчите ли вы? понимаете ли, что, если услышат нас, будет худо? Тсс... Он говорит. — Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить.

— Так вот, душенька, — хрипел он на самый плачевный напев, — так вот, душенька, кхи!.. кхи! ах, несчастье! Федосей-то Иванович и говорит: вы бы, говорит, тысячелиственник пить попробовали; слышишь, душенька?

— Слышу, мой друг.

— Ну, так и говорит: вы бы, говорит, попробовали тысячелиственник пить. Я и говорю: я пиявки припускал. А он мне: нет, Александр Демьянович, тысячелиственник лучше: он открывает, я вам скажу... кхи! кхи! ох, боже мой! Как же ты думаешь, душенька? кхи-кхи! ах, создатель мой! кхи-кхи!.. Так лучше тысячелиственник, что ли?.. кхи-кхи-кхи! ах! кхи — и т. д.

— Я думаю, что попробовать этого средства не худо, — отвечала супруга.

— Да, не худо! У вас, говорит, пожалуй, чахотка, кхи-кхи! А я говорю: подагра да раздражение в желудке; кхи-кхи! А он мне: может быть, и чахотка. Как ты, кхи-кхи! как ты думаешь, душенька: чахотка?

— Ах, боже мой, что это вы говорите такое?

— Да, чахотка! А ты бы, душенька, раздевалась теперь да спать ложилась, кхи! кхи! А у меня, кхи! сегодня насморк.

— Уф! — сделал Иван Андреевич, — ради бога, подвиньтесь!

— Решительно, я вам удивляюсь, что с вами делается, ну, не можете вы спокойно лежать...

— Вы ожесточены против меня, молодой человек; хотите меня уязвить. Я это вижу. Вы, вероятно, любовник этой дамы?

— Молчать!

— Не буду молчать! не дам вам командовать! А, вы, верно, любовник? Если нас откроют, я ни в чем не виноват, я ничего не знаю.

— Если вы не замолчите, — сказал молодой человек, скрежеща зубами, — я скажу, что вы завлекли меня; я скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние. Тогда по крайней мере не подумают, что я любовник этой дамы.

— Милостивый государь! вы издеваетесь надо мной. Вы истощаете терпение мое.

— Тсс! или я вас заставлю молчать! Вы несчастье мое! Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел.

— Но я здесь не могу же лежать до утра; я человек благоразумный; у меня, конечно, связи... Как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать?

— Кто?

— Да этот старик...

— Разумеется, будет. Не все ж такие мужья, как вы. Ночуют и дома.

— Милостивый государь, милостивый государь! — закричал Иван Андреевич, похолодев от испуга. — Будьте уверены, что и я тоже дома, а теперь в первый раз; но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой, молодой человек? скажите мне тотчас же, умоляю вас, из бескорыстной дружбы, кто вы таков?

— Послушайте! я употреблю насилие...

— Но позвольте, позвольте вам рассказать, милостивый государь, позвольте вам объяснить всё это скверное дело...

— Никаких объяснений не слушаю, ничего знать не хочу. Молчите, или...

— Но я не могу же...

Под кроватью последовала легкая борьба, и Иван Андреевич умолк.

— Душенька! что-то здесь как будто коты шепчутся?

— Какие коты? Чего вы не выдумаете?

Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать с своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки.

— Какие коты?

— Коты, душенька. Я намедни прихожу, сидит Васька у меня в кабинете, шю-шю-шю! и шепчет. Я ему: что ты, Васенька? а он опять: шю-шю-шю! И так как будто всё шепчет. Я и думаю: ах, отцы мои! уж не о смерти ли он мне нашептывает?

— Какие глупости вы говорите сегодня! Стыдитесь, пожалуйста.

— Ну, ничего; не сердись, душенька; я вижу, тебе неприятно, что я умру, не сердись; я только так говорю. А ты бы, душенька, стала раздеваться и спать легла, а я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь.

— Ради бога, полноте; после...

— Ну, не сердись, не сердись! Только, право, здесь как будто мыши.

— Ну вот, то коты, то мыши! Право, я не знаю, что с вами делается.

— Ну, я ничего, я ни... кхи! я ничего, кхи-кхи-кхи-кхи! ах, боже ты мой! кхи!

— Слышите, вы так возитесь, что и он услыхал, — прошептал молодой человек.

— Но если б вы знали, что со мной делается. У меня носом кровь идет.

— Пусть идет, молчите; подождите, когда он уйдет.

— Молодой человек, но вникните в мое положение; ведь я не знаю, с кем я лежу.

— Да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию. Ну, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию... Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом...

— Тсс... он опять говорит.

— Право, душенька, шепчутся.

— Да нет же; это у тебя вата в ушах дурно лежит.

— Ах, по поводу ваты. Знаешь ли, тут, наверху... кхи-кхи! наверху, кхи-кхи-кхи! — и т. д.

— Наверху! — прошептал молодой человек. — Ах, черт! А я думал, что это последний этаж; да разве это второй?

— Молодой человек, — прошептал, встрепенувшись, Иван Андреевич, — что вы говорите? ради бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради бога, разве здесь еще этаж?..

Право, кто-то ворочается, — сказал старик, переставший наконец кашлять...

— Тсс! слышите! — прошептал молодой человек, сдавив обе руки Ивана Андреевича.

— Милостивый государь, вы держите мои руки в насилии. Пустите меня.

— Тсс...

Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание.

— Так вот я и встречаю хорошенькую... — начал старик.

— Как, хорошенькую? — перебила жена.

— Да ведь вот... говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице, или я пропустил? У меня ведь память слаба. Это зверобой... кхи!

— Что?

— Зверобой пить надо: говорят, лучше будет... кхи-кхи-кхи! лучше будет!

— Это вы его перебили, — проговорил молодой человек, опять заскрежетав зубами.

— Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то? — спросила жена.

— А?

— Хорошенькую встретил?

— Кто такой?

— Да ты?

— Я-то? Когда? Да, бишь!..

— Наконец-то? экая мумия! Ну, — прошептал молодой человек, мысленно погоняя забывчивого старичка.

— Милостивый государь! я трепещу от ужаса. Боже мой! что я слышу? Это как вчера; решительно как вчера!..

— Тсс.

— Да, да, да! вспомнил: преплутовочка! Глазенки такие... в голубой шляпке...

— В голубой шляпке! Ай, ай!

— Это она! У ней есть голубая шляпка. Боже мой! — закричал Иван Андреич...

— Она? кто она? — прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича.

— Тсс! — сделал в свою очередь Иван Андреевич. — Он говорит.

— Ах, боже мой! боже мой!

— Ну, да, впрочем, у кого ж нет голубой шляпки... ну!

— И такая плутовка! — продолжал старик. — Она тут к каким-то знакомым приходит. Всё глазки делает. А к тем знакомым тоже ходят знакомые...

— Фу! как это скучно, — перебила дама, — помилуй, чем ты интересуешься?

— Ну, хорошо, ну, ну! не сердись! — возразил старичок нараспев. — Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ты что-то не в духе сегодня...

— Да вы как же сюда попали? — заговорил молодой человек...

— А, видите, видите! вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели и слушать!

— Ну, да ведь мне всё равно! не говорите, пожалуйста! Ах, черт возьми, какая история!

— Молодой человек, не сердитесь; я не знаю, что говорю; это я так; я только хотел сказать, что тут, верно, что-нибудь недаром, что вы принимаете участие... Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец; но кто же вы, незнакомец? Боже, я не знаю, что говорю!

— Э! подите, пожалуйста! — прервал молодой человек, как будто что-то обдумывая.

— Но я вам всё расскажу, всё. Вы, может быть, думаете, что я не расскажу, что я зол на вас, нет! вот рука моя! Я только в упадке духа, больше ничего. Но, ради бога, скажите мне всё сначала: как вы здесь сами? по какому случаю? Что же касается до меня, то я не сержусь, ей-богу, не сержусь, вот вам рука моя. Здесь только пыльно; я немного запачкал ее; но это ничего для высокого чувства.

— Э, подите с вашей рукой! тут поворотиться негде, а он с рукой лезет!

— Но, милостивый государь! вы со мной обходитесь, как будто, с позволения сказать, со старой подошвой, — проговорил Иван Андреевич в припадке самого кроткого отчаяния, голосом, в котором было слышно моленье. — Обходитесь со мной учтивее, хоть немножко учтивее. и я вам всё расскажу! Мы бы полюбили друг друга; я даже готов пригласить вас к себе на обед. А этак нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек! Вы не знаете...

— Когда же это он ее встретил? — бормотал молодой человек, очевидно в крайнем волнении. — Она, может быть, теперь меня ждет... Я, решительно, выйду отсюда!

— Она? кто она? боже мой! про кого вы говорите, молодой человек? Вы думаете, что там, наверху... Боже мой! Боже мой! За что я так наказан?

Иван Андреевич попробовал повернуться на спину в знак отчаянья.

— А вам на что знать, кто она? А, черт! Была не была, я вылезаю!..

— Милостивый государь! что вы? а я-то, я-то как буду? — прошептал Иван Андреевич, в припадке отчаяния уцепившись за фалды фрака своего соседа.

— А мне-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтоб не подумал старик, что я любовник жены его.

— Но, молодой человек, это невозможно; это ненатурально, коли дядя. Никто не поверит вам. Этому вот такой маленький ребенок не поверит, — шептал в отчаянии Иван Андреевич.

— Ну, так не болтайте же, а лежите себе смирно, пластом! Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете; вас никто не заметит; уж коли один вылез, так, верно, не подумают, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина! Впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду!

— Вы язвите меня, молодой человек... А что если я закашляюсь? Нужно всё предвидеть!

— Тсс!..

— Что это? как будто наверху я опять слышу возию, — проговорил старичок, который тем временем, кажется, успел задремать.

— Наверху?

— Слышите, молодой человек, наверху!

— Ну, слышу!

— Боже мой! молодой человек, я выйду.

— А я так не выйду! Мне всё равно! Уж если расстроилось, так всё равно! А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж — вот что!..

— Боже, какой цинизм!.. Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж... я не женат.

— Как не женат? Дудки!

— Я, может быть, сам любовник!

— Хорош любовник!

— Милостивый государь, милостивый государь! Ну, хорошо, я всё вам расскажу. Вонмите моему отчаянью. Это не я, я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства... а я любовник... Говорит мне: «Я несчастный человек, я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою». — «Но, говорю я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь?..» Но вы не слушаете меня. Слушайте, слушайте! «Ревность смешна, говорю, ревность порок!..» — «Нет, говорит, я несчастный человек! Я, того... чашу, то есть я подозреваю». — «Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждения». Боже, я не знаю, что говорю. Вы всё смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим.

— Да вы и теперь сумасшедший!..

— Так, так, я и предчувствовал, что вы это скажете... когда говорил про сумасшедшего. Смейтесь, смейтесь, молодой человек! Так же и я процветал в свое время, так же и я соблазнял. Ах! у меня сделается воспаление в мозгу!

— Что это, душенька, как будто у нас кто-то чихает? — пропел старичок. — Это ты, душка, чихнула?

— О, боже мой! — проговорила супруга.

— Тсс! — раздалось под кроватью.

— Это наверху, верно, стучат, — заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шумно.

— Да, наверху! — проговорил муж. — Наверху! Говорил я тебе, что я франтика — кхи-кхи! франтика с усиками — кхи-кхи! ох, бог мой, — спина!.. франтика сейчас встретил с усиками!

— С усиками! боже мой, это, верно, вы, — прошептал Иван Андреевич.

— Создатель мой, какой человек! Да ведь я здесь, здесь вместе с вами лежу! Как же бы он меня встретил? Да не хватайте меня за лицо!

— Боже, со мной сейчас будет обморок.

В это время наверху действительно послышался шум.

— Что бы там было? — прошептал молодой человек.

— Милостивый государь! я в страхе, я в ужасе. Помогите мне.

— Тсс!

— Действительно, душка, шум; целый гвалт подымают. Да еще над твоей спальней. Не послать ли спросить.

— Ну, вот! чего ты не выдумаешь!

— Ну, я не буду; право, ты такая сегодня сердитая!..

— О, боже мой! вы бы шли спать.

— Лиза! ты меня вовсе не любишь.

— Ах, люблю! Ради бога, я так устала.

— Ну, ну! я уйду.

— Ах, нет, нет! не уходите, — закричала жена. — Или нет, идите, идите!

— Да что это ты в самом деле! То уходите, то не уходите! Кхи-кхи! А и вправду спать... кхи-кхи! У Панафидиных девочки... Кхи-кхи! девочки... кхи! куклу я у девочки видел нюренбергскую, кхи-кхи...

— Ну, вот куклы теперь!

— Кхи-кхи! хорошая кукла, кхи-кхи!

— Он прощается, — проговорил молодой человек, — он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? радуйтесь же!

— О, дай-то бог! дай-то бог!

— Это вам урок...

— Молодой человек! за что же урок? Я это чувствую... Но вы еще молоды; вы не можете давать мне урока.

— А все-таки дам. Слушайте.

— Боже! я хочу чихнуть!..

— Тсс! Если вы только осмелитесь.

— Но что же мне делать? здесь так пахнет мышами; не могу же я; достаньте мне из моего кармана платок, ради бога; я не могу шевельнуться... О, боже, боже! за что я так наказан?

— Вот вам платок! За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь бог знает на чем, вы бегаете как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядки...

— Молодой человек! я не производил беспорядков.

— Молчать!

— Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность: я нравственнее вас.

— Молчать!

— О, боже мой! боже мой!

— Производите беспорядки, пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха, и, может быть, будет больна; беспокоите почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой, — а всё отчего? оттого, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегаете по всем закоулкам! Понимаете ли, понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении? Чувствуете ли вы это?

— Милостивый государь, хорошо! Я чувствую, но вы не имеете права...

— Молчать! Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы неспособны сделать трагедии! Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках: должно быть, вы очень смешны.

— А вы-то? вы тоже смешны в таком случае! Я тоже хочу посмотреть на вас.

— Где вам!

— На вас, верно, клеймо безнравственности, молодой человек!

— А! вы про нравственность! А почем вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой; я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили! Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь (не вас, разумеется). Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Ведь я отчего не выхожу? Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, я бы уж давно вышел, да только из сострадания к вам здесь сижу. Ну, на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними, ведь вы не найдетесь...

— Нет, отчего же: как пень? Отчего же как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить, молодой человек? Отчего же не найдусь? Нет, я найдусь.

— О, боже мой, как лает эта собачонка!

— Тсс! Ах, и в самом деле... Это оттого, что вы всё болтаете. Видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда.

Действительно, собачка хозяйки, которая всё время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать.

— О, боже мой! какая глупая собачонка! — прошептал Иван Андреевич. — Она нас всех выдаст. Она всё выведет на чистую воду. Вот еще наказание!

— Ну да: вы так трусите, что это может случиться.

— Ами, Ами, сюда! — закричала хозяйка, — ici, ici. [1]

Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича.

— Что это, душечка, Амишка всё лает? — проговорил старичок. — Там, верно, мыши, или кот Васька сидит. То-то я слышу, что всё чихает, всё чихает... А ведь у Васьки-то сегодня насморк.

— Лежите смирно! — прошептал молодой человек, — не ворочайтесь! Она, может быть, так и отстанет.

— Милостивый государь, милостивый государь! Пустите мои руки! Зачем вы их держите?

— Тсс! молчать!

— Но помилуйте, молодой человек: она меня за нос кусает! Вы хотите, чтоб я лишился носа.

Последовала борьба, и Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая; вдруг она перестала лаять и завизжала.

— Ай! — закричала дама.

— Изверг! что вы делаете? — прошептал молодой человек. — Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит! Не душите, пустите ее! Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку.

---

[1] сюда, сюда (*франц.*).

Но Иван Андреевич уже ничего не слыхал. Ему удалось поймать собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух.

— Мы пропали! — прошептал молодой человек.

— Амишка! Амишка! — закричала дама. — Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! ici! О изверги! варвары! Боже, мне дурно!

— Что такое? что такое? — закричал старичок, вскочив с кресел. — Что с тобой, душа моя? Амишка здесь! Амишка, Амишка, Амишка! — кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая Амишку из-под кровати. — Амишка! ici! ici! Не может быть, чтобы Васька там съел его. Нужно высечь Ваську, мой друг; его, плута, уже целый месяц не секли. Как ты думаешь? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей Захарьевной. Но, боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела, ох! ох! люди! люди!

И старичок забегал по комнате.

— Злодеи! изверги! — кричала дама, покатившись на кушетку.

— Кто? кто? кто такой? — кричал старик.

— Там есть люди, чужие!.. там, под кроватью! О, боже мой! Амишка! Амишка! что они с тобой сделали?

— Ах, боже мой, господи! какие люди! Амишка... Нет, люди, люди, сюда! Кто там? кто там? — закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать, — кто такой? Люди, люди!..

Иван Андреевич лежал, ни жив ни мертв, подле бездыханного трупа Амишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны, к стене, и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, покамест муж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа.

— Боже! — прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. — Кто же вы такой? А я думала...

— Тот изверг остался, — прошептал молодой человек. — Он виновник Амишкиной смерти!

— Ай! — вскрикнула дама.

Но молодой человек уже исчез из комнаты.

— Ай! здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог! — закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича.

— Убийца! убийца! — кричала дама. — О Ами! Ами!

— Вылезайте, вылезайте! — кричал старик, топая по ковру обеими ногами, — вылезайте; кто вы таковы? говорите, кто вы таковы. Боже! какой странный человек!

— Да это разбойники!..

— Ради бога, ради бога! — кричал Иван Андреевич, вылезая, — ради бога, ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей! это совершенно лишнее. Вы меня не можете вытолкать!.. Я не такой человек! Я сам по себе... Ваше превосходительство, это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню, ваше превосходительство, — продолжал

Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. — Это всё жена, то есть не моя жена, а чужая жена, — я не женат, я так... Это мой друг и товарищ детства...

— Какой товарищ детства! — кричал старик, топая ногами. — Вы вор, пришли обокрасть... а не товарищ детства...

— Нет, не вор, ваше превосходительство; я действительно товарищ детства... я только нечаянно ошибся, попал с другого подъезда.

— Да, я вижу, сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли.

— Ваше превосходительство! Я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором. Ваше превосходительство! ваше превосходительство! — кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме. — Вы дама, поймите меня... Это я умертвил Амишку... Но я не виноват, я, ей-богу, не виноват... Это всё жена виновата. Я несчастный человек, я пью чашу!

— Да, помилуйте, какое же мне дело, что вы выпили чашу; может быть, вы и не одну чашу выпили, — судя по вашему положению, оно и видно; но как же вы зашли сюда, милостивый государь? — кричал старик, весь дрожа от волнения, но действительно удостоверившись, по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. — Я вас спрашиваю: как вы зашли сюда? Вы, как разбойник...

— Не разбойник, ваше превосходительство. Я только с другого подъезда; право, не разбойник! Это всё оттого, что я ревнив. Я вам всё расскажу, ваше превосходительство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.

— Как в таких летах?

— Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама... и ваши лета... приятно видеть, ваше превосходительство, действительно, приятно видеть такое супружество... в цвете лет... Но не зовите людей... ради бога, не зовите людей... люди только будут смеяться... я их знаю... То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями, — у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и всё смеются... ослы! ваше сиятельство... Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем...

— Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе... Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? как вы попали?

— Ваше сиятельство, то есть ваше превосходительство... извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся... я обдумался — это случается. Вы так похожи на князя Коротко-ухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева... Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя

у моего знакомого: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не вор. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что ж из этого выйдет?

— Но как вы сюда попали? — закричала дама. — Кто вы таковы?

— Да, кто вы таковы? — подхватил муж. — А я-то, душенька, думаю, что это Васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Ах ты, потаскун, потаскун!.. Кто вы такой? Говорите же!

И старичок снова затопал по ковру ногами.

— Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, покамест вы кончите... Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу. Это может всё и без того объясниться, то есть я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! поступите со мной благородным образом... Это ничего, что я посидел под кроватью... я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство! — вскричал Иван Андреевич, с умоляющим видом обращаясь к супруге. — Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амишку, но... Боже мой, я не знаю, что говорю!

— Но как же, как вы зашли сюда?

— Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою... Виноват! простите меня, ваше превосходительство! Униженно прошу извинения! Я только оскорбленный муж, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник: я не любовник! Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна!

— Что? что? что вы осмеливаетесь говорить? — закричал старик, снова затопав ногами. — С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену мою?

— Этот злодей, убийца, который умертвил Амишку! — кричала супруга, заливаясь слезами. — И он еще смеет!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! я только заврался, — кричал оторопевший Иван Андреевич, — я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме... Ради бога, считайте, что я не в своем уме... Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее... Я был не один, я дядя... то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника... Боже! я опять завираюсь... Не обижайтесь, ваше превосходительство, — кричал Иван Андреевич супруге. — Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, — это тонкое чувство... Но что я? опять завираюсь! то есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, — что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Ловелас... я заврался; но вы видите,

ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что *провокировал* смех ваш, ваше превосходительство. О, как я рад, что провокировал смех ваш!

— Боже мой! какой смешной человек! — кричала дама, надрываясь от хохота.

— Да, смешной, и какой запачканный, — заговорил старик, в радости, что засмеялась жена. — Душечка, он не может быть вором. Но как он зашел сюда?

— Действительно странно! действительно странно, ваше превосходительство, на роман похоже! Как? в глухую полночь, в столичном городе, человек под кроватью? Смешно, странно! Ринальдо Ринальдини, некоторым образом. Но это ничего, это всё ничего, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу... А вам, ваше превосходительство, я новую болонку достану... удивительная болонка! Этакая шерсть длинная, ножки коротенькие, двух шагов пройти не умеет: побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам принесу, ваше превосходительство, я вам непременно ее принесу.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. — Боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной!

— Да, да! ха-ха-ха! кхи-кхи-кхи! смешной, запачканный такой, кхи-кхи-кхи!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство, я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство, я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна! Я напрасно подозревал ее.

— Жена, его жена! — кричала дама, со слезами на глазах от хохота.

— Он женат! неужели? Вот бы я никак не подумал! — подхватил старик.

— Ваше превосходительство, жена — и она всему виновата, то есть это я виноват: я подозревал ее; я знал, что здесь устроено свидание, — здесь, наверху; я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью...

— Хе-хе-хе-хе!

— Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха! — захохотал наконец Иван Андреевич. — О, как я счастлив! о, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы! И жена моя совершенно невинна! я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство?

— Ха-ха-ха, кхи-кхи! Знаешь, душечка, это кто? — заговорил наконец старик, освобождаясь от смеха.

— Кто? Ха-ха-ха! Кто?

— Это та хорошенькая, что глазки делает, с франтиком которая. Это она! Я бьюсь об заклад, что это жена его!

— Нет, ваше превосходительство, я уверен, что это не та; я совершенно уверен.

— Но, боже мой! Вы теряете время, — закричала дама, перестав хохотать. — Бегите, ступайте наверх. Может быть, вы их застанете...

— В самом деле, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство; это не она, я уверен заране. Она теперь дома! А это я! Я только ревнив, и более ничего... Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство?

— Ха-ха-ха!

— Хи-хи-хи! Кхи-кхи!

— Ступайте, ступайте! А когда пойдете назад, так придите рассказать, — кричала дама, — или нет: лучше завтра утром, да приведите и ее: я хочу познакомиться.

— Прощайте, ваше превосходительство, прощайте! Непременно приведу; очень рад познакомиться. Я счастлив и рад, что всё так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему.

— И болонку! Не забудьте же: болонку прежде всего принесите!

— Принесу, ваше превосходительство, непременно принесу, — подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. — Непременно принесу. Такая хорошенькая! точно ее кондитер из конфетов сделал. И такая: пойдет — в собственной шерсти запутается и упадет. Такая, право! Я еще жене говорю: «Что это, душечка, она всё падает?» «Да, миленькая такая!» — говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-богу, из сахару сделана! Прощайте, ваше превосходительство, очень, очень рад познакомиться, очень рад познакомиться!

Иван Андреевич откланялся и вышел.

— Эй, вы! Милостивый государь! Постойте, воротитесь опять! — закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу.

Иван Андреевич в третий раз вернулся.

— Я вот Васьки-кота всё не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели?

— Нет, не встречался, ваше превосходительство; впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь...

— У него теперь насморк, и всё чихает, всё чихает! Его надо высечь!

— Да, ваше превосходительство, конечно; исправительные наказания необходимы с домашними животными.

— Что?

— Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для водворения покорности в домашних животных.

— А!.. ну, с богом, с богом, я только об этом.

Вышед на улицу, Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним тотчас же будет удар. Он снял шляпу, отер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой.

Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно приехала из театра, уже давно как у ней разболелись зубы, как посылала за доктором, как посылала за пиявками и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича.

Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься и наконец решился идти в спальню жены.

— Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет! Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь: жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили, хотели расстроить свидание, которое я не знаю кому назначила? Стыдно, сударь, какой вы муж! Скоро пальцами указывать будут!

— Душечка! — отвечал Иван Андреевич.

Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь, затем что недоставало ни слов, ни мысли, ни духа... Каково же было его изумление, страх, ужас, когда, вместе с платком, выпал из кармана покойник Амишка? Иван Андреевич и не заметил, как, в порыве отчаяния, принужденный вылезть из-под кровати, сунул Амишку, в припадке безотчетного страха, в карман, с отдаленной надеждой схоронить концы, скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания.

— Что это? — закричала супруга. — Мертвая собачонка! Боже! Откуда... Что это вы?.. Где вы были? Говорите сейчас, где вы были?..

— Душечка! — отвечал Иван Андреевич, помертвев более Амишки, — душечка...

Но здесь мы оставим нашего героя, — до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже — несчастие!..

ЧЕСТНЫЙ ВОР

(Из записок неизвестного)

Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор.

До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее.

— Вот я, сударь, к вам, — начала она вдруг, — вы бы отдали внаем каморку.

— Какую каморку?

— Да вот что подле кухни. Известно какую.

— Зачем?

— Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем.

— Да кто ее наймет?

— Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто.

— Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там жить?

— Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить.

— На каком окне?

— Известно на каком, будто не знаете! На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул; да и стол есть; всё есть.

— Кто ж он такой?

— Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать...

Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в го-

лову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, — одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился.

— Есть ли по крайней мере у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь?

— Как же! известно есть. Хороший, бывалый человек; три рубля обещался давать.

На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец; но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого; выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, — конечно, довольно бесцветная перспектива! И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей — благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй. Она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ.

Однажды я остался в квартире один: и Астафий и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и, показалось мне, чужой; я вышел: действительно, в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное, осеннее время.

— Чего тебе?

— Чиновника Александрова; здесь живет?

— Такого нет, братец; прощай.

— Как же дворник сказал, что здесь, — проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям.

— Убирайся, убирайся, братец; пошел.

На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь.

Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бекешь, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена всё время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекеши. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек!

— Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась! А то бы совсем посадил на мель, мошенник!

Но Астафия Ивановича всё это так поразило, что я даже позабыл о покраже, на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которою был занят, поминутно начинал сызнова рассказывать дело, каким это образом всё случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и как это всё устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу; потом опять бросал всё, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и Аграфену начал бранить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это всё дело случилось, как он тут стоял, а я там и как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и т. д. Одним словом, Астафий Иванович хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун.

— Одурачили нас с тобой, Астафий Иваныч! — сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим.

— Одурачили, сударь! Да просто вчуже досадно, зло пробирает, хоть и не моя одежа пропала. И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром берет, а этот твой труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?

— Да, оно правда, Астафий Иваныч; уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

— Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору розь... А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.

— Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иваныч?

— Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его.

— А как это было, Астафий Иваныч?

— Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места, а когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчужка такой, потаскун, тунеядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! ходил он уж бог знает в чем! Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью; всё, что ни заведется, пропьет. Да не буян; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, всё совестится: ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся, то есть он ко мне привязался... мне-то всё равно. И какой был человек! Как собачонка привяжется, ты туда — и он за тобой; а всего один раз только виделись, мозгляк такой! Сначала пусти его переночевать — ну, пустил; вижу, и паспорт в порядке, человек ничего! Потом, на другой день, тоже пусти его ночевать, а там и на третий пришел, целый день на окне просидел; тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался ж он на меня: и пой и корми его, да еще ночевать пускай, — вот бедному человеку, да еще нахлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе всё пили; да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелей, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю: как мне с ним быть? прогнать его — совестно, жалко: такой жалкий, пропащий человек, что и господи! И бессловесный такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как пьянство человека испортит! Думаю про себя: как скажу я ему: ступай-ка ты, Емельянушка, вон; нечего тебе делать у меня; не к тому попал; самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сижу, что он сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услыхал мою речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать, — деликатный был человек! как бы отворил потом дверь да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку... жалко стало! А тут потом, думаю, мне-то самому каково! Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать; вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь, съехали мы; тогда еще Александр Филимонович, барин (теперь покойник, царство ему небесное), говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал, — добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кой-каких было, думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушоночке, угол занял у ней. А у ней и всего-то

один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, пенсион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь ты меня! Что ж, сударь, думаете? Воротился я повечеру (к знакомому человеку повидаться ходил) и первого вижу Емелю, сидит себе у меня на сундуке, и клетчатый узелок подле него, сидит в шинелишке, меня поджидает... да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать, зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: «Принес ли паспорт, Емеля?»

Я тут, сударь, сел да начал раздумывать: что ж он, скитающийся человек, много ль помехи мне сделает? И вышло, по раздумье, что немногого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет. А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест: ему бы только настоечки да зелена винца. Доконает он меня на питейном, подумал я, да тут же, сударь, и другое в голову пришло, и ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был... Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Постой же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

Вот и думаю себе: начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человек, Емельянушка! Начал я, сударь, сперва с доброго слова: так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел да как-нибудь там пооправился. Полно гулять! Смотри-ка, в отрепье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится; нехорошо! Пора бы, кажется, честь знать.

Сидит, слушает меня понуря голову мой Емельянушка. Чего, сударь! Уж до того дошел, что язык пропил, слова путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается! слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет.

— Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич?

— Да так-с, ничего, Астафий Иваныч, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иваныч, подрались на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала.

— Ну, так что ж?

— А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала.

— Ну, так что ж, Емельян Ильич?

— Да ничего-с, Астафий Иваныч, я только так.

«Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку!..»

— А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит: мое счастье; а тут другой увидал, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидал...

— Ну, Емельян Ильич.

— И задрались мужики, Астафий Иваныч. А городовой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.

— Ну, так что ж? что же тут такого назидательного есть, Емельянушка?

— Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иваныч.

— Э-эх, Емельянушка! что народ! Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?

— Чего-с, Астафий Иваныч?

— Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми. В сотый говорю, возьми, пожалей себя!

— Что же мне взять такое, Астафий Иваныч? я уж и не знаю, что я такое возьму; и меня-то никто не возьмет, Астафий Иваныч.

— За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьющий ты человек!

— А то вот Власа-буфетчика в контору позвали сегодня, Астафий Иваныч.

— Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?

— А вот уж и не знаю зачем, Астафий Иваныч. Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали...

«Э-эх! думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка! За грехи наши нас господь наказует!» Ну, что с таким человеком делать прикажете, сударь!

Только хитрый был парень, куды! Слушал он, слушал меня, да потом, знать, ему надоело, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет — поминай как звали! день прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина виновата!..

— Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой раз, коли пьяный воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать. Не пущу!..

Выслушав наказ, сидит мой Емеля день, другой; на третий опять улизнул. Жду-пожду, не приходит! Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним? думаю. Запугал я его. Ну, куда он пошел теперь, горемыка? пропадет, пожалуй, господи бог мой! Ночь пришла, нейдет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволит.

На приступочку голову положил и лежит; окостенел от стужи совсем.

— Что ты, Емеля? Господь с тобой! Куда ты попал?

— Да вы, энтого, Астафий Иваныч, сердились намедни, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить, так я, энтого, и не посмел войти, Астафий Иваныч, да и лег тут...

И злость и жалость взяли меня!

— Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь!..

— Да какую ж бы другую должность, Астафий Иваныч?

— Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что в дырьях, так ты лестницу ею метешь! взял бы хоть иголку да дырья-то свои законопатил, как честь велит. Э-эх, пьяный ты человек!

Что ж, сударь! и взял он иглу; ведь я ему на смех сказал, а он оробел да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него; ну, дело известное, глаза нагноились, покраснели; руки трепещут, хоть ты што! совал, совал — не вдевается нитка; уж он как примигивался: и помусолит-то, и посучит в руках — нет! бросил, смотрит на меня...

— Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы! Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал... Уж ступай, бог с тобой, от греха! сиди так, да срамного дела не делай, по лестницам не ночуй, меня не срами!..

— Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь!.. Только вас, моего бла... благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну...

Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой, да как зальется, прыснет вдруг целой пригоршней слез мой Емельян... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по сердцу.

«Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал я! Кто бы знал, кто гадал про то?.. Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; пропадай как ветошка!..»

Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит, то есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если б у меня много было, чтоб только всего того не случилось! Были у меня, сударь, рейтузы, прах их возьми, хорошие, славные рейтузы, синие с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату,

знаете, всё хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю: день не пьет, другой не пьет, третий — хмельного в рот не берет, осовел совсем, индо жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю: али куплева, парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий вошел да баста сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это всё и было; а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной; прихожу — сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Э-ге! думаю, так-то ты, парень! да и пошел зачем-то в сундук. Глядь! а рейтуз-то и нету!.. Я туда и сюда: сгинули! Ну, как перерыл я всё, вижу, что нет, — так меня по сердцу как будто скребнуло! Бросился я к старушоночке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было! «Нет, говорит моя старушонка, господь с тобой, кавалер, на что мне рейтузы, носить, что ли, стать? у меня у самой намедни юбка на добром человеке из вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не ведаю, говорит». — «Кто здесь был, говорю, кто приходил?» — «Да никто, говорит, кавалер, не приходил; я всё здесь была. Емельян Ильич выходил, да потом и пришел; вон сидит! Его допроси». — «Не брал ли, Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности, рейтуз моих новых, помнишь, еще на помещика строили?» — «Нет, говорит, Астафий Иваныч, я, то есть, энтого, их не брал-с».

Что за оказия! опять искать начал, искал-искал — нет! А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на корточках, да вдруг и накосился на него глазом... Эх-ма! думаю: да так вот у меня и зажгло сердце в груди; даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня.

— Нет, говорит, Астафий Иваныч, я рейтуз-то ваших, энтого... вы, может, думаете, что, того, а я их не брал-с.

— Да куда же бы пропасть им, Емельян Ильич?

— Нет, говорит, Астафий Иваныч, не видал совсем.

— Что же, Емельян Ильич, знать, уж они, как там ни есть, взяли да сами пропали?

— Может, что и сами пропали, Астафий Иваныч.

Я как выслушал его, как был — встал, подошел к окну, засветил светильню да и сел работу тачать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чует беду, словно перед грозой птица небесная.

— А вот, Астафий Иванович, — начал Емелюшка (а у самого дрожит голосенок), — сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер намедни, женился...

Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, знать, поглядел... Понял Емеля. Вижу: встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду — долго возится, а сам всё

приговаривает: «Нет как нет, куда бы им, шельмам, сгинуть!» Жду, что будет; вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел.

— Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?

— А вот нет ли рейтуз, Астафий Иваныч. Посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь.

— Да что вам, сударь, говорю (с досады величать его начал), что вам, сударь, за бедного, простого человека, как я, заступаться; коленки-то попусту ерзать!

— Да что ж, Астафий Иваныч, я ничего-с... Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать.

— Гм... говорю; послушай-ка, Емельян Ильич!

— Что, говорит, Астафий Иваныч?

— Да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? — То есть вот как, сударь, меня разобрало тем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать.

— Нет-с... Астафий Иванович...

А сам, как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал; потом выполз. Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно, этак минут с десять сидел.

— Нет, говорит, Астафий Иваныч, — да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный как грех.

— Нет, говорит, Астафий Иваныч, я ваших рейтуз, того, не изволил брать...

Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну.

— Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул понапраслиной. А рейтузы пусть их, знать, пропадают; не пропадем без рейтуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем... и побираться у чужого бедного человека не будем; заработаем хлеба...

Выслушал меня Емеля, постоял-постоял предо мной, смотрю — сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся; уж я и ко сну отошел, всё на том же месте Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю: Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать, всё пропил и

сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет.

— Что ты, Емеля? — говорю.

И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил.

— Ничего... Астафий Иваныч.

— Господь с тобой, Емеля, пусть его всё пропадает. Чего ты такой совой сидишь? — Жалко мне стало его.

— Так-с, Астафий Иваныч, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Астафий Иваныч.

— Какую же бы такую работу, Емельян Ильич?

— Так, какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к Федосею Иванычу... Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иваныч. Я, Астафий Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам всё отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю.

— Полно, Емеля, полно; ну, был грех такой, ну — и прошел! Прах его побери! Давай жить по-старому.

— Нет-с, Астафий Иваныч, вы, может быть, всё, того... а я ваших рейтуз не изволил брать...

— Ну, как хочешь; господь с тобой, Емельянушка!

— Нет-с, Астафий Иваныч. Я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Астафий Иваныч.

— Да господь с тобой, говорю: кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли?

— Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий Иваныч... Я лучше уж пойду-с...

То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него, и вправду встал, тащит на плеча шинелишку.

— Да куда ж ты, этово, Емельян Ильич? послушай ума-разума: что ты? куда ты пойдешь?

— Нет, уж вы прощайте, Астафий Иваныч, уж не держите меня (сам опять хнычет); я уж пойду от греха, Астафий Иванович. Вы уж не такие стали теперь.

— Да какой не такой? такой! Да ты как дитя малое, неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич.

— Нет, Астафий Иваныч, вы вот, как уходите, сундук теперь запираете, а я, Астафий Иваныч, вижу и плачу... Нет, уж вы лучше пустите меня, Астафий Иваныч, и простите мне всё, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес.

Что ж, сударь? и ушел человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру — нет! Другой день нет, третий — нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошел я на четвертый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал — нет, пропал Емельянушка!

«Уж сносил ли ты свою голову победную? — думаю. — Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, лежишь». Ни жив ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю: чем свет, на пятый день (праздник был), скрипит дверь. Вижу: входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице, исхудал весь, как лучина; снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. «Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?»

— Кушал-с, Астафий Иваныч.

— Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.

Подал я ему; ну, тут и увидал, что, может, три дня целых не ел человек, — такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принес винца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.

Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несет ко рту, плескает у него винцо на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол.

— Что ж, Емельянушка?

— Да нет; я, того... Астафий Иваныч.

— Не выпьешь, что ли?

— Да я, Астафий Иваныч, так уж... не буду больше пить, Астафий Иваныч.

— Что ж, ты совсем перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?

Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.

— Что ты, уж не заболел ли, Емеля?

— Да так, нездоровится, Астафий Иваныч.

Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю: тюри покушай, авось будет лучше! Мотает головой. «Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иваныч». Чаю ему приготовил, старушоночку замотал совсем, —

нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились; лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. «Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А пожалуй, дать ему порошков». Ну, порошков-то я не дал; так, думаю, балуется медик; а между тем наступил пятый день.

Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается: точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец взглянул на него; вижу: тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился.

— Астафий Иваныч!

— Что, Емелюшка?

— А вот если б, примером, мою шинеленочку в Толкучий снесть, так много ль за нее дали бы, Астафий Иваныч?

— Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич.

А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку божию, зная норов его простоватый, в утеху сказал.

— А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублевый, коли суконная вещь?

— Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так, конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить.

Помолчал немного Емеля; потом опять окликает:

— Астафий Иваныч!

— Что, спрашиваю, Емельянушка?

— Вы продайте шинеленочку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.

Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: всё на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.

— Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?

— Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч.

Подал я ему испить. Отпил.

— Благодарствую, говорит, Астафий Иваныч.

— Не надо ль еще чего, Емельянушка?

— Нет, Астафий Иваныч; ничего не надо; а я, того...

— Что?

— Энтого...

— Чего такого, Емелюшка?

— Рейтузы-то... энтого... это я их взял у вас тогда... Астафий Иваныч...

— Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром... А у самого, сударь, дух захватило и слезы из глаз посыпались; отвернулся было я на минуту.

— Астафий Иваныч...

Смотрю: хочет Емеля мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит... Весь вдруг покраснел, смотрит на меня... Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье; голову назад закинул, дохнул раз да тут и богу душу отдал. . . . .

. . . .

ЕЛКА И СВАДЬБА

(Из записок неизвестного)

На днях я видел свадьбу... но нет! Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье... Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья: когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не con amore [1] и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой гос-

---

[1] из любви (*итал.*).

подин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастии хозяина, у которого было пятеро сытеньких мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему, для рекомендации, своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на *больших,* несмотря на все увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик,черноглазый, в кудряшках, который всё хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами навыкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку — своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки.

Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плющовой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремястами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандалезною сценою ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам.

— Триста... триста, — шептал он. — Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. Шестнадцать — пять лет! Положим, по четыре на сто — 12, пять раз = 60, да на эти 60... ну, положим, всего будет через пять лет — четыреста. Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверно; ну, излишек на тряпки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до nec plus ultra,[1] когда он остановился и бросил другой, решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал

[1] до крайних пределов (*лат.*).

подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.

— А что вы тут делаете, милое дитя? — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.

— Играем...

— А? с ним? — Юлиан Мастакович покосился на мальчика.

— А ты бы, душенька, пошел в залу, — сказал он ему.

Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять поосмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.

— А что это у вас, куколка, милое дитя? — спросил он.

— Куколка, — отвечала девочка, морщась и немножко робея.

— Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?

— Не знаю... — отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.

— А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, — сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

— А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? — спросил Юлиан Мастакович, понижая всё более и более голос.

— Не знаю.

— А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю.

Тут Юлиан Мастакович, взволнованный донельзя, осмотрелся кругом и, понижая всё более и более голос, спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:

— А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в шутку.

— Пошел, пошел отсюда, пошел! — говорил он мальчишке. — Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам!

— Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, — сказала девочка, — оставьте его, оставьте его! — говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так

поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка и прямо абордировать свой предмет, несмотря на то что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него всё дальше и дальше, не знал — куда забежать от страха.

— Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенек. Это был человек сытенький, румяненький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во всё горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на всё значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднесть к носу платок, который держал, за один кончик, в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас; но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

— Вот-с тот мальчик-с, — сказал он, указав на рыженького, — о котором я имел честь просить...

— А? — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

— Сын гувернантки детей моих, — продолжал хозяин просительным тоном, — бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

— Ах, нет, нет, — поспешно закричал Юлиан Мастакович, — нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся: вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль...

— Жаль-с, — повторил хозяин, — мальчик скромненький, тихонький...

— Шалун большой, как я замечаю, — отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, — пошел, мальчик, что ты

стоишь, пойди к своим сверстникам! — сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостию качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою, десять минут назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтоб не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством; слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличие требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умилительных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мастаковичу.

— Женат этот господин? — спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд.

— Нет! — отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостию, которую я сделал умышленно...

Недавно я проходил мимо ***ской церкви; толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморось; я пробрался за толпою в церковь и увидал жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее

красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное, неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не видел ровно пять лет. Я поглядел на нее... Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого... и на сколько-то тряпками...

«Однако расчет был хорош!» — подумал я, протеснившись на улицу...

БЕЛЫЕ НОЧИ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

(Из воспоминаний мечтателя)

...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..

Ив. Тургенев

Ночь первая

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии — и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся.

Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; всё шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи.

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.

Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел за окно, и всё понапрасну... нисколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец я только

сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога... потому что ведь всё, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои, тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, — мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, щедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль островов, — воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, всё поднялось и поехало, всё переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что наконец мне стало стыдно, обидно и грустно: мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!

Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все

проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами, — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...

А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было:

Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось

глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.

По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула — и... я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и только, когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.

— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.

Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О незваный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.

— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось...

— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже...

— А разве вы теперь меня знаете?

— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?

— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я

робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.

— Как? неужели?..

— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...

— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.

— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть, и тогда — прощай все мои средства!..

— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.

— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания...

— Понравиться, что ли?

— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда всё будет открыто, наружу... Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да всё равно... Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..

— Но как же, в кого же?..

— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это всё такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и всё, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что́ я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только

два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь... Впрочем, я для того и говорю...

— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!

— О, благодарю вас, — закричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!

— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считали достойной... внимания и дружбы... одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?

— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность...

— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?

— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это... у меня стеснилось сердце... О, боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..

— Оставьте, довольно, не говорите... — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда, в переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...

— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?

— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...

— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую...

— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...

— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю

об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы... Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы...

— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону... одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть... чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания... Я бы и назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор...

— Уговор! говорите, скажите, скажите всё заране; я на всё согласен, на всё готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен... вы меня знаете...

— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала смеясь девушка. — Я вас совершенно знаю. Но, смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя, прошу вас!

— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку...

— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не измените?..

— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.

— Спите покрепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам...

— Ради бога, но в чем? что?

— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет... Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше...

— О, да я вам завтра же всё расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается... Где я, боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения... Может быть, на меня находят такие минуты... Ну, да я вам завтра всё расскажу, вы всё узнаете, всё...

— Хорошо, принимаю; вы и начнете...

— Согласен.

— До свиданья!

— До свиданья!

И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!

Ночь вторая

— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.

— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!

— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.

— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.

— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.

— Ну, и чем же кончилось?

— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно всё снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами всё рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.

— Совершенно без всяких историй! так, жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, — один, один вполне, — понимаете, что такое один?

— Да как один? То есть вы никого никогда не видали?

— О нет, видеть-то вижу, — а все-таки я один.

— Что же, вы разве не говорите ни с кем?

— В строгом смысле, ни с кем.

— Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня да и пришпилила булавкой мое платье к своему — и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная...

— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.

— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..

— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?

— Ну, да, да!

— В строгом смысле слова?

— В самом строгом смысле слова!

— Извольте, я — тип.

— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?

— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?

— Мечтатель? позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за китайского принца выхожу... А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.

— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте... Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?

— Наконец-то! вот рано вспомнили!

— Ах, боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо...

— Меня зовут — Настенька.

— Настенька! и только?

— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!

— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!

— То-то же! ну!

— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.

Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:

— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на всё иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.

— Фу! господи боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?

— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, — потому что второго в таком случае уже не будет и приятель другой раз не придет, — отчего

сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать и с своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностию поправится бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во всё время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?

— Послушайте, — перебила Настенька, которая всё время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте: я совершенно не знаю, отчего всё это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.

— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.

— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.

— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела — я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?

— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я расска-

зываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого наконец сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно; иначе — я замолчу.

— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.

— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем что в первом лице всё это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на всё окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него *делами,* и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался... Вы думаете, об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат *своею особенною* жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазия» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного

гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но всё та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и всё в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже всё прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон — новое счастие! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд всё между нами холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» — думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и

широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем... об ролп поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте (помните музыку? кладбищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В—й-Д—й, Дантон, Клеопатра ei suoi amanti,[1] домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время, — он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним всё, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь всё это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлаженные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется всё существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят как один миг, в неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою томительно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со

[1] и ее любовники (*итал.*).

всеми томительными мучениями... Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели всё это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, «так долго и нежно»! И этот странный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж разумеется, Настенька) злы были люди! И, боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо (непременно в палаццо), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его... О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастие, — тут люди приезжают из Павловска!

Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что всё более и более влажнели глаза мои... Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем

я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:

— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?

— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу!

— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?

— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем — опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!

— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!

— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящею жизнию; потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее непохож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит

своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении, эта *неистощимая* фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова всё, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется всё по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие всё воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но всё как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне; что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев... О, Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего... потому что всё, что потерял-то, всё это, всё было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!

— Ну, не разжалобливайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя;

но, право, я вас понимаю, потому что всё, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что всё еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?

— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.

— Нет, нет! — перебила Настенька засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня!

— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!

— Руку вашу! — сказала Настенька.

— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.

— Итак, начнемте мою историю!

История Настеньки

— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка...

— Если другая половина так же недолга, как и эта... — перебил было я засмеявшись.

— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.

Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — всё подле бабушки.

Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я всё еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку да и пустилась бежать...

Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.

— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно... Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.

Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец...

— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.

— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что наконец ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец как нарочно был молодой человек, нездешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.

Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказанье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»

А бабушке всё бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли — всё в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.

Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, по-

краснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; нет, чтоб тихонько отшпилить, чтобы жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец всё теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще... Жилец, как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!

С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только всё был не он, не приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что всё хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только всё спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.

— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?

— А! говорит, описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным образом. Я, говорит бабушка, много таких книжек читала, и всё, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, говорит, Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, говорит, он книг прислал?

— А всё Вальтера Скотта романы, бабушка.

— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?

— Нет, говорю, бабушка, нет записки.

— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запихают, разбойники!..

— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.

— Ну то-то же!

Вот мы и начали читать Вальтер-Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина присылал, так что наконец я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.

Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «„Ивангое“ да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.

Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было за чем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» — говорит. Я ему: «Здравствуйте!»

— А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?

Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.

— Послушайте, говорит, вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?

Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.

— Послушайте, говорит, хотите со мною в театр поехать?

— В театр? как же бабушка-то?

— Да вы, говорит, тихонько от бабушки...

— Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!

— Ну, прощайте, говорит, а сам ничего не сказал.

Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; „Севильского цирюльника“ дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».

— «Севильского цирюльника»! — закричала бабушка, — да это тот самый «Цирюльник», которого в старину давали?

— Да, говорит, это тот самый «Цирюльник», — да и взглянул на меня. А я уж всё поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!

— Да как же, говорит бабушка, как не знать. Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!

— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром.

— Да, пожалуй, поедем, говорит бабушка, отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.

Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».

Я думала, что после этого он всё будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — всё на той же лестнице, разумеется, — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я всё еще стою на половине лестницы, красная как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.

Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.

Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да наконец и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что всё кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок всё, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом всё понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?

Мы долго говорили, но я наконец пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — всё разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!

Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

— Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастие; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется — в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.

Вот что он сказал мне и назавтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь целые три дня и, и...

— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.

— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу...

Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.

Я никак не ожидал подобной развязки.

— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет...

— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали всё, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!

И она снова ударилась в слезы.

— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?..

— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.

— Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватившись. — А вот что: напишите письмо.

— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.

— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверь-

тесь! Я вам не дам дурного совета. Всё это можно устроить! Вы же начали первый шаг — отчего же теперь...

— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...

— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, всё более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться... В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова...

— Послушайте, вы как бы написали?

— Что?

— Да это письмо.

— Я бы вот как написал: «Милостивый государь...»

— Это так непременно нужно — милостивый государь?

— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...

— Ну, ну! дальше!

— «Милостивый государь! Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт всё оправдывает, пишите просто:

«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!

Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».

— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благодарю, благодарю вас!

— За что? за то, что меня бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.

— Да, хоть за то.

— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!

— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст

знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем что в письме не всегда всё расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.

— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра всё это будет.

— Письмо... — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо... но...

Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове!

— R,o — Ro, s,i — si, n,a — na, — начал я.

— Rosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.

— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!

Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.

«До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

Ночь третья

Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове, — а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить всё это!

Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастия.

— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала она. — Я не приду.

Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.

Вчера было наше третье свиданье, наша третья белая ночь...

Однако, как радость и счастие делают человека прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить всё свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб всё было весело, всё смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце... Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастия! А я... Я принимал всё за чистую монету; я думал, что она...

Но, боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже всё взято другим, всё не мое; когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь... да, любовь ко мне, — была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастие?.. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, — она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредоточивается...

Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что всё это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.

— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она, — так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?

— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.

— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!

Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.

— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту очень серьезно. — Да вас бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его...

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.

— Вы в припадке, — сказал я, — вы трусите; вы думаете, что он не придет.

— Бог с вами! — отвечала она, — если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую всё как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства!..

В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.

— Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? — сказала она, подавая мне ее опять. — Ну, что же? мы встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.

— Как мы любим друг друга! — закричал я.

«О Настенька, Настенька! — подумал я, — как этим словом ты много сказала! От этакой любви, Настенька, в *иной* час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая как огонь. Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»

Наконец сердце мое переполнилось.

— Послушайте, Настенька! — закричал я, — знаете ли, что со мной было весь день?

— Ну что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор всё молчали!

— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом... потом я пришел домой и лег спать.

— Только-то? — перебила она засмеявшись.

— Да, почти только-то, — отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. — Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это всё рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня... Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...

— Ах, боже мой, боже мой! — перебила Настенька, — как же это всё так? Я не понимаю ни слова.

— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление... — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.

— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!

Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом... Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.

— Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам всё говорю, всё говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.

— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.

— Да, одиннадцать, — сказала она наконец робким, нерешительным голосом.

Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.

— Да и смешное дело, — начал я, всё более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, — да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял... Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше как завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь всё может случиться.

— Да, да! — отвечала Настенька, — я и не подумала; конечно, всё может случиться, — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая, отдаленная мысль. — Вот что вы сделайте, — продолжала она, — вы идите завтра как можно раньше и, если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой адрес.

Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною... Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня головку. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она плакала.

— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество!.. Полноте!

Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал и грудь всё еще колыхалась.

— Я думаю об вас, — сказала она мне после минутного молчания, — вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.

Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.

— Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?

— Нет, Настенька, нет, — отвечал я, — это значит, что вы его больше всего на свете любите, и гораздо больше себя самой любите.

— Да, положим, что это так, — отвечала наивная Настенька,— но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так, вообще; мне уже давно всё это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их...

— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, — перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.

— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством. — Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например... хоть бы теперь... мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. — Вы меня простите, если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, — прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, — но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже всё это чувствую... О, дай вам бог за это счастия! Вот то, что вы мне насказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали.

Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам бог счастия с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю...

Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.

— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала она наконец, подняв голову. — Поздно!..

— Он придет завтра, — сказал я самым уверительным и твердым голосом.

— Да, — прибавила она, развеселившись, — я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свиданья! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было; будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам всё расскажу.

И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:

— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?

О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!

Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь...

Но до завтра, до завтра! Завтра она мне всё расскажет.

Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе...

Ночь четвертая

Боже, как всё это кончилось! Чем всё это кончилось!

Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.

— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.

Она быстро обернулась ко мне.

— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!

Я смотрел на нее в недоумении.

— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.

— Нет, у меня нет письма, — сказал я наконец, — разве он еще не был?

Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.

— Ну, бог с ним! — проговорила она наконец прерывающимся голосом, — бог с ним, — если он так оставляет меня.

Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.

— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил недостало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?

— Не утешайте меня, — говорила она плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..

Тут рыдания пресекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.

— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой! Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви... И после этого!.. Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне, — я этого не могу понять, — как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?

— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.

— Ну!

— Я спрошу его обо всем, расскажу ему всё.

— Ну, ну!

— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он всё узнает, и если...

— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по...за...буду...

Она не договорила.

— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.

— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..

Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.

— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата... что она ничего не сделала!.. О, боже мой, боже мой!..

— Настенька! — закричал я наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение, — Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен наконец говорить, высказать, что у меня накипело тут, в сердце...

Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.

— Что с вами? — проговорила она наконец.

— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, всё вздор, всё несбыточно, всё глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..

— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках, — что с вами?

— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь всё сказано! — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить...

— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне всё казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите... Ах, боже мой, боже мой!

— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.

— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже! я говорю глупости! Но вы...

И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.

— Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что

я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька...

— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, боже мой!

— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я всё скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы схоронил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя...

— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая.

— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я всё скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну, оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..

— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но... говорите! я вам после скажу! я вам всё расскажу!

— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротишь! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете всё. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь всё это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда, — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и всё, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг, — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то всё не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так

любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..

— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)... но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О, боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но... ну, ну, я решилась, я всё скажу...

— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!

— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?

— Чего ждать, как?

— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он...

Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она всё жала мне руку и говорила между рыданьями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте, чтоб эти слезы, — это так, от слабости, подождите, пока пройдет...» Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще всё просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец она собралась с духом и начала говорить...

— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо

в сердце и сладко заныло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить... Я целый год его любила и богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, — бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня, — ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, кончено! Но почем знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать, что если, несмотря на то что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может наконец вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность... что любовь моя будет наконец достойна вашей любви... Возьмете ли вы теперь мою руку?

— Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька!.. О Настенька!..

— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже всё сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-нибудь другом, ради бога!..

— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...

И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети...

— Я теперь живу один, Настенька, — заговорил я, — а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...

— Разумеется, нет, а у бабушки пенсион; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.

— Конечно, нужно взять бабушку... Только вот Матрена...

— Ах, да и у нас тоже Фекла!

— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..

— Всё равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам переезжайте.

— Как это? к вам! Хорошо, я готов...

— Да, вы наймите у нас. У нас там, наверху, мезонин; он пустой; жилица была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того...

— Ах, Настенька!..

И оба мы засмеялись.

— Ну, полноте же, полноте. А где же вы живете? я и забыла.

— Там, у —ского моста, в доме Баранникова.

— Это такой большой дом?

— Да, такой большой дом.

— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее...

— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего... Я получу скоро жалованье...

— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки...

— Ну вот и прекрасно... а я скоро награждение получу, Настенька...

— Так вот вы завтра и будете мой жилец...

— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.

— Да, поедем, — сказала смеясь Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое...

— Ну хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал...

Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза; я оробею, похолодею... Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить...

— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала наконец Настенька, — полно нам так ребячиться!

— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.

— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня...

— Непременно!

— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.

— Непременно, непременно...

— Честное слово?.. потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!

— Честное слово, — отвечал я смеясь...

— Ну, пойдемте!

— Пойдемте.

— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..

Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня еще сильнее.

В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...

— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?

— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на ногах.

— Настенька! Настенька! это ты! — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов.

Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.

Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец оба они исчезли из глаз моих.

Утро

Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.

— Письмо к тебе, батюшка, по городской почте, почтарь принес, — проговорила надо мною Матрена.

— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со стула.

— А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.

Я сломал печать. Это от нее!

«О, простите, простите меня! — писала мне Настенька, — на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..

Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»

«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!

«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала! Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!

Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.

Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим... И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку... да? вы подадите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите *по-прежнему?*

О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее... друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне... Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли?..

Простите же, помните и любите вашу

Настеньку».

Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.

— Касатик! а касатик! — начала Матрена.

— Что, старуха?

— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору...

Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая, *молодая* старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, всё потускнело;

паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие...

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и всё опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..

НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА

I

Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Всё, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика, от одного бедного музыканта, который, после долгих странствований, поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то воды, и поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого скрипача, который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему места. С этим-то

человеком подружился мой отчим. Связь эта была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом: покойник оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который всё еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени к помещику явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую граф очень желал приобресть для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб покончить торг лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит для себя обидное подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием, а потому и просил вразумить его.

Помещик немедленно послал за отчимом.

— Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? — спросил он его, — она тебе не нужна. Тебе дают три тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.

Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская; графу он скрипку не продаст, а если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.

Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостию говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты и что, благодаря им, его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.

— Хорошо! — отвечал помещик. — Я уведомлю графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю: зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи. (Кто знал, что это такой инструмент!)

Ефимов усмехнулся.

— Нет, сударь, я вам ее не продам, — отвечал он, — конечно, ваша воля...

— Да разве я тебя притесняю, разве я тебя принуждаю! — закричал помещик, выведенный из себя, тем более что дело происходило при графском музыканте, который мог заключить по этой сцене очень невыгодно об участи всех музыкантов помещичьего оркестра. — Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием!

Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, потому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком строго с «артистом», как он называл своих музыкантов.

Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончилось, как вдруг, через месяц, графский скрипач затеял ужасное дело: под своею ответственностью он подал на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстною целью: овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно, и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни просьбы, ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима, — ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде, не успев овладеть драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию, но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая всё это, он действовал по предположению, по догадке, потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он всё еще остается в полном убеждении, что причиною смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он уморил его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете.

В продолжение всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчиме так, как будто тот был его родной сын. Несколько раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить, и, когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова как на дело, касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач, француз, и намерен дать мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в гости. Дело шло на лад; француз обещался приехать. Уже всё было готово к его приезду, позван был почти целый уезд, но вдруг всё приняло другой оборот.

В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Оркестр был в чрезвычайном положении: недоставало кларнета, как вдруг, дня три спустя после исчезновения Ефимова, помещик получает от француза письмо, в котором тот надменно отказывался от приглашения, прибавляя, конечно обиняками, что впредь будет чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его.

Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, бессовестно оклеветал его в глазах европейского артиста, такого человека, мнением которого он высоко дорожил! И наконец, письмо было необъяснимо в другом отношении: уведомляли, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Всё это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе и уведомлял, что ему известно всё дело, что заезжий виртуоз теперь у него, вместе с Ефимовым, что он, будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже самого графа; дело это очень важно, и нужно его разъяснить как можно скорее.

Помещик, немедленно отправившись к графу, тотчас же познакомился с французом и объяснил всю историю моего отчима,

прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант — скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный, пользовался полною свободою и всегда, во всякое время, мог бы оставить его, если б действительно был притеснен. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французу. Всё это до крайности раздражило графа, который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, — отвечал мой отчим, — по вашей милости, я едва ушел от уголовного наказания. Знаю, по чьему наущенью Алексей Никифорыч, ваш бывший музыкант, донес на меня.

Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе злое, несправедливое обвинение, клевету и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же, в графском доме. Француз изъявил полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие, чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его раньше, за своею крайнею бедностью, и с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город.

Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть и мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул.

— Егор, — сказал он ему, — за что ты так обидел меня? Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос, и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска звучала в словах его.

— А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! — отвечал наконец мой отчим, махнув рукою, — знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на всё это наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам дьявол привязался ко мне!

— Егор! — начал снова помещик, — воротись ко мне; я всё позабуду, всё тебе прощу. Слушай: ты будешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в пример другим жалованье...

— Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь, оставьте меня. Это всё с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...

— Кто? — спросил помещик.

— А вот, что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец.

— Это он тебя, Егорушка, играть выучил?

— Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видать.

— Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?

— Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только показывал, — и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? всё могу тебе дать», — а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с концом!

— Егор! — сказал помещик после минутного молчания, — я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Егорушка, ради бога, то, что ты французу играл! Отведи душу! Ты упрям, и я упрям; знать, у меня тоже свой норов, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты, как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.

— Ну, быть так! — сказал Ефимов. — Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу рублей мне посулили.

Тут он взял скрипку и начал играть свои варияции на русские песни. Б. говорил, что эти варияции — его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему отчиму и сказал:

— Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам всё улажу с графом; но слушай: больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой

совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, всё учись; не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) — пиши пропало, всё к бесу пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. Ну, теперь прощай!.. Постой, поцелуй меня!

Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел на свободу.

Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Всё это не совсем согласовалось с его первоначальными намерениями, которые состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в котором, в самых унизительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но, по расплате долгов, денег оказалось так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. Наконец какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспорядочною, нищенскою жизнию, и в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с со-

вершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, — тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная, неподвижная идея — выбиться наконец из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке вечного желания и обдумывания этого путешествия и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение — не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и беспрерывной фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении. «Но, — рассказывал Б., — я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, — он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, — прибавлял Б., — то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, — было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем гру-

бом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это всё, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему,— прибавлял Б., — ему и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, — продолжал Б., — то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному следствию этого самоудовлетворения».

Б. в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товарищем его всё чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него; советы его не подействовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма: он нисколько не совестился жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались; Б. кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его

игре и таланте. Б. не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища, который ушел играть, вообразил, что всё это было только намеком на то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал заработывать деньги. Когда Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил, что не останется более с ним ни минуты. Он действительно исчез куда-то на два дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.

Только прежняя свычка и дружба да еще сострадание, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное житье и расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец они расстались. Б. улыбнулось счастье: он приобрел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал его; он видел его насквозь и предузнавал, чем всё это кончится. При расставанье они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель.

— У меня нет таланта! — заключил он, побледнев как мертвый.

Б. был сильно тронут.

— Послушай, Егор Петрович, — говорил он ему, — что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всею твоею жизнию. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что

тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел всё, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы, ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное — начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета? Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда — ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь! Ты еще совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше *авось* — дело великое!

Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того как он говорил, бледность сходила со щек его; они оживились румянцем; глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость, и, наконец, когда Б. оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно и с нетерпением. Однако ж он горячо сжал ему руку, поблагодарил его и, скорый в своих переходах от глубокого са-

моуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости, объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазовет себе и славу и деньги. Б. пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец Б. потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду.

Прошло несколько лет. Один раз Б., возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке, у входа в грязный трактир, на человека дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице; видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б. обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах; растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали седеть и вылезать.

— Что с тобою? Где ты теперь? — спрашивал Б.

Ефимов сконфузился, даже сробел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит пред собою помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что всё было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б., который увидел, что опасения его сбылись вполне. Однако ж он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б. узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила всё его несчастие и горе и что женитьба убила вполне весь талант его.

— Как так? — спросил Б.

— Я, брат, уже два года как не беру в руки скрипку, — отвечал Ефимов. — Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина. Чтоб ее!.. Только деремся, больше ничего не делаем.

— Да зачем же ты женился, коли так?

— Есть было нечего. Я познакомился с ней; у ней было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал! Деньги прожиты, пропиты, братец, и — какой тут талант! Всё пропало!

Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться.

— Всё бросил, всё бросил, — прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя Б. и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметки не станет, если он захочет того.

— Так за чем же дело стало? — сказал удивленный Б. — Ты бы искал себе места?

— Не стоит! — сказал Ефимов, махнув рукою. — Кто из вас там хоть что-нибудь понимает! Что вы знаете? Шиш, ничего, вот что вы знаете! Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть — ваше дело. Скрипачей-то вы хороших и не видали и не слыхали. Чего вас трогать; оставайтесь себе, как хотите!

Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б.; но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б. и подал ее, как низший высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б. трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту.

Б., однако ж, отыскал его на другое утро на чердаке, где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной комнате. Мне было тогда четыре года, и уже два года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой и, по бедности, вышла замуж за старика чиновника, моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожною суммою денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантки опять, с малолетним ребенком на руках, было трудно. В это время, каким-то случайным образом, она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности; воображению ее льстила славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов, который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь тысяча рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что тут не пойдут на ум песни да музыка и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастие. Кажется, он и сам потом уверился в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке.

Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и, действительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что, когда он схоронит жену, *которая погубила его,* всё пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности: она сделалась вспыльчива, желчна, бранчива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущею, жила в беспрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открыла у себя стол для приходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б. посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке.

Нищета нашего семейства поразила Б.

— Послушай, вздор ты всё говоришь, — сказал он отчиму, — где тут убитый талант? Она же тебя кормит, а ты что тут делаешь?

— А ничего! — отвечал отчим.

Но Б. еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было!

Б. долго убеждал своего прежнего товарища; наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет; сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил наконец сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Б. потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать

подаяние! Тогда Б. отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился.

— Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе, — сказал он Б. и вытащил толстую запыленную тетрадь из-под комода.

— Всё это я сам написал, — сказал он, указывая на тетрадь. — Вот ты увидишь! Это, брат, не ваши балетцы!

Б. молча просмотрел несколько страниц; потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес.

Отчим немного обиделся, однако ж, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б. увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренно обрадовавшись, добрый Б. решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А покамест он одел его получше, на свой счет, и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшею радостью принял предложение своего старого друга. Б. рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за всё униженное поклонение, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец ему приискали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда воротил всё, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалованья, всё проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами — одним словом, с таким народом, между которым мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал тол-

ковать какую-то новую теорию музыки, — словом, надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносимым.

И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант в то же время с такими огромными претензиями, с такою хвастливостью, чванством, с таким резким тоном.

Кончилось тем, что отчим поссорился с Б., выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье всё было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть злодейку жену его. Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставлять его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкою желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезжем скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство — его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это вслух или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет и, по своим понятиям, ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном, талантливом скрипаче, чтоб заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности

нападок его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он сделался каким-то домашним Ферситом. Такое житье продолжалось года два или три; но наконец он наскучил всем даже и в этой последней роли. Последовало формальное изгнание, и, в последние два года своей жизни, отчим как будто в воду канул и его уже нигде не видали. Впрочем, Б. встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слыхал, нахлобучил на глаза свою старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник Б. доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б. вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такою знатью, как вы; что для нас, маленьких людей, довольно и лакейского места, чтоб с праздником поздравить: поклонимся и уйдем отсюда. Одним словом, всё было сально, глупо и отвратительно гадко. С этих пор Б. очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которою разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всею моею жизнью. Вот каким образом случилась она... Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиною смерти моей бедной матушки.

II

Я начала себя помнить очень поздно, только с девятого года. Не знаю, каким образом всё, что было со мною до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором бы я могла теперь вспомнить. Но с половины девятого года я помню всё отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто всё, что ни было потом, случилось не далее как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше: всегда затепленную лампаду в темном углу, у старинного образа; потом как меня однажды сшибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная три месяца; еще как во время этой болезни, ночью, проснулась я подле матушки, с которою лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку, из чего и заклю-

чаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Всё прояснялось передо мной, всё чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление; это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем; оно набросило темный и странный колорит на всё время житья моего у родителей, а вместе с тем — и на всё мое детство.

Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна (хотя тогда это, разумеется, не было для меня так поразительно). Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою; в углу стояла огромная русская печь; окна выходили на улицу или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жили под самой кровлей в шестиэтажном, огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев, матушкиной постели, шкафика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял покачнувшись набок, и разодранных бумажных ширм.

Помню, что были сумерки; всё было в беспорядке и разбросано: щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и, не знаю, что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его собою. Бог знает отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хотелось просить за него прощения, вынесть за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной). Вся эта сцена продолжалась часа два, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем всё это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я

крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская, может быть, оттого-то и я начала всё так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тут, кажется в первый раз, меня поразила идея, что он много терпит и выносит горя от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем всё более и более возмущала меня.

С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудна́я любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, *материнское* чувство, если б такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Но до сих пор не понимаю, почему именно могло войти мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой несчастный человек в мире! Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав всё в моем воображении по-своему; но до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатление. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною, заодно.

Я уже рассказала первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Всё вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и которую я не могла не принять, в то время, за чистую истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, — но не знаю, как это сделалось, — что живу в странном семействе и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. «Отчего, — думала я, — отчего я вижу других людей, как-то и с виду непохожих на моих родителей? отчего я замечала смех на других лицах и отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются?» Какая сила, какая причина заставила меня, девятилетнего ребенка, так прилежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово тех людей, которых мне случалось встречать или на нашей лестнице, или на улице, когда я повечеру, прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю

или хлеба? Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу — какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать всё это по-своему: я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца, и опять говорю: не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. До сих пор воспоминание обо всем этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой случай, который еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом часу вечера, матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие; какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец меня поставили на ноги, я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатным людям и был великолепно освещен; у крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была уверена, кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку и мне стало ужасно больно; но я не закричала, боясь огорчить его. Он всё спрашивал, вижу ли я что-нибудь? Я всеми силами старалась отвечать в угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы. Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, — ласкает и любит меня и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь всё более и более, нагнала на меня лихорадку. Однако ж я была как-то особенно счастлива тем, что всё так благополучно кончилось, и всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами.

И вот когда я проснулась на другой день, первою мыслию, первою заботою моею был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любо-

пытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть каким-то кровавым, особенным блеском красные как пурпур гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных, гордых лошадях, и всё завлекало мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Всё это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица, и я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей, почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка артист (это слово я удержала в памяти), что батюшка человек с талантом; в моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист — какой-то особенный человек, непохожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти; но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, — фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот, — не знаю, как началось это всё сначала, — но под конец я остановилась на том, что, когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но куда? — я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что всё, чем могла я украсить то место, куда мы пойдем с ним (а я непременно решила, что мы пойдем вместе), всё, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, — всё было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты; я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для

меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома, когда я выходила из дому, и этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется; потом я порешила, мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем доме, и вот теперь — этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкою, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и всё старалась угадать, что такое там делается, — и всё казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила, и когда однажды матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастие, что она хочет помешать ему и в этот раз... Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку.

И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, — и тревога, смущение и сомнение западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто, с мучением и страданием, я чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и не помню, чтоб я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Раз, помню (конечно, что я расскажу теперь, ничтожно, мелочно, грубо, но именно такие воспоминания как-то особенно терзают меня и мучительнее всего напечатлелись в моей памяти), — раз, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она всё раздумывала и всё не решалась и вслух считала медные деньги, — жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, я думаю, с полчаса и всё не могла окончить расчетов. К тому же в иные минуты, вероятно от горя, она впадала в какое-то бессмыслие. Как теперь помню, она всё что-то приговаривала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно; губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.

— Нет, не нужно, — сказала она, поглядев на меня, — я лучше спать лягу. А? хочешь ты спать, Неточка?

Я молчала; тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такою материнскою улыбкой, что всё сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она меня назвала Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя, Анна, в уменьшительное Неточка, и когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута; мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, — может быть, уже машинально и позабыв, что ласкает меня, и всё приговаривала: «Дитя мое, Аннета, Неточка!» Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя единственно только строгостью своею со мною. Нет! меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам, в углу, на своей коротенькой подстилке, под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно. Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда я была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью: стоило только прижаться к ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее — и тотчас, бывало, заснешь. Я всё еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны и если полюбят кого, то любят исключительно. Так было и со мною.

Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, всё молча, всё думая, всё тоскуя и всё чего-то добиваясь в мечтах моих. Приглядываясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную вражду их, поняла всё это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая угнездилась в нашем углу, — конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по целым часам жадно следила за ними, всматривалась в лицо отца и всё старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она всё ходила, не уставая, взад и вперед по комнате по целым часам, часто даже и ночью, во время бессонницы, которою мучилась, ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате, то разводя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам впадала в забытье. У ней

была какая-то очень трудная болезнь, которою она совершенно пренебрегала.

Я помню, что мне всё тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательною жизнию, всё думая, мечтая и мучась потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первый заметил меня, подозвал к себе и спросил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню, что я ему отвечала: помню, что он об чем-то задумался и наконец сказал, поглядев на меня, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день, отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня; я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая, хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боялась, чтоб он не подумал, что мне с ним скучно, и потому всеми силами старалась показать ему, что всё понимаю. Сидеть со мною по вечерам обратилось у него наконец в привычку. Как только начинало смеркаться и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Действительно, я занимала его и ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то рай, слушая его, и к концу рассказа была в полном восторге. Не то чтоб так действовала на меня сказка, — нет, но я всё брала за истину, тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами; тут же, неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда, наконец, — или, лучше сказать, прежде всего — я, с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками, — всё это до того перемешалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чутье настоящего, действительного и жила бог знает где. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет меня вместе

с собою, когда мы оставим наконец наш чердак. Я была уверена, с своей стороны, что всё это как-то скоро совершится, но как и в каком виде всё это будет — не знала и только мучила себя, ломая над этим голову. Порой — и случалось это особенно по вечерам — мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой, вызовет меня в сени; я, мимоходом, потихоньку от матушки, захвачу свою азбуку и еще нашу картину, какую-то дрянную литографию, которая с незапамятных времен висела без рамки на стене и которую я решила непременно взять с собою, и мы куда-нибудь убежим потихоньку, так что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, — а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина, — подошла к нему и заговорила о чем-то в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец я добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испугавшись, как будто приготовлялась говорить о чем-то таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь на каждом шагу, расспрашивать его: куда мы пойдем, скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить и, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?

— Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты бредишь, глупая?

Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал всё это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере мне это так казалось.

— Мать? Умерла? Когда умрет мать? — повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. — Что ты это говоришь, бедная, глупая...

Тут он начал бранить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю... и не помню, что еще, но только он был очень огорчен.

Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но всё это, естественно, должно было поразить его. Однако ж, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно; я заплакала; мне показалось, что всё, нас ожидавшее, было так важно, что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова, однако почувствовала, хотя и темным образом, что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу

и мучусь, начал утешать меня, отер мне рукавом слезы и велел мне не плакать. Однако мы оба просидели несколько времени молча; он нахмурился и, казалось, о чем-то раздумывал; потом снова начал мне говорить; но как я ни напрягала внимание — всё, что он ни говорил, казалось мне чрезвычайно неясным. По некоторым словам этого разговора, которые я до сих пор упомнила, заключаю, что он объяснял мне, кто он такой, какой он великий артист, как его никто не понимает и что он человек с большим талантом. Помню еще, что, спросив, поняла ли я, и, разумеется, получив ответ удовлетворительный, он заставил меня повторить, с талантом ли он? Я отвечала: «с талантом», на что он слегка усмехнулся, потому что, может быть, к концу ему самому стало смешно, что он заговорил о таком серьезном для него предмете со мною. Разговор наш прервал своим приходом Карл Федорыч, и я засмеялась и развеселилась совсем, когда батюшка, указав на него, сказал мне:

— А вот так у Карла Федорыча нет ни на копейку таланта.

Этот Карл Федорович был презанимательное лицо. Я так мало видела людей в ту пору моей жизни, что никак не могла позабыть его. Как теперь представляю его себе: он был немец, по фамилии Мейер, родом из Германии, и приехал в Россию с чрезвычайным желанием поступить в петербургскую балетную труппу. Но танцор он был очень плохой, так что его даже не могли принять в фигуранты и употребляли в театре для выходов. Он играл разные безмолвные роли в свите Фортинбраса или был один из тех рыцарей Вероны, которые все разом, в числе двадцати человек, поднимают кверху картонные кинжалы и кричат: «Умрем за короля!» Но, уж верно, не было ни одного актера на свете, так страстно преданного своим ролям, как этот Карл Федорыч. Самым же страшным несчастием и горем всей его жизни было то, что он не попал в балет. Балетное искусство он ставил выше всякого искусства на свете и в своем роде был столько же привязан к нему, как батюшка к скрипке. Они сошлись с батюшкой, когда еще служили в театре, и с тех пор отставной фигурант не оставлял его. Оба виделись очень часто, и оба оплакивали свой пагубный жребий и то, что они не узнаны людьми. Немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире и питал к моему отчиму самую пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, кажется, не имел к нему никакой особенной привязанности и только терпел его в числе знакомых, за неимением кого другого. Сверх того, батюшка никак не мог понять в своей исключительности, что балетное искусство — тоже искусство, чем обижал бедного немца до слез. Зная его слабую струнку, он всегда задевал ее и смеялся над несчастным Карлом Федоровичем, когда тот горячился и выходил из себя, доказывая противное. Многое я слышала потом об этом Карле Федоровиче от Б., который называл его нюренбергским щелкуном. Б. рассказал очень многое о дружбе его с отцом; между прочим, что они не раз сходились вместе и, выпив немного,

начинали вместе плакать о своей судьбе, о том, что они не узнаны. Я помню эти сходки, помню тоже, что и я, смотря на обоих чудаков, тоже, бывало, расхныкаюсь, сама не зная о чем. Это случалось всегда, когда матушки не бывало дома: немец ужасно боялся ее и всегда, бывало, постоит наперед в сенях, дождется, покамест кто-нибудь выйдет, а если узнает, что матушка дома, тотчас же побежит вниз по лестнице. Он всегда приносил с собой какие-то немецкие стихи, воспламенялся, читая их вслух нам обоим, и потом декламировал их, переводя ломаным языком по-русски для нашего уразумения. Это очень веселило батюшку, а я, бывало, хохотала до слез. Но раз они оба достали какое-то русское сочинение, которое чрезвычайно воспламенило их обоих, так что потом они уже почти всегда, сходясь вместе, читали его. Помню, что это была драма в стихах какого-то знаменитого русского сочинителя. Я так хорошо затвердила первые строки этой книги, что потом, уже через несколько лет, когда она случайно попалась мне в руки, узнала ее без труда. В этой драме толковалось о несчастиях одного великого художника, какого-то Дженаро или Джакобо, который на одной странице кричал: «Я не признан!», а на другой: «Я признан!», или: «Я бесталантен!», и потом, через несколько строк: «Я с талантом!» Всё оканчивалось очень плачевно. Эта драма была, конечно, чрезвычайно пошлое сочинение; но вот чудо — она самым наивным и трагическим образом действовала на обоих читателей, которые находили в главном герое много сходства с собою. Помню, что Карл Федорович иногда до того воспламенялся, что вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и просил батюшку и меня, которую называл «мадмуазель», неотступно, убедительно, со слезами на глазах, тут же на месте рассудить его с судьбой и с публикой. Тут он немедленно принимался танцевать и, выделывая разные па, кричал нам, чтоб мы ему немедленно сказали, что он такое — артист или нет, и что можно ли сказать противное, то есть что он без таланта? Батюшка тотчас же развеселялся, мигал мне исподтишка, как будто предупреждая, что вот он сейчас презабавно посмеется над немцем. Мне становилось ужасно смешно, но батюшка грозил рукою, и я крепилась, задыхаясь от смеху. Я даже и теперь, при одном воспоминании, не могу не смеяться. Как теперь вижу этого бедного Карла Федоровича. Он был премаленького роста, чрезвычайно тоненький, уже седой, с горбатым красным носом, запачканным табаком, и с преуродливыми кривыми ногами; но, несмотря на то, он как будто хвалился устройством их и носил панталоны в обтяжку. Когда он останавливался, с последним прыжком, в позицию, простирая к нам руки и улыбаясь нам, как улыбаются на сцене танцовщики по окончании па, батюшка несколько мгновений хранил молчание, как бы не решаясь произнести суждение, и нарочно оставлял непризнанного танцовщика в позиции, так что тот колыхался из стороны в сторону на одной ноге, всеми силами стараясь сохранить равновесие. Наконец батюшка с пресерьез-

ною миною взглядывал на меня, как бы приглашая быть беспристрастною свидетельницей суждения, а вместе с тем устремлялись на меня и робкие, молящие взгляды танцовщика.

— Нет, Карл Федорыч, никак не потрафишь! — говорил наконец батюшка, притворясь, что ему самому неприятно высказывать горькую истину. Тогда из груди Карла Федорыча вырывалось настоящее стенание; но вмиг он ободрялся, ускоренными жестами снова просил внимания, уверял, что танцевал не по той системе, и умолял нас рассудить еще раз. Потом он снова отбегал в другой угол и иногда прыгал так усердно, что головой касался потолка и больно ушибался, но, как спартанец, геройски выдерживал боль, снова останавливался в позитуре, снова с улыбкою простирал к нам дрожащие руки и снова просил решения судьбы своей. Но батюшка был неумолим и по-прежнему угрюмо отвечал:

— Нет, Карл Федорыч, видно — судьба твоя: никак не потрафишь!

Тут уж я более не выдерживала и покатывалась со смеху, а за мною батюшка. Карл Федорыч замечал наконец насмешку, краснел от негодования и, со слезами на глазах, с глубоким, хотя и комическим чувством, но которое заставляло меня потом мучиться за него, несчастного, говорил батюшке:

— Ты виролёмный друк!

Потом он схватывал шляпу и выбегал от нас, клянясь всем на свете не приходить никогда. Но ссоры эти были непродолжительны; через несколько дней он снова являлся у нас, снова начиналось чтение знаменитой драмы, снова проливались слезы, и потом снова наивный Карл Федорыч просил нас рассудить его с людьми и с судьбою, только умоляя на этот раз уже судить серьезно, как следует истинным друзьям, а не смеяться над ним.

Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Всходя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поцеловать меня, заметил в моей руке серебряную монету... Я позабыла сказать, что я так приучилась к выражению лица его, что тотчас же, с первого взгляда, узнавала почти всякое его желание. Когда он был грустен, я разрывалась от тоски. Всего же чаще и сильнее скучал он, когда у него совершенно не было денег и когда он не мог поэтому выпить ни капли вина, к которому сделал привычку. Но в эту минуту, когда я с ним повстречалась на лестнице, мне показалось, что в нем происходит что-то особенное. Помутившиеся глаза его блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда он увидел в моих руках блеснувшую монету, то вдруг покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб взять у меня деньги, и тотчас же отдернул ее назад. Очевидно, в нем происходила борьба. Наконец он как будто осилил себя,

приказал мне идти наверх, сошел несколько ступеней вниз, но вдруг остановился и торопливо кликнул меня.

Он был очень смущен.

— Послушай, Неточка, — сказал он, — дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу. А? ты ведь дашь их папе? ты ведь добренькая, Неточка?

Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал:

— Ну, не нужно, не нужно!..

— Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети.

— Ну, хорошо, хорошо; ведь я знал, что ты умная девочка, — сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. — Ты добрая девочка, ты ангельчик мой! Вот дай тебе я ручку поцелую!

Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною, и стыд всё больше начинал меня мучить. Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простившись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись и сердце билось от какого-то томительного и мне неведомого доселе ощущения. Однако я смело сказала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их сыскать. Я ожидала по крайней мере побой, но этого не случилось. Матушка действительно была сначала вне себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны. Она закричала на меня, но тотчас же как будто одумалась и перестала бранить меня, заметив только, что я неловкая, нерадивая девочка и что я, видно, мало люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда бы я вынесла побои. Но матушка уже знала меня. Она уже заметила мою чувствительность, доходившую часто до болезненной раздражительности, и горькими упреками в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить быть осторожнее на будущее время.

В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я, по обыкновению, дожидалась его в сенях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял таинственный, смущенный вид и, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтоб я более никогда не смела брать денег и таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень нехорошо; теперь это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе, но он отдаст, и я могу сказать потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно, и чтоб я вперед отнюдь не думала, а он мне

за это, если я вперед буду слушаться, еще пряников купит; наконец, он даже прибавил, чтоб я пожалела маму, что мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех работает. Я слушала в страхе, дрожа всем телом, и слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что не могла слова сказать, не могла двинуться с места. Наконец он вошел в комнату, приказал мне не плакать и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила, что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца и не подходила к нему. Он тоже видимо избегал моих взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и говорила что-то про себя, как бы в забытьи, по своему обыкновению. В этот день ей было хуже и с ней сделался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего страдания, у меня началась лихорадка. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку; она окликнула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но еще горче заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокоивать, думая, что я испугалась чего-нибудь во сне. «Эх ты, глупенькая девушка! — сказала она, — до сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же!» И тут она поцеловала меня, сказав, чтоб я шла спать к ней. Но я не хотела, я не смела обнять ее и идти к ней. Я терзалась в невообразимых мучениях. Мне хотелось ей всё рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке и его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая, Неточка! — сказала матушка, укладывая меня на постель и укутывая своим старым салопом, ибо заметила, что я вся дрожу в лихорадочном ознобе, — ты, верно, будешь такая же больная, как я!» Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда, зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще впросонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжкой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам всё хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец, он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что́ я буду очень рада видеть, за то, что я такая умненькая и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее, на черном снурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как будто желая прочитать в глазах моих всё удовольствие, которое я, по его мнению, должна была ощущать, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы чер-

ный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какою-то робостью и весь изменился: смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец, он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, — вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим, торжественным голосом; но я не понимала его и только удержала в памяти уже известное мне выражение, — что он артист, что он с талантом, — что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастия. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки; но я видела, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук.

— Это музыка! — сказала я, поглядев на батюшку.

— Да, да, музыка, — повторил он, радостно потирая руки, — ты умное дитя, ты доброе дитя! — Но, несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх, — я поскорей отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик, ящик был заперт и положен в сундук; батюшка же, погладив меня снова по голове, обещал мне всякий раз показывать скрипку, когда я буду, как и теперь, умна, добра и послушна. Таким образом, скрипка разогнала наше общее горе. Только вечером батюшка, уходя со двора, шепнул мне, чтоб я помнила, что он мне вчера говорил.

Таким образом я росла в нашем углу, и мало-помалу любовь моя, — нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое бы могло передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самой чувство к отцу, — дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение — думать и мечтать о нем; только одна воля — делать всё, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожидалась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от холода, только для того, чтоб хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня. А между тем часто мне было до боли мучительно, что я так упорно холодна с бедной матушкой; были минуты, когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее. В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и должна была выбирать между ними, должна была взять чью-нибудь сторону, и взяла сторону этого полусумасшедшего человека, единственно оттого, что он был так жалок, унижен в глазах моих и в самом

начале так непостижимо поразил мою фантазию. Но, кто рассудит? — может быть, я привязалась к нему именно оттого, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне более ровня. Мало-помалу я чувствовала, что даже верх на моей стороне, что я понемногу подчиняла его себе, что я уже была необходима ему. Я внутренно гордилась этим, внутренно торжествовала и, понимая свою необходимость для него, даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта чудная привязанность моя походила несколько на роман... Но этому роману суждено было продолжаться недолго: я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Вот как это случилось.

III

В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайною новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого С—ца. Всё, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и с скромною гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать двадцать пять рублей за вход; но европейское имя С—ца, его увенчанная лаврами старость, неувядаемая свежесть таланта, слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, уверение, что он уже в последний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечатление было полное и глубокое.

Я уже говорила, что приезд каждого нового скрипача, каждой хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтоб поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новоприбывшему, и только тогда успокоивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде С—ца, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние десять лет Петербург не слыхал ни одного знаменитого дарования, хотя бы даже и неравносильного с С—цом; следственно,

отец мой и не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе.

Мне рассказывали, что, при первых слухах о приезде С—ца, отца моего тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный и с беспокойством осведомлялся о С—це и предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами, и появление его произвело даже эффект. Кто-то захотел подразнить его и с вызывающим видом сказал: «Теперь вы, батюшка, Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такую, от которой вам, уж верно, житья не будет на свете!» Говорят, что он побледнел, услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически улыбаясь: «Посмотрим; славны бубны за горами; ведь С—ц только разве в Париже был, так это французы про него накричали, а уж известно, что такое французы!» и т. д. Кругом раздался хохот; бедняк обиделся, но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра недолго и что скоро все чудеса разрешатся.

Б. рассказывает, что в этот же вечер, перед сумерками, он встретился с князем X—м, известным дилетантом, человеком глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг, на повороте одной улицы, Б. увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афишку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте С—ца и которая лежала на окне магазина.

— Видите ли вы этого человека? — сказал Б., указывая на моего отца.

— Кто такой? — спросил князь.

— Вы о нем уже слышали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил и которому вы даже оказали когда-то покровительство.

— Ах, это любопытно! — сказал князь. — Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать.

— Это не стоит, — отвечал Б., — да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его жизнь — страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую, и как ни грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший; во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери. Я его знаю: он умер бы на месте, если б уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как он *почти* уверен в нем, и восемь лет борется со своею совестью, чтоб сознаться в том не почти, а вполне.

— Вы говорили, он беден? — сказал князь.

— Да; но бедность теперь для него почти счастие, потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы и тотчас увидели бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что тысяча рублей, которые были у его жены, помогут ему стать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит целые восемь лет без умолку? Он утверждает, что виновница его бедствий — жена, что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет работать. А отнимите у него эту жену — и он будет самое несчастное существо в мире. Вот уже несколько лет, как он не брал в руки скрипки, — знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренно принужден убедиться, что он ничто, нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil, [1] как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг. Его жажда — слава. А если такое чувство сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уж не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт, то есть любовь к искусству, единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но С—ц, напротив: когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме его музыки. После смычка первое дело у него деньги, а уж третье, кажется, слава. Но он об ней мало заботился... Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? — прибавил Б., указывая на Ефимова. — Его занимает самая глупая, самая ничтожнейшая, самая жалкая и самая смешная забота в мире, то есть: выше ли он С—ца, или С—ц выше его, — больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которой отдал на жертву всю жизнь и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное.

— А любопытно, что будет с ним, когда он услышит С—ца, — заметил князь.

— Да, — сказал Б. задумчиво. — Но нет: он очнется тотчас же; его сумасшествие сильнее истины, и он тут же выдумает какую-нибудь отговорку.

— Вы думаете? — заметил князь.

В это время они поравнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но Б. остановил его и заговорил с ним. Б. спросил, будет ли он у С—ца. Отец отвечал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуо-

---

[1] или Цезарь, или ничто (*лат.*).

зов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок, отчего же нет? когда-нибудь сходит. Тут он быстро и беспокойно посмотрел на Б. и на князя и недоверчиво улыбнулся, потом схватился за шляпу, кивнул головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда.

Но я уже за день знала о заботе отца. Я не знала, что именно его мучит, но видела, что он был в страшном беспокойстве; даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей, старых его товарищей, чему я очень изумилась, потому что, кроме Карла Федорыча, посторонних людей у нас почти никогда не видала и с нами все раззнакомились с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец, прибежал, запыхавшись, Карл Федорыч и принес афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядывалась, и всё это меня беспокоило так, как будто я одна была виновата во всей этой тревоге и в беспокойстве, которое читала на лице батюшки. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят, и я в первый раз услышала имя С—ца. Потом я поняла, что нужно по крайней мере пятнадцать рублей, чтоб увидеть этого С—ца. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукою, сказал, что знает он эти чуда заморские, таланты неслыханные, знает и С—ца, что это всё жиды, за русскими деньгами лезут, потому что русские спроста всякому вздору верят, а уж и подавно тому, о чем француз прокричал. Я уже понимала, что значило слово: *нет таланта*. Гости стали смеяться и вскоре ушли все, оставя батюшку совершенно не в духе. Я поняла, что он за что-то сердит на этого С—ца, и, чтоб подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух прочла имя С—ца. Потом, засмеявшись и посмотрев на батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала: «Это, верно, такой же, как и Карл Федорыч: он, верно, тоже никак не потрафит». Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал и с каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом начал мне говорить, что я умное, что я доброе дитя, что я, верно, не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно, он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать; я видела, что слова его и ласки были неискренни, и всё это как-то потрясло меня. Я мучительно начала за него беспокоиться.

На другой день, за обедом, — это было уже накануне концерта — батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец, я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой, — я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать; поминутно, под раз-

ными предлогами, вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, всё гладил он меня по голове, всё целовал меня, всё говорил мне, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что, верно, я люблю своего папу и что, верно, сделаю то, о чем он меня попросит. Всё это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам, он спросил меня: знаю ли я, где лежат у матушки те двадцать пять рублей, которые она вчера поутру принесла? Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воротился уже ввечеру, смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какою-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей чаю и сахару. Чай пили у нас очень редко: матушка дозволяла себе эту, по нашим средствам, прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось: батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу.

— Неточка! — начал он дрожащим голосом, — голубчик мой! Послушай: дай-ка мне эти деньги, а я завтра же...

— Папочка! папочка! — закричала я, бросаясь на колени и умоляя его, — папочка! не могу! нельзя! Маме нужно чай кушать... Нельзя у мамы брать, никак нельзя! Я другой раз унесу...

— Так ты не хочешь? ты не хочешь? — шептал он мне в каком-то исступлении, — так ты, стало быть, не хочешь любить меня? Ну, хорошо же! теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? слышишь ли ты?

— Папочка! — закричала я в полном ужасе, — возьми деньги, на! Что мне делать теперь? — говорила я, ломая руки и ухватившись за полы его сюртука, — мамочка плакать будет, мамочка опять бранить меня будет!

Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял; наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры; я не смела войти, не могла войти; всё, насколько было во мне сердца, было возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти матушки. Я была в каком-то забытьи, в оцепенении и вздрагивала, прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице. Наконец я услышала, что кто-то поспешно всходил наверх. Это был он; я отличила его походку.

— Ты здесь? — сказал он шепотом.

Я бросилась к нему.

— На! — закричал он, всовывая мне в руки деньги, — на! возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты любишь маму больше меня! так и ступай к маме! А я тебя знать не хочу! — Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по лестнице. Я, плача, бросилась догонять его.

— Папочка! добренький папочка! я буду слушаться! — кричала я, — я тебя люблю больше мамы! Возьми деньги назад, возьми!

Но он уже не слыхал меня; он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе; я была как без памяти, ничего не слыхала и не видала. Наконец всё разрешилось припадком: я начала плакать, кричать; матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, и они оба о чем-то громко разговаривали. Я насилу дождалась, пока ушел гость, и, когда мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить, чтоб он простил меня за вчерашнее.

— А будешь ли ты умным дитятей, как прежде? — сурово спросил он меня.

— Буду, папочка, буду! — отвечала я. — Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у ней в этом ящике, в шкатулке, вчера лежали.

— Лежали? Где? — закричал он, встрепенувшись, и встал со стула. — Где они лежали?

— Они заперты, папаша! — говорила я. — Подожди: вечером, когда мама пошлет менять, потому что медные деньги, я видела, все вышли.

— Мне нужно пятнадцать рублей, Неточка! Слышишь ли? Только пятнадцать рублей! Достань мне сегодня; я тебе завтра же всё принесу. А я тебе сейчас пойду леденцов куплю, орехов куплю... куклу тоже тебе куплю... и завтра тоже... и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка!

— Не нужно, папа, не нужно! я не хочу гостинцев; я не буду их есть; я тебе их назад отдам! — закричала я, разрываясь от слез, потому что всё сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня и что он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний;

он видел, что я готова была решиться на всё для него, что я всё для него сделаю, и бог видит, как много было это «всё» для меня тогда. Я понимала, чтó значили эти деньги для бедной матушки; знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видал; он меня считал трехлетним ребенком, тогда как я всё понимала. Восторг его не знал пределов; он целовал меня, уговаривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы уйдем куда-то от матушки,— вероятно, льстя моей всегдашней фантазии, — и, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его, но что врагам его не удастся. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих. Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил; но, уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с усмешкою, словно не уверенный во мне и как будто стараясь, чтоб я не раздумала.

Я уже сказала, что он был как помешанный; но еще и накануне было это видно. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить всё. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его, но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте и не притрогивался ни к какому кушанью, поминутно вставал с места и опять садился, словно одумавшись; то хватался за шляпу, как будто сбираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, всё что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорей добиться денег и как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед; я забилась в угол и, дрожа как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. В жизнь свою я не проводила более мучительных часов; они навеки останутся в моем воспоминании. Чего я не перечувствовала в эти мгновения! Есть минуты, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые годы. Я чувствовала, что делаю дурной поступок: он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в первый раз малодушно натолкнул меня на зло и, испугавшись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно. Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочувствовавшую, осмыслившую много злого и доброго? Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порок и пожертвовать, таким образом, моим бедным, беззащитным

детством, рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшую совесть. И теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя: зачем же он обещал награду за то, что уже я решилась сделать своей собственной волей? Новые ощущения, новые стремления, доселе неведомые, новые вопросы толпою восставали во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начинала думать о матушке; я представляла себе горесть ее при потере последнего трудового. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, Неточка; только, ради бога, чтоб тебя не обсчитали, как намедни, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили шесть, а концерт назначен был в семь часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании.

Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги; на лестнице было темно, и я не могла видеть лица его; но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места; наконец очнулась, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить.

— Папа! разве... ты не пойдешь вместе со мною? — спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей — его заступничестве.

— Нет... ты уже поди одна... а? Подожди, подожди! — закричал он, спохватившись, — подожди, вот я тебе гостинцу сейчас принесу; а ты только сходи сперва да принеси сюда мою шляпу.

Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было, и если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой.

— Где деньги? — закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. — Где деньги? говори! говори! — Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты.

Я молчала, опустя глаза в землю; я едва понимала, что со мною делается и что со мной делают.

— Где деньги? — закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. — Где деньги? — повторила она. — А! она тебе отдала их? Безбожник! губитель мой! злодей мой! Так ты ее тоже губишь! Ребенка! ее, ее?! Нет же! ты так не уйдешь!

И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе.

— Говори! признавайся! — начала она мне голосом, едва слышным от волнения, — признавайся во всем! Говори же, говори! или... я не знаю, что я с тобой сделаю!

Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в исступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку, но робко подняла на него в последний раз глаза... Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя, — и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку... Но, боже мой! бесчувственным, угрожающим жестом он приказывал мне молчать, будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло, захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол... Со мной повторился вчерашний нервный припадок.

Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б., который в эту минуту находился у князя. В пакете лежал пригласительный билет к С—цу.

Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, — всё это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина всё еще любила отца. И теперь, несмотря на целые восемь лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце всё еще не изменилось: она всё еще могла любить его! Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, — может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимою самоуверенностью своего сумасбродного мужа! Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния, и на внимании князя она вмиг могла построить для него тысячу планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему, она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступление — пожертвование ее единственным дитятей, и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды низвесть это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, грязною жизнию, отчаянным положением. В ней всё было увлечение, и в этот миг у ней уже были снова готовы прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа.

Отец засуетился; его тоже поразила внимательность князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась чрез две минуты, принеся разменённые деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному,

который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выходившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстух, сохранявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды; он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я; может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение.

Батюшка вышел; мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении: губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях.

— Это я, это всё я виновата, несчастная! — говорила она сама с собою. — Что ж с нею будет? что ж с нею будет, когда я умру? — продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молниею от одной этой мысли. — Неточка! дитя мое! бедная ты моя! несчастная! — сказала она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. — На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь ли? запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? будешь ли помнить вперед?

— Буду, буду, маменька! — говорила я, складывая руки и умоляя ее.

Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что разлучится со мною. Сердце мое разрывалось.

— Мамочка! мама! — сказала я, всхлипывая, — за что ты... за что ты не любишь папу? — И рыдания не дали мне досказать.

Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в новой, ужасной тоске, она стала ходить взад и вперед по комнате.

— Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла; она знает, всё знает! Боже мой! какое впечатление, какой пример! — И она опять ломала руки в отчаянии.

Потом она подходила ко мне и с безумною любовью целовала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении... Я никогда не видывала таких страданий... Наконец она как будто измучилась и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтоб я легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтоб успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько

подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертою, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки.

Я лежала как будто в забытьи, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просыпалась и вздрагивала от каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала всё более и более. Мне хотелось кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище.

Я долго смотрела, но батюшка всё еще не двигался с места; он сидел неподвижно, всё в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь; потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол; потом снова огляделся кругом; взгляд его был мутный и беглый, — такой, какого я у него никогда еще не замечала.

Он было взялся за скрипку, но, тотчас же оставив ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Цепенея от страха, я ждала, что будет.

Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову; но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги... и я начала дрожать от неведомого страха: мне стало страшно за матушку, мне стало страшно за ее глубокий сон, и с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле члены ее тела... Как молния, пробежала страшная мысль в уме моем.

Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было — так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного... и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть. Но звуки шли как-то прерывисто;

он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то; наконец с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то всё беспокоило. Он опять пошел к постели... Я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним.

Вдруг он поспешно начал чего-то искать под руками — и опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. Мне пришло в голову: отчего же так крепко спит матушка? отчего же она не проснулась, когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец я увидела, что он стаскивал всё, что мог найти из нашего платья, взял салоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под наброcанной грудой; она лежала всё неподвижно, не шевелясь ни одним членом.

Она спала глубоким сном!

Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но всё еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтоб даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком... Музыка началась.

Но это была не музыка... Я помню всё отчетливо, до последнего мгновения; помню всё, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать! Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные, — но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач; целое отчаяние выливалось в этих звуках, и наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было всё, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, — всё это как будто соединилось разом... я не могла выдержать, — я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и, с страшным, отчаянным криком бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку.

С минуту стоял он как потерянный. Наконец глаза его запрыгали и забегали по сторонам; он как будто искал чего-то, вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мною... еще минута, и он, может быть, убил бы меня на месте.

— Папочка! — закричала я ему, — папочка!

Он задрожал как лист, когда услышал мой голос, и отступил на два шага.

— Ах! так еще ты осталась! Так еще не всё кончилось! Так еще ты осталась со мной! — закричал он, подняв меня за плеча на воздух.

— Папочка! — закричала я снова, — не пугай меня, ради бога! мне страшно! ай!

Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль, — из помутившихся глаз его брызнули слезы; он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо.

— Папочка! — говорила я ему, терзаясь от страха, — не смотри так, папочка! Уйдем отсюда! уйдем скорее! уйдем, убежим!

— Да, убежим, убежим! пора! пойдем, Неточка! скорее, скорее! — И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман, потом увидел чепчик — и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая всё, что было ему нужно.

Я мигом надела свое платье и, тоже торопясь, начала захватывать всё, что мне казалось нужным для дороги.

— Всё ли, всё ли? — спрашивал отец, — всё ли готово? скорей! скорей!

Я наскоро навязала узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали было выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко; мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец, после долгих трудов,сняли. Тогда всё было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец он как будто нашел, что ему было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комоде. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике.

— Вот, на, возьми это, береги, — прошептал он мне, — не теряй же, помни, помни!

Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня.

— Неточка! — сказал он мне, как будто размышляя с усилием, — деточка моя, я позабыл... что такое?.. Что это надо?.. Я не помню... Да, да, нашел, вспомнил!.. Поди сюда, Неточка!

Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтоб я стала на колени.

— Молись, дитя мое, помолись! тебе лучше будет!.. Да, право, будет лучше, — шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня. — Помолись, помолись! — говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом.

Я бросилась на колени, сложила руки и, полная ужаса, отчаяния, которое уже совсем овладело мною, упала на пол и пролежала несколько минут как бездыханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боялась его; мне хотелось остаться. Наконец то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей.

— Папа, — сказала я, обливаясь слезами, — а мама?.. Что с мамой? где она? где моя мама?..

Я не могла продолжать и залилась слезами.

Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную груду платья и открыл одеяло. Боже мой! Она лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я как бесчувственная бросилась на нее и обняла ее труп. Отец поставил меня на колени.

— Поклонись ей, дитя! — сказал он, — простись с нею...

Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною... Он был ужасно бледен; губы его двигались и что-то шептали.

— *Это не я*, Неточка, *не я*, — говорил он мне, указывая дрожащею рукою на труп. — Слышишь, *не я; я не виноват в этом*. Помни, Неточка!

— Папа, пойдем, — прошептала я в страхе. — Пора!

— Да, теперь пора, давно пора! — сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты. — Ну, теперь в путь! слава богу, слава богу, теперь всё кончено!

Мы сошли с лестницы; полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно; я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтоб придержать под мышкой футляр.

Мы шли с четверть часа; наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже! как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною! Наконец совершилось всё, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища... Но того ли я ожидала, о том ли я мечтала, то ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастии того, которого я так не детски любила? Всего более мучила меня в это мгновение матушка. «Зачем мы ее оставили, — думала я, — одну? покинули ее тело, как ненужную вещь?» И помню, что это более всего меня терзало и мучило.

— Папочка! — начала я, не в силах будучи выдержать мучительной заботы своей, — папочка!

— Что такое? — сказал он сурово.

— Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? — спросила я заплакав. — Папочка! воротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь.

— Да, да! — закричал он вдруг, встрепенувшись и приподымаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его. — Да, Неточка, так нельзя; нужно пойти к маме; ей там холодно! Поди к ней, Неточка, поди; там не темно, там есть свечка; не бойся, позови к ней кого-нибудь и потом приходи ко мне; поди одна, а я тебя здесь подожду... Я ведь никуда не уйду.

Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце... Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту! Я закричала сколько во мне было силы и в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась: он бежал всё скорее и скорее... я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве; я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашивались. Я чувствовала, как что-то безобразное совершалось со мною: мне всё казалось, что это сон, и порой во мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои подкашиваются, погоня настигает меня и я падаю без чувств. Мучительное ощущение разрывало меня: мне было жалко его, сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит, без шинели, без шляпы, от меня, от своего любимого дитяти... Мне хотелось догнать его только для того, чтоб еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтоб он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя... Тут силы меня оставили: я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих.

— Папочка! папочка! — закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как всё лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств...

Очнулась я на теплой, мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица, которые с радостию встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку, с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием; потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь Х—ий, и я упала у ворот его дома. Когда, после долгих изысканий, узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт С—ца, пораженный странностью случая,

решился принять меня в свой дом и воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что сделалось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке исступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через два дня.

Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда всё, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная, пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание всё, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального С—ца, перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своею истинностью. Казалось, всё, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его во всю жизнь, всё, что до сих пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях, неощутительно, неуловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но от чего он с ужасом бежал, заслонясь ложью всей своей жизни, всё, что предчувствовал он, но чего боялся доселе, — всё это вдруг, разом засияло перед ним, открылось глазам его, которые упрямо не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во всё, что было, что есть и в то, что ожидает его; она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь секира висела над его головой, всю жизнь он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях, что она ударит в него, и — наконец секира ударила! Удар был смертелен. Он хотел бежать от суда над собою, но бежать было некуда: последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та, со смертию которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг, разом воскреснуть, — умерла. Наконец он был один, его не стесняло ничто: он был наконец свободен! В последний раз, в судорожном отчаянии, хотел он судить себя сам, осудить неумолимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения... В это мгновение безумие, сторожившее его уже десять лет, неизбежно поразило его.

IV

Я выздоравливала медленно; но когда уже совсем встала с постели, ум мой всё еще был в каком-то оцепенении, и долгое время я не могла понять, что именно случилось со мною. Были

мгновения, когда мне казалось, что я вижу сон, и, помню, мне хотелось, чтобы всё случившееся и впрямь обратилось в сон! Засыпая на ночь, я надеялась, что вдруг как-нибудь проснусь опять в нашей бедной комнате и увижу отца и мать... Но наконец передо мной прояснело мое положение, и я мало-помалу поняла, что осталась одна совершенно и живу у чужих людей. Тогда в первый раз почувствовала я, что я сирота.

Я начала жадно присматриваться ко всему новому, так внезапно меня окружившему. Сначала мне всё казалось странным и чудным, всё меня смущало: и новые лица, и новые обычаи, и комнаты старого княжеского дома — как теперь вижу, большие, высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные, что, помню, я серьезно боялась пуститься через какую-нибудь длинную-длинную залу, в которой, мне казалось, совсем пропаду. Болезнь моя еще не прошла, и впечатления мои были мрачные, тягостные, совершенно под лад этого торжественно-угрюмого жилища. К тому же какая-то, еще неясная мне самой, тоска всё более и более нарастала в моем маленьком сердце. С недоумением останавливалась я перед какой-нибудь картиной, зеркалом, камином затейливой работы или статуей, которая как будто нарочно спряталась в глубокую нишу, чтоб оттуда лучше подсмотреть за мной и как-нибудь испугать меня, останавливалась и потом вдруг забывала, зачем я остановилась, чего хочу, о чем начала думать, и только когда очнусь, бывало, страх и смятение нападали на меня и крепко билось мое сердце.

Из тех, кто изредка приходили навестить меня, когда я еще лежала больная, кроме старичка доктора, всего более поразило меня лицо одного мужчины, уже довольно пожилого, такого серьезного, но такого доброго, смотревшего на меня с таким глубоким состраданием! Его лицо я полюбила более всех других. Мне очень хотелось заговорить с ним, но я боялась: он был с виду всегда очень уныл, говорил отрывисто, мало, и никогда улыбка не являлась на губах его. Это был сам князь Х—ий, нашедший меня и призревший в своем доме. Когда я стала выздоравливать, посещения его становились реже и реже. Наконец, в последний раз, он принес мне конфетов, какую-то детскую книжку с картинками, поцеловал меня, перекрестил и просил, чтоб я была веселее. Утешая меня, он прибавил, что скоро у меня будет подруга, такая же девочка, как и я, его дочь Катя, которая теперь в Москве. Потом, поговорив что-то с пожилой француженкой, нянькой детей его, и с ухаживавшей за мной девушкой, он указал им на меня, вышел, и с тех пор я ровно три недели не видала его. Князь жил в своем доме чрезвычайно уединенно. Бóльшую половину дома занимала княгиня; она тоже не видалась с князем иногда по целым неделям. Впоследствии я заметила, что даже все домашние мало говорили об нем, как будто его и не было в доме. Все его уважали, и даже, видно было, любили его, а между тем смотрели на него как на какого-то чудного и странного человека. Казалось, и он сам понимал,

что он очень странен, как-то непохож на других, и потому старался как можно реже казаться всем на глаза... В свое время мне придется очень много и гораздо подробнее говорить о нем.

В одно утро меня одели в чистое тонкое белье, надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плерезами, на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением, причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. Я остановилась как вкопанная, когда меня привели к ней: никогда я еще не видала кругом себя такого богатства и великолепия. Но это впечатление было мгновенное, и я побледнела, когда услышала голос княгини, которая велела подвести меня ближе. Я, и одеваясь, думала, что готовлюсь на какое-то мучение, хотя бог знает отчего вселилась в меня подобная мысль. Вообще я вступила в новую жизнь с какою-то странною недоверчивостью ко всему меня окружавшему. Но княгиня была со мной очень приветлива и поцеловала меня. Я взглянула на нее посмелее. Это была та самая прекрасная дама, которую я видела, когда очнулась после своего беспамятства. Но я вся дрожала, когда целовала ее руку, и никак не могла собраться с силами ответить что-нибудь на ее вопросы. Она приказала мне сесть возле себя на низеньком табурете. Кажется, это место уже предназначено было для меня заранее. Видно было, что княгиня и не желала ничего более, как привязаться ко мне всею душою, обласкать меня и вполне заменить мне мать. Но я никак не могла понять, что попала в случай, и ничего не выиграла в ее мнении. Мне дали прекрасную книжку с картинками и приказали рассматривать. Сама княгиня писала к кому-то письмо, изредка оставляла перо и опять со мной заговаривала; но я сбивалась, путалась и ничего не сказала путного. Одним словом, хотя моя история была очень необыкновенная и в ней бóльшую часть играла судьба, разные, положим, даже таинственные пути, и вообще было много интересного, неизъяснимого, даже чего-то фантастического, но я сама выходила, как будто назло всей этой мелодраматической обстановке, самым обыкновенным ребенком, запуганным, как будто забитым и даже глупеньким. Особенно последнее княгине вовсе не нравилось, и я, кажется, довольно скоро ей совсем надоела, в чем виню одну себя, разумеется. Часу в третьем начались визиты, и княгиня стала ко мне вдруг внимательнее и ласковее. На расспросы приезжавших обо мне она отвечала, что это чрезвычайно интересная история, и потом начинала рассказывать по-французски. Во время ее рассказов на меня глядели, качали головами, восклицали. Один молодой человек навел на меня лорнет, один пахучий седой старичок хотел было поцеловать меня, а я бледнела, краснела и сидела потупив глаза, боясь шевельнуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во мне. Я уносилась в прошедшее, на наш чердак, вспоминала отца, наши длинные, молчаливые вечера, матушку, и когда вспоминала о матушке — в глазах моих накипали слезы, мне сдавливало горло и я так хотела убежать, исчезнуть, остаться одной... Потом, когда

кончились визиты, лицо княгини стало приметно суровее. Она уже смотрела на меня угрюмее, говорила отрывистее, и в особенности меня пугали ее пронзительные черные глаза, иногда целую четверть часа устремленные на меня, и крепко сжатые тонкие губы. Вечером меня отвели наверх. Я заснула в лихорадке, просыпалась ночью, тоскуя и плача от болезненных сновидений; а наутро началась та же история, и меня опять повели к княгине. Наконец ей как будто самой наскучило рассказывать своим гостям мои приключения, а гостям соболезновать обо мне. К тому же я была такой обыкновенный ребенок, «без всякой наивности», как, помню, выразилась сама княгиня, говоря глаз на глаз с одной пожилой дамой, которая спросила: «Неужели ей не скучно со мной?» — и вот, в один вечер, меня увели совсем, с тем чтоб не приводить уж более. Таким образом кончилось мое фаворитство; впрочем, мне позволено было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно. Я же не могла сидеть на одном месте от глубокой, болезненной тоски своей и рада-рада была, когда уйду наконец от всех вниз, в большие комнаты. Помню, что мне очень хотелось разговориться с домашними; но я так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться одной. Моим любимым препровождением времени было забиться куда-нибудь в угол, где неприметнее, стать за какую-нибудь мебель и там тотчас же начать припоминать и соображать обо всем, что случилось со мною. Но, чудное дело! я как будто забыла окончание того, что со мною случилось у родителей, и всю эту ужасную историю. Передо мной мелькали одни картины, выставлялись факты. Я, правда, всё помнила — и ночь, и скрипку, и батюшку, помнила, как доставала ему деньги; но осмыслить, выяснить себе все эти происшествия как-то не могла... Только тяжеле мне становилось на сердце, и когда я доходила воспоминанием до той минуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробегал по моим членам; я дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать, так ныла вся грудь моя, так колотилось сердце, что в испуге выбегала я из угла. Впрочем, я неправду сказала, говоря, что меня оставляли одну: за мной неусыпно и усердно присматривали и с точностию исполняли приказания князя, который велел дать мне полную свободу, не стеснять ничем, но ни на минуту не терять меня из виду. Я замечала, что по временам кто-нибудь из домашних и из прислуги заглядывал в ту комнату, в которой я находилась, и опять уходил, не сказав мне ни слова. Меня очень удивляла и отчасти беспокоила такая внимательность. Я не могла понять, для чего это делается. Мне всё казалось, что меня для чего-то берегут и что-нибудь хотят потом со мной сделать. Помню, я всё старалась зайти куда-нибудь подальше, чтоб в случае нужды знать, куда спрятаться. Раз я забрела на парадную лестницу. Она была вся из мрамора, широкая, устланная коврами, уставленная цветами и прекрасными вазами. На каждой площадке безмолвно сидело по два высоких человека, чрезвычайно пестро одетых, в перчатках и в самых белых галстухах. Я посмотрела

на них в недоумении и никак не могла взять в толк, зачем они тут сидят, молчат и только смотрят друг на друга, а ничего не делают.

Эти уединенные прогулки нравились мне более и более. К тому же была другая причина, по которой я убегала сверху. Наверху жила старая тетка князя, почти безвыходно и безвыездно. Эта старушка резко отразилась в моем воспоминании. Она была чуть ли не важнейшим лицом в доме. В сношениях с нею все наблюдали какой-то торжественный этикет, и даже сама княгиня, которая смотрела так гордо и самовластно, ровно два раза в неделю, по положенным дням, должна была всходить наверх и делать личный визит своей тетке. Она обыкновенно приходила утром; начинался сухой разговор, зачастую прерываемый торжественным молчанием, в продолжение которого старушка или шептала молитвы, или перебирала четки. Визит кончался не прежде, как того хотела сама тетушка, которая вставала с места, целовала княгиню в губы и тем давала знать, что свидание кончилось. Прежде княгиня должна была каждый день посещать свою родственницу; но впоследствии, по желанию старушки, последовало облегчение, и княгиня только обязана была в остальные пять дней недели каждое утро присылать узнать о ее здоровье. Вообще житье престарелой княжны было почти келейное. Она была девушка и, когда ей минуло тридцать пять лет, заключилась в монастырь, где и выжила лет семнадцать, но не постриглась; потом оставила монастырь и приехала в Москву, чтоб жить с сестрою, вдовой, графиней Л., здоровье которой становилось с каждым годом хуже, и примириться со второй сестрой, тоже княжной Х—ю, с которой с лишком двадцать лет была в ссоре. Но старушки, говорят, ни одного дня не провели в согласии, тысячу раз хотели разъехаться и не могли этого сделать, потому что наконец заметили, как каждая из них необходима двум остальным для предохранения от скуки и от припадков старости. Но, несмотря на непривлекательность их житья-бытья и самую торжественную скуку, господствовавшую в их московском тереме, весь город поставлял долгом не прерывать своих визитов трем затворницам. На них смотрели как на хранительниц всех аристократических заветов и преданий, как на живую летопись коренного боярства. Графиня оставила после себя много прекрасных воспоминаний и была превосходная женщина. Заезжие из Петербурга делали к ним свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того принимали везде. Но графиня умерла, и сестры разъехались: старшая, княжна Х—я, осталась в Москве, наследовав свою часть после графини, умершей бездетною, а младшая, монастырка, переселилась к племяннику, князю Х—му, в Петербург. Зато двое детей князя, княжна Катя и Александр, остались гостить в Москве у бабушки, для развлечения и утешения ее в одиночестве. Княгиня, страстно любившая своих детей, не смела слова пикнуть, расставаясь на всё время положенного траура. Я забыла сказать, что траур еще продолжался во всем доме князя, когда я поселилась в нем; но срок истекал в коротком времени.

Старушка княжна одевалась вся в черное, всегда в платье из простой шерстяной материи, и носила накрахмаленные, собранные в мелкие складки белые воротнички, которые придавали ей вид богаделенки. Она не покидала четок, торжественно выезжала к обедне, постилась по всем дням, принимала визиты разных духовных лиц и степенных людей, читала священные книги и вообще вела жизнь самую монашескую. Тишина наверху была страшная; невозможно было скрипнуть дверью: старушка была чутка, как пятнадцатилетняя девушка, и тотчас же посылала исследовать причину стука или даже простого скрипа. Все говорили шепотом, все ходили на цыпочках, и бедная француженка, тоже старушка, принуждена была наконец отказаться от любимой своей обуви — башмаков с каблуками. Каблуки были изгнаны. Две недели спустя после моего появления старушка княжна прислала обо мне спросить: кто я такая, что я, как попала в дом и проч. Ее немедленно и почтительно удовлетворили. Тогда прислан был второй нарочный, к француженке, с запросом, отчего княжна до сих пор не видала меня? Тотчас же поднялась суматоха: мне начали чесать голову, умывать лицо, руки, которые и без того были очень чисты, учили меня подходить, кланяться, глядеть веселее и приветливее, говорить, — одним словом, меня всю затормошили. Потом отправилась посланница уже с нашей стороны с предложением: не пожелают ли видеть сиротку? Последовал ответ отрицательный, но назначен был срок на завтра после обедни. Я не спала всю ночь, и рассказывали потом, что я всю ночь бредила, подходила к княжне и в чем-то просила у нее прощения. Наконец последовало мое представление. Я увидела маленькую, худощавую старушку, сидевшую в огромных креслах. Она закивала мне головою и надела очки, чтоб разглядеть меня ближе. Помню, что я ей совсем не понравилась. Замечено было, что я совсем дикая, не умею ни присесть, ни поцеловать руки. Начались расспросы, и я едва отвечала; но когда дошло дело до отца и матушки, я заплакала. Старушке было очень неприятно, что я расчувствовалась; впрочем, она начала утешать меня и велела возложить мои надежды на бога; потом спросила, когда я была последний раз в церкви, и так как я едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием очень неглижировали, то княжна пришла в ужас. Послали за княгиней. Последовал совет, и положено было отвезти меня в церковь в первое же воскресенье. До тех пор княжна обещала молиться за меня, но приказала меня вывесть, потому что я, по ее словам, оставила в ней очень тягостное впечатление. Ничего мудреного, так и должно было быть. Но уж видно было, что я совсем не понравилась; в тот же день прислали сказать, что я слишком резвлюсь и что меня слышно на весь дом, тогда как я сидела весь день не шелохнувшись: ясно, что старушке так показалось. Однако и назавтра последовало то же замечание. Случись же, что я в это время уронила чашку и разбила ее. Француженка и все девушки пришли в отчаяние, и меня в ту же минуту переселили в самую отдаленную комнату,

куда все последовали за мной в припадке глубокого ужаса.

Но я уж не знаю, чем кончилось потом это дело. Вот почему я рада была уходить вниз и бродить одна по большим комнатам, зная, что уж там никого не обеспокою.

Помню, я раз сидела в одной зале внизу. Я закрыла руками лицо, наклонила голову и так просидела не помню сколько часов. Я всё думала, думала; мой несозревший ум не в силах был разрешить всей тоски моей, и всё тяжелее, тошней становилось у меня в душе. Вдруг надо мной раздался чей-то тихий голос:

— Что с тобой, моя бедная?

Я подняла голову: это был князь; его лицо выражало глубокое участие и сострадание; но я поглядела на него с таким убитым, с таким несчастным видом, что слеза набежала в больших голубых глазах его.

— Бедная сиротка! — проговорил он, погладив меня по голове.

— Нет, нет, не сиротка! нет! — проговорила я, и стон вырвался из груди моей, и всё поднялось и взволновалось во мне. Я встала с места, схватила его руку и, целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим голосом:

— Нет, нет, не сиротка! нет!

— Дитя мое, что с тобой, моя милая, бедная Неточка? что с тобой?

— Где моя мама? где моя мама? — закричала я, громко рыдая, не в силах более скрывать тоску свою и в бессилии упав перед ним на колени, — где моя мама? голубчик мой, скажи, где моя мама?

— Прости меня, дитя мое!.. Ах, бедная моя, я напомнил ей... Что я наделал! Поди, пойдем со мной, Неточка, пойдем со мною.

Он схватил меня за руку и быстро повел за собою. Он был потрясен до глубины души. Наконец мы пришли в одну комнату, которой еще я не видала.

Это была образная. Были сумерки. Лампады ярко сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоценных каменьях образов. Из-под блестящих окладов тускло выглядывали лики святых. Всё здесь так не походило на другие комнаты, так было таинственно и угрюмо, что я была поражена и какой-то испуг овладел моим сердцем. К тому же я была так болезненно настроена! Князь торопливо поставил меня на колени перед образом божией матери и сам стал возле меня...

— Молись, дитя, помолись; будем оба молиться! — сказал он тихим, порывистым голосом.

Но молиться я не могла; я была поражена, даже испугана; я вспомнила слова отца в ту последнюю ночь, у тела моей матери, и со мной сделался нервный припадок. Я слегла в постель больная, и в этот вторичный период моей болезни едва не умерла; вот как был этот случай.

В одно утро чье-то знакомое имя раздалось в ушах моих. Я услышала имя С—ца. Кто-то из домашних произнес его возле моей постели. Я вздрогнула; воспоминания нахлынули ко мне, и.

припоминая, мечтая и мучась, я пролежала уж не помню сколько часов в настоящем бреду. Проснулась я уже очень поздно; кругом меня было темно; ночник погас, и девушки, которая сидела в моей комнате, не было. Вдруг я услышала звуки отдаленной музыки. Порой звуки затихали совершенно, порой раздавались слышнее и слышнее, как будто приближались. Не помню, какое чувство овладело мною, какое намерение вдруг родилось в моей больной голове. Я встала с постели и, не знаю, где сыскала я сил, наскоро оделась в мой траур и пошла ощупью из комнаты. Ни в другой, ни в третьей комнате я не встретила ни души. Наконец я пробралась в коридор. Звуки становились всё слышнее и слышнее. На средине коридора была лестница вниз; этим путем я всегда сходила в большие комнаты. Лестница была ярко освещена; внизу ходили; я притаилась в углу, чтоб меня не видали, и, только что стало возможно, спустилась вниз, во второй коридор. Музыка гремела из смежной залы; там было шумно, говорливо, как будто собрались тысячи людей. Одна из дверей в залу, прямо из коридора, была завешена огромными двойными портьерами из пунцового бархата. Я подняла первую из них и стала между обоими занавесами. Сердце мое билось так, что я едва могла стоять на ногах. Но через несколько минут, осилив свое волнение, я осмелилась наконец отвернуть немного, с края, второй занавес... Боже мой! эта огромная мрачная зала, в которую я так боялась входить, сверкала теперь тысячью огней. Как будто море света хлынуло на меня, и глаза мои, привыкшие к темноте, были в первое мгновение ослеплены до боли. Ароматический воздух, как горячий ветер, пахнул мне в лицо. Бездна людей ходили взад и вперед; казалось, все с радостными, веселыми лицами. Женщины были в таких богатых, в таких светлых платьях; всюду я встречала сверкающий от удовольствия взгляд. Я стояла как зачарованная. Мне казалось, что я всё это видела когда-то, где-то, во сне... Мне припомнились сумерки, я припомнила наш чердак, высокое окошко, улицу глубоко внизу с сверкающими фонарями, окна противоположного дома с красными гардинами, кареты, столпившиеся у подъезда, топот и храп гордых коней, крики, шум, тени в окнах и слабую, отдаленную музыку... Так вот, вот где был этот рай! — пронеслось в моей голове, — вот куда я хотела идти с бедным отцом... Стало быть, это была не мечта!.. Да, я видела всё так и прежде в моих мечтах, в сновидениях! Разгоряченная болезнию фантазия вспыхнула в моей голове, и слезы какого-то необъяснимого восторга хлынули из глаз моих. Я искала глазами отца: «Он должен быть здесь, он здесь», — думала я, и сердце мое билось от ожидания... дух во мне занимался. Но музыка умолкла, раздался гул, и по всей зале пронесся какой-то шепот. Я жадно всматривалась в мелькавшие передо мной лица, старалась узнать кого-то. Вдруг какое-то необыкновенное волнение обнаружилось в зале. Я увидела на возвышении высокого худощавого старика. Его бледное лицо улыбалось, он угловато сгибался и кланялся на все стороны; в руках его была скрипка. Наступило

глубокое молчание, как будто все эти люди затаили дух. Все лица были устремлены на старика, всё ожидало. Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн. Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне сердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я вслушивалась в эти звуки: что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как будто я где-то слышала это; какое-то предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце. Наконец, скрипка зазвенела сильнее; быстрее и пронзительнее раздавались звуки. Вот послышался как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вотще раздалась во всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии. Всё знакомее и знакомее сказывалось что-то моему сердцу. Но сердце отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтоб не застонать от боли, я уцепилась за занавесы, чтоб не упасть... Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную, мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь, я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела увериться, жадно смотрела в толпу, — нет, это были другие люди, другие лица... Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой тоской; казалось, что они все хотели крикнуть этим страшным стонам и воплям, чтоб они замолчали, не терзали их душ, но вопли и стоны лились всё тоскливее, жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался последний, страшный, долгий крик, и всё во мне потряслось... Сомненья нет! это тот самый, тот крик! Я узнала его, я уже слышала его, он, так же как и тогда, в ту ночь, пронзил мне душу. «Отец! отец! — пронеслось, как молния, в голове моей. — Он здесь, это он, он зовет меня, это его скрипка!» Как будто стон вырвался из всей этой толпы, и страшные рукоплескания потрясли залу. Отчаянный, пронзительный плач вырвался из груди моей. Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась в залу.

— Папа, папа! это ты! где ты? — закричала я, почти не помня себя.

Не знаю, как добежала я до высокого старика: мне давали дорогу, расступались передо мной. Я бросилась к нему с мучительным криком; я думала, что обнимаю отца... Вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то длинные, костлявые руки и подымают на воздух. Чьи-то черные глаза устремились на меня и, казалось, хотели сжечь меня своим огнем. Я смотрела на старика: «Нет! это был не отец; это его убийца!» — мелькнуло в уме моем. Какое-то исступление овладело мной, и вдруг мне показалось, что надо мной раздался его хохот, что этот хохот отдался в зале дружным, всеобщим криком; я лишилась чувств.

V

Это был второй и последний период моей болезни.

Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим

было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее, — каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг останавливаешься как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и которой благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя, Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга.

Княжна позвала отца, который был в двух шагах и говорил с доктором.

— Ну, слава богу! слава богу, — сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. — Рад, рад, очень рад, — продолжал он скороговоркой, по всегдашней привычке. — А вот, Катя, моя девочка: познакомьтесь, — вот тебе и подруга. Выздоравливай скорее, Неточка. Злая этакая, как она меня напугала!..

Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появления ждала я как счастья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут; посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что потому она будет приходить очень редко, да и то затем, что ей жалко меня, — так уж нечего делать, нельзя не прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было:

— Ну, выздоровела?

И так как я всё еще была худа и бледна и улыбка как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой.

— А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была лучше! Что? тебе, верно, есть не дают?

— Да, мало, — отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз, и когда она уйдет, бывало, я всё еще смотрю как зачарованная в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь, — одним словом, мечтала об ней, как влюбленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей пополнеть, как она мне советовала.

Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же худая!», — то я трусила, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки; так что она, наконец, начинала и в самом деле сердиться.

— Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог принесу? — сказала она мне однажды. — Кушай, от этого скоро растолстеешь.

— Принеси, — отвечала я в восторге, что увижу ее еще раз.

Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами. И сначала, как знакомилась со мной, она поминутно так осматривала меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но наш разговор не клеился. Я робела перед Катей и перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней.

— Что ж ты молчишь? — начала Катя после некоторого молчания.

— Что делает папа? — спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз.

— Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две чашки чаю, а не одну. А ты сколько?

— Одну.

Опять молчание.

— Сегодня Фальстаф меня хотел укусить.

— Это собака?

— Да, собака. Ты разве не видала?

— Нет, видела.

— А почему ж ты спросила?

И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением.

— Что? тебе весело, когда я с тобой говорю?

— Да, очень весело; приходи чаще.

— Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить, да ты вставай скорее; уж я тебе сегодня принесу пирог... Да что ты всё молчишь?

— Так.

— Ты всё думаешь, верно?

— Да, много думаю.

— А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо?

— Нет. Я рада, когда ты говоришь.

— Гм, спрошу у мадам Леотар, она всё знает. А о чем ты думаешь?

— Я о тебе думаю, — отвечала я помолчав.

— Это тебе весело?

— Да.

— Стало быть, ты меня любишь?

— Да.

— А я тебя еще не люблю. Ты такая худая! Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай!

И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла из комнаты.

Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала как исступленная, хохоча от радости, что принесла-таки мне кушанье, которое мне запрещали.

— Ешь больше, ешь хорошенько, это мой пирог, я сама не ела. Ну, прощай! — И только я ее и видела.

Другой раз она вдруг влетела ко мне, тоже не в урочный час, после обеда; черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щечки горели как пурпур, глаза сверкали; значит, что она уже бегала и прыгала час или два.

— Ты умеешь в воланы играть? — закричала она запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то.

— Нет, — отвечала я, ужасно жалея, что не могу сказать: да!

— Экая! Ну, выздоровеешь, выучу. Я только за тем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай; меня ждут.

Наконец я совсем встала с постели, хотя всё еще была слаба и бессильна. Первая идея моя была уж не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз, во время какой-то игры, я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня:

— Что ты? зачем ты меня целуешь?

Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого вопроса и не отвечала ни слова, княжна вскинула плечиками, в знак неразрешенного недоуменья (жест, обратившийся у ней в привычку), пресерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера.

Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением: отчего я не могу с первого раза подружиться с Катей и понравиться ей раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но горе мое усиливалось не по дням, а по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через несколько дней я заметила, что она совсем невзлюбила меня и даже начинала чувствовать ко

мне отвращение. Всё в этой девочке делалось скоро, резко, — иной бы сказал — грубо, если б в этих быстрых как молния движениях характера прямого, наивно-откровенного не было истинной, благородной грации. Началось тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом даже презрение, кажется, сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. Княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка; я — совершенно напротив. Я была слаба еще от болезни, тиха, задумчива; игра не веселила меня; одним словом, во мне решительно недоставало способностей понравиться Кате. Кроме того, я не могла вынести, когда мною чем-нибудь недовольны: тотчас же становилась грустна, упадала духом, так что уж и сил недоставало загладить свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление, — одним словом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла понять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением, по своему обыкновению, после того как, бывало, целый час бьется со мной, показывая, как играют в воланы, и не добьется толку. А так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и не добившись толку ни от меня, ни от размышлений своих, бросала меня наконец совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня, даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжеле прежнего, и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли мое сердце.

Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила наконец эту перемену в наших сношениях. И так как прежде всего я бросилась ей на глаза и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, журя ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мной нечего делать, что я не умею играть, что я о чем-то всё думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее.

Но мадам Леотар не удовольствовалась таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, это-то сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел, — одним словом, мадам Леотар побранила ее не жалея; кончила же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно.

Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на меня, спросила с удивлением:

— Вы разве хотите играть?

— Нет, — отвечала я, испугавшись за себя и за Катю, когда ее бранила мадам Леотар.

— Чего ж вы хотите?

— Я посижу; мне тяжело бегать; а только вы не сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю.

— Ну, так я и буду играть одна, — тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что, выходит, она не виновата. — Ну, прощайте, я на вас не буду сердиться.

— Прощайте, — отвечала я, привстав и подавая ей руку.

— Может быть, вы хотите поцеловаться? — спросила она, немного подумав, вероятно припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного, чтоб поскорее и согласно кончить со мною.

— Как вы хотите, — отвечала я с робкой надеждой.

Она подошла ко мне и пресерьезно, не улыбнувшись, поцеловала меня. Таким образом кончив всё, что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтоб доставить полное удовольствие бедной девочке, к которой ее посылали, она побежала от меня довольная и веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор пока, утомленная, едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться с свежими силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно: вероятно, я казалась ей очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоуменье, возникшее насчет меня; но в этот раз, я не знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее французскому языку. Всё ученье состояло в повторении грамматики и в чтении Лафонтена. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой два часа времени. На этот уговор она наконец согласилась по просьбе отца, по приказанью матери и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У ней были редкие способности; она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности: если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями, — она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама, без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Леотар с просьбою помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. То же было в каждом ее поступке. Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда. Но вместе с тем она была не по летам наивна: иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость; другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость.

Так как я тоже могла наконец чем-нибудь заниматься, то мадам Леотар, проэкзаменовав меня в моих познаниях и найдя, что

я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по-французски.

Я не возражала, и мы в одно утро засели, вместе с Катей, за учебный стол. Случись же, что в этот раз Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до крайности рассеянна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же, почти в один сеанс, знала уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю.

— Смотрите на нее, — сказала она, указывая на меня, — больной ребенок, учится в первый раз и вдесятеро больше вас сделала. Вам это не стыдно?

— Она знает больше меня? — спросила в изумлении Катя. — Да она еще азбуку учит!

— Вы во сколько времени азбуку выучили?

— В три урока.

— А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит. Так ли?

Катя подумала немного и вдруг покраснела как полымя, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. Покраснеть, сгореть от стыда — было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалости, — одним словом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желала сжечь меня взглядом. Я тотчас догадалась, в чем дело. Бедняжка была горда и самолюбива до крайности. Когда мы пошли от мадам Леотар, я было заговорила, чтоб рассеять поскорей ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах француженки, но Катя промолчала, как будто не слыхала меня.

Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, всё раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она посмотрела на меня исподлобья, уселась, по обыкновению, на диване и полчаса не спускала с меня глаз. Наконец я не выдержала и взглянула на нее вопросительно.

— Вы умеете танцевать? — спросила Катя.

— Нет, не умею.

— А я умею.

Молчание.

— А на фортепьяно играете?

— Тоже нет.

— А я играю. Этому очень трудно выучиться.

Я смолчала.

— Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.

— Мадам Леотар на вас рассердилась, — отвечала я.

— А разве папа будет тоже сердиться?

— Не знаю, — отвечала я.

Опять молчание; княжна в нетерпении била по полу своей маленькой ножкой.

— Так вы надо мной будете смеяться, оттого что лучше меня понимаете? — спросила она наконец, не выдержав более своей досады.

— Ох, нет, нет! — закричала я и вскочила с места, чтоб броситься к ней и обнять ее.

— И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом, княжна? — раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала наш разговор. — Стыдитесь! вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепьяно. Стыдно; я всё расскажу князю.

Щеки княжны загорелись как зарево.

— Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь! Ведь она — сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила, исправьтесь.

Княжна думала ровно два дня! Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец, на третий день, мы обе сошлись внизу, в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами.

— Неточка, за что меня бранили за вас? — спросила она наконец.

— Это не за меня, Катенька, — отвечала я, спеша оправдаться.

— А мадам Леотар говорит, что я вас обидела.

— Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели.

Княжна вскинула плечиками в знак недоуменья.

— Отчего ж вы всё плачете? — спросила она после некоторого молчания.

— Я не буду плакать, если вы хотите, — отвечала я сквозь слезы.

Она опять пожала плечами.

— Вы и прежде всё плакали?

Я не отвечала.

— Зачем вы у нас живете? — спросила вдруг княжна помолчав.

Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто что-то кольнуло мне в сердце.

— Оттого, что я сиротка, — ответила я наконец, собравшись с духом.

— У вас были папа и мама?

— Были.

— Что они, вас не любили?

— Нет... любили, — отвечала я через силу.

— Они были бедные?

— Да.

— Очень бедные?

— Да.

— Они вас ничему не учили?

— Читать учили.

— У вас были игрушки?

— Нет.

— Пирожное было?

— Нет.

— У вас было сколько комнат?

— Одна.

— Одна комната?

— Одна.

— А слуги были?

— Нет, не было слуг.

— А кто ж вам служил?

— Я сама покупать ходила.

Вопросы княжны всё больше и больше растравляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны — всё это поражало, обижало мое сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.

— Вы, стало быть, рады, что у нас живете?

Я молчала.

— У вас было платье хорошее?

— Нет.

— Дурное?

— Да.

— Я видела ваше платье, мне его показывали.

— Зачем же вы меня спрашиваете? — сказала я, вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня ощущения и подымаясь с места. — Зачем же вы меня спрашиваете? — продолжала я, покраснев от негодования. — Зачем вы надо мной смеетесь?

Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.

— Нет... я не смеюсь, — отвечала она. — Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны?

— Зачем вы спрашиваете меня про папу п маму? — сказала я, заплакав от душевной боли. — Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?

Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь.

— Что с тобой, Неточка? — спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы, — что с тобой? — продолжал он, взглянув

на Катю, которая была красна как огонь, — о чем вы говорили? За что вы поссорились? Неточка, за что вы поссорились?

Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее.

— Катя, не лги. Что здесь было?

Катя лгать не умела.

— Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда еще она жила с папой и мамой.

— Кто тебе показывал? Кто смел показать?

— Я сама видела, — отвечала Катя решительно.

— Ну, хорошо! Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что ж дальше?

— А она заплакала и сказала: зачем я смеюсь над папой и над мамой.

— Стало быть, ты смеялась над ними?

Хоть Катя и не смеялась, но, знать, в ней было такое намерение, когда я с первого разу так поняла. Она не отвечала ни слова: значит, тоже соглашалась в проступке.

— Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения, — сказал князь, указав на меня.

Княжна стояла бледная как платок и не двигаясь с места.

— Ну! — сказал князь.

— Я не хочу, — проговорила наконец Катя вполголоса и с самым решительным видом.

— Катя!

— Нет, не хочу, не хочу! — закричала она вдруг, засверкав глазками и затопав ногами. — Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить... Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу!

— Пойдем со мной, — сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. — Неточка, ступай наверх.

Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я пошла наверх, похолодев от испуга как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места.

Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем как ложиться спать, она вдруг оборотилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись сказать мне что-то такое, но она остановилась,

воротилась и легла в постель. За тем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю: что с ней сделалось? не больна ли она, что вдруг затихла? Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но только что отворотилась мадам Леотар, — покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтоб я не видала ее. И наконец всё разрешилось: ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне.

— Папа приказал, чтоб я у вас прощенья просила, — проговорила она, — вы меня простите?

Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала:

— Да! да!

— Папа приказал поцеловаться с вами, — вы меня поцелуете?

В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка потрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее.

— Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения, — сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. — Я уже его три дня не видала; он не велел и входить к себе без того, — прибавила она помолчав.

И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась: каков будет прием отца.

Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам, — одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и сердце мое задрожало от радости.

Но ко мне она не подходила и видимо избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Садилась она напротив меня, чтоб удобнее меня рассмотреть, всё чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивнее; одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияния имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребен-

ке... Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была как есть, вся наружу, без утайки, открыта. С матерью, совершенно напротив, — замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла наконец свою мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного исступления, — и княжна великодушно ввела в свой расчет последнее обстоятельство. Увы! этот расчет мало помог потом ее горячей головке!

Но я почти не понимала, что со мной делается. Всё во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче — и пусть простят мне мое слово — я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь, настоящая любовь, любовь со слезами и радостями, любовь страстная. Что влекло меня к ней? отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного как ангел ребенка. Всё в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею, — все были привиты и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму; но всё в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадною надеждой, всё предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастие, она должна была родиться для счастия — вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного, первый раз сказалось оно, пробужденное красотой, и — вот вся причина зарождения любви моей.

Главным пороком княжны или, лучше сказать, главным началом ее характера, которое неудержимо старалось воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилось в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, — была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало верх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она себе, то я объясняю всё это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа; так и должно было быть: она слишком страстно

шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями.

Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и наконец решилась оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме; мне — ни слова лишнего, даже почти необходимого; я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбия, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта: он решительно никого не любил; но самым сильным, натуральным врагом его была, бесспорно, старушка княжна... Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался.

Раз, после обеда, когда мы обе сидели внизу, в большой зале, бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом. В эту самую минуту княжне вздумалось завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы; княжна остановилась. Всё намерение ее состояло в том, чтоб, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой: подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затруднился бы отгрызть у ней руку или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был силен как медведь, и я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточным к тому средством. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван.

Минут через десять она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и воротилась с запасом кренделей, пирожков, — одним словом, переменила оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже и не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили; когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место.

Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, — вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самою твердою поступью пошла прямо к страшной собаке.

Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась было на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала; глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшною пастью; он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рыкание; еще минута, и он бы растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное; но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна как платок; она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке.

Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске, тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня, без движения, на месте. Помню, я старалась убегать ее, чтоб она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала и сердце начинало стучать так, что голова кружилась. Мне кажется, моя проказница это заметила и дня два была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, который я весь прострадала втихомолку. Чувства мои обладают какою-то необъяснимою растя-

жимостью, если можно так выразиться; моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во всё это время мы сказали с Катей не более пяти слов; но я мало-помалу заметила, по некоторым неуловимым признакам, что всё это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне, а от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкою взяла у ней платок, в другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати; но теперь всё во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнию.

Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с постели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю при слабом свете ночной нашей лампы; иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, — так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, — что Катя становится со дня на день задумчивее; характер ее стал терять свою ровность: иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз подымается такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна, взыскательна, краснела и сердилась очень часто и даже со мной доходила до маленьких жестокостей: то вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение; то вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням, может быть зная, что я иссыхаю без нее с тоски; то вдруг начнет смотреть на меня по целым часам, так что я не знаю, куда деваться от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни. Наконец вдруг в одно утро последовало особое распоряжение: по непременному желанию княжны, она переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выражалась, на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени, зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который хотя и уступал ей во всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости. Она же понимала князя вполне.

Я была поражена переселением княжны и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами отвращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно. так непохоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены происходили во мне только порывами, и потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде. Наконец в одно утро, к величайшему моему недоумению и радостному смущению, княжна воротилась наверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает, потом кивнула и мне головой, выпросила позволение ничему не учиться в это утро и всё утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее живее и радостнее. Но к вечеру она сделалась тиха, задумчива и снова какая-то грусть отенила ее прелестное личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия казаться веселою. Но, вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких расспросов о Кате; велено было наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилось мое сердце надеждою.

Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу. На третий день после возвращения Кати к нам наверх я заметила, что она всё утро глядит на меня такими чу́дными глазками, такими долгими взглядами... Несколько раз я встречала эти взгляды, и каждый раз мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились друг друга. Наконец княжна засмеялась и пошла от меня прочь. Ударило три часа, и нас стали одевать для прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне.

— У вас башмак развязался, — сказала она мне, — давайте я завяжу.

Я было нагнулась сама, покраснев как вишня оттого, что наконец-то Катя заговорила со мной.

— Давай! — сказала она мне нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась; я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня с ног до головы.

— Вот и горло открыто, — сказала она, дотронувшись пальчиком до обнаженного тела на моей шее. — Да уж давай я сама завяжу.

Я не противоречила. Она развязала мой шейный платочек и повязала по-своему.

— А то можно кашель нажить, — сказала она, прелукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими черными влажными глазками.

Я была вне себя; я не знала, что со мной делается и что сделалось с Катей. Но, слава богу, скоро кончилась наша прогулка, а то я бы не выдержала и бросилась бы целовать ее на улице. Всходя на лестницу, мне удалось, однако ж, поцеловать ее украдкой в плечо. Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Вечером ее нарядили и повели вниз. У княгини были гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная суматоха.

С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что сказать. Разумеется, всё свалили на детские болезни, на возраст Кати, но я подумала иное. Наутро Катя явилась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая, с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и капризами, каких с ней никогда не бывало.

Во-первых, она всё утро не слушалась мадам Леотар. Потом вдруг ей захотелось идти к старушке княжне. Против обыкновения, старушка, которая терпеть не могла свою племянницу, была с нею в постоянной ссоре и не хотела видеть ее, — на этот раз как-то разрешила принять ее. Сначала всё пошло хорошо, и первый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала просить прощения за все свои проступки, за резвость, за крик, за то, что княжне она не давала покою. Княжна торжественно и со слезами простила ее. Но шалунье вздумалось зайти далеко. Ей пришло на ум рассказать такие шалости, которые были еще только в одних замыслах и проектах. Катя прикинулась смиренницей, постницей и вполне раскаивающейся; одним словом, ханжа была в восторге и много льстила ее самолюбию предстоявшая победа над Катей — сокровищем, идолом всего дома, которая умела заставить даже свою мать исполнять свои прихоти.

И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку; потом засадить Фальстафа к ней под кровать; потом сломать ее очки, унесть все ее книги и принесть вместо них от мамы французских романов; потом достать хлопушек и разбросать по полу; потом спрятать ей в карман колоду карт и т. д. и т. д. Одним словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости; наконец Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки. Старуха немедленно послала за княгиней. Началось целое дело, и княгиня два часа, со слезами на глазах, умоляла свою родственницу простить Катю и позволить ее не наказывать, взяв в соображение, что она больна. Княжна слушать не хотела сначала; она объявила, что завтра же выедет из дому, и смягчилась тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит наказание до выздоровления дочери, а потом удовлетворит справедливому

негодованию престарелой княжны. Однако ж Катя выдержала строгий выговор. Ее увели вниз, к княгине.

Но проказница вырвалась-таки после обеда. Пробираясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом догадалась, что она замышляет страшное мщение. Дело было вот в чем.

Не было врага у старушки княжны непримиримее Фальстафа. Он не ласкался ни к кому, не любил никого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности. Он не любил никого, но видимо требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению надлежащий страх. Но вдруг, с приездом старушки княжны, всё переменилось: Фальстафа страшно обидели, — именно: ему был формально запрещен вход наверх.

Сначала Фальстаф был вне себя от окорбления и целую неделю скреб лапами дверь, которою оканчивалась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату; но скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же воскресенье, когда старушка княжна выходила в церковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную. Насилу спасли ее от лютого мщенья оскорбленного пса, ибо он выгнан был по приказанию княжны, которая объявила, что не может видеть его. С тех пор вход наверх запрещен был Фальстафу самым строжайшим образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответственность лежала на слугах. Но мстительное животное нашло-таки средство раза три ворваться наверх. Лишь только он врывался на лестницу, как мигом бежал через всю анфиладу комнат до самой опочивальни старушки. Ничто не могло удержать его. По счастию, дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф ограничивался тем, что завывал перед нею ужасно, до тех пор пока не прибегали люди и не сгоняли его вниз. Княжна же, во всё время визита неукротимого бульдога, кричала, как будто бы ее уж съели, и серьезно каждый раз делалась больна от страха. Несколько раз она предлагала свой ultimatum княгине и даже доходила до того, что раз, забывшись, сказала, что или она, или Фальстаф выйдут из дома, но княгиня не согласилась на разлуку с Фальстафом.

Княгиня мало кого любила, но Фальстафа, после детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет шесть назад, князь воротился с прогулки, приведя за собою щенка грязного, больного, самой жалкой наружности, но который, однако ж, был бульдог самой чистой крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как новый жилец вел себя примерно неучтиво и грубо, то, по настоянию княгини, был удален на задний двор и посажен на веревку. Князь не прекословил. Два года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее насилу спасли от верной смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх. Наскоро стали отвязывать лодку, но спасение было бы чудом.

Вдруг огромный, исполинский бульдог бросается в воду наперерез утопающему мальчику, схватывает его в зубы и победоносно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась целовать грязную, мокрую собаку. Но Фальстаф, который еще носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини тем, что прокусил ей плечо во сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. Он поселился в кабинете княгини, на великолепной медвежьей шкуре, и скоро княгиня дошла до того, что могла его гладить, не опасаясь немедленного и скорого наказания. Узнав, что любимца ее зовут Фриксой, она пришла в ужас, и немедленно стали приискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и проч. были уже слишком опошлены; требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец князь, взяв в соображение феноменальную прожорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо: как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре и вообще оказывали должное уважение. Иногда на него находил как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в эти минуты Фальстаф с горестию припоминал, что враг его, непримиримый его враг, посягнувший на его права, был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался к лестнице, ведущей наверх, и, найдя, по обыкновению, дверь всегда запертою, ложился где-нибудь неподалеку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-нибудь оплошает и оставит дверь наверх отпертою. Иногда мстительное животное выжидало по три дня. Но отданы были строгие приказания наблюдать за дверью, и вот уже два месяца Фальстаф не являлся наверх.

— Фальстаф! Фальстаф! — звала княжна, отворив дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на лестницу.

В это время Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют, уже приготовился скакнуть за свой Рубикон. Но призыв княжны показался ему так невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. Он был лукав как кошка, и чтоб не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание, — словом, вел себя как совершенно посторонний человек, который шел прогуливаться и остановился на минуту полюбоваться прекрасной архитектурой соседнего здания. Между тем в сладостном ожидании билось и нежилось его сердце. Каково же было его изумление, радость, исступление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь и, мало того, еще звали, приглашали, умоляли его

вступить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение! Он, взвизгнув от радости, оскалил зубы и, страшный, победоносный, бросился наверх как стрела.

Напор его был так силен, что встретившийся на его дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и перевернулся на месте. Фальстаф летел как ядро, вырвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от ужаса, но Фальстаф уж домчался до заветной двери, ударился в нее обеими лапами, однако ж не отворил ее и завыл как погибший. В ответ ему раздался страшный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф, с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем четырем ногам, бесславно воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане.

Послан был посол за княгиней.

В этот раз княгиня не расположена была прощать и миловать; но кого наказывать? Она догадалась с первого раза, мигом; ее глаза упали на Катю... Так и есть: Катя стоит бледная, дрожа от страха. Она только теперь догадалась, бедненькая, о последствиях своей шалости. Подозрение могло упасть на слуг, на невинных, и Катя уже готова была сказать всю правду.

— Ты виновата? — строго спросила княгиня.

Я видела смертельную бледность Кати и, ступив вперед, твердым голосом произнесла:

— Я пустила Фальстафа... нечаянно, — прибавила я, потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным взглядом княгини.

— Мадам Леотар, накажите примерно! — сказала княгиня и вышла из комнаты.

Я взглянула на Катю: она стояла как ошеломленная; руки ее повисли по бокам; побледневшее личико глядело в землю.

Единственное наказание, употреблявшееся для детей князя, было заключение в пустую комнату. Просидеть в пустой комнате часа два — ничего. Но когда ребенка сажали насильно, против его воли, и объявляли, что он лишен свободы, то наказание было довольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или брата ее на два часа. Меня посадили на четыре, взяв в соображение всю чудовищность моего преступления. Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я думала о княжне. Я знала, что победила. Но, вместо четырех часов, я просидела до четырех утра. Вот как это случилось.

Через два часа после моего заключения мадам Леотар узнала, что приехала ее дочь из Москвы, вдруг заболела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, позабыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно, предположила, что я уже выпущена. Катя была отозвана вниз и принуждена была просидеть у матери до одиннадцати часов вечера. Воротясь, она чрезвычайно изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела ее, уложила, но княжна имела свои причины не спрашивать обо мне. Она легла, поджидая меня,

зная наверно, что я арестована на четыре часа, и полагая, что меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня совершенно, тем более что я раздевалась всегда сама. Таким образом, я осталась ночевать под арестом.

В четыре часа ночи услышала я, что стучат и ломятся в мою комнату. Я спала, улегшись кое-как на полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же отличила голос Кати, который раздавался громче всех, потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти, потом ключницы. Наконец отворили дверь, и мадам Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося простить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась к ней на шею, вся в слезах. Я продрогла от холода, и все кости болели у меня от лежанья на голом полу. Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже спала или притворялась спящею. Поджидая меня с вечера, она невзначай заснула и проспала до четырех часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый содом, разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню, всех девушек и освободила меня.

Наутро все в доме узнали о моем приключении; даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком строго. Что же касается до князя, то в этот день я его видела, в первый раз в жизни, рассерженным. Он вошел наверх в десять часов утра в сильном волнении.

— Помилуйте, — начал он к мадам Леотар, — что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это варварство, чистое варварство, скифство! Больной, слабый ребенок, такая мечтательная, пугливая девочка, фантазерка, и посадить ее в темную комнату, на целую ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня! И как можно такое наказание? кто изобрел, кто мог изобресть такое наказание?

Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в смущении начала объяснять ему всё дело, сказала, что она забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что наказание само в себе хорошее, если продолжается недолго, и что даже Жан-Жак Руссо говорит нечто подобное.

— Жан-Жак Руссо, сударыня! Но Жан-Жак не мог говорить этого: Жан-Жак не авторитет. Жан-Жак Руссо не смел говорить о воспитании, не имел права на то. Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня! Жан-Жак дурной человек, сударыня!

— Жан-Жак Руссо! Жан-Жак дурной человек! Князь! князь! что вы говорите?

И мадам Леотар вся вспыхнула.

Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде всего не любила обижаться; но затронуть кого-нибудь из любимцев ее, потревожить классическую тень Корнеля, Расина, оскорбить Вольтера, назвать Жан-Жака Руссо дурным человеком, назвать его варваром, — боже мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; старушка дрожала от волнения.

— Вы забываетесь, князь! — проговорила она наконец вне себя от волнения.

Князь тотчас же спохватился и попросил прощения, потом подошел ко мне, поцеловал меня с глубоким чувством, перекрестил и вышел из комнаты.

— Pauvre prince! [1] — сказала мадам Леотар, расчувствовавшись в свою очередь. Потом мы сели за классный стол.

Но княжна училась очень рассеянно. Перед тем как идти к обеду, она подошла ко мне, вся разгоревшись, со смехом на губах, остановилась против меня, схватила меня за плечи и сказала торопливо, как будто чего-то стыдясь:

— Что? насиделась вчера за меня? После обеда пойдем играть в залу.

Кто-то прошел мимо нас, и княжна мигом отвернулась от меня.

После обеда, в сумерки, мы обе сошли вниз в большую залу, схватившись за руки. Княжна была в глубоком волнении и тяжело переводила дух. Я была радостна и счастлива, как никогда не бывала.

— Хочешь в мяч играть? — сказала она мне. — Становись здесь!

Она поставила меня в одном углу залы, но сама, вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками. Я сделала движение к ней; она думала, что я хочу уйти.

— Не ходи, Неточка, побудь со мной, — сказала она, — это сейчас пройдет.

Но мигом она вскочила с места и, вся раскрасневшись, вся в слезах, бросилась мне на шею. Щеки ее были влажны, губки вспухли, как вишенки, локоны рассыпались в беспорядке. Она целовала меня как безумная, целовала мне лицо, глаза, губы, шею, руки; она рыдала как в истерике; я крепко прижалась к ней, и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, как любовники, которые свиделись после долгой разлуки. Сердце Кати билось так сильно, что я слышала каждый удар.

Но в соседней комнате раздался голос. Звали Катю к княгине.

— Ах, Неточка! Ну! до вечера, до ночи! Ступай теперь наверх, жди меня.

Она поцеловала меня последний раз тихо, неслышно, крепко и бросилась от меня на зов Насти. Я прибежала наверх как воскресшая, бросилась на диван, спрятала в подушки голову и зарыдала от восторга. Сердце колотилось, как будто грудь хотело пробить. Не помню, как дожила я до ночи. Наконец пробило одиннадцать, и я легла спать. Княжна воротилась только в двенадцать часов; она издали улыбнулась мне, но не сказала ни слова. Настя стала ее раздевать и как будто нарочно медлила.

---

[1] Бедный князь! (*франц.*)

— Скорее, скорее, Настя! — бормотала Катя.

— Что это вы, княжна, верно, бежали по лестнице, что у вас так сердце колотится?.. — спросила Настя.

— Ах, боже мой, Настя! какая скучная! Скорее, скорее! — И княжна в досаде ударила ножкой об пол.

— Ух, какое сердечко! — сказала Настя, поцеловав ножку княжны, которую разувала.

Наконец всё было кончено, княжна легла, и Настя вышла из комнаты. Вмиг Катя вскочила с постели и бросилась ко мне. Я вскрикнула, встречая ее.

— Пойдем ко мне, ложись ко мне! — заговорила она, подняв меня с постели. Мгновенье спустя я была в ее постели, мы обнялись и жадно прижались друг к другу. Княжна зацеловала меня в пух.

— А ведь я помню, как ты меня ночью целовала! — сказала она, покраснев как мак.

Я рыдала.

— Неточка! — прошептала Катя сквозь слезы, — ангел ты мой, я ведь тебя так давно, так давно уж люблю! Знаешь, с которых пор?

— Когда?

— Как папа́ приказал у тебя прощения просить, тогда как ты за своего папу заступилась, Неточка... Си-ро-точка ты моя! — протянула она, снова осыпая меня поцелуями. Она плакала и смеялась вместе.

— Ах, Катя!

— Ну, что? ну, что?

— Зачем мы так долго... так долго... — и я не договорила. Мы обнялись и минуты три не говорили ни слова.

— Послушай, ты что, думала про меня? — спросила княжна.

— Ах, как много думала, Катя! всё думала, и день и ночь думала.

— И ночью про меня говорила, я слышала.

— Неужели?

— Плакала сколько раз.

— Видишь! Что ж ты всё была такая гордая?

— Я ведь была глупа, Неточка. Это на меня так придет, и кончено. Я всё зла была на тебя.

— За что?

— За то, что сама дурная была. Прежде за то, что ты лучше меня; потом за то, что тебя папа́ больше любит. А папа́ добрый человек, Неточка! да?

— Ах, да! — отвечала я со слезами, вспомнив про князя.

— Хороший человек, — серьезно сказала Катя, — да что мне с ним делать? он всё такой... Ну, а потом стала у тебя прощенья просить и чуть не заплакала, и за это опять рассердилась.

— А я-то видела, а я-то видела, что ты плакать хотела.

— Ну, молчи ты, дурочка, плакса такая сама! — крикнула на меня Катя, зажав мне рот рукою. — Слушай, мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг ненавидеть захочется, и так ненавижу, так ненавижу!..

— За что же?

— Да уж я сердита на тебя была. Не знаю за что! А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее, скверную!

— Ах, Катя!

— Душка моя! — сказала Катя, целуя мне руку. — Ну, а потом я с тобой говорить не хотела, никак не хотела. А помнишь, Фальстафку я гладила?

— Ах ты, бесстрашная!

— Как я тру...си...ла-то, — протянула княжна. — Ты знаешь ли, почему я к нему пошла?

— Почему?

— Да ты смотрела. Когда увидела, что ты смотришь... ах! будь что будет, да и пошла. Испугала я тебя, а? Боялась ты за меня?

— Ужасть!

— Я видела. А уж я-то как рада была, что Фальстафка ушел! Господи, как я трусила потом, как он ушел, чу...до...вище этакое!

И княжна захохотала нервическим смехом; потом вдруг приподняла свою горячую голову и начала пристально глядеть на меня. Слезинки, как жемчужинки, дрожали на ее длинных ресницах.

— Ну, что в тебе есть, что я тебя так полюбила? Ишь, бледненькая, волосы белокуренькие, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си...ро...точка ты моя!!!

И Катя нагнулась опять без счету целовать меня. Несколько капель ее слез упали на мои щеки. Она была глубоко растрогана.

— Ведь как любила-то тебя, а всё думаю — нет да нет! не скажу ей! И ведь как упрямилась! Чего я боялась, чего я стыдилась тебя! Ведь смотри, как нам теперь хорошо!

— Катя! больно мне как! — сказала я, вся в исступлении от радости. — Душу ломит!

— Да, Неточка! Слушай дальше... да, слушай, кто тебя Неточкой прозвал?

— Мама́.

— Ты мне всё про маму расскажешь?

— Всё, всё, — отвечала я с восторгом.

— А куда ты два платка мои дела, с кружевами? а ленту зачем унесла? Ах ты, бесстыдница! Я ведь это знаю.

Я засмеялась и покраснела до слез.

— Нет, думаю: помучу ее, подождет. А иной раз думаю: да я ее вовсе не люблю, я ее терпеть не могу. А ты всё такая кроткая, такая овечка ты моя! А ведь как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа! Ты умна, Неточка, ведь ты очень умна? а?

— Ну, что ты, Катя! — отвечала я, чуть не обидевшись.

— Нет, ты умна, — сказала Катя решительно и серьезно, — это я знаю. Только раз я утром встала и так тебя полюбила, что ужас! Ты мне во всю ночь снилась. Думаю, я к маме буду проситься и там буду жить. Не хочу я ее любить, не хочу! А на следующую ночь засыпаю и думаю: кабы она пришла, как и в прошлую ночь, а ты и пришла! Ах, как я притворялась, что сплю... Ах, какие мы бесстыдницы, Неточка!

— Да за что ж ты меня всё любить не хотела?

— Так... да что я говорю! ведь я тебя всё любила! всё любила! Уж потом и терпеть не могла; думаю, зацелую я ее когда-нибудь или исщиплю всю до смерти. Вот тебе, глупенькая ты этакая!

И княжна ущипнула меня.

— А помнишь, я тебе башмак подвязывала?

— Помню.

— Помню; хорошо тебе было? Смотрю я на тебя: экая милочка, думаю: дай я ей башмак подвяжу, что она будет думать! Да так мне самой хорошо стало. И ведь, право, хотела поцеловаться с тобою... да и не поцеловала. А потом так смешно стало, так смешно! И всю дорогу, как гуляли вместе, так вот вдруг и хочу захохотать. На тебя смотреть не могу, так смешно. А ведь как я рада была, что ты за меня в темницу пошла!

Пустая комната называлась «темницей».

— А ты струсила?

— Ужас как струсила.

— Да не тому еще рада, что ты на себя сказала, а рада тому была, что ты за меня посидишь! Думаю: плачет она теперь, а я-то ее как люблю! Завтра буду ее так целовать, так целовать! И ведь не жалко, ей-богу, не жалко было тебя, хоть я и поплакала.

— А я-то вот и не плакала, нарочно рада была!

— Не плакала? ах ты злая! — закричала княжна, всасываясь в меня своими губками.

— Катя, Катя! Боже мой, какая ты хорошенькая!

— Не правда ли? Ну, теперь что хочешь со мной, то и делай! Тирань меня, щипли меня! Пожалуйста, ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!

— Шалунья!

— Ну, еще что?

— Дурочка...

— А еще?

— А еще поцелуй меня.

И мы целовались, плакали, хохотали; у нас губы распухли от поцелуев.

— Неточка! во-первых, ты всегда будешь ко мне спать приходить. Ты целоваться любишь? И целоваться будем. Потом я не хочу, чтоб ты была такая скучная. Отчего тебе скучно было? Ты мне расскажешь, а?

— Всё расскажу; но мне теперь не скучно, а весело!

— Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня! Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать, Неточка?

— Нет.

— Ну, так давай говорить.

И часа два мы еще проболтали. Бог знает, чего мы не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для будущего и настоящее положение вещей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех, почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не строгая. Далее, мы тут же выдумали, что мы будем делать завтра, послезавтра, и вообще рассчитали жизнь чуть ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я всё исполнять, а другой день наоборот — я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом как-нибудь поскорее помиримся. Одним словом, нас ожидало бесконечное счастие. Наконец мы утомились болтать, у меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной, что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро мы проснулись разом, поцеловались наскоро, потому что к нам входили, и я успела добежать до своей кровати.

Весь день мы не знали, что делать друг с другом от радости. Мы всё прятались и бегали от всех, более всего опасаясь чужого глаза. Наконец я начала ей свою историю. Катя потрясена была до слез моим рассказом.

— Злая, злая ты этакая! Для чего ты мне раньше всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила! И больно тебя мальчики били на улице?

— Больно. Я так боялась их!

— Ух, злые! Знаешь, Неточка, я сама видела, как один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько возьму Фальстафкину плетку, и уж если один встретится такой, я его так прибью, так прибью!

Глазки ее сверкали от негодования.

Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целовались мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга, задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось недолго.

Мадам Леотар должна была доносить о каждом движении княжны. Она наблюдала за нами целые три дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рассказать. Наконец она пошла к княгине и объявила ей всё, что подметила, — что мы обе в каком-то исступлении, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом, поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные, — как безумные без умолку болтаем, тогда как этого прежде не было, что она не знает, чему приписать это всё, но ей кажется, что княжна

в каком-нибудь болезненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше видеться пореже.

— Я давно это думала, — отвечала княгиня, — уж я знала, что эта странная сиротка наделает нам хлопот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь ее, — ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влияние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?

— Без памяти.

Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала ко мне свою дочь.

— Это ненатурально, — сказала она. — Прежде они были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, правила. И не понимаю, что находит в ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пансион.

Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться, но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас прислали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю.

Я узнала про всё поздно вечером и была поражена ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не перенесет нашей разлуки. Я приходила в исступление от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употребил все свои усилия, но всё было тщетно: княгиня не изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.

На третий день, утром, Настя принесла мне записку от Кати. Катя писала карандашом, страшными каракулями, следующее: «Я тебя очень люблю. Сижу с maman и всё думаю, как к тебе убежать. Но я убегу — я сказала, и потому не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка. Посылаю тебе конфет. Прощай».

Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала я над запиской Кати. Мадам Леотар замучила меня своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала княгине. Я расспрашивала Настю: что с Катей? Она отвечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.

Наутро Настя шепнула мне:

— Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спуститесь по лестнице, которая справа.

Всё во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет. Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо поцеловала. Смех, слезы... Мигом Катя вырвалась из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от восторга.

— Папа́, какой ты хороший человек, папа́!

— Шалуньи вы! что с вами сделалось? что за дружба? что за любовь?

— Молчи, папа́, ты наших дел не знаешь.

И мы снова бросились в объятия друг к другу.

Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность прокрадывалась на его место. Я заплакала с горя.

Наконец постучалась Настя. Знак, что схватились Кати и спрашивают. Катя побледнела как смерть.

— Полно, дети. Мы каждый день будем сходиться. Прощайте, и да благословит вас господь! — сказал князь.

Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень худо. Вечером из Москвы пришло известие, что маленький Саша внезапно заболел и при последнем издыхании. Княгиня положила отправиться завтра же. Это случилось так скоро, что я ничего и не знала до самого прощания с княжной. На прощанье настоял сам князь, и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая. Я сбежала вниз не помня себя и бросилась к ней на шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бросилась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в память. Наконец она очнулась и обняла меня снова.

— Прощай, Неточка! — сказала она мне, вдруг засмеявшись, с неизъяснимым движением в лице. — Ты не смотри на меня; это так; я не больна, я приеду через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.

— Довольно, — сказала княгиня спокойно, — едем!

Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно сжала меня в объятиях.

— Жизнь моя! — успела она прошептать, обнимая меня. — До свиданья!

Мы поцеловались в последний раз, и княжна исчезла — надолго, очень надолго. Прошло восемь лет до нашего свиданья!

. . . .

Я нарочно рассказала так подробно этот эпизод моего детства, первого появления Кати в моей жизни. Но наши истории нераздельны. Ее роман — мой роман. Как будто суждено мне было встретить ее; как будто суждено ей было найти меня. Да и я не могла отказать себе в удовольствии перенестись еще раз воспоминанием в мое детство... Теперь рассказ мой пойдет быстрее. Жизнь моя вдруг впала в какое-то затишье, и я как будто очнулась вновь, когда мне уж минуло шестнадцать лет...

Но — несколько слов о том, что сталось со мною по отъезде княжеского семейства в Москву.

Мы остались с мадам Леотар.

Через две недели приехал нарочный и объявил, что поездка в Петербург отлагается на неопределенное время. Так как мадам Леотар, по семейным обстоятельствам, не могла ехать в Москву,

то должность ее в доме князя кончилась; но она осталась в том же семействе и перешла к старшей дочери княгини, Александре Михайловне.

Я еще ничего не сказала про Александру Михайловну, да и видела я ее всего один раз. Она была дочь княгини еще от первого мужа. Происхождение и родство княгини было какое-то темное; первый муж ее был откупщик. Когда княгиня вышла замуж вторично, то решительно не знала, что ей делать со старшею дочерью. На блестящую партию она надеяться не могла. Приданое же давали за нею умеренное; наконец, четыре года назад, сумели выдать ее за человека богатого и в значительных чинах. Александра Михайловна поступила в другое общество и увидела кругом себя другой свет. Княгиня посещала ее в год по два раза; князь, вотчим ее, посещал ее каждую неделю вместе с Катей. Но в последнее время княгиня не любила пускать Катю к сестре, и князь возил ее потихоньку. Катя обожала сестру. Но они составляли целый контраст характеров. Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово отеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, — словно монастырка. Детей у нее не было. Помню, она приехала к мадам Леотар, подошла ко мне и с глубоким чувством поцеловала меня. С ней был один худощавый довольно пожилой мужчина. Он прослезился, на меня глядя. Это был скрипач Б. Александра Михайловна обняла меня и спросила, хочу ли я жить у нее и быть ее дочерью. Посмотрев ей в лицо, я узнала сестру моей Кати и обняла ее с глухою болью в сердце, от которой заныла вся грудь моя... как будто кто-то еще раз произнес надо мною: «Сиротка!» Тогда Александра Михайловна показала мне письмо от князя. В нем было несколько строк ко мне, и я прочла их с глухими рыданиями. Князь благословлял меня на долгую жизнь и на счастье и просил любить другую дочь его. Катя приписала мне тоже несколько строк. Она писала, что не разлучается теперь с матерью!

И вот вечером я вошла в другую семью, в другой дом, к новым людям, в другой раз оторвав сердце от всего, что мне стало так мило, что было уже для меня родное. Я приехала вся измученная, истерзанная от душевной тоски... Теперь начинается новая история.

VI

Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников... Я прожила у моих воспитателей с лишком восемь лет и не помню, чтоб во всё это время,

кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как бы нибудь собралися родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны, почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службою и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое и делилось поровну между семейством и светскою жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограниченном честолюбии; но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и удача как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него своей симпатии. Даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором, обратно, совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества.

Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне всё на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною, жизни, по видимой свободе, по безмятежно-ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием всё более и более росла и крепла моя к ней привязанность.

Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, — а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении... Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она,

чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней мере я начала подозревать с первой минуты...

Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он видимо тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда, бывало, вечером все трое сойдемся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что и она вся как будто трепещет пред ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится особенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-видимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового — и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухаживала как за трудным больным Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать каждое слово, им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович? — как будто ища какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть целый час спустя, совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостна, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепьяно и импровизировала на них часа два. Но нередко радость ее вдруг прерывалась: она начинала плакать, и когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смущении, в испуге,

она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделье. Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он невзначай (что было очень редко) вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастием, и в эти минуты ей случалось даже *слишком* увлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, конечно с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику дитяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними; я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто опомнится; как будто он внезапно, через силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его и глаза его вдруг устремляются на оторопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Наступала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и, в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало желание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную, долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она

принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет — двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный каких-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, — словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки, в отчаянии, с судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, которое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках; меня же и высылали в это время из комнаты, и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца пе простой нервный кризис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним и эта смиренная, странная любовь, которую она даже не смела проявить пред мужем, что недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа.

Но так как подобные сцены с мужем были очень редки; так как жизнь наша была очень однообразна и я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла наконец к этой жизни, к этим обычаям и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться подчас, глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами

своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!.. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такою любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.

Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца — и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, — что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. Когда же — и это так часто случалось — одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно.

С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у ней было только одно дитя и только год как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась, на нее

глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за всё, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неуменьем; но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от уразумения моих инстинктов и от уменья возбудить во мне добрую волю, — и она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились, как две подруги, и иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так, между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что, когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась, изобличала уловку Александры Михайловны, и, взвесив все ее старания со мной, нередко целые часы, пожертвованные таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, — серьезнее, потому что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вместе с состраданием, как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем не у места. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих *уроков* мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она всё более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и невдомек было, что таким образом, мало-помалу, уравнивалось и приходило в стройную гармонию всё, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно-бурно и до чего доходило мое детское сердце, всё изъязвленное, с мучительною болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары.

День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли,

учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но бог знает, какая это была наука. Тут было всё, и вместе с тем ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б., друг Александры Михайловны, приходила мадам Леотар; нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности всё то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла; мне нанимали учителей, от которых, без Александры Михайловны, я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец решительно недостало: мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки, нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно; но, по уходе его, мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать, читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках; Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось всё, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь, я — ребенок, она — уязвленное сердце, так тяжело переносившее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумывалась, на нее глядя, я угадывала, и, прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.

Наконец мне минуло тринадцать лет. Между тем здоровье Александры Михайловны становилось всё хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, припадки ее безвыходной грусти ожесточеннее, визиты мужа начались чаще, и просиживал он с нею, разумеется как и прежде, почти молча, суровый и хмурый, всё больше и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать меня. Я выходила из детства, во мне уж сформировалось много

новых впечатлений, наблюдений, увлечений, догадок; ясно, что загадка, бывшая в этом семействе, всё более и более стала мучить меня. Были минуты, в которые мне казалось, что я что-то понимаю в этой загадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апатию, даже в досаду, и забывала свое любопытство, не находя ни на один вопрос разрешения. Порой — и это случалось всё чаще и чаще — я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, всё думать: моя настоящая минута похожа была на то время, когда еще я жила у родителей и когда вначале, прежде чем сошлась с отцом, целый год думала, соображала, приглядывалась из своего угла на свет божий, так что наконец совсем одичала среди фантастических призраков, мною же созданных. Разница была в том, что теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых, бессознательных порывов, более жажды к движению, к подымчивости, так что сосредоточиться на одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны, Александра Михайловна как будто сама стала более удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла ей быть подругой. Я была не ребенок, я слишком о многом спрашивала и подчас смотрела на нее так, что она должна была потуплять глаза предо мною. Были странные минуты. Я не могла видеть ее слез, и часто слезы накипали в моих глазах, глядя на нее. Я бросалась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла отвечать мне? Я чувствовала, что была ей в тягость. Но в другое время — и это было тяжелое, грустное время — она сама, как будто в каком-то отчаянии, судорожно обнимала меня, как будто искала моего участия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уж понимала ее, как будто мы страдали с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тайна, это было очевидно, и я уж сама начала удаляться от нее в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме того, нас уж мало что соединяло, одна музыка. Но музыку стали ей запрещать доктора. Книги? Но здесь было всего труднее. Она решительно не знала, как читать со мною. Мы, конечно, остановились бы на первой странице: каждое слово могло быть намеком, каждая незначащая фраза — загадкой. От разговора вдвоем, горячего, задушевного, мы обе бежали.

И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства, сердце, голова — всё разом, с напряженною силою, доходившею даже до энтузиазма, обратилось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности, и я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир; мне некогда было обернуться, осмотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чувствовала это; но соблазн был сильнее страха, и я пошла наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня и в которой я так жадно и бесполезно искала выхода. Вот что такое это было и вот как оно случилось.

Из столовой было три выхода: один в большие комнаты, дру-

гой в мою и в детские, а третий вел в библиотеку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в котором обыкновенно помещался помощник Петра Александровича в делах, его переписчик, его сподручник, бывший в одно и то же время его секретарем и фактором. Ключ от шкафов и библиотеки хранился у него. Однажды, после обеда, когда его не было дома, я нашла этот ключ на полу. Меня взяло любопытство, и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната, очень светлая, уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из них бóльшая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. Другая часть книг собрана была Александрой Михайловной, которая покупала их беспрестанно. До сих пор мне давали читать с большою осмотрительностию, так что я без труда догадалась, что мне многое запрещают и что многое для меня тайна. Вот почему я с неудержимым любопытством, в припадке страха и радости и какого-то особенного, безотчетного чувства, отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом шкафе были романы. Я взяла один из них, затворила шкаф и унесла к себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в моей жизни совершается большой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась и раскрыла роман. Но читать я не могла; у меня была другая забота: мне сначала нужно было уладить прочно и окончательно свое обладание библиотекой, так чтоб никто того не знал и чтоб возможность иметь всякую книгу во всякое время осталась при мне. И потому я отложила свое наслаждение до более удобной минуты, книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила его, и — это был первый дурной поступок в моей жизни. Я ждала последствий; они уладились чрезвычайно благоприятно: секретарь и помощник Петра Александровича, проискав ключа целый вечер и часть ночи со свечою на полу, решился наутро призвать слесаря, который из связки принесенных им ключей прибрал новый. Тем дело и кончилось, а о пропаже ключа никто более ничего не слыхал; я же повела дело так осторожно и хитро, что пошла в библиотеку только чрез неделю, совершенно уверившись в полной безопасности насчет всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда секретаря не было дома; потом же стала заходить из столовой, потому что письмоводитель Петра Александровича имел у себя только ключ в кармане, а в дальнейшие сношения с книгами никогда не вступал и потому даже не входил в комнату, в которой они находились.

Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, — всё это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как

будто вполне удовлетворившись новою пищею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, показав мне будущее в волшебной панораме, в заманчивой, блестящей перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа. Я начала чтение без разбора, с первой попавшейся мне под руку книги, но судьба хранила меня: то, что я узнала и выжила до сих пор, было так благородно, так строго, что теперь меня не могла уже соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница. Меня хранил мой детский инстинкт, мой ранний возраст и всё мое прошедшее. Теперь же сознание как будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действительно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких волшебных картинах, уже была мною испытана. И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнию человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастия. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами, возбужденными во мне почти каким-то чувством самосохранения. Меня как будто предуведомляли вперед, как будто предостерегал кто-нибудь. Как будто что-то пророчески теснилось мне в душу, и с каждым днем всё более и более крепла надежда в душе моей, хотя вместе с тем всё сильнее и сильнее были мои порывы в эту будущность, в эту жизнь, которая каждодневно поражала меня в прочитанном мною со всей силой, свойственной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но, как я уже сказала, фантазия моя слишком владычествовала над моим нетерпением, и я, по правде, была смела лишь в мечтах, а на деле инстинктивно робела перед будущим. И потому, будто предварительно согласясь с собой, я бессознательно положила довольствоваться покуда миром фантазии, миром мечтательности, в котором уже я одна была владычицей, в котором были только одни обольщения, одни радости, и самое несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворота судьбы к счастливой развязке моих головных восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настроение.

И такая жизнь, жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года!

Эта жизнь была моя тайна, и после целых трех лет я еще не знала, бояться ли мне ее внезапного оглашения или нет. То, что я пережила в эти три года, было слишком мне родное, близкое. Во всех этих фантазиях слишком сильно отразилась я сама, до того, что, наконец, могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей бы он ни был, который бы неосторожно заглянул в мою душу. К тому же мы все, весь дом наш, жили так уединенно, так вне общества, в такой монастырской тиши, что невольно в каждом из нас должна была развиться сосредоточенность в себе самом, какая-то потребность самозаключения. То же и со мною случилось. В эти три года кругом меня ничего не преобразилось, всё осталось попрежнему. По-прежнему царило между нами унылое однообразие, которое, — как теперь думаю, если б я не была увлечена своей тайной, скрытной деятельностью, — истерзало бы мою душу и бросило бы меня в неизвестный мятежный исход из этого вялого, тоскливого круга, в исход, может быть, гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключилась в своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был слишком однообразен, а муж Александры Михайловны — такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себя, как и прежде. Между ним и женой по-прежнему была та же таинственность отношений, которая мне начала представляться всё более и более в грозном, суровом виде, я всё более и более пугалась за Александру Михайловну. Жизнь ее, безотрадная, бесцветная, видимо гасла в глазах моих. Здоровье ее становилось почти с каждым днем хуже и хуже. Как будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу; она видимо была под гнетом чего-то неведомого, неопределенного, в чем и сама она не могла дать отчета, чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного, но которое она приняла как неизбежный крест своей осужденной жизни. Сердце ее ожесточалось, наконец, в этой глухой муке; даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно наблюдение: мне казалось, что чем более я входила в лета, тем более она как бы удалялась от меня, так что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила меня в иные минуты; как будто я ей мешала. Я сказала, что стала нарочно удаляться ее, и, удалившись раз, как будто заразилась таинственностью ее же характера. Вот почему всё, что я прожила в эти три года, всё, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах, — всё это упрямо осталось при мне. Раз затаившись друг от друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, кажется мне, я любила ее с каждым днем еще более прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том, до какой степени она была привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце расточать на меня всё сокровище любви, которое в нем заключалось, и исполнить обет свой до конца — быть мне матерью.

Правда, собственное горе иногда надолго отвлекало ее от меня, она как будто забывала обо мне, тем более что и я старалась не напоминать ей о себе, так что мои шестнадцать лет подошли, как будто никто того не заметил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала меня к себе из моей комнаты, из-за моих уроков и занятий, закидывала меня вопросами, как будто испытывая, разузнавая меня, не разлучалась со мной по целым дням, угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущности, и с неистощимою любовью, с каким-то благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже очень отвыкла от меня и потому поступала иногда слишком наивно, так что всё это было мне слишком понятно и заметно. Например, и это случилось, когда уже мне был шестнадцатый год, она, перерыв мои книги, расспросив о том, что я читаю, и найдя, что я не вышла еще из детских сочинений для двенадцатилетнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я догадалась, в чем дело, и следила за нею внимательно. Целые две недели она как будто приготовляла меня, испытывала меня, разузнавала степень моего развития и степень моих потребностей. Наконец она решилась начать, и на столе нашем явился «Ивангое» Вальтер-Скотта, которого я уже давно прочитала, и по крайней мере раза три. Сначала она с робким ожиданием следила за моими впечатлениями, как будто взвешивала их, словно боялась за них; наконец эта натянутость между нами, которая была мне слишком приметна, исчезла; мы воспламенились обе, и я так рада, так рада была, что могла уже перед ней не скрываться! Когда мы кончили роман, она была от меня в восторге. Каждое замечание мое во время нашего чтения было верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее, я уже развилась слишком далеко. Пораженная этим, в восторге от меня, она радостно принялась было опять следить за моим воспитанием, — она уж более не хотела разлучаться со мной; но это было не в ее воле. Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему сближению. Для этого достаточно было первого припадка болезни, припадка ее всегдашнего горя, а затем опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может быть, даже ожесточения.

Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. Чтение, несколько симпатичных слов, перемолвленных между нами, музыка — и мы забывались, высказывались, высказывались иногда через меру, и после того нам становилось тяжело друг перед другом. Одумавшись, мы смотрели друг на друга как испуганные, с подозрительным любопытством и с недоверчивостью. У каждой из нас был свой предел, до которого могло идти наше сближение; за него мы переступить не смели, хотя бы и хотели.

Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепьяно, импровизируя на тему одного любимейшего ею мотива итальян-

ской музыки. Когда она перешла наконец в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкою, которая проникла мне в сердце, начала робко, вполголоса, напевать этот мотив про себя. Скоро увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фортепьяно; Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с любовью следила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена богатством его. До сих пор я никогда при ней не пела, да и сама едва знала, есть ли у меня какие-нибудь средства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я всё более и более возвышала голос; во мне возбуждалась энергия, страсть, разжигаемая еще более радостным изумлением Александры Михайловны, которое я угадывала в каждом такте ее аккомпанемента. Наконец пение кончилось так удачно, с таким одушевлением, с такою силою, что она в восторге схватила мои руки и радостно взглянула на меня.

— Аннета! да у тебя чудный голос, — сказала она. — Боже мой! Как же это я не заметила!

— Я сама только сейчас заметила, — отвечала я вне себя от радости.

— Да благословит же тебя бог, мое милое, бесценное дитя! Благодари его за этот дар. Кто знает... Ах, боже мой, боже мой!

Она была так растрогана неожиданностью, в таком исступлении от радости, что не знала, что мне сказать, как приголубить меня. Это была одна из тех минут откровения, взаимной симпатии, сближения, которых уже давно не было с нами. Через час как будто праздник настал в доме. Немедленно послали за Б. В ожидании его мы наудачу раскрыли другую музыку, которая мне была знакомее, и начали новую арию. В этот раз я дрожала от робости. Мне не хотелось неудачей разрушить первое впечатление. Но скоро мой же голос ободрил и поддержал меня. Я сама всё более и более изумлялась его силе, и в этот вторичный опыт рассеяно было всякое сомнение. В припадке своей нетерпеливой радости Александра Михайловна послала за детьми, даже за няней детей своих и, наконец, увлекшись совсем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр Александрович выслушал новость благосклонно, поздравил меня и сам первый объявил, что нужно меня учить. Александра Михайловна, счастливая от благодарности, как будто бог знает что для нее было сделано, бросилась целовать его руки. Наконец явился Б. Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил о моем отце, о прошедшем, и когда я спела перед ним два-три раза, он с серьезным, с озабоченным видом, даже с какою-то таинственностью, объявил, что средства есть несомненные, может быть даже и талант, и что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы одумавшись, они оба положили с Александрой Михайловной, что опасно слишком захваливать меня в самом начале, и я заметила, как тут же они перемигнулись и сговорились украдкой, так что весь их заговор против меня вышел очень наивен и неловок.

Я смеялась про себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения, они старались удерживаться и даже нарочно замечать вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и первый же изменил себе Б., снова расчувствовавшись от радости. Я никогда не подозревала, чтоб он так любил меня. Во весь вечер шел самый дружеский, самый теплый разговор. Б. рассказал несколько биографий известных певцов и артистов, и рассказывал с восторгом художника, с благоговением, растроганный. Затем, коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на мое детство, на князя, на всё семейство князя, о котором я так мало слышала с самой разлуки. Но Александра Михайловна и сама не много знала о нем. Всего более знал Б., потому что не раз ездил в Москву. Но здесь разговор принял какое-то таинственное, загадочное для меня направление, и два-три обстоятельства, в особенности касавшиеся князя, были для меня совсем непонятны. Александра Михайловна заговорила о Кате, но Б. ничего не мог сказать о ней особенного и тоже как будто с намерением желал умолчать о ней. Это поразило меня. Я не только не позабыла Кати, не только не замолкла во мне моя прежняя любовь к ней, но даже напротив: я и не подумала ни разу, что в Кате могла быть какая-нибудь перемена. От внимания моего ускользнули доселе и разлука, и эти долгие годы, прожитые розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, и разность воспитания, и разность характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не покидала меня: она как будто всё еще жила со мною; особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и фантастических приключениях мы всегда шли вместе с ней рука в руку. Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвоивала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. Наконец в нашем семейном совете положено было пригласить мне учителя пения. Б. рекомендовал известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе с другими его ученицами, что тут помогут развитию моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богатство всех средств, которые будут у меня под руками. Александра Михайловна согласилась; и с этих пор я ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам, в восемь часов, в сопровождении служанки в консерваторию.

Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и, вместе с тем, в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное

равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже дарование мое, принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчетною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено... Вот как это случилось.

VII

Я вошла в библиотеку (это будет навсегда памятная для меня минута) и взяла роман Вальтер-Скотта «Сен-Ронанские воды», единственный, который еще не прочитала. Помню, что язвительная беспредметная тоска терзала меня как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось плакать. В комнате было ярко-светло от последних, косых лучей заходящего солнца, которые густо лились в высокие окна на сверкающий паркет пола; было тихо; кругом, в соседних комнатах, тоже не было ни души. Петра Александровича не было дома, а Александра Михайловна была больна и лежала в постели. Я, действительно, плакала и, раскрыв вторую часть, беспредметно перелистывала ее, стараясь отыскать какой-нибудь смысл в отрывочных фразах, мелькавших у меня перед глазами. Я как будто гадала, как гадают, раскрывая книгу наудачу. Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только бы с жизнию. Моя минута именно была такова.

Припоминаю, что я именно закрыла книгу, чтоб потом раскрыть наудачу и, загадав о моем будущем, прочесть выпавшую мне страницу. Но, раскрыв ее, я увидела исписанный лист почтовой бумаги, сложенный вчетверо и так приплюснутый, так слежавшийся, как будто уже он несколько лет был заложен в книгу и забыт в ней. С крайним любопытством начала я осматривать свою находку. Это было письмо, без адреса, с подписью двух начальных букв С. О. Мое внимание удвоилось; я развернула чуть не слипшуюся бумагу, которая от долгого лежания между страницами оставила на них во весь размер свой светлое место. Складки письма были истерты, выношены: видно было, что когда-то его часто перечитывали, берегли как драгоценность. Чернила поси-

нели, выцвели, — уж слишком давно как оно написано! Несколько слов бросилось мне случайно в глаза, и сердце мое забилось от ожидания. Я в смущении вертела письмо в руках, как бы нарочно отдаляя от себя минуту чтения. Случайно я поднесла его к свету: да! капли слез засохли на этих строчках; пятна оставались на бумаге; кое-где целые буквы были смыты слезами. Чьи это слезы? Наконец, замирая от ожидания, я прочла половину первой страницы, и крик изумления вырвался из груди моей. Я заперла шкаф, поставила книгу на место и, спрятав письмо под косынку, побежала к себе, заперлась и начала перечитывать опять сначала. Но сердце мое так колотилось, что слова и буквы мелькали и прыгали перед глазами моими. Долгое время я ничего не понимала. В письме было открытие, начало тайны; оно поразило меня, как молния, потому что я узнала, к кому оно было писано. Я знала, что я почти преступление сделаю, прочитав это письмо; но минута была сильнее меня! Письмо было к Александре Михайловне.

Вот это письмо; я привожу его здесь. Смутно поняла я, что́ в нем было, и потом долго не оставляли меня разгадка и тяжелая дума. С этой минуты как будто переломилась моя жизнь. Сердце мое было потрясено и возмущено надолго, почти навсегда, потому что много вызвало это письмо за собою. Я верно загадала о будущем.

Это письмо было прощальное, последнее, страшное; когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное сжатие сердца, как будто я сама всё потеряла, как будто всё навсегда отнялось от меня, даже мечты и надежды, как будто ничего более не осталось при мне, кроме ненужной более жизни. Кто же он, писавший это письмо? Какова была потом ее жизнь? В письме было так много намеков, так много данных, что нельзя было ошибиться, так много и загадок, что нельзя было не потеряться в предположениях. Но я почти не ошиблась; к тому же и слог письма, подсказывающий многое, подсказывал весь характер этой связи, от которой разбились два сердца. Мысли, чувства писавшего были наружу. Они были слишком особенны и, как я уже сказала, слишком много подсказывали догадке. Но вот это письмо; выписываю его от слова до слова:

«Ты не забудешь меня, ты сказала — я верю, и вот отныне вся жизнь моя в этих словах твоих. Нам нужно расстаться, пробил наш час! Я давно это знал, моя тихая, моя грустная красавица, но только теперь понял. Во всё *наше* время, во всё время, как ты любила меня, у меня болело и ныло сердце за любовь нашу, и поверишь ли? теперь мне легче! Я давно знал, что этому будет такой конец, и так было прежде нас суждено! Это судьба! Выслушай меня, Александра: мы были *неровня;* я всегда, *всегда* это чувствовал! Я был недостоин тебя, и я, один я, должен был нести наказание за прожитое счастье мое! Скажи: что́ я был перед тобою до той поры, как ты узнала меня? Боже! вот уже два года

прошло, и я до сих пор как будто без памяти; я до сих пор не могу понять, что *ты меня* полюбила! Я не понимаю, как дошло у нас до того, с чего началось. Помнишь ли, что́ я был в сравнении с тобою? Достоин ли я был тебя, чем я взял, чем я особенно был отличен! До тебя я был груб и прост, вид мой был уныл и угрюм. Жизни другой я не желал, не помышлял о ней, не звал ее и призывать не хотел. Всё во мне было как-то придавлено, и я не знал ничего на свете важнее моей обыденной срочной работы. Одна забота была у меня — завтрашний день; да и к той я был равнодушен. Прежде, уж давно это было, мне снилось что-то такое, и я мечтал как глупец. Но с тех пор ушло много-много времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденил мое сердце. И оно заснуло. Я ведь знал и решил, что для меня никогда не взойдет другого солнца, и верил тому, и не роптал ни на что, потому что знал, что так *должно было быть*. Когда ты проходила мимо меня, ведь я не понимал, что мне можно сметь поднять на тебя глаза. Я был как раб перед тобою. Мое сердце не дрожало возле тебя, не ныло, не вещало мне про тебя: оно было покойно. Моя душа не узнавала твоей, хотя и светло ей было возле своей прекрасной сестры. Я это знаю; я глухо чувствовал это. Это я мог чувствовать, затем что и на последнюю былинку проливается свет божией денницы и пригревает и нежит ее так же, как и роскошный цветок, возле которого смиренно прозябает она. Когда же я узнал всё, — помнишь, после того вечера, после тех слов, которые потрясли до основания душу мою, — я был ослеплен, поражен, всё во мне помутилось, и знаешь ли? я так был поражен, так не поверил себе, что не понял тебя! Про это я тебе никогда не говорил. Ты ничего не знала; не таков я был прежде, каким ты застала меня. Если б я мог, если б я смел говорить, я бы давно во всем признался тебе. Но я молчал, а теперь всё скажу, затем чтоб ты знала, кого теперь оставляешь, с каким человеком расстаешься! Знаешь ли, как я сначала понял тебя? Страсть, как огонь, охватила меня, как яд, пролилась в мою кровь; она смутила все мои мысли и чувства, я был опьянен, я был как в чаду и отвечал на чистую, *сострадательную* любовь твою не как равный ровне, не как достойный чистой любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не узнал тебя. Я отвечал тебе как той, которая, в глазах моих, *забылась до меня,* а не как той, которая хотела возвысить меня до себя. Знаешь ли, в чем я подозревал тебя, что значило это: *забылась до меня?* Но нет, я не оскорблю тебя своим признанием; одно скажу тебе: ты горько во мне ошиблась! Никогда, никогда я не мог до тебя возвыситься. Я мог только недоступно созерцать тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя, но тем я не загладил вины своей. Страсть моя, возвышенная тобою, была не любовь, — любви я боялся; я не смел тебя полюбить; в любви — взаимность, равенство, а их я был недостоин... Я и не знаю, что было со мною! О! как мне рассказать тебе это, как быть понятным!.. Я не верил

сначала... О! помнишь ли, когда утихло первое волнение мое, когда прояснился мой взор, когда осталось одно чистейшее, непорочное чувство, — тогда первым движением моим было удивленье, смущенье, страх, и помнишь, как я вдруг, рыдая, бросился к ногам твоим? помнишь ли, как ты, смущенная, испуганная, со слезами спрашивала: что со мною? Я молчал, я не мог отвечать тебе; но душа моя разрывалась на части; мое счастье давило меня как невыносимое бремя, и рыдания мои говорили во мне: «За что мне это? чем я заслужил это? чем я заслужил блаженство?» Сестра моя, сестра моя! О! сколько раз — ты не знала того — сколько раз, украдкой, я целовал твое платье, украдкой, потому что я знал, что недостоин тебя, — и дух во мне занимался тогда, и сердце мое билось медленно и крепко, словно хотело остановиться и замереть навсегда. Когда я брал твою руку, я весь бледнел и дрожал; ты смущала меня чистотою души твоей. О, я не умею высказать тебе всего, что накопилось в душе моей и что так хочет высказаться! Знаешь ли, что мне тяжела, мучительна была подчас твоя сострадательная всегдашняя нежность со мною? Когда ты поцеловала меня (это случилось один раз, и я никогда того не забуду), — туман стал в глазах моих и весь дух мой изныл во мгновение. Зачем я не умер в эту минуту у ног твоих? Вот я пишу тебе *ты* в первый раз, хотя ты давно мне так приказала. Поймешь ли ты, что я хочу сказать? Я хочу тебе сказать *всё*, и скажу это: да, ты много любишь меня, ты любила меня, как сестра любит брата; ты любила меня как свое создание, потому что воскресила мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и влила мне в грудь сладкую надежду; я же не мог, не смел; я никогда доселе не называл тебя сестрою моею, затем что не мог быть братом твоим, затем что мы были неровня, затем что ты во мне обманулась!

Но ты видишь, я всё пишу о себе, даже теперь, в эту минуту страшного бедствия, я только об одном себе думаю, хотя и знаю, что ты мучишься за меня. О, не мучься за меня, друг мой милый! Знаешь ли, как я унижен теперь в собственных глазах своих! Всё это открылось, столько шуму пошло! Тебя за меня отвергнут, в тебя бросят презреньем, насмешкой, потому что я так низко стою в их глазах! О, как я виновен, что был недостоин тебя! Хотя бы я имел важность, личную оценку в их мнении, внушал больше уважения, на их глаза, они бы простили тебе! Но я низок, я ничтожен, я смешон, а ниже смешного ничего быть не может. Ведь *кто* кричит? Ведь вот оттого, что *эти* уже стали кричать, я и упал духом; я всегда был слаб. Знаешь ли, в каком я теперь положении: я сам смеюсь над собой, и мне кажется, они правду говорят, потому что я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую; я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагородные ухватки свои; я их всегда ненавидел! О, прости мне мое грубое отчаяние! Ты сама приучила меня говорить тебе всё. Я погубил тебя, я навлек на тебя злобу и смех, потому что был тебя недостоин.

И вот эта-то мысль меня мучит; она стучит у меня в голове беспрерывно и терзает и язвит мое сердце. И всё кажется мне, что ты любила не того человека, которого думала во мне найти, что ты обманулась во мне. Вот что мне больно, вот что теперь меня мучит, и замучит до смерти, или я с ума сойду!

Прощай же, прощай! Теперь, когда всё открылось, когда раздались их крики, их пересуды (я слышал их!), когда я умалился, унизился в собственных глазах своих, устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклял себя, теперь мне нужно бежать, исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь! Так нужно, так суждено! Мне слишком много было дано; судьба ошиблась; теперь она поправляет ошибку и всё отнимает назад. Мы сошлись, узнали друг друга, и вот расходимся до другого свидания! Где оно будет, когда оно будет? О, скажи мне, родная моя, где мы встретимся, где найти мне тебя, как узнать мне тебя, узнаешь ли ты меня тогда? Вся душа моя полна тобою. О, за что же, за что это нам? Зачем расстаемся мы? Научи — ведь я не понимаю, не пойму этого, никак не пойму — научи, как разорвать жизнь пополам, как вырвать сердце из груди и быть без него? О, как я вспомню, что более никогда тебя не увижу, никогда, никогда!..

Боже, какой они подняли крик! Как мне страшно теперь за тебя! Я только что встретил твоего мужа: мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны пред ним. Ему всё известно; он нас видит; он понимает всё, и прежде всё ему было ясно как день. Он геройски стал за тебя; он спасет тебя; он защитит тебя от этих пересудов и криков; он любит и уважает тебя беспредельно; он твой спаситель, тогда как я бегу!.. Я бросился к нему, я хотел целовать его руку!.. Он сказал мне, чтоб я ехал немедленно. Решено! Говорят, что он поссорился из-за тебя с ними со всеми; там все против тебя! Его упрекают в потворстве и слабости. Боже мой! что там еще говорят о тебе? Они не знают, они *не могут, не в силах понять!* Прости, прости им, бедная моя, как я им прощаю; а они взяли у меня больше, чем у тебя!

Я не помню себя, я не знаю, что́ пишу тебе. О чем я говорил тебе вчера при прощанье? Я ведь всё позабыл. Я был вне себя, ты плакала... Прости мне эти слезы! Я так слаб, так малодушен!

Мне еще что-то хотелось сказать тебе... Ох! еще бы только раз облить твои руки слезами, как теперь я обливаю слезами письмо мое! Еще бы раз быть у ног твоих! Если б *они* только знали, как прекрасно было твое чувство! Но они слепы; их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им *нечем* увидеть! Они не поверят, что ты невинна, даже перед их судом, хотя бы всё на земле им в том поклялось. Им ли это понять! Какой же камень поднимут они на тебя? чья первая рука поднимет его? О, они не смутятся, они поднимут тысячи камней! Они осмелятся поднять их, затем что знают, как это сделать. Они поднимут все разом и скажут, что они сами безгрешны, и грех возьмут на себя!

О, если б знали они, что делают! Если б только можно было рассказать им всё, без утайки, чтоб видели, слышали, поняли и уверились! Но нет, они не так злы... Я теперь в отчаянии, я, может быть, клевещу на них! Я, может быть, пугаю тебя своим страхом! Не бойся, не бойся их, родная моя! тебя поймут; наконец, тебя уже понял один: надейся — это муж твой!

Прощай, прощай! *Я не благодарю тебя!* Прощай навсегда!

С. О.».

Смущение мое было так велико, что я долгое время не могла понять, что со мной сделалось. Я была потрясена и испугана. Действительность поразила меня врасплох среди легкой жизни мечтаний, в которых я провела уж три года. Я со страхом чувствовала, что в руках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает всё существование мое... как? я еще и сама не знала того. Я чувствовала, что только с этой минуты для меня начинается новая будущность. Теперь я невольно стала слишком близкой участницей в жизни и в отношениях тех людей, которые доселе заключали весь мир, меня окружавший, и я боялась за себя. Чем войду я в их жизнь, я, непрошеная, я, чужая им? Что принесу я им? Чем разрешатся эти путы, которые так внезапно приковали меня к чужой тайне? Почем знать? может быть, новая роль моя будет мучительна и для меня, и для них. Я же не могла молчать, не принять этой роли и безвыходно заключить то, что узнала, в сердце моем. Но как и что будет со мною? что сделаю я? И что такое, наконец, я узнала? Тысячи вопросов, еще смутных, еще неясных, вставали предо мною и уже нестерпимо теснили мне сердце. Я была как потерянная.

Потом, помню, приходили другие минуты, с новыми, странными, доселе не испытанными мною впечатлениями. Я чувствовала, как будто что-то разрешилось в груди моей, что прежняя тоска вдруг разом отпала от сердца и что-то новое начало наполнять его, что-то такое, о чем я не знала еще, — горевать ли о нем или радоваться ему. Настоящее мгновение мое похоже было на то, когда человек покидает навсегда свой дом, жизнь доселе покойную, безмятежную для далекого неведомого пути и в последний раз оглядывается кругом себя, мысленно прощаясь с своим прошедшим, а между тем горько сердцу от тоскливого предчувствия всего неизвестного будущего, может быть сурового, враждебного, которое ждет его на новой дороге. Наконец судорожные рыдания вырвались из груди моей и болезненным припадком разрешили мое сердце. Мне нужно было видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче. Я уж не могла, не хотела теперь оставаться одна; я бросилась к Александре Михайловне и провела с ней весь вечер. Мы были одни. Я просила ее не играть и отказалась петь, несмотря на просьбы ее. Всё мне стало вдруг тяжело, и ни на чем я не могла остановиться. Кажется, мы с ней плакали. Помню только, что я ее совсем перепугала. Она уговаривала

меня успокоиться, не тревожиться. Она со страхом следила за мной, уверяя меня, что я больна и что я не берегу себя. Наконец я ушла от нее, вся измученная, истерзанная; я была словно в бреду и легла в постель в лихорадке.

Прошло несколько дней, пока я могла прийти в себя и яснее осмыслить свое положение. В это время мы обе, я и Александра Михайловна, жили в полном уединении. Петра Александровича не было в Петербурге. Он поехал за какими-то делами в Москву и пробыл там три недели. Несмотря на короткий срок разлуки, Александра Михайловна впала в ужасную тоску. Порой она становилась покойнее, но затворялась одна, так что и я была ей в тягость. К тому же я сама искала уединения. Голова моя работала в каком-то болезненном напряжении; я была как в чаду. Порой на меня находили часы долгой, мучительно-безотвязной думы; мне снилось тогда, что кто-то словно смеется надо мной потихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что смущает и отравляет каждую мысль мою. Я не могла отвязаться от мучительных образов, являвшихся предо мной поминутно и не дававших мне покоя. Мне представлялось долгое, безвыходное страдание, мученичество, жертва, приносимая покорно, безропотно и напрасно. Мне казалось, что тот, кому принесена эта жертва, презирает ее и смеется над ней. Мне казалось, что я видела преступника, который прощает грехи праведнику, и мое сердце разрывалось на части! В то же время мне хотелось всеми силами отвязаться от моего подозрения; я проклинала его, я ненавидела себя за то, что все мои убеждения были не убеждения, а только предчувствия, за то, что я не могла оправдать своих впечатлений сама пред собою.

Потом перебирала я в уме эти фразы, эти последние крики страшного прощания. Я представляла себе этого человека — *неровню;* я старалась угадать весь мучительный смысл этого слова: «неровня». Мучительно поражало меня это отчаянное прощанье: «Я смешон и сам стыжусь за твой выбор». Что это было? Какие это люди? О чем они тоскуют, о чем мучатся, что потеряли они? Преодолев себя, я напряженно перечитывала опять это письмо, в котором было столько терзающего душу отчаяния, но смысл которого был так странен, так неразрешим для меня. Но письмо выпадало из рук моих, и мятежное волнение всё более и более охватывало мое сердце... Наконец всё это должно же было чем-нибудь разрешиться, а я не видела выхода или боялась его!

Я была почти совсем больна, когда, в один день, на нашем дворе загремел экипаж Петра Александровича, воротившегося из Москвы. Александра Михайловна с радостным криком бросилась навстречу мужа, но я остановилась на месте как прикованная. Помню, что я сама была поражена до испуга внезапным волнением своим. Я не выдержала и бросилась к себе в комнату. Я не понимала, чего я так вдруг испугалась, но боялась за этот испуг. Через четверть часа меня позвали и передали мне письмо от князя.

В гостиной я встретила какого-то незнакомого, который приехал с Петром Александровичем из Москвы, и, по некоторым словам, удержанным мною, я узнала, что он располагается у нас на долгое житье. Это был уполномоченный князя, приехавший в Петербург хлопотать по каким-то важным делам княжеского семейства, уже давно находившимся в заведовании Петра Александровича. Он подал мне письмо от князя и прибавил, что княжна тоже хотела писать ко мне, до последней минуты уверяла, что письмо будет непременно написано, но отпустила его с пустыми руками и с просьбою передать мне, что писать ей ко мне решительно нечего, что в письме ничего не напишешь, что она испортила целых пять листов и потом изорвала всё в клочки, что, наконец, нужно вновь подружиться, чтоб писать друг к другу. Затем она поручила уверить меня в скором свидании с нею. Незнакомый господин отвечал на нетерпеливый вопрос мой, что весть о скором свидании действительно справедлива и что всё семейство очень скоро собирается прибыть в Петербург. При этом известии я не знала, как быть от радости, поскорее ушла в свою комнату, заперлась в ней и, обливаясь слезами, раскрыла письмо князя. Князь обещал мне скорое свидание с ним и с Катей и с глубоким чувством поздравлял меня с моим талантом; наконец, он благословлял меня на мое будущее и обещался устроить его. Я плакала, читая это письмо; но к сладким слезам моим примешивалась такая невыносимая грусть, что, помню, я за себя пугалась; я сама не знала, что со мной делается.

Прошло несколько дней. В комнате, которая была рядом с моею, где прежде помещался письмоводитель Петра Александровича, работал теперь каждое утро, и часто по вечерам за полночь, новый приезжий. Часто они запирались в кабинете Петра Александровича и работали вместе. Однажды, после обеда, Александра Михайловна попросила меня сходить в кабинет мужа и спросить его, будет ли он с нами пить чай. Не найдя никого в кабинете и полагая, что Петр Александрович скоро войдет, я остановилась ждать. На стене висел его портрет. Помню, что я вдруг вздрогнула, увидев этот портрет, и с непонятным мне самой волнением начала пристально его рассматривать. Он висел довольно высоко; к тому же было довольно темно, и я, чтоб удобнее рассматривать, придвинула стул и стала на него. Мне хотелось что-то сыскать, как будто я надеялась найти разрешение сомнений моих, и, помню, прежде всего меня поразили глаза портрета. Меня поразило тут же, что я почти никогда не видала глаз этого человека: он всегда прятал их под очки.

Я еще в детстве не любила его взгляда по непонятному, странному предубеждению, но как будто это предубеждение теперь оправдалось. Воображение мое было настроено. Мне вдруг показалось, что глаза портрета с смущением отворачиваются от моего пронзительно-испытующего взгляда, что они силятся избегнуть его, что ложь и обман в этих глазах; мне показалось, что я уга-

дала, и не понимаю, какая тайная радость откликнулась во мне на мою догадку. Легкий крик вырвался из груди моей. В это время я услышала сзади меня шорох. Я оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович и внимательно смотрел на меня. Мне показалось, что он вдруг покраснел. Я вспыхнула и соскочила со стула.

— Что вы тут делаете? — спросил он строгим голосом. — Зачем вы здесь?

Я не знала, что отвечать. Немного оправившись, я передала ему кое-как приглашение Александры Михайловны. Не помню, что он отвечал мне, не помню, как я вышла из кабинета; но, придя к Александре Михайловне, я совершенно забыла ответ, которого она ожидала, и наугад сказала, что будет.

— Но что с тобой, Неточка? — спросила она. — Ты вся раскраснелась; посмотри на себя. Что с тобой?

— Я не знаю... я скоро шла... — отвечала я.

— Тебе что же сказал Петр Александрович? — перебила она с смущением.

Я не отвечала. В это время послышались шаги Петра Александровича, и я тотчас же вышла из комнаты. Я ждала целые два часа в большой тоске. Наконец пришли звать меня к Александре Михайловне. Александра Михайловна была молчалива и озабочена. Когда я вошла, она быстро и пытливо посмотрела на меня, но тотчас же опустила глаза. Мне показалось, что какое-то смущение отразилось на лице ее. Скоро я заметила, что она была в дурном расположении духа, говорила мало, на меня не глядела совсем и, в ответ на заботливые вопросы Б., жаловалась на головную боль. Петр Александрович был разговорчивее всегдашнего, но говорил только с Б.

Александра Михайловна рассеянно подошла к фортепьяно.

— Спойте нам что-нибудь, — сказал Б., обращаясь ко мне.

— Да, Аннета, спой твою новую арию, — подхватила Александра Михайловна, как будто обрадовавшись предлогу.

Я взглянула на нее: она смотрела на меня в беспокойном ожидании.

Но я не умела преодолеть себя. Вместо того чтоб подойти к фортепьяно и пропеть хоть как-нибудь, я смутилась, запуталась, не знала, как отговориться; наконец досада одолела меня, и я отказалась наотрез.

— Отчего же ты не хочешь петь? — сказала Александра Михайловна, значительно взглянув на меня и, в то же время мимолетом, на мужа.

Эти два взгляда вывели меня из терпения. Я встала из-за стола в крайнем замешательстве, но, уже не скрывая его и дрожа от какого-то нетерпеливого и досадного ощущения, повторила с горячностью, что не хочу, не могу, нездорова. Говоря это, я глядела всем в глаза, но бог знает, как бы желала быть в своей комнате в ту минуту и затаиться от всех.

Б. был удивлен, Александра Михайловна была в приметной тоске и не говорила ни слова. Но Петр Александрович вдруг встал со стула и сказал, что он забыл одно дело, и, по-видимому в досаде, что упустил нужное время, поспешно вышел из комнаты, предуведомив, что, может быть, зайдет позже, а впрочем, на всякий случай пожал руку Б. в знак прощания.

— Что с вами, наконец, такое? — спросил Б. — По лицу вы в самом деле больны.

— Да, я нездорова, очень нездорова, — отвечала я с нетерпением.

— Действительно, ты бледна, а давеча была такая красная, — заметила Александра Михайловна и вдруг остановилась.

— Полноте! — сказала я, прямо подходя к ней и пристально посмотрев ей в глаза. Бедная не выдержала моего взгляда, опустила глаза, как виноватая, и легкая краска облила ее бледные щеки. Я взяла ее руку и поцеловала ее. Александра Михайловна посмотрела на меня с непритворною, наивною радостию. — Простите меня, что я была такой злой, такой дурной ребенок сегодня,— сказала я ей с чувством, — но, право, я больна. Не сердитесь же и отпустите меня...

— Мы все дети, — сказала она с робкой улыбкой, — да и я ребенок, хуже, гораздо хуже тебя, — прибавила она мне на ухо. — Прощай, будь здорова. Только, ради бога, не сердись на меня.

— За что? — спросила я, — так поразило меня такое наивное признание.

— За что? — повторила она в ужасном смущении, даже как будто испугавшись за себя, — за что? Ну, видишь, какая я, Неточка. Что это я тебе сказала? Прощай! Ты умнее меня... А я хуже, чем ребенок.

— Ну, довольно, — отвечала я, вся растроганная, не зная, что ей сказать. Поцеловав ее еще раз, я поспешно вышла из комнаты.

Мне было ужасно досадно и грустно. К тому же я злилась на себя, чувствуя, что я неосторожна и не умею вести себя. Мне было чего-то стыдно до слез, и я заснула в глубокой тоске. Когда же я проснулась наутро, первою мыслью моею было, что весь вчерашний вечер — чистый призрак, мираж, что мы только мистифировали друг друга, заторопились, дали вид целого приключения пустякам и что всё произошло от неопытности, от непривычки нашей принимать внешние впечатления. Я чувствовала, что всему виновато это письмо, что оно меня слишком беспокоит, что воображение мое расстроено, и решила, что лучше я вперед не буду ни о чем думать. Разрешив так необыкновенно легко всю тоску свою и в полном убеждении, что я так же легко и исполню, что порешила, я стала спокойнее и отправилась на урок пения, совсем развеселившись. Утренний воздух окончательно освежил мою голову. Я очень любила свои утренние путешествия к моему

учителю. Так весело было проходить город, который к девятому часу уже совсем оживлялся и заботливо начинал обыденную жизнь. Мы обыкновенно проходили по самым живучим, по самым кропотливым улицам, и мне так нравилась такая обстановка начала моей артистической жизни, контраст между этой повседневной мелочью, маленькой, но живой заботой и искусством, которое ожидало меня в двух шагах от этой жизни, в третьем этаже огромного дома, набитого сверху донизу жильцами, которым, как мне казалось, ровно нет никакого дела ни до какого искусства. Я между этими деловыми, сердитыми прохожими, с тетрадью нот под мышкой; старуха Наталья, провожавшая меня и каждый раз задававшая мне, себе неведомо, разрешить задачу: о чем она всего более думает? — наконец, мой учитель, полуитальянец, полуфранцуз, чудак, минутами настоящий энтузиаст, гораздо чаще педант и всего больше скряга, — всё это развлекало меня, заставляло меня смеяться или задумываться. К тому же я хоть и робко, но с страстной надеждой любила свое искусство, строила воздушные замки, выкраивала себе самое чудесное будущее и нередко, возвращаясь, была будто в огне от своих фантазий. Одним словом, в эти часы я была почти счастлива.

Именно такая минута посетила меня и в этот раз, когда я в десять часов воротилась с урока домой. Я забыла про всё и, помню, так радостно размечталась о чем-то. Но вдруг, всходя на лестницу, я вздрогнула, как будто меня обожгли. Надо мной раздался голос Петра Александровича, который в эту минуту сходил с лестницы. Неприятное чувство, овладевшее мной, было так велико, воспоминание о вчерашнем так враждебно поразило меня, что я никак не могла скрыть своей тоски. Я слегка поклонилась ему, но, вероятно, лицо мое было так выразительно в эту минуту, что он остановился передо мной в удивлении. Заметив движение его, я покраснела и быстро пошла наверх. Он пробормотал что-то мне вслед и пошел своею дорогою.

Я готова была плакать с досады и не могла понять, что это такое делалось. Всё утро я была сама не своя и не знала, на что решиться, чтоб кончить и разделаться со всем поскорее. Тысячу раз я давала себе слово быть благоразумнее, и тысячу раз страх за себя овладевал мною. Я чувствовала, что ненавидела мужа Александры Михайловны, и в то же время была в отчаянии за себя. В этот раз, от беспрерывного волнения, я сделалась серьезно нездоровой и уже никак не могла совладать с собою. Мне стало досадно на всех; я всё утро просидела у себя и даже не пошла к Александре Михайловне. Она пришла сама. Взглянув на меня, она чуть не вскрикнула. Я была так бледна, что, посмотрев в зеркало, сама себя испугалась. Александра Михайловна сидела со мною целый час, ухаживая за мной, как за ребенком.

Но мне стало так грустно от ее внимания, так тяжело от ее ласок, так мучительно было смотреть на нее, что я попросила наконец оставить меня одну. Она ушла в большом беспокойстве

за меня. Наконец тоска моя разрешилась слезами и припадком. К вечеру мне сделалось легче...

Легче, потому что я решилась идти к ней. Я решилась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо, которое она потеряла, и признаться ей во всем: признаться во всех мучениях, перенесенных мною, во всех сомнениях своих, обнять ее со всей бесконечною любовью, которая пылала во мне к ней, к моей страдалице, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце перед ней открыто, чтоб она взглянула на него и увидела, сколько в нем самого пламенного, самого непоколебимого чувства к ней. Боже мой! Я знала, я чувствовала, что я последняя, перед которой она могла открыть свое сердце, но тем вернее, казалось мне, было спасение, тем могущественнее было бы слово мое... Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее, и сердце мое кипело негодованием при мысли, что она может краснеть передо мною, перед моим судом... Бедная, бедная моя, ты ли та грешница? вот что скажу я ей, заплакав у ног ее. Чувство справедливости возмутилось во мне, я была в исступлении. Не знаю, что бы я сделала; но уже потом только я опомнилась, когда неожиданный случай спас меня и ее от погибели, остановив меня почти на первом шагу. Ужас нашел на меня. Ее ли замученному сердцу воскреснуть для надежды? Я бы одним ударом убила ее!

Вот что случилось: я уже была за две комнаты до ее кабинета, когда из боковых дверей вышел Петр Александрович и, не заметив меня, пошел передо мною. Он тоже шел к ней. Я остановилась как вкопанная; он был последний человек, которого я бы должна была встретить в такую минуту. Я было хотела уйти, но любопытство внезапно приковало меня к месту.

Он на минуту остановился перед зеркалом, поправил волосы, и, к величайшему изумлению, я вдруг услышала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно темное, далекое воспоминание детства моего воскресло в моей памяти. Чтоб понятно было то странное ощущение, которое я почувствовала в эту минуту, я расскажу это воспоминание. Еще в первый год моего в этом доме пребывания меня глубоко поразил один случай, только теперь озаривший мое сознание, потому что только теперь, только в эту минуту осмыслила я начало своей необъяснимой антипатии к этому человеку! Я упоминала уже, что еще в то время мне всегда было при нем тяжело. Я уже говорила, какое тоскливое впечатление производил на меня его нахмуренный, озабоченный вид, выражение лица, нередко грустное и убитое; как тяжело было мне после тех часов, которые проводили мы вместе за чайным столиком Александры Михайловны, и, наконец, какая мучительная тоска надрывала сердце мое, когда мне приходилось быть раза два или три чуть не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о которых я уже упоминала вначале. Случилось, что тогда я встретилась с ним, так же как и теперь, в этой же комнате, в этот же час, когда он, так же как и я, шел к Александре Михайловне. Я чув-

ствовала чисто детскую робость, встречаясь с ним одна, и потому притаилась в углу как виноватая, моля судьбу, чтоб он меня не заметил. Точно так же, как теперь, он остановился перед зеркалом, и я вздрогнула от какого-то неопределенного, недетского чувства. Мне показалось, что он как будто переделывает свое лицо. По крайней мере я видела ясно улыбку на лице его перед тем, как он подходил к зеркалу; я видела смех, чего прежде никогда от него не видала, потому что (помню, это всего более поразило меня) он никогда не смеялся перед Александрой Михайловной. Вдруг, едва только он успел взглянуть в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла как по приказу, и на место ее какое-то горькое чувство, как будто невольно, через силу пробивавшееся из сердца, чувство, которого не в человеческих силах было скрыть, несмотря ни на какое великодушное усилие, искривило его губы, какая-то судорожная боль нагнала морщины на лоб его и сдавила ему брови. Взгляд мрачно спрятался под очки, — словом, он в один миг, как будто по команде, стал совсем другим человеком. Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от боязни понять то, что я видела, и с тех пор тяжелое, неприятное впечатление безвыходно заключилось в сердце моем. Посмотревшись с минуту в зеркало, он понурил голову, сгорбился, как обыкновенно являлся перед Александрой Михайловной, и на цыпочках пошел в ее кабинет. Вот это-то воспоминание поразило меня.

И тогда, как и теперь, он думал, что он один, и остановился перед этим же зеркалом. Как и тогда, я с враждебным, неприятным чувством очутилась с ним вместе. Но когда я услышала это пенье (пенье от него, от которого так невозможно было ожидать чего-нибудь подобного), которое поразило меня такой неожиданностью, что я осталась на месте как прикованная, когда в ту же минуту сходство напомнило мне почти такое же мгновение моего детства, — тогда, не могу передать, какое язвительное впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту несчастную песню я разразилась таким смехом, что бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зеркала и, бледный как смерть, как бесславно пойманный с поличным, глядел на меня в исступлении от ужаса, от удивления и бешенства. Его взгляд болезненно подействовал на меня. Я отвечала ему нервным, истерическим смехом прямо в глаза, прошла смеясь мимо него и вошла, не переставая хохотать, к Александре Михайловне. Я знала, что он стоит за портьерами, что, может быть, он колеблется, не зная, войти или нет, что бешенство и трусость приковали его к месту, — и с каким-то раздраженным, вызывающим нетерпением я ожидала, на что он решится; я готова была побиться об заклад, что он не войдет, и я выиграла. Он вошел только через полчаса. Александра Михайловна долгое время смотрела на меня в крайнем изумлении. Но тщетно допрашивала она, что со мною? Я не могла отвечать, я задыхалась. Наконец она поняла, что

я в нервном припадке, и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув, я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я одумалась, и только теперь пришло мне в голову, что я бы убила ее, если б не встреча с ее мужем. Я смотрела на нее как на воскресшую.

Вошел Петр Александрович.

Я взглянула на него мельком: он смотрел так, как будто между нами ничего не случилось, то есть был суров и угрюм по-всегдашнему. Но по бледному лицу и слегка вздрагивавшим краям губ его я догадалась, что он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с Александрой Михайловной холодно и молча сел на место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая. Я ожидала взрыва, и на меня напал какой-то безотчетный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась оставить Александру Михайловну, которая изменилась в лице, глядя на мужа. Она тоже предчувствовала что-то недоброе. Наконец то, чего я ожидала с таким страхом, случилось.

Среди глубокого молчания я подняла глаза и встретила очки Петра Александровича, направленные прямо на меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула, чуть не вскрикнула и потупилась. Александра Михайловна заметила мое движение.

— Что с вами? Отчего вы покраснели? — раздался резкий и грубый голос Петра Александровича.

Я молчала; сердце мое колотилось так, что я не могла вымолвить слова.

— Отчего она покраснела? Отчего она всё краснеет? — спросил он, обращаясь к Александре Михайловне, нагло указывая ей на меня.

Негодование захватило мне дух. Я бросила умоляющий взгляд на Александру Михайловну. Она поняла меня. Бледные щеки ее вспыхнули.

— Аннета, — сказала она мне твердым голосом, которого я никак не ожидала от нее, — поди к себе, я через минуту к тебе приду: мы проведем вечер вместе...

— Я вас спрашиваю, слышали ли меня или нет? — прервал Петр Александрович, еще более возвышая голос и как будто не слыхав, что сказала жена. — Отчего вы краснеете, когда встречаетесь со мной? Отвечайте!

— Оттого, что вы заставляете ее краснеть и меня также, — отвечала Александра Михайловна прерывающимся от волнения голосом.

Я с удивлением взглянула на Александру Михайловну. Пылкость ее возражения с первого раза была мне совсем непонятна.

— *Я* заставляю вас краснеть, *я?* — отвечал ей Петр Александрович, казалось тоже вне себя от изумления и сильно ударяя на слово *я*. — За *меня вы* краснели? Да разве *я* могу *вас* заставить краснеть за *меня? Вам,* а не *мне* краснеть, как вы думаете?

Эта фраза была так понятна для меня, сказана с такой ожесточенной, язвительной насмешкой, что я вскрикнула от ужаса и бросилась к Александре Михайловне. Изумление, боль, укор и ужас изображались на смертельно побледневшем лице ее. Я взглянула на Петра Александровича, сложив с умоляющим видом руки. Казалось, он сам спохватился; но бешенство, вырвавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однако ж, заметив безмолвную мольбу мою, он смутился. Мой жест говорил ясно, что я про многое знаю из того, что между ними до сих пор было тайной, и что я хорошо поняла слова его.

— Аннета, идите к себе, — повторила Александра Михайловна слабым, но твердым голосом, встав со стула, — мне очень нужно говорить с Петром Александровичем...

Она была, по-видимому, спокойна; но за это спокойствие я боялась больше, чем за всякое волнение. Я как будто не слыхала слов ее и оставалась на месте как вкопанная. Все силы мои напрягла я, чтоб прочесть на ее лице, что происходило в это мгновение в душе ее. Мне показалось, что она не поняла ни моего жеста, ни моего восклицания.

— Вот что вы наделали, сударыня! — проговорил Петр Александрович, взяв меня за руки и указав на жену.

Боже мой! Я никогда не видала такого отчаяния, которое прочла теперь на этом убитом, помертвевшем лице. Он взял меня за руку и вывел из комнаты. Я взглянула на них в последний раз. Александра Михайловна стояла, облокотясь на камин и крепко сжав обеими руками голову. Всё положение ее тела изображало нестерпимую муку. Я схватила руку Петра Александровича и горячо сжала ее.

— Ради бога! ради бога! — проговорила я прерывающимся голосом, — пощадите!

— Не бойтесь, не бойтесь! — сказал он, как-то странно смотря на меня, — это ничего, это припадок. Ступайте же, ступайте.

Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и закрыла руками лицо. Целые три часа пробыла я в таком положении и в это мгновение прожила целый ад. Наконец я не выдержала и послала спросить, можно ли мне прийти к Александре Михайловне. С ответом пришла мадам Леотар. Петр Александрович прислал сказать, что припадок прошел, опасности нет, но что Александре Михайловне нужен покой. Я не ложилась спать до трех часов утра и всё думала, ходя взад и вперед по комнате. Положение мое было загадочнее, чем когда-нибудь, но я чувствовала себя как-то покойнее, — может быть, потому, что чувствовала себя всех виновнее. Я легла спать, с нетерпением ожидая завтрашнего утра.

Но на другой день я, к горестному изумлению, заметила какую-то необъяснимую холодность в Александре Михайловне. Сначала мне показалось, что этому чистому, благородному сердцу тяжело быть со мною после вчерашней сцены с мужем, которой

я поневоле была свидетельницей. Я знала, что это дитя способно покраснеть передо мною и просить у меня же прощения за то, что несчастная сцена, может быть, оскорбила вчера мое сердце. Но вскоре я заметила в ней какую-то другую заботу и досаду, проявлявшуюся чрезвычайно неловко: то она ответит мне сухо и холодно, то слышится в словах ее какой-то особенный смысл; то, наконец, она вдруг сделается со мной очень нежна, как будто раскаиваясь в этой суровости, которой не могло быть в ее сердце, и ласковые, тихие слова ее как будто звучат каким-то укором. Наконец я прямо спросила ее, что с ней и нет ли у ней чего мне сказать? На быстрый вопрос мой она немного смутилась, но тотчас же, подняв на меня свои большие тихие глаза и смотря на меня с нежной улыбкой, сказала:

— Ничего, Неточка; только знаешь что: когда ты меня так быстро спросила, я немного смутилась. Это оттого, что ты спросила так скоро... уверяю тебя. Но, слушай, — отвечай мне правду, дитя мое: есть что-нибудь у тебя на сердце такое, от чего бы ты также смутилась, если б тебя о том спросили так же быстро и неожиданно?

— Нет, — отвечала я, посмотрев на нее ясными глазами.

— Ну, вот и хорошо! Если б ты знала, друг мой, как я тебе благодарна за этот прекрасный ответ. Не то чтоб я тебя могла подозревать в чем-нибудь дурном, — никогда! Я не прощу себе и мысли об этом. Но слушай: взяла я тебя дитятей, а теперь тебе семнадцать лет. Ты видела сама: я больная, я сама как ребенок, за мной еще нужно ухаживать. Я не могла заменить тебе вполне родную мать, несмотря на то что любви к тебе слишком достало бы на то в моем сердце. Если ж теперь меня так мучит забота, то, разумеется, не ты виновата, а я. Прости ж мне и за вопрос и за то, что я, может быть, невольно не исполнила всех моих обещаний, которые дала тебе и батюшке, когда взяла тебя из его дома. Меня это очень беспокоит и часто беспокоило, друг мой.

Я обняла ее и заплакала.

— О, благодарю, благодарю вас за всё! — сказала я, обливая ее руки слезами. — Не говорите мне так, не разрывайте моего сердца. Вы были мне больше чем мать; да благословит вас бог за всё, что вы сделали оба, вы и князь, мне, бедной, оставленной! Бедная моя, родная моя!

— Полно, Неточка, полно! Обними меня лучше; так, крепче, крепче! Знаешь что? Бог знает отчего мне кажется, что ты в последний раз меня обнимаешь.

— Нет, нет, — говорила я, разрыдавшись как ребенок, — нет, этого не будет! Вы будете счастливы!.. Еще впереди много дней. Верьте, мы будем счастливы.

— Спасибо тебе, спасибо, что ты так любишь меня. Теперь около меня мало людей; меня все оставили!

— Кто же оставили? кто они?

— Прежде были и другие кругом меня; ты не знаешь, Неточка. Они меня все оставили, все ушли, точно призраки были. А я их так ждала, всю жизнь ждала; бог с ними! Смотри, Неточка: видишь, какая глубокая осень; скоро пойдет снег: с первым снегом я и умру, — да; но я и не тужу. Прощайте!

Лицо ее было бледно и худо; на каждой щеке горело зловещее, кровавое пятно; губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара.

Она подошла к фортепьяно и взяла несколько аккордов; в это мгновение с треском лопнула струна и заныла в длинном дребезжащем звуке...

— Слышишь, Неточка, слышишь? — сказала она вдруг каким-то вдохновенным голосом, указывая на фортепьяно. — Эту струну слишком, слишком натянули: она не вынесла и умерла. Слышишь, как жалобно умирает звук!

Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами.

— Ну, полно об этом, Неточка, друг мой; довольно; приведи детей.

Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их.

— Когда я умру, ты не оставишь их, Аннета? Да? — сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтоб нас кто-нибудь не подслушал.

— Полноте, вы убьете меня! — могла только я проговорить ей в ответ.

— Я ведь шутила, — сказала она, помолчав и улыбнувшись. — А ты и поверила? Я ведь иногда бог знает что говорю. Я теперь как дитя; мне нужно всё прощать.

Тут она робко посмотрела на меня, как будто боясь что-то выговорить. Я ожидала.

— Смотри не пугай его, — проговорила она наконец, потупив глаза, с легкой краской в лице и так тихо, что я едва расслышала.

— Кого? — спросила я с удивлением.

— Мужа. Ты, пожалуй, расскажешь ему всё потихоньку.

— Зачем же, зачем? — повторяла я всё более и более в удивлении.

— Ну, может быть, и не расскажешь, как знать! — отвечала она, стараясь как можно хитрее взглянуть на меня, хотя всё та же простодушная улыбка блестела на губах ее и краска всё более и более вступала ей в лицо. — Полно об этом; я ведь всё шучу.

Сердце мое сжималось всё больнее и больнее.

— Только послушай, ты их будешь любить, когда я умру, — да? — прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом, — так, как бы родных детей своих любила, — да? Припомни: я тебя всегда за родную считала и от своих не рознила.

— Да, да, — отвечала я, не зная, что говорю, и задыхаясь от слез и смущения.

Горячий поцелуй зажегся на руке моей, прежде чем я успела отнять ее. Изумление сковало мне язык.

«Что с ней? что она думает? что вчера у них было такое?» — пронеслось в моей голове.

Через минуту она стала жаловаться на усталость.

— Я уже давно больна, только не хотела пугать вас обоих, — сказала она. — Ведь вы меня оба любите, — да?.. До свидания, Неточка; оставь меня, а только вечером приди ко мне непременно. Придешь?

Я дала слово; но рада была уйти. Я не могла более вынести.

Бедная, бедная! Какое подозрение провожает тебя в могилу? — восклицала я рыдая, — какое новое горе язвит и точит твое сердце, и о котором ты едва смеешь вымолвить слово? Боже мой! Это долгое страдание, которое я уже знала теперь всё наизусть, эта жизнь без просвета, эта любовь робкая, ничего не требующая, и даже теперь, теперь, почти на смертном одре своем, когда сердце рвется пополам от боли, она, как преступная, боится малейшего ропота, жалобы, — и вообразив, выдумав новое горе, она уже покорилась ему, помирилась с ним!..

Вечером, в сумерки, я, воспользовавшись отсутствием Оврова (приезжего из Москвы), прошла в библиотеку, отперла шкаф и начала рыться в книгах, чтоб выбрать какую-нибудь для чтения вслух Александре Михайловне. Мне хотелось отвлечь ее от черных мыслей и выбрать что-нибудь веселое, легкое... Я разбирала долго и рассеянно. Сумерки сгущались; а вместе с ними росла и тоска моя. В руках моих очутилась опять эта книга, развернутая на той же странице, на которой и теперь я увидала следы письма, с тех пор не сходившего с груди моей, — тайны, с которой как будто переломилось и вновь началось мое существование и повеяло на меня так много холодного, неизвестного, таинственного, неприветливого, уже и теперь издали так сурово грозившего мне... «Что с нами будет, — думала я, — угол, в котором мне было так тепло, так привольно, — пустеет! Чистый, светлый дух, охранявший юность мою, оставляет меня. Что впереди?» Я стояла в каком-то забытьи над своим прошедшим, так теперь милым сердцу, как будто силясь прозреть вперед, в неизвестное, грозившее мне... Я припоминаю эту минуту, как будто теперь вновь переживаю ее: так сильно врезалась она в моей памяти.

Я держала в руках письмо и развернутую книгу; лицо мое было омочено слезами. Вдруг я вздрогнула от испуга: надо мной раздался знакомый мне голос. В то же время я почувствовала, что письмо вырвали из рук моих. Я вскрикнула и оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович. Он схватил меня за руку и крепко удерживал на месте; правой рукой подносил он к свету письмо и силился разобрать первые строки... Я закричала; я скорей готова была умереть, чем оставить это письмо в руках его.

По торжествующей улыбке я видела, что ему удалось разобрать первые строки. Я теряла голову...

Мгновение спустя я бросилась к нему, почти не помня себя, и вырвала письмо из рук его. Всё это случилось так скоро, что я еще сама не понимала, каким образом письмо очутилось у меня опять. Но, заметив, что он снова хочет вырвать его из рук моих, я поспешно спрятала письмо на груди и отступила на три шага.

Мы с полминуты смотрели друг на друга молча. Я еще содрогалась от испуга; он — бледный, с дрожащими, посинелыми от гнева губами, первый прервал молчание.

— Довольно! — сказал он слабым от волнения голосом. — Вы, верно, не хотите, чтоб я употребил силу; отдайте же мне письмо добровольно.

Только теперь я одумалась, и оскорбление, стыд, негодование против грубого насилия захватили мне дух. Горячие слезы потекли по разгоревшимся щекам моим. Я вся дрожала от волнения и некоторое время была не в силах вымолвить слова.

— Вы слышали? — сказал он, подойдя ко мне на два шага...

— Оставьте меня, оставьте! — закричала я, отодвигаясь от него. — Вы поступили низко, неблагородно. Вы забылись!.. Пропустите меня!..

— Как? что это значит? И вы еще смеете принимать такой тон... после того, что вы... Отдайте, говорю вам!

Он еще раз шагнул ко мне, но, взглянув на меня, увидел в глазах моих столько решимости, что остановился, как будто в раздумье.

— Хорошо! — сказал он наконец сухо, как будто остановившись на одном решении, но всё еще через силу подавляя себя. — Это своим чередом, а сперва...

Тут он осмотрелся кругом.

— Вы... кто вас пустил в библиотеку? почему этот шкаф отворен? где взяли ключ?

— Я не буду вам отвечать, — сказала я, — я не могу с вами говорить. Пустите меня, пустите!

Я пошла к дверям.

— Позвольте, — сказал он, остановив меня за руку, — вы так не уйдете!

Я молча вырвала у него свою руку и снова сделала движение к дверям.

— Хорошо же. Но я не могу вам позволить, в самом деле, получать письма от ваших любовников, в моем доме...

Я вскрикнула от испуга и взглянула на него как потерянная...

— И потому...

— Остановитесь! — закричала я. — Как вы можете? как вы могли мне сказать?.. Боже мой! боже мой!..

— Что? что! вы еще угрожаете мне?

Но я смотрела на него бледная, убитая отчаянием. Сцена между нами дошла до последней степени ожесточения, которого я не могла понять. Я молила его взглядом не продолжать далее. Я готова была простить за оскорбление, с тем чтоб он остановился. Он смотрел на меня пристально и видимо колебался.

— Не доводите меня до крайности, — прошептала я в ужасе.

— Нет-с, это нужно кончить! — сказал он наконец, как будто одумавшись. — Признаюсь вам, я было колебался от этого взгляда, — прибавил он с странной улыбкой. — Но, к несчастию, дело само за себя говорит. Я успел прочитать начало письма. Это письмо любовное. Вы меня не разуверите! нет, выкиньте это из головы! И если я усомнился на минуту, то это доказывает только, что ко всем вашим прекрасным качествам я должен присоединить способность отлично лгать, а потому повторяю...

По мере того как он говорил, его лицо всё более и более искажалось от злобы. Он бледнел; губы его кривились и дрожали, так что он, наконец, с трудом произнес последние слова. Становилось темно. Я стояла без защиты, одна, перед человеком, который в состоянии оскорблять женщину. Наконец, все видимости были против меня; я терзалась от стыда, терялась, не могла понять злобы этого человека. Не отвечая ему, вне себя от ужаса я бросилась вон из комнаты и очнулась, уж стоя при входе в кабинет Александры Михайловны. В это мгновение послышались и его шаги; я уже хотела войти в комнату, как вдруг остановилась как бы пораженная громом.

«Что с нею будет? — мелькнуло в моей голове. — Это письмо!.. Нет, лучше всё на свете, чем этот последний удар в ее сердце», — и я бросилась назад. Но уж было поздно: он стоял подле меня.

— Куда хотите пойдемте, — только не здесь, не здесь! — шепнула я, схватив его руку. — Пощадите ее! Я приду опять в библиотеку или... куда хотите! Вы убьете ее!

— Это вы убьете ее! — отвечал он, отстраняя меня.

Все надежды мои исчезли. Я чувствовала, что ему именно хотелось перенесть всю сцену к Александре Михайловне.

— Ради бога! — говорила я, удерживая его всеми силами. Но в это мгновение поднялась портьера, и Александра Михайловна очутилась перед нами. Она смотрела на нас в удивлении. Лицо ее было бледнее всегдашнего. Она с трудом держалась на ногах. Видно было, что ей больших усилий стоило дойти до нас, когда она заслышала наши голоса.

— Кто здесь? о чем вы здесь говорили? — спросила она, смотря на нас в крайнем изумлении.

Несколько мгновений длилось молчание, и она побледнела как полотно. Я бросилась к ней, крепко обняла ее и увлекла назад в кабинет. Петр Александрович вошел вслед за мною. Я спрятала лицо свое на груди ее и всё крепче, крепче обнимала ее, замирая от ожидания.

— Что с тобою, что с вами? — спросила в другой раз Александра Михайловна.

— Спросите ее. Вы еще вчера так ее защищали, — сказал Петр Александрович, тяжело опускаясь в кресла.

Я всё крепче и крепче сжимала ее в своих объятиях.

— Но, боже мой, что ж это такое? — проговорила Александра Михайловна в страшном испуге. — Вы так раздражены, она испугана, в слезах. Аннета, говори мне всё, что было между вами.

— Нет, позвольте мне сперва, — сказал Петр Александрович, подходя к нам, взяв меня за руку и оттащив от Александры Михайловны. — Стойте тут, — сказал он, указав на средину комнаты. — Я вас хочу судить перед той, которая заменила вам мать. А вы успокойтесь, сядьте, — прибавил он, усаживая Александру Михайловну на кресла. — Мне горько, что я не мог вас избавить от этого неприятного объяснения; но оно необходимо.

— Боже мой! что ж это будет? — проговорила Александра Михайловна, в глубокой тоске перенося свой взгляд поочередно на меня и на мужа. Я ломала руки, предчувствуя роковую минуту. От него я уж не ожидала пощады.

— Одним словом, — продолжал Петр Александрович, — я хотел, чтоб вы рассудили вместе со мною. Вы всегда (и не понимаю отчего, это одна из ваших фантазий), вы всегда — еще вчера, например, — думали, говорили... но не знаю, как сказать; я краснею от предположений... Одним словом, вы защищали ее, вы нападали на меня, вы уличали меня в *неуместной* строгости; вы намекали еще на какое-то *другое чувство,* будто бы вызывающее меня на эту *неуместную* строгость; вы... но я не понимаю, отчего я не могу подавить своего смущения, эту краску в лице при мысли о ваших предположениях; отчего я не могу сказать о них гласно, открыто, при ней... Одним словом, вы...

— О, вы этого не сделаете! нет, вы не скажете этого! — вскрикнула Александра Михайловна, вся в волнении, сгорев от стыда, — нет, вы пощадите ее. Это я, я всё выдумала! Во мне нет теперь никаких подозрений. Простите меня за них, простите. Я больна, мне нужно простить, но только не говорите ей, нет... Аннета, — сказала она, подходя ко мне, — Аннета, уйди отсюда, скорее, скорее! Он шутил; это я всему виновата; это неуместная шутка...

— Одним словом, вы ревновали меня к ней, — сказал Петр Александрович, без жалости бросив эти слова в ответ ее тоскливому ожиданию. Она вскрикнула, побледнела и оперлась на кресло, едва удерживаясь на ногах.

— Бог вам простит! — проговорила она наконец слабым голосом. — Прости меня за него, Неточка, прости; я была всему виновата. Я была больна, я...

— Но это тиранство, бесстыдство, низость! — закричала я в исступлении, поняв наконец всё, поняв, зачем ему хотелось осудить меня в глазах жены. — Это достойно презрения; вы...

— Аннета! — закричала Александра Михайловна, в ужасе схватив меня за руки.

— Комедия! комедия, и больше ничего! — проговорил Петр Александрович, подступая к нам в неизобразимом волнении. — Комедия, говорю я вам, — продолжал он, пристально и с зловещей улыбкой смотря на жену, — и обманутая во всей этой комедии одна — вы. Поверьте, что мы, — произнес он, задыхаясь и указывая на меня, — не боимся таких объяснений; поверьте, что мы уж не так целомудренны, чтоб оскорбляться, краснеть и затыкать уши, когда нам заговорят о подобных делах. Извините, я выражаюсь просто, прямо, грубо, может быть, но — так должно. Уверены ли вы, сударыня, в порядочном поведении этой... девицы?

— Боже! что с вами? Вы забылись! — проговорила Александра Михайловна, остолбенев, помертвев от испуга.

— Пожалуйста, без громких слов! — презрительно перебил Петр Александрович. — Я не люблю этого. Здесь дело простое, прямое, пошлое до последней пошлости. Я вас спрашиваю о ее поведении; знаете ли вы...

Но я не дала ему договорить и, схватив его за руки, с силою оттащила в сторону. Еще минута — и всё могло быть потеряно.

— Не говорите о письме! — сказала я быстро, шепотом. — Вы убьете ее на месте. Упрек мне будет упреком ей в то же время. Она не может судить меня, потому что я всё знаю... понимаете, я *всё* знаю!

Он пристально, с диким любопытством посмотрел на меня — и смешался; кровь выступила ему на лицо.

— Я *всё* знаю, *всё!* — повторила я.

Он еще колебался. На губах его шевелился вопрос. Я предупредила:

— Вот что было, — сказала я вслух, наскоро, обращаясь к Александре Михайловне, которая глядела на нас в робком, тоскливом изумлении. — Я виновата во всем. Уж четыре года тому, как я вас обманывала. Я унесла ключ от библиотеки и уж четыре года потихоньку читаю книги. Петр Александрович застал меня над такой книгой, которая... не могла, не должна была быть в руках моих. Испугавшись за меня, он преувеличил опасность в глазах ваших!.. Но я не оправдываюсь (поспешила я, заметив насмешливую улыбку на губах его): я во всем виновата. Соблазн был сильнее меня, и, согрешив раз, я уж стыдилась признаться в своем проступке... Вот всё, почти всё, что было между нами...

— О-го, как бойко! — прошептал подле меня Петр Александрович.

Александра Михайловна выслушала меня с глубоким вниманием; но в лице ее видимо отражалась недоверчивость. Она попеременно взглядывала то на меня, то на мужа. Наступило молчание. Я едва переводила дух. Она опустила голову на грудь и закрыла рукою глаза, соображая что-то и, очевидно, взвешивая

каждое слово, которое я произнесла. Наконец она подняла голову и пристально посмотрела на меня.

— Неточка, дитя мое, я знаю, ты не умеешь лгать, — проговорила она. — Это всё, что случилось, решительно всё?

— Всё, — отвечала я.

— Всё ли? — спросила она, обращаясь к мужу.

— Да, всё, — отвечал он с усилием, — всё!

Я отдохнула.

— Ты даешь мне слово, Неточка?

— Да, — отвечала я не запинаясь.

Но я не утерпела и взглянула на Петра Александровича. Он смеялся, выслушав, как я дала слово. Я вспыхнула, и мое смущение не укрылось от бедной Александры Михайловны. Подавляющая, мучительная тоска отразилась на лице ее.

— Довольно, — сказала она грустно. — Я вам верю. Я не могу вам не верить.

— Я думаю, что такого признания достаточно, — проговорил Петр Александрович. — Вы слышали? Что прикажете думать?

Александра Михайловна не отвечала. Сцена становилась всё тягостнее и тягостнее.

— Я завтра же пересмотрю все книги, — продолжал Петр Александрович. — Я не знаю, что там еще было; но...

— А какую книгу читала она? — спросила Александра Михайловна.

— Книгу? Отвечайте вы, — сказал он, обращаясь ко мне. — Вы умеете лучше меня *объяснять дело,* — прибавил он с затаенной насмешкой.

Я смутилась и не могла выговорить ни слова. Александра Михайловна покраснела и опустила глаза. Наступила долгая пауза. Петр Александрович в досаде ходил взад и вперед по комнате.

— Я не знаю, что между вами было, — начала наконец Александра Михайловна, робко выговаривая каждое слово, — но если *это только* было, — продолжала она, силясь дать особенный смысл словам своим, уже смутившаяся от неподвижного взгляда своего мужа, хотя она и старалась не глядеть на него, — если *только это* было, то я не знаю, из-за чего нам всем горевать и так отчаиваться. Виноватее всех я, я одна, и это меня очень мучит. Я пренебрегла ее воспитанием, я и должна отвечать за всё. Она должна простить мне, и я ее осудить не могу и не смею. Но, опять, из-за чего ж нам отчаиваться? Опасность прошла. Взгляните на нее, — сказала она, одушевляясь всё более и более и бросая пытливый взгляд на своего мужа, — взгляните на нее: неужели ее неосторожный поступок оставил хоть какие-нибудь последствия? Неужели я не знаю ее, дитяти моего, моей дочери милой? Неужели я не знаю, что ее сердце чисто и благородно, что в этой хорошенькой головке, — продолжала она, лаская меня и привлекая к себе, — ум ясен и светел, а совесть боится обмана... Пол-

ноте, мои милые! Перестанем! Верно, другое что-нибудь затаилось в нашей тоске; может быть, на нас только мимолетом легла враждебная тень. Но мы разгоним ее любовью, добрым согласием и рассеем недоумение наше. Может быть, много недоговорено между нами, и я винюсь первая. Я первая таилась от вас, у меня у первой родились бог знает какие подозрения, в которых виновата больная голова моя. Но... но если уж мы отчасти и высказались, то вы должны оба простить меня, потому... потому, наконец, что нет большого греха в том, что я подозревала...

Сказав это, она робко и краснея взглянула на мужа и с тоскою ожидала слов его. По мере того как он ее слушал, насмешливая улыбка показывалась на его губах. Он перестал ходить и остановился прямо перед нею, закинув назад руки. Он, казалось, рассматривал ее смущение, наблюдал его, любовался им; чувствуя над собой его пристальный взгляд, она смешалась. Он переждал мгновение, как будто ожидая чего-нибудь далее. Смущение ее удвоилось. Наконец он прервал тягостную сцену тихим долгим язвительным смехом:

— Мне жаль вас, бедная женщина! — сказал он наконец горько и серьезно, перестав смеяться. — Вы взяли на себя роль, которая вам не по силам. Чего вам хотелось? Вам хотелось поднять меня на ответ, поджечь меня новыми подозрениями или, лучше сказать, старым подозрением, которое вы плохо скрыли в словах ваших? Смысл ваших слов, что сердиться на нее нечего, что она хороша и после чтения безнравственных книг, мораль которых, — говорю от себя, — кажется, уже принесла кой-какие успехи, что вы, наконец, за нее отвечаете сами; так ли? Ну-с, объяснив это, вы намекаете на что-то другое; вам кажется, что подозрительность и гонения мои выходят из какого-то другого чувства. Вы даже намекали мне вчера — пожалуйста, не останавливайте меня, я люблю говорить прямо — вы даже намекали вчера, что у некоторых людей (помню, что, по вашему замечанию, эти люди всего чаще бывают степенные, суровые, прямые, умные, сильные, и бог знает каких вы еще не давали определений в припадке великодушия!), что у некоторых людей, повторяю, любовь (и бог знает почему вы это выдумали!) и проявляться не может иначе как сурово, горячо, круто, часто подозрениями, гонениями. Я уж не помню хорошо, так ли именно вы говорили вчера... Пожалуйста, не останавливайте меня; я знаю хорошо вашу воспитанницу; ей всё можно слышать, всё, повторяю вам в сотый раз, — всё. Вы обмануты. Но не знаю, отчего вам угодно так настаивать на том, что я-то именно и есть такой человек! Бог знает зачем вам хочется нарядить меня в этот шутовской кафтан. Не в летах моих любовь к этой девице; да наконец, поверьте мне, сударыня, *я знаю свои обязанности*, и, как бы великодушно вы ни извиняли меня, я буду говорить прежнее, что *преступление всегда останется преступлением, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на какую бы степень величия вы ни вознесли пороч-*

ное чувство! Но довольно! довольно! и чтоб я не слыхал более об этих гадостях!

Александра Михайловна плакала.

— Ну, пусть я несу это, пусть это мне! — проговорила она наконец, рыдая и обнимая меня, — пусть постыдны были мои подозрения, пусть вы насмеялись так сурово над ними! Но ты, моя бедная, за что ты осуждена слушать такие оскорбления? И я не могу защитить тебя! Я безгласна! Боже мой! я не могу молчать, сударь! Я не вынесу... Ваше поведение безумно!..

— Полноте, полноте! — шептала я, стараясь утишить ее волнение, боясь, чтоб жестокие укоры не вывели его из терпения. Я всё еще трепетала от страха за нее.

— Но, слепая женщина! — закричал он, — но вы не знаете, вы не видите...

Он остановился на минуту.

— Прочь от нее! — сказал он, обращаясь ко мне и вырывая мою руку из рук Александры Михайловны. — Я вам не позволю прикасаться к жене моей; вы мараете ее; вы оскорбляете ее своим присутствием! Но... но что же заставляет меня молчать, когда нужно, когда необходимо говорить? — закричал он, топнув ногою. — И я скажу, я всё скажу. Я не знаю, что вы там *знаете,* сударыня, и чем вы хотели пригрозить мне, да и знать не хочу. Слушайте! — продолжал он, обращаясь к Александре Михайловне, — слушайте же.

— Молчите! — закричала я, бросаясь вперед, — молчите, ни слова!

— Слушайте...

— Молчите во имя...

— Во имя чего, сударыня? — перебил он, быстро и пронзительно взглянув мне в глаза, — во имя чего? Знайте же, я вырвал из рук ее письмо от любовника! Вот что делается в нашем доме! вот что делается подле вас! вот чего вы не видали, не заметили!

Я едва устояла на месте. Александра Михайловна побледнела как смерть.

— Этого быть не может, — прошептала она едва слышным голосом.

— Я видел это письмо, сударыня; оно было в руках моих; я прочел первые строки и не ошибся: письмо было от любовника. Она вырвала его у меня из рук. Оно теперь у нее, — это ясно, это так, в этом нет сомнения; а если вы еще сомневаетесь, то взгляните на нее и попробуйте потом надеяться хоть на тень сомнения.

— Неточка! — закричала Александра Михайловна, бросаясь ко мне. — Но нет, не говори, не говори! Я не знаю, что это было, как это было... боже мой, боже мой!

И она зарыдала, закрыв лицо руками.

— Но нет! этого быть не может! — закричала она опять. — Вы ошиблись. Это... это я знаю, что значит! — проговорила она, пристально смотря на мужа. — Вы... я... не могла, ты меня не

обманешь, ты меня не можешь обманывать! Расскажи мне всё, всё без утайки: он ошибся? да, не правда ли, он ошибся? Он видел другое, он ослеплен? да, не правда ли? не правда ли? Послушай: отчего же мне не сказать всего, Аннета, дитя мое, родное дитя мое?

— Отвечайте, отвечайте скорее! — послышался надо мною голос Петра Александровича. — Отвечайте: видел или нет я письмо в руках ваших?..

— Да! — отвечала я, задыхаясь от волнения.

— Это письмо от вашего любовника?

— Да! — отвечала я.

— С которым вы и теперь имеете связь?

— Да, да, да! — говорила я, уже не помня себя, отвечая утвердительно на все вопросы, чтоб добиться конца нашей муке.

— Вы слышали ее. Ну, что вы теперь скажете? Поверьте, доброе, слишком доверчивое сердце, — прибавил он, взяв руку жены, — поверьте мне и разуверьтесь во всем, что породило больное воображение ваше. Вы видите теперь, кто такая эта... девица. Я хотел только поставить невозможность рядом с подозрениями вашими. Я давно всё это заметил и рад, что наконец изобличил ее пред вами. Мне было тяжело видеть ее подле вас, в ваших объятиях, за одним столом вместе с нами, в доме моем, наконец. Меня возмущала слепота ваша. Вот почему, и только поэтому, я обращал на нее внимание, следил за нею; это-то внимание бросилось вам в глаза, и, взяв бог знает какое подозрение за исходную точку, вы бог знает что заплели по этой канве. Но теперь положение разрешено, кончено всякое сомнение, и завтра же, сударыня, завтра же вы не будете в доме моем! — кончил он, обращаясь ко мне.

— Остановитесь! — сказала Александра Михайловна, приподымаясь со стула. — Я не верю всей этой сцене. Не смотрите на меня так страшно, не смейтесь надо мной. Я вас же и призову на суд моего мнения. Аннета, дитя мое, подойди ко мне, дай твою руку, так. Мы все грешны! — сказала она дрожащим от слез голосом и со смирением взглянула на мужа, — и кто из нас может отвергнуть хоть чью-либо руку? Дай же мне свою руку, Аннета, милое дитя мое; я не достойнее, не лучше тебя; ты не можешь оскорблять меня своим присутствием, потому что я тоже, *тоже грешница*.

— Сударыня! — закричал Петр Александрович в изумлении, — сударыня! удержитесь! не забывайте!..

— Я ничего не забываю. Не прерывайте же меня и дайте мне досказать. Вы видели в ее руках письмо; вы даже читали его; вы говорите, и она... призналась, что это письмо от того, кого она любит. Но разве это доказывает, что она преступна? разве это позволяет вам так обходиться с нею, так обижать ее в глазах жены вашей? Да, сударь, в глазах жены вашей? Разве вы рассудили это дело? Разве вы знаете, как это было?

— Но мне остается бежать, прощения просить у нее. Этого ли вы хотели? — закричал Петр Александрович. — Я потерял терпение, вас слушая! Вы вспомните, о чем вы говорите! Знаете ли вы, о чем вы говорите? Знаете ли, что́ и *кого* вы защищаете? Но ведь я всё насквозь вижу...

— И самого первого дела не видите, потому что гнев и гордость мешают вам видеть. Вы не видите того, что я защищаю и о чем хочу говорить. Я не порок защищаю. Но рассудили ли вы, — а вы ясно увидите, коли рассудите, — рассудили ли вы, что, может быть — она как ребенок невинна! Да, я не защищаю порока! Я спешу оговориться, если это вам будет очень приятно. Да; если б она была супруга, мать и забыла свои обязанности, о, тогда бы я согласилась с вами... Видите, я оговорилась. Заметьте же это и не корите меня! Но если она получила это письмо, не ведая зла? Если она увлеклась неопытным чувством и некому было удержать ее? если я первая виноватее всех, потому что не уследила за сердцем ее? если это письмо первое? если вы оскорбили вашими грубыми подозрениями ее девственное, благоуханное чувство? если вы загрязнили ее воображение своими циническими толками об этом письме? если вы не видали этого целомудренного, девственного стыда, который сияет на лице ее, чистый, как невинность, который я вижу теперь, который я видела, когда она, потерянная, измученная, не зная, что говорить, и разрываясь от тоски, отвечала признанием на все ваши бесчеловечные вопросы? Да, да! это бесчеловечно, это жестоко; я не узнаю вас; я вам не прощу этого никогда, никогда!

— Да, пощадите, пощадите меня! — закричала я, сжимая ее в объятиях. — Пощадите, верьте, не отталкивайте меня...

Я упала перед нею на колени.

— Если, наконец, — продолжала она задыхающимся голосом, — если б, наконец, не было меня подле нее, и если б вы запугали ее словами своими, и если б бедная сама уверилась, что она виновата, если б вы смутили ее совесть, душу и разбили покой ее сердца... боже мой! Вы хотели выгнать ее из дома! Но знаете ли, с кем это делают? Вы знаете, что если ее выгоните, то выгоните нас вместе, нас обеих, — и меня тоже. Вы слышали меня, сударь?

Глаза ее сверкали; грудь волновалась; болезненное напряжение ее дошло до последнего кризиса.

— Так довольно же я слушал, сударыня! — закричал наконец Петр Александрович, — довольно этого! Я знаю, что есть страсти платонические, — и на мою пагубу знаю это, сударыня, слышите? на мою пагубу. Но не ужиться мне, сударыня, с озолоченным пороком! Я не понимаю его. Прочь мишуру! И если вы чувствуете себя виноватою, если знаете за собой что-нибудь (не мне напоминать вам, сударыня), если вам нравится, наконец, мысль оставить мой дом... то мне остается только сказать, напомнить вам, что напрасно вы позабыли исполнить ваше намерение, когда была

настоящая пора, настоящее время, лет назад тому... если вы позабыли, то я вам напомню...

Я взглянула на Александру Михайловну. Она судорожно опиралась на меня, изнемогая от душевной скорби, полузакрыв глаза, в неистощимой муке. Еще минута, и она готова была упасть.

— О, ради бога, хоть в этот раз пощадите ее! Не выговаривайте последнего слова, — закричала я, бросаясь на колени перед Петром Александровичем и забыв, что изменяла себе. Но было поздно. Слабый крик раздался в ответ словам моим, и бедная упала без чувств на пол.

— Кончено! вы убили ее! — сказала я. — Зовите людей, спасайте ее! Я вас жду у вас в кабинете. Мне нужно с вами говорить; я вам всё расскажу...

— Но что? но что?

— После!

Обморок и припадки продолжались два часа. Весь дом был в страхе. Доктор сомнительно качал головою. Через два часа я вошла в кабинет Петра Александровича. Он только что воротился от жены и ходил взад и вперед по комнате, кусая ногти в кровь, бледный, расстроенный. Я никогда не видала его в таком виде.

— Что же вам угодно сказать мне? — проговорил он суровым, грубым голосом. — Вы что-то хотели сказать?

— Вот письмо, которое вы перехватили у меня. Вы его узнаете?

— Да.

— Возьмите его.

Он взял письмо и поднес к свету. Я внимательно следила за ним. Через несколько минут он быстро обернул на четвертую страницу и прочел подпись. Я видела, как кровь бросилась ему в голову.

— Что это? — спросил он у меня, остолбенев от изумления.

— Три года тому, как я нашла это письмо в одной книге. Я догадалась, что оно было забыто, прочла его и — узнала всё. С тех пор оно оставалось при мне, потому что мне некому было отдать его. Ей я отдать его не могла. Вам? Но вы не могли не знать содержания этого письма, а в нем вся эта грустная повесть... Для чего ваше притворство — не знаю. Это, покамест, темно для меня. Я еще не могу ясно вникнуть в вашу темную душу. Вы хотели удержать над ней первенство и удержали. Но для чего? для того, чтоб восторжествовать над призраком, над расстроенным воображением больной, для того, чтоб доказать ей, что она заблуждалась и что вы *безгрешнее* ее! И вы достигли цели, потому что это подозрение ее — неподвижная идея угасающего ума, может быть, последняя жалоба разбитого сердца на несправедливость приговора людского, с которым вы были заодно. «Что ж за беда, что вы меня полюбили?» Вот что она говорила, вот что хотелось ей доказать вам. Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были безжалостны. Прощайте! Объяснений не нужно! Но, смотрите, я вас знаю всего, вижу насквозь, не забывайте же этого!

Я вошла в свою комнату, едва помня, что со мной сделалось. У дверей меня остановил Овров, помощник в делах Петра Александровича.

— Мне бы хотелось поговорить с вами, — сказал он с учтивым поклоном.

Я смотрела на него, едва понимая то, что он мне сказал.

— После, извините меня, я нездорова, — отвечала я наконец, проходя мимо него.

— Итак, завтра, — сказал он, откланиваясь, с какою-то двусмысленною улыбкой.

Но, может быть, это мне так показалось. Всё это как будто мелькнуло у меня перед глазами.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

(Из неизвестных мемуаров)

Было мне тогда без малого одиннадцать лет. В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т—ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать всё свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать всё, дотла, дочиста, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости, Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким как колокольчик смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочинялись живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились краснобаи, рассказчики, бонмотисты.

Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не всё. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это

всеобщее одушевление, блеск, шум — всё это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась.

Но я всё говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но — странное дело! — какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все — или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам, я всё еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверное прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она — как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать

себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что *моя* красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы.

Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра всё более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно всё равно было смотреть: на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случалось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась.

— Нравится вам, что играют? — спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.

— Да, — отвечал я, всё еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нравилось.

— А зачем же вы стоите? Так — устанете; разве вам места нет?

— То-то и есть, что нет, — отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось наконец доброе сердце, которому можно открыть свое горе. — Я уж искал, да все стулья заняты, — прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.

— Ступай сюда, — живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, — ступай сюда, ко мне, и садись мне на колени.

— На колени?.. — повторил я, озадаченный.

Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому же я, и без того всегда робкий и стыдливый

мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.

— Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? — настаивала она, начиная смеяться всё сильнее и сильнее, так что наконец просто принялась хохотать бог знает чему, может быть, своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.

Я покраснел и в смущении осматривался кругом, приискивая — куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, пребольно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза как безумная, а между тем всё сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что почти все кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу: а я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы сталось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я наконец борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец я не выдержал, вскрикнул, — того только и ждала! Мигом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну точь-в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного, слабосильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, подтолкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, — с предлинным и неожиданным носом.

Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина, который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все зааплодировали; я, под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь

за колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она всё еще хохотала, закрыв платком свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, — вероятно, очень жалея, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.

Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, всё это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал — куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали наконец находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.

Но уж такой был характер: была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красный человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый, он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и всё, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало того, что любил жену до слабости, до жалости, — он просто поклонялся ей как идолу.

Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых — ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчиняется ему, почувствовав всё превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение — с другой, уважение, доходящее до какого-то страха,

до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни всё ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. M-me M* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, — образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка — всё это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг... M-me M* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.

Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови. Но этому

была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как кащей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не досягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, — словом, я был влюблен, то есть, положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знакомиться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам, когда ненастье запирало всех в комнаты и когда я, одиноко притаясь где-нибудь в углу залы, беспредметно глазел по сторонам, решительно не находя никакого другого занятия, потому что со мной, исключая моих гонительниц, редко кто говорил, и было мне в такие вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в котором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо m-me M* (потому что это была она), бог знает почему, уловлялись моим зачарованным вниманием, и уж не изглаживалось это странное, неопределенное, но непостижимо сладкое впечатление мое. Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в каждую вибрацию густого, серебристого, но несколько заглушенного голоса и — странное дело! — из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство. Похоже было на то, как будто я допытывался какой-нибудь тайны...

Всего мучительнее для меня были насмешки в присутствии m-me M*. Эти насмешки и комические гонения, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда, случалось, раздавался общий смех на мой счет, в котором даже m-me M* иногда невольно принимала участие, тогда я, в отчаянии, вне себя от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале. Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни волнения; весь процесс переживался во мне бессознательно. С m-me M* я почти не сказал еще и двух слов, да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее, увидел я m-me M*. Она сидела одна-одинехонька, как будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив голову на грудь и машинально перебирая в руках платок. Она была в такой задумчивости, что и не слыхала, как я с ней поравнялся.

Заметив меня, она быстро поднялась со скамьи, отвернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком. Она плакала. Осушив

глаза, она улыбнулась мне и пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда я отходил от нее, она тотчас же опять подносила платок к глазам своим и утирала непослушные слезы, которые никак не хотели покинуть ее, всё вновь и вновь накипали в сердце и всё лились из ее бедных глаз. Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она так часто меня отсылает, да и сама она уже видела, что я всё заметил, но только не могла удержаться, и это меня еще более за нее надрывало. Я злился на себя в эту минуту почти до отчаяния, проклинал себя за неловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как ловче отстать от нее, не выказав, что заметил ее горе, но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в испуге, совсем растерявшись и решительно не находя ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего разговора.

Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с жадным любопытством следил потихоньку за m-me M* и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два раза застала меня врасплох среди моих наблюдений, и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не сходила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Всё время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой, злой и сварливой старухой, которой никто не любил за шпионство и сплетни, но которой все боялись, а потому и принуждены были всячески угождать ей, волей-неволей...

Часов в десять приехал муж m-me M*. До сих пор я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо ее, и без того уже бледное, сделалось вдруг белее платка. Это было так приметно, что и другие заметили: я расслышал в стороне отрывочный разговор, из которого кое-как догадался, что бедной m-me M* не совсем хорошо. Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его *умным человеком*. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них, поэтому, «грустно смотреть». Это уж у них такая принятая пышная фраза, их mot d'ordre, их пароль и лозунг, фраза, которую мои сытые

толстяки расточают везде поминутно, что уже давно начинает надоедать, как отъявленное тартюфство и пустое слово. Впрочем, некоторые из этих забавников, никак не могущих найти, что им делать, — чего, впрочем, никогда и не искали они, — именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то *очень глубокое,* но что́ именно — об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства ровнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и не трудно, при таких предохранительных средствах, прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке; что он у них как устрица, которую они берут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк похож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит: для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное *я.* Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что всё на свете видит он в таком безобразном виде. На всё у него припасена готовая фраза, и, — что, однако ж, верх ловкости с их стороны, — самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую всё прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают всё, что еще не

поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, m-r M* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвесть впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. Но m-me M* всё время была как больная; лицо ее было такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние слезы. Всё это, как я сказал, поразило и удивило меня чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного любопытства, и всю ночь снился мне m-r M*, тогда как до тех пор я редко видывал безобразные сны.

На другой день, рано поутру, позвали меня на репетицию живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал — всё в один вечер, назначались не далее как дней через пять, по случаю домашнего праздника — дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек сто гостей, так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции или, лучше сказать, смотр костюмов назначены были не вовремя, поутру, потому что наш режиссер, известный художник Р*, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине, вдвоем с m-me M*. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась «Госпожа замка и ее паж».

Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись с m-me M* на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове моей. К тому же мне всё казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошеного участника ее тайны. Но, слава богу, дело обошлось без больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции: она была рассеянна, грустна и мрачно-задумчива; видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моею ролью, я побежал переодеться и через десять минут вышел на террасу

в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и m-me M*, и, как раз нам напротив, появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему cavalier servant. [1] Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. M-me M*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.

— Вы в сад? — спросил он, заметив омбрельку и книгу в руках жены.

— Нет, в рощу, — отвечала она, слегка покраснев.

— Одни?

— С ним... — проговорила m-me M*, указав на меня. — Я гуляю поутру одна, — прибавила она каким-то неровным, неопределенным голосом, точно таким, когда лгут первый раз в жизни.

— Гм... А я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать Н—го. Он едет, вы знаете... у него какая-то беда случилась там, в Одессе... Ваша кузина (он говорил о блондинке) и смеется, и чуть не плачет, всё разом, не разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на Н—го и потому не пошли его провожать. Конечно вздор?

— Она смеется, — отвечала m-me M*, сходя со ступенек террасы.

— Так это ваш каждодневный cavalier servant? — прибавил m-r M*, скривив рот и наведя на меня свой лорнет.

— Паж! — закричал я, рассердившись за лорнет и насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул три ступеньки террасы...

— Счастливый путь! — пробормотал m-r M* и пошел своею дорогой.

Конечно, я тотчас же подошел к m-me M*, как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так смутилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный удивлением, я, однако ж, пренаивно начал помаленьку заглядывать ей в лицо; но, так же как и час назад, на репетиции, она не примечала ни подглядываний, ни немых вопросов моих. Всё та же мучительная забота, но еще явственнее,

[1] услужливому кавалеру (*франц.*).

еще глубже, чем тогда, отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, всё более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку рощи, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших того Н—го, который так внезапно покидал наше общество.

Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил m-r М*, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала как ребенок и резво скакала на прекрасном гнедом коне. Поравнявшись с нами, Н—й снял шляпу, но не остановился и не сказал с m-me М* ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на m-me М* и чуть не вскрикнул от изумления: она стояла бледная как платок и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились: m-me М* вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, — это яснее дня, но куда мне деваться?

Вдруг m-me М*, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, закрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась:

— Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста, принеси мне первую.

Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге.

Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро...

Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как будто в беспрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать m-me М*. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу m-r М*, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем; помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обилен происшествиями.

Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза m-me М*. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщи-

нами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно затем, чтоб заменить собой отбывшего Н—го, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустяков». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так простительно-неосторожны; она с такою грациозною самонадеянностию была уверена во всеобщем восторге, что действительно всё время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось вкруговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.

Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере судя по той роли, которую играл в то же время муж m-me M*. Проказница решилась — и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или, по крайней мере, к удовольствию всей молодежи — ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных, на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния.

Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что m-r M* нескоро положил оружие. Ему нужно было собрать всё присутствие духа, всё остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не покрыться решительным бесславием. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере сегодня непохоже было для него на вчера. Приметно было, что m-me M* несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому в свою очередь непременно хотелось нарядить рев-

нивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и должно полагать, в костюм Синей бороды, судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой сшибке.

Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник m-r M*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что не далее как, например, сегодня в лесу она видела...

Но она не успела договорить, я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обстановлена, что целый взрыв ничем неудержимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпадала самая досадная роль, — однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом:

— И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду?!.. вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?.. вы — такая большая... замужняя!..

Но я не докончил, — раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий furore. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать m-r M*, — всё это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно... Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня всего в прах. Но... что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью, спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как одиннадцатилетний.

Ну, что ж теперь делать? всё открыто, всё обнаружилось, всё, что я так ревниво сберегал и таил... На меня падет вечный стыд

и позор!.. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть; но ведь, однако ж, я страшился чего-то, за обнаружение этого *чего-то* я трепетал до сих пор как листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что оно такое: годится оно или не годится, славно или позорно, похвально или не похвально? Теперь же, в мучениях и насильной тоске, узнал, что оно *смешно* и *стыдно!* Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду; и всё это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый, благоуханный, девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в роще между мною и m-me M*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m-me M* и не погибнуть в ту же минуту, на том же месте от стыда и отчаяния.

Необыкновенный шум на дворе вызвал наконец меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали; несколько всадников уже сидели на конях; другие гости размещались по экипажам... Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот, мало-помалу, беспокойство начало проникать в мое сердце; я пристально начал выглядывать на дворе своего клеппера; но клеппера не было, — стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем...

Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже: всё было разобрано, занято, и я принужден уступить другим.

Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми гарцевали нетерпеливые кони.

Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении.

В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клеппер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства: открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупщик. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет да и убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми: он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз, и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь как иной неисправимый повеса гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость.

Этот смельчак наконец показался. Совестясь, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял

совсем озадаченный; потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепугавшихся дам.

— Конь очень хороший! — проговорил он как бы про себя. — и, судя по всему, на нем, должно быть, очень приятно ездить, но... но, знаете что? Ведь я-то не поеду, — заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его.

— И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам, — отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя, — именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело, — прибавил он с достоинством. — Поверите ли мне, я, двадцать три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого... дармоеда. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили, — заключил он, самодовольно потирая руки.

Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте... Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкред не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры.

— Как, вы не едете? — закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтоб ее cavalier servant на этот раз был при ней. — Неужели вы трусите?

— Ей-богу же так! — отвечал молодой человек.

— И вы говорите серьезно?

— Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сломал себе шею?

— Так садитесь же скорей на мою лошадь: не бойтесь, она пресмирная. Мы не задержим; вмиг переседлают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб Танкред всегда был такой неучтивый.

Сказано — сделано! Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами.

— Плохо ж вы знаете Танкреда, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом! Да и вас я не пущу сломать себе шею; это, право, было бы жалко! — проговорил наш хозяин, аффектируя, в эту минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней привычке, и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было

нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.

— Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хотелось ехать, — сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда — собственно для того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня, и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.

— Ты, верно, не таков, как... ну, да что говорить, известный герой и постыдишься струсить; особенно когда на вас будут смотреть, прекрасный паж, — прибавила она, бегло взглянув на m-me M*, экипаж которой был ближе всех от крыльца.

Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда... Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света невзвидел, когда поймал ее взгляд на m-me M*. Вмиг в голове у меня загорелась идея... да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера, и я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и отмстить им за всё и при всех, показав теперь, каков я человек; или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, — уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей или, толковее, предчувствие этого еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда.

— А вы думаете, что я испугаюсь? — вскрикнул я дерзко и гордо, невзвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. — А вот увидите! — И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтоб удержать меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел как вихрь, только все ахнули да вскрикнули.

Уж бог знает, как удалось мне занесть другую ногу на всем лету; не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти голосов, и этот крик отдался в моем замиравшем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду

этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить. во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.

Впрочем, всё мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел: меня учили. Но мой клеппер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня; но, проскакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три, и не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого поворота не сплечил себе ног. Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение — и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле; двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца.

Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа как лист мелкой дрожью и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга.

В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом m-me M*, встревоженной, побледневшей, и — я не могу забыть этого мгновения — вмиг всё лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось как огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к m-me M*, и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом...

Всё это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до

сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на m-me M*. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде; теперь же, когда всё было кончено и особенно когда она поймала, вместе с другими, мой взгляд, брошенный на m-me M*, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению, по романтическому настроению своей легкодумной головки, какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, — теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Mais c'est très sérieux, messieurs, ne riez pas!» [1] — не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Всё это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, эти не подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризированные ее взглядом, скорым, огневым словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что, «к стыду своему», чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну, уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.

— Делорж! Тогенбург! — раздавалось кругом.

Послышались рукоплескания.

— Ай да грядущее поколение! — прибавил хозяин.

— Но он поедет, он непременно поедет с нами! — закричала красавица. — Мы найдем и должны найти ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени... иль нет, нет! я ошиблась!.. — поправилась она, захохотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами стараясь меня заласкать, чтоб я не обиделся.

— Непременно! непременно! — подхватили несколько голосов. — Он должен ехать, он завоевал себе место.

И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на

[1] Но это очень серьезно, господа, не смейтесь! (*франц.*)

что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит.

И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сырое, последождевое время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, m-me M* подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горла. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее.

Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной, вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.

— Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя, — сказал молодой человек засмеявшись, — по глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком.

— Именно, именно так! — подхватила блондинка. — Экой! ах!.. — проговорила она, с приметной досадой и покачав головой, но остановилась вовремя перед серьезным взглядом m-me M*, которой не хотелось заводить далеко шутки.

Я поскорее отошел.

— Ну, какой же ты! — заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки. — Да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал бы, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать! Экой смешной!

И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел как мак:

— Ведь я твой друг теперь, — так ли? Кончена ли наша вражда, а? да или нет?

Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.

— Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?

— Да, я нездоров.

— Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатлений! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем.

Она отвела меня наверх, и казалось, уходам за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, поездкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу; я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была немного тронута...

— Ты предобрый мальчик, — прошептала она, смотря на меня тихими глазками, — пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?

Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.

Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро.

Незаметно пробираясь всё далее и далее, я вышел наконец на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми, жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегала от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении: в глазах моих мелькнуло

белое знакомое платье и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была m-me M*. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н—го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал m-r M*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с m-me M*.

Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его m-me M*, обнял ее одною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня как стрела. M-me M* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.

Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, — тот самый, который десять минут назад был вручен m-me M*.

Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой подписи; на взгляд — небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.

Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано было то, чего не надеялся высказать Н—ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади... Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, — бог знает...

Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что m-me M* заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять m-me M*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю всё, видел всё. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?..

Я всё ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому; ее уже заметили...

В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с m-me M*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении ее. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, — да, это так, и она в этом уверена!

Кто-то, а затем и другие заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб m-me M* меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.

Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н—ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, — кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать, как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено всё; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда... что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах,

а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни... Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но, что бы ни заключалось в ее тайне, — теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.

Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетились; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. M-me M* отказалась от поездки, сознавшись наконец, что она нездорова. Но, слава богу, все отправились, все торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна... со мною... Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.

Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, ища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.

Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, m-me M* вдруг остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на всё, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня...

Я разрывался от тоски и не знал, что делать.

Мы пошли или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами.) M-me M* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко: их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом стоял неумолкаемый концерт

тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна и счастлива!..»

Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.

Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; я воскрес.

— Хотите, я вам букет нарву! — сказал я таким радостным голосом, что m-me M* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.

— Принеси, — проговорила она наконец слабым голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.

— А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! — закричал я, весело пускаясь в поход.

Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшею рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал наполняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и вовнутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, — но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет.

Я понес его к m-me M*.

Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду: я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко вовнутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их.

Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, — думал я, — только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал...

Прошло минут десять; мне показалось, что она всё больше и больше бледнела... Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.

Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к m-me M*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась всё неотвязчивее. Наконец m-me M* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время m-me M* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим... Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза: минуты две-три. Наконец я осмелился их открыть. M-me M* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна как дым вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться...

Никогда не забуду я этой минуты!

Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:

— Madame M*! Natalie! Natalie!

M-me M* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задушало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.

— Natalie! Natalie! где ты? — послышалось снова, уже очень близко от нас.

— Сейчас! — проговорила m-me M* своим густым, серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее, — сейчас!

Но в этот миг сердце наконец изменило мне и, казалось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, — как будто она хотела закрыть меня им от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.

Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я, бессознательно и неподвижно, перед собою, на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, и я вздохнул свободнее... Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания... И вдруг грудь моя заколебалась, заныла, словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей... Первое детство мое кончилось с этим мгновением. . . . .

. . . .

Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже m-me M*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.

ДЯДЮШКИН СОН

(Из мордасовских летописей)

Глава I

Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, — отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники — краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их, при удобном случае, и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет — что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика! Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut,[1] с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь

[1] умением себя держать (*франц.*).

одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах, она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостию их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома in quarto,[1] так был обворожен приемом и любезностию Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не gentilhomme [2] хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и — ничего! Всё оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, — одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее всё еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью

[1] в одну четверть листа (*лат.*).
[2] дворянин (*франц.*).

Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.

Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстухе. Но вся эта сановитость и представительность — единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он бы мог приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, — мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеича при себе единственно за то, что он служил и получал жалованье и... другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и — доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года полтора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным учителишкой, — слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове; но скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость

со стороны Марьи Александровны! каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенною честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда — молод, недурен собою, франт, полтораста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!

Всё, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить всё это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое, золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев — и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны, — а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.

Глава II

Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, всё, что я мог узнать о нем достоверного:

Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил всё свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал всё, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностию самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку — всё, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом похождении, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однако

же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, — умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.

Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно из боязни, что он опять всё промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Всё это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но — или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не

узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.

Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай, — потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» — то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему: «Bonjour, mon ami, bonjour!», [1] и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда, в одно прекрасное утро, разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Всё переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались

[1] Здравствуй, друг мой, здравствуй! (*франц.*)

с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.

Глава III

Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены — превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина — музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка, с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней стоя рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель

руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки — античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней всё идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, — не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хоть изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.

— Я так рада, так рада, Павел Александрович, — щебечет она, — что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки... Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как будто пастушеское... Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностию, ce pauvre prince! [1] Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей!

[1] этот бедный князь! (*франц.*)

Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам всё это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи... и... покамест он еще сидит за своим туалетом...

— Да всё то же, что уже рассказывал, Марья Александровна! — с готовностию подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз, — это составляет для него наслаждение. — Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, — можете себе представить, как я спешил! — прибавляет он, обращаясь к Зине, — одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у ней пропало молоко... Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик — тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером подымаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю: боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал... со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает — кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, — ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се, —

уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно... Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что Степанида Матвеевна, — а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? — она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, — что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянника, служащего по питейной части... Одним словом, она до того была оконфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощию своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать — исправлений... Вот и вся история! Eine allerliebste Geschichte! [1]

— Но какой он юморист, Зина! — вскрикивает Марья Александровна, выслушав, — как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль, — один вопрос: объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы называете его дядей?

— Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему, прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Просто-запросто я называю его дядюшкой; он откликается. Вот вам и всё наше родство, на сегодняшний день по крайней мере...

— Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить привезти его прямо ко мне! Я трепещу, когда воображу

[1] Премилая история! (*нем.*)

себе, что бы с ним было, бедняжкой, если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне? Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели! Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь, — пожалуй, обокрали б его? Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!..

— Ах, боже мой, да к кому ж его и привезти, как не к вам, — какие вы, Марья Александровна! — подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. — Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы думаете?

— Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, — говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места.

— Дядюшка-то? Да, я думаю, он еще пять часов будет там одеваться! К тому же так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна!

— Ах, полноте, пожалуйста, что вы!

— Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда! Ведь это полукомпозиция, а не человек. Вы его видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!

— Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю! — восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. — И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка! Не говоря уже о его беспримерной доброте, — и голос ее принимает какое-то трогательное выражение, — вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, *mon ami*! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но боже мой! Я и сама — ваших новых идей! Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное; но всё это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды! Он старичок и потому, на ваши глаза, смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и всё это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил, — и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны,

и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, — все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже, отчасти, представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему, — а дурное то дитя, которое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, mon cher Paul, [1] и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренни, а так только, модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, mon cher Paul, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками...

И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомня о своих людишках.

— Марья Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла всё, что родня ему. То-то разрывается, должно быть, теперь от досады! — заметила Настасья Петровна; но заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать.

Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.

— Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня? — проговорил он с робким и умоляющим видом.

— На вас? За что же? — сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза.

— За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна! Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели... Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь... Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?

Зинаида действительно нахмурилась.

— Я ожидала, что вы заговорите об этом, — отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. — И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то, чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ всё тот же, как и прежде: подождите! Повторяю вам, — я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашею женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но, чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если

[1] Мой милый Поль (*франц.*).

я вам скажу наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадеживала. Итак, знайте это.

— Итак, что же, что же это! — вскричал Мозгляков жалобным голосом. — Неужели это надежда! Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?

— Припомните всё, что я вам сказала, и извлекайте всё, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только: ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь — довольно, и, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова.

Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же, госпожа Зяблова.

— Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю! — Марья Александровна была даже в маленьком волнении.

— Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то злится теперь! — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару.

— А мне какое дело! — сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. — Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас пошлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих, — ну из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с ее первенством. И наконец — всё это несправедливо. Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды, — за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая — такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, — соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней

невозможные наколки и шляпки, — но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, — но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, боже мой! еще бы: муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, *может быть,* и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но боже мой! вот и князь! Это он, он! Я узнаю́ его! Я узна́ю его из тысячи! Наконец-то я вас вижу, mon prince! [1] — вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.

Глава IV

С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика и, только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, бакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета, закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись? — неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстух, жилет, белье и всё прочее — всё это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, — может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву *э. Да* у него как-то выходит *ддэ,* но только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже

---

[1] князь (*франц.*).

уменье, чтоб с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и, при виде князя, приходит в неизреченный восторг.

— Но вы ничего, ничего не переменились! — восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. — Садитесь, садитесь, князь! Шесть лет, целых шесть лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во всё это время! О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince! Но — чаю, чаю! Ах, боже мой! Настасья Петровна, чаю!

— Благодарю, бла-го-дарю, вин-новат! — шепелявит князь (мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде). — Ви-но-ват! и представьте себе, еще прошлого года непре-менно хотел сюда ехать, — прибавляет он, лорнируя комнату. — Да напугали: тут, говорят, хо-ле-ра была.

— Нет, князь, у нас не было холеры, — говорит Марья Александровна.

— Здесь был скотский падеж, дядюшка! — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.

— Ну да, скотский па-деж или что-то в этом роде... Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Всё по своей проку-popской части?

— Н-нет, князь, — говорит Марья Александровна, немного заикаясь. — Мой муж не про-ку-рор...

— Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову! — вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило.

— Ну да, да, Анну Николаевну, и-и... (я всё забываю!). Ну да, Антиповну, именно Анти-повну, — подтверждает князь.

— Н-нет, князь, вы очень ошиблись, — говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. — Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?..

— Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я именно пола-гал, что вы-то и есть (как ее) — ну да! Анна Васильевна... C'est délicieux! [1] Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant! [2] Впрочем, это со мной часто случается... Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось. Так вы не Настасья Ва-сильевна? Это инте-ресно...

— Марья Александровна, князь, Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего, лучшего друга!

---

[1] Это восхитительно! (*франц.*)
[2] Это очаровательно! (*франц.*)

— Ну да, луч-шего друга... pardon, pardon![1] — шепелявит князь, заглядываясь на Зину.

— А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в -м году?

— Это ваша дочь! Charmante, charmante! — бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. — Mais quelle beauté![2] — шепчет он, видимо пораженный.

— Чаю, князь, — говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки.

— А-а-а, это ваш мальчик? — говорит он. — Какой хо-ро-шень-кий мальчик!.. и-и-и, верно, хо-ро-шо... ведет себя?

— Но, князь, — поспешно перебивает Марья Александровна, — я слышала об ужаснейшем происшествии! Признаюсь, я была вне себя от испуга... Не ушиблись ли вы? Смотрите! этим пренебрегать невозможно...

— Вывалил! вывалил! кучер вывалил! — восклицает князь с необыкновенным одушевлением. — Я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что — прости меня, угодник! — небо с овчинку показалось! Не ожидал, не ожи-дал! совсем не о-жи-дал! И во всем этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хорошенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.

— Хорошо, хорошо, дядюшка! — отвечает Павел Александрович. — Всё разыщу! Только послушайте, дядюшка! Простите-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?

— Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь мою покушался! Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и встречаться с ним боюсь!

— Ах, какую вы правду сказали, князь, — восклицает Марья Александровна. — Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите: я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!

— Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, — замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. — К лакею это как-то идет, — и даже составляет его достоин-ство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случа-ях. Са-но-ви-тости в нем оттого как-то больше, тор-жественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитан-

---

[1] простите, простите! (*франц.*)
[2] Но какая красавица! (*франц.*)

ности больше, а я прежде всего требую от *человека* бла-го-вос-питан-ности. Вот у меня Те-рен-тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-менально! смотрит как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая торжественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а — ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет, — такой важный вид! — одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека!..

Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина.

— Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь! — восклицает Марья Александровна. — Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из общества, запереться на целых пять лет! С таким талантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..

— Ну да, ну да! — говорит вседовольный князь, — я могу пов-то-рить... и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-виль написал... Там было несколько вос-хи-тп-тельных куплетов! Впрочем, его никогда не играли...

— Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же сбираются составить театр, — для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых... вот бы ваш водевиль!

— Конечно! Я даже опять готов написать... впрочем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было два-три каламбура таких, что (и князь поцеловал свою ручку)... И вообще, когда я был за гра-ни-цей, я производил нас-то-ящий fu-ro-re. [1] Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.

— Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что вы?

— Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И ире-ори-ги-нальный был этот по-ляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал краковяк и наконец сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил:

Наш по-ляк
Танцевал краковяк...

[1] фурор (*итал.*).

А там... а там, вот уж дальше и не припомню...

А как ногу сломал,
Танцевать перестал.

— Ну, уж верно, так, дядюшка? — восклицает Мозгляков, всё более и более приходя в вдохновенье.

— Кажется, что так, друг мой, — отвечает дядюшка, — или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть, и не так, но только преудачные вышли стишки... Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий.

— Но скажите, князь, чем же вы всё это время занимались в вашем уединении? — интересуется Марья Александровна. — Я так часто думала о вас, mon cher prince, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее...

— Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда — отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи...

— У вас, должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка?

— Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. Когда я был в Кадуеве... A propos! [1] ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?

— Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! — восклицает Павел Александрович.

— Представь себе, мой друг! а я тебя всё принимал за вице-губернатора, да и думаю: что ж это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-бык-новенно умный был человек и всё стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож...

— Нет, князь, — перебивает Марья Александровна, — клянусь, вы погубите себя такой жизнию! Затвориться на пять лет в уединение, никого не видать, ничего не слыхать! Но вы погибший человек, князь! Кого хотите спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы — погибший человек!

— Неужели? — восклицает князь.

— Уверяю вас; я говорю вам как друг, как сестра ваша! Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна! Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, — иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете...

— Ах, боже мой! Неужели так скоро умру! — восклицает испуганный князь. — И представьте себе, вы угадали: меня чрезвычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени... И когда у меня бывают припадки, то вообще у-ди-ви-тельные при этом симптомы (я вам подробнейшим образом их опишу)... Во-первых...

---

[1] Кстати! (*франц.*)

— Дядюшка, это вы в другой раз расскажете, — подхватывает Павел Александрович, — а теперь... не пора ли нам ехать?

— Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю... Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды... Напомни мне, мой друг, я тебе ужо вечером расскажу один случай в подроб-ности...

— Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, — перебивает еще раз Марья Александровна.

— За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой. И какой странный случай: отлучился всего на два часа, а другой и восторжествовал, один немецкий барон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.

— Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики... и, сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново.

— Неп-ре-менно! Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гид-ро-па-тией.

— Гидропатией?

— Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня, я уж фамилью забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю: и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия — полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если б я наконец не забо-лел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров...

— Вот это совершенно справедливое заключенье, дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?

— Боже мой! какие вы вопросы задаете! — строго замечает скандализированная Марья Александровна.

— Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же всё совершенно забыл. Но... признаюсь вам... вы меня так испугали этими болезнями, что я... весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь...

— Но куда ж вы, князь? — вскрикивает удивленная Марья Александровна.

— Я сейчас, сейчас... Я только записать одну новую мысль .. au revoir...[1]

— Каков? — вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом.

Марья Александровна теряет терпенье.

— Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь! — начинает она с горячностию. — Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою! Я краснела за вас, Павел Александрович! Но, скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного.

— Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается?

— Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, — вопиет! Его, решительно, надо спасти! Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту... торговку!

— Знаете ли что? его надо женить, Марья Александровна! — восклицает Павел Александрович.

— Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков!

— Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это тоже идея! C'est une idée comme une autre![2] Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за выражение). Во-вторых, и главное — представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой... бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?

— Да где же вы найдете такую невесту? — спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.

— Вот так сказали: да хоть бы вы, если только угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых — вы хорошенькая, во-вторых — вдова, в-третьих — благородная, в-четвертых — бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых — вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой

---

[1] до свидания (*франц.*).

[2] Эта идея не хуже других! (*франц.*)

и конфетами, — всё это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с половиною. Тогда вы — княгиня, вдова, богачка и, в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта! C'est joli, [1] не правда ли?

— Фу ты, боже мой! да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение! — восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. — Только всё это — вздор!

— Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестою! Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на всё говорит: «Ну да, ну да!» — сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!.. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна!

Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли, однако же, слюнки.

— Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем замарашка, — отвечает она. — Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье... А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?

Всё это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев... Наконец она опомнилась.

— Всё это, положим, очень хорошо, но всё это вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати, — резко прерывает она Мозглякова.

— Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и некстати?

— По многим причинам, а главное, потому, что вы у меня в доме, что князь — мой гость и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но слава богу! вот и князь!

— Вот и я! — кричит князь, входя в комнату. — Удивительно, cher ami, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому, как будто их совсем не бы-вает. Так и сижу себе целый день.

— Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот...

— Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже по-лез-ным; так что я решился простить моего Феофи-ла. Знаешь что? мне кажется, он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили.

---

[1] Это блестяще (*франц.*).

— Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с немецкое государство?

— Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих за-клю-че-ниях. Но это искусственная. И представьте себе, какой случай: вдруг присылают мне прейскурант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бо-ро-ды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее, и всё это лучшего ка-чес-тва и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бо-ро-ду, хоть поглядеть, — что такое? Вот и выписал я бороду кучерскую, — действительно, борода заглядение! Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную.

— Вероятно, потому, что искусство выше натуры, дядюшка!

— Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду брили! Как будто со всей своей карьерой, с бородой расставался... Но не пора ли нам ехать, мой милый?

— Я готов, дядюшка.

— Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору! — в волнении восклицает Марья Александровна. — Вы теперь *мой*, князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать: к тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере до времени!..

— Положитесь на меня, Марья Александровна. Всё, как я вам обещал, так будет, — говорит Мозгляков.

— Уж вы, ветреник! положись на вас! Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас любит!

— Ваш муж? А у вас есть и муж? — спрашивает князь.

— Ах, боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли всё прежнее! Мой муж, Афанасий Матвеич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь: Афанасий Матвеич?..

— Афанасий Матвеич! в деревне, представьте себе, mais c'est délicieux! Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай! Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и забыл! только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то очень смешно.

— Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, — подсказывает Мозгляков.

— Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, charmant, charmant! так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала! Charmant, charmant! Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить... да! итак, мы едем, друг мой. Au revoir, madame, adieu, ma charmante demoiselle,[1] — прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев.

— Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! — кричит вслед Марья Александровна.

Глава V

— Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне, — говорит она, проводив князя. — У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед! Я уверена, что он уже пьян...

Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь — одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, — всегда наглухо заперта и заколочена.

Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресла и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.

— Зина!

Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза.

— Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.

Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.

---

[1] До свидания, мадам, прощайте, моя милая барышня (*франц.*).

— Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе, сегодня, *этот* Мозгляков?

— Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, — нехотя отвечает Зина.

— Да, mon enfant;[1] но, мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым с своими... исканиями.

— Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.

— Странно! Ты прежде не извиняла его так... охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем.

— Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете.

— Почти. Я не запираюсь, Зина: я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна быть — замужество. Мы небогаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками да бог знает какими приключениями; потому я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам всевышний предупреждал меня. И если бы бог послал, хоть теперь, что-нибудь лучше — о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не сказала ему наверно, Зина?

— К чему так кривляться, маменька, когда всё дело в двух словах? — раздражительно проговорила Зина.

— Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью.

— Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять!

— Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не веришь, что я готова решительно на всё, на всё, чтоб устроить судьбу твою!

Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.

— Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтоб *устроить* судьбу мою? — спросила она с странной улыбкой.

---

[1] дитя мое (*франц.*).

— Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием...

— А я нахожу, что это просто вздор! — запальчиво воскликнула Зина. — Вздор! вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова, слышите ли, маменька, — ни слова, и я бы желала, чтоб вы это запомнили! — Она задыхалась от гнева.

— Ты дитя, Зина, — раздраженное, больное дитя! — отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом. — Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом союзе, — почему именно ты считаешь всё это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж он заврался.

— Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это спрашиваете только так, из любопытства, или с намерением?

— Я спрашиваю только: почему это кажется тебе таким вздором?

— Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! — восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения. — Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря уже о всех других нелепостях, — воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но, сверх того, так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!

С минуту продолжалось молчание.

— Зина! А помнишь ли, что было два года назад? — спросила вдруг Марья Александровна.

Зина вздрогнула.

— Маменька! — сказала она строгим голосом, — вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом.

— А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда

до сих пор не нарушала. Зина! пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны! Так не может продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое — слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если б шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет в последний раз, но теперь — это необходимо!

Марья Александровна рассчитывала на полный эффект.

— Говорите, — сказала Зина, заметно бледнея.

— Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель...

— Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька! К чему всё это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны? — с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.

— К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу представить тебе это же всё дело совершенно с другой точки зрения, а не с той, ошибочной, точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывесть. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног *низкой женщины,* как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать всё, Зина, всё с самого начала; иначе я молчу!

— Говорите, — повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.

— Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество (потому что надо же всё говорить), чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрикнула и лишилась чувств. Но... ты всё это помнишь! Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай: мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире, — этот мальчик — твой муж, муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно Флориана и его пастушков! Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя.

Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что́ я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым недостойным тебя... мальчишкой (я никак не могу назвать его человеком!) и грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне всё, всё известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием: уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны; через два часа весь город будет знать о твоем позоре! Я пересилила себя, я не упала в обморок, — но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина. Эта бесстыдная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар — память праведницы, моей матери! Через два часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и — честь твоя спасена — доказательств нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день! На другой же день я заметила, в первый раз в жизни, несколько седых волос на голове моей. Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое; ты не можешь забыть его или, лучше сказать, не его, — он всегда был недостоин тебя, — а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты, — ангел доброты! — ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностию, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя, и, бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою!..

— Да оставьте всё это, маменька! — прерывает Зина в невыразимой тоске. — Очень понадобилась тут ваша подушка, — прибавляет она с колкостию. — Нельзя без декламаций да вывертов!

— Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года, но скрывала от тебя

мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время! Я давно поняла твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают. Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила, и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь, и прежде всего можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении?

Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее.

— Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя? — вскричала она, с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою. — Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение? Стало быть, я угадала? И... и... каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И... и... каким образом всё это вяжется с тем, что вы теперь наговорили, — со всей этой историей?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!

— А я удивляюсь, mon ange, [1] как можно не понимать всего этого! — восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. — Во-первых, — уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир! Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишка, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием...

— Но, позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем или по крайней мере князь сделал мне предложение?

— Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я говорю. Но — позволь мне продолжать. Я уже сказала *первое,* теперь *второе*: я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову...

---

[1] мой ангел (*франц.*).

— Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою! — отвечала с горячностию Зина, и глаза ее засверкали.

— И если б ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви; он для того и женится, я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться! Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои!..

— Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, — отвечала Зина.

— Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня всё сердце замирало, когда я, из расчета, желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не можешь его любить... любовью, да и он сам *не способен* потребовать такой любви...

— Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном! Знайте, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках! Вы два года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж? придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!

— Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, — княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, — расчеты на смерть его! Но — я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...

— Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее!» Это по крайней мере было бы откровеннее.

— Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, — с точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман, какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало: ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство! И вдруг ты, — ты, красавица, — жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностию сосет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина!

— Верно, стоят, коли надо выходить за калеку! Обман — всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.

— Напротив, друг мой, напротив! на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исступлении, сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила (я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию, — и бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, — если уж всё говорить! — но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! Он смешон, — не смотри на это. Он получеловек, — пожалей его: ты христианка! Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг — и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос... Тебя, главное, смущает, что всё это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе необходимое и всё раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре.

— Он не примет никакой помощи, — проговорила Зина тихо, как бы про себя.

— Он не примет, но мать его примет, — отвечала торжествующая Марья Александровна, — она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить своего несчастного сына.

— Ему скоро не нужна будет помощь!

— Знаю и это, на что ты намекаешь, — подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее, — знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста Станиславича; я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он наверно говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, — и это я еще прежде слышала, даже читала, — что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага, — одним словом, похоже на какое-то вино, — где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах! — одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого путешествия? Так обмани его, если тебе жаль! Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Всё на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому — всё позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, — все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и, если только он будет достоин тебя, — пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, — ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели; простив

ему, — ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом! О Зина! всё это в руках твоих! Все выгоды на твоей стороне — и всё это чрез замужество с князем.

Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении.

Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не верит, — думала Марья Александровна, — только бы ее заставить задуматься! только бы ловчее намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить!» Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась.

— Послушайте, маменька, — сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость. — Послушайте, маменька...

Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивавший Марью Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места.

— Ах, боже мой! — вскричала она, — черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад! — прибавила она чуть не в отчаянии. — Но... но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверно, с вестями, иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать... Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! — закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье. — Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой о-ча-ро-ва-тельный сюрприз!

Зина убежала из комнаты.

Глава VI

Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая пятидесятилетняя дама, с остренькими глаз-

ками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую.

— Я к вам только на минутку, mon ange, — защебетала она. — Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи — vous comprenez! [1] — его ловят, ищут, тащат его нарасхват, шампанским поят, — вы не поверите! не поверите! Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?

— У Натальи Дмитриевны! — вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте. — Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго!

— Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь!

— А что ж... Мозгляков? Ведь он обещался...

— Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш... Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в картишки там не засадят, — опять проиграется, как прошлый год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят как липку. А какие она вещи про вас распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы завлекаете князя, ну там... для известных целей, — vous comprenez? Сама ему толкует об этом. Он, конечно, ничего не понимает, сидит, как мокрый кот, да на всякое слово: «ну да! ну да!» А сама-то, сама-то! вывела свою Соньку — вообразите: пятнадцать лет, а всё еще в коротеньком платье водит! всё это только до колен, как можете себе представить... Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен, — я в лорнет смотрела... На голову им надели какие-то красные шапочки с перьями, — уж не знаю, что это изображает! — и под фортепьяно заставила обеих пигалиц перед князем плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так и растаял: «формы, говорит, формы!» В лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! раскраснелись, ноги вывертывают, такой монплезир пошел, что люли, да и только! тьфу! Это — танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, — так я бла-

---

[1] понимаете! (*франц.*)

городный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сгорела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!..

— Но... разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? ведь вы...

— Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Mais, ma chère, [1] мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала. А то где ж бы я его увидала? Поехала бы я к ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе: всем шоколад подают, а мне нет, и всё время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка этакая! Вот я ж ей теперь! Но прощайте, mon ange, я теперь спешу, спешу... Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и ей рассказать... Только вы теперь так и проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет. Знаете — памяти-то у него нет, так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтобы вы не того... понимаете? насчет Зины...

— Quelle horreur! [2]

— Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня: обед готовят, ножами стучат... за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась... тьфу! Mais adieu, mon ange! [3] У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала...

Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины.

Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее.

— Маменька, — сказала она, предупреждая Марью Александровну, — сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями — всё это такое иезуитство,

---

[1] Но, милая моя (*франц.*).
[2] Какой ужас! (*франц.*)
[3] Но прощайте, мой ангел! (*франц.*)

которое не могло обмануть меня. Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб вы это непременно знали!

— Но, mon ange!.. — вскрикнула оробевшая Марья Александровна.

— Молчите, маменька! Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что всё это только одно иезуитство; несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, — я принимаю ваше предложение вполне, слышите: *вполне*, и объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтоб заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю? — вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на всё: я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтоб загладить перед ним мою низость; я употреблю всё на свете, чтоб он не раскаивался в том, что женился на мне! Но, взамен моего решения, я требую, чтоб вы откровенно сказали мне: каким образом вы всё это устроите? Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то — я вас знаю — вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откровенность — непременное условие! Я не могу решиться, не зная положительно, как вы всё это сделаете?

Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней, немая и неподвижная от изумления, и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на всё, даже вопреки своим убеждениям! Следственно, дело принимало необыкновенную прочность, — и радость засверкала в глазах ее.

— Зиночка! — воскликнула она в увлечении, — Зиночка! ты плоть и кровь моя!

Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь.

— Ах, боже мой! я не прошу ваших объятий, маменька, — вскричала Зина с нетерпеливым отвращением, — мне не надо ваших восторгов! я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего.

— Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь... ведь я для твоего же счастья стараюсь...

И непритворные слезы заблистали в глазах ее. Марья Александровна действительно любила Зину, *по-своему*, а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, и — тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее ненавидела...

— Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении, — сказала она, чтоб успокоить ее.

— Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! — защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь. — Ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности... Изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть; ты, как умная головка, поймешь — почему. Я даже предвижу некоторые затруднения... Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины... (Ах, боже мой! спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но, клянусь тебе, я достигну цели! — прибавила она в восторге. — Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя, — а ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное — чтоб не помешали! Да этим ли дурам перехитрить меня, — вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами, — уж это мое дело! А для этого — всего нужнее как можно скорей начинать, даже чтоб сегодня и кончить всё главное, если только возможно.

— Хорошо, маменька, только выслушайте еще одну... *откровенность*: знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и всё брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет!..

— Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, mon ange? — робко возразила было Марья Александровна. — Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают! Только надобно с этой точки взглянуть, и всё очень благородно покажется...

— Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной! Вы видите, я на всё, на всё согласна! — ну чего ж вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь — единственное мое утешение!

И горькая улыбка показалась на губах ее.

— Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и всё превосходно, преблагородно уладится, главное — преблагородно! Скандалу не будет никакого, а если и будет какой-нибудь маленький, необходименький скандальчик, — так... какой-нибудь! — так ведь мы уж будем тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть их кричат во всё горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них заботиться! Я даже удивляюсь тебе, Зиночка

(но ты не сердись на меня), — как это ты, с твоей гордостью, их боишься?

— Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совершенно меня не понимаете! — отвечала раздражительно Зина.

— Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что они сами каждый божий день пакости строят, а тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни... да и что я, дура! Вовсе не пакость! Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, всё оттого, с какой точки зрения смотреть...

— Да полноте, маменька, с вашими доказательствами! — с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою.

— Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась...

Наступило маленькое молчание. Марья Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая провинившаяся собачка смотрит в глаза своей барыне.

— Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело, — с отвращением продолжала Зина. — Я уверена, что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором.

— О, если только это тебя беспокоит, мой ангел, — пожалуйста, не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя! Только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из каких я передряг суха выходила? Такие ли дела мне случалось обделывать! ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком случае прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое! а всё остальное будет зависеть от этого! Но уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но... это ничего! я их сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков...

— Мозгляков? — с презрением проговорила Зина.

— Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка! клянусь тебе, я его до того доведу, что он же будет нам помогать! Ты еще не знаешь меня, Зиночка! ты еще не знаешь, какая я в деле! Ах! Зиночка, душенька! давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем *действительно* будешь женой его! А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт! Ведь ему ж, дураку, будет выгода, — ему же, дураку, дают такое неоцененное счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту ручку? — И Марья Александровна горячо поцеловала руку у дочери. — Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как заживем-то

мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я; все-таки...

— Маменька! если уж вы решились, то, может быть, вам пора... что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете! — в нетерпении сказала Зина.

— Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! — схватилась Марья Александровна. — Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду! Подъеду, вызову Мозглякова, а там... Да я его силой увезу, если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти, главное — не грусти! всё прекрасно, преблагородно обделается! Главное, с какой точки смотреть... ну, прощай, прощай!..

Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand. [1]

«Нет, не вам перехитрить меня! — думала она, сидя в своей карете. — Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут — оборваться! вздор! Ай да Зина! Согласилась-таки наконец! Значит, и на твою головку действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила ей заманчивую! Тронула! Но только ужас как она хороша сегодня! Да я бы, с ее красотой, пол-Европы перевернула по-своему! Ну, да подождем... Шекспир-то слетит, когда княгиней сделается да кой с чем познакомится. Что она знает? Мордасов да своего учителя! Гм... Только какая же она будет княгиня! Люблю я в ней эту гордость, смелость, недоступная какая! взглянет — королева взглянула. Ну как, ну как не понимать своей выгоды? Поняла ж наконец! Поймет и остальное... Я ведь все-таки буду при ней! Согласится же наконец со мной во всех пунктах! А без меня не обойдется! Я сама буду княгиня; меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишка! Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли откровенничала, не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох пугает!»

И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи.

Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала отирать их, — останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька

---

[1] на широкую ногу (*франц.*).

и старалась проникнуть в мысли своей дочери: Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям...

«Постой же! — думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы. — А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князишки! И поверила же, дура, что он на мне женится! Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру. Еще бы с тебя упустить не взять, франтиха ты этакая! Я взяла благородным образом; я взяла на сопряженные с делом расходы... Может, мне самой пришлось бы взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты этакая! Тебе бы только по канве вышивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость!»

Глава VII

Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, — было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила!» — говорила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж бы она была героиня?

Бесспорно, что всё это походило несколько на разбой на большой дороге; но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвенчают, так уж не развенчаются», — мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был составлен вчерне, вообще, en grand [1] и еще как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи — нет! ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожи-

---

[1] Здесь: в главных чертах (*франц.*).

дала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают всё из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала, по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного, в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они — неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю Зину; что Мозгляков в отставке и что всё это уже решено и подписано. Что было причиною таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, — не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Таково-то чутье провинциалов! Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны, — за что? — неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиною. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, *своего поля ягода*. Исчезни она из города, и — кто знает? — об ней бы,

может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, может быть сама не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала; чего доброго — пожалуй, еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в своем уме; что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и безнравственность; что, наконец, чем же другие хуже Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя. Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить всё, что возможно и что даже невозможно, чтоб воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, войдут в окно: случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала наверно, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов.

Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят: каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом? — то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над

какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех всё оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно. Тут уж подливала сама Марья Александровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был видимо не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже, украдкой, делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны.

А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение: надо спешить, торопиться, а этот «проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, которому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же, в самом деле, начинать такое дело при нем! Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление, радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, — разумеется, к его величайшему сожалению, — необходимо сейчас же отправиться.

— Куда это? — спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна.

— Вот видите, Марья Александровна, — начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь, — со мной случилась престранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать... дайте мне, ради бога, совет!

— Что, что такое?

— Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, — тот купец... встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному,

как проснется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно, — но подумайте! Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только полтораста душ. А ведь у него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему — сто тысяч по духовной оставит. Семьдесят лет, — подумайте!

— Ах, боже мой! так что ж это вы! что же вы медлите? — вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость. — Поезжайте, поезжайте! этим нельзя шутить. То-то, я смотрю, за обедом — вы такой скучный! Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!

— Да ведь вы же сами, Марья Александровна, — в изумлении вскричал Мозгляков, — вы же сами нападали на меня за это знакомство! Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными да поверенными?

— Ах, mon ami! Мало ли мы что говорим необдуманного! Я тоже могу ошибиться, я — не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа... Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке... Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зрения, и — какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у него посидите... да послушайте! Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да этак половчее, получше! Ах, боже мой! И у меня ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой догадаться вас надоумить!

— Воскресили вы меня, Марья Александровна! — вскричал восхищенный Мозгляков. — Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда...

— Благословляю вас, mon ami! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый старичок. Я давно уже переменила о нем мои мысли... Я и всегда, впрочем, любила в нем всё это старинное русское, неподдельное... Au revoir, mon ami, au revoir!

«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам бог помогает!» — подумала она, задыхаясь от радости.

Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг, откуда ни возьмись, Настасья Петровна. Она поджидала его.

— Куда вы? — сказала она, удерживая его за руку.

— К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой; удостоился меня крестить... Богатый старик, оставит что-нибудь, надо польстить!..

Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа.

— К Бородуеву! ну так и проститесь с невестою, — резко сказала Настасья Петровна.

— Как так «проститесь»?

— Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала!

— За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!

— Да чего «помилосердуйте»! Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда!

Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала.

— Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю!..

— А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется.

— Какая комедия?

— Тсс! не говорите громко! Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться, и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я всё отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура! Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, послушайте-ка!

— Да ведь это безбожнейшее коварство, если так! — прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне.

— Да вы только послушайте, и не то еще услышите.

— Да где же слушать?

— Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку...

— Но, Настасья Петровна, я... я не способен подслушивать.

— Эк, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в карман; пришли, так уж слушайте!

— Но, однако же...

— А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь!

Павел Александрович скрепя сердце нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит.

Глава VIII

— Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны? — спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным

образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания.

После обеда князя тотчас же перевели в «салон», в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.

— Чрез-вы-чайно весело, — отвечал князь, — и, знаете, бес-по-добней-шая женщина, Наталья Дмитриевна, бес-по-до-бнейшая женщина!

Как ни занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала сопернице уколола ее в самое сердце.

— Помилуйте, князь! — вскричала она, сверкая глазами, — если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что́ после этого! Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества, совершенно не знаете! Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят!

— Неужели? — воскликнул князь. — Удивляюсь!

— Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей, на прошлой неделе, — помнишь? Да, князь, — это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою вы так восхищаетесь. О милейший мой князь! Клянусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это, единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что́ здесь за люди! Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я за чем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице: она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю: лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова! У ней свой каменный дом и денег бессчетно! Этот случай смешной, комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества!

— Не-у-же-ли! — воскликнул князь, искренно удивляясь. — Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она всё одна съела?

— Так вот какая она *бесподобнейшая* женщина, князь! как

вам нравится этот позорный случай? Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок!

— Ну да, да... Только, знаете, она все-таки такая belle femme... [1]

— Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы сказали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу...

— Ну да, кадушка... только, знаете, она так сложена... Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она тоже... сложена...

— Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей всего четырнадцать лет!

— Ну да... только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже... такие формы... формируются. Ми-лень-кая такая! и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже... формируется...

— Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто берут.

— Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки вымыла... А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая...

Говоря это, князь с какою-то возрастающею жадностью рассматривал Зину в лорнет.

— Mais quelle charmante personne! [2] — бормотал он вполголоса, тая от наслаждения.

— Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали, князь, — продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою, плавною поступью, от которой чуть не покоробило бедного старичка, — если б вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства, какое сердце!

— Ну да... чувства... и, знаете ли, я только одну женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по кра-со-те, — перебил князь, глотая слюнки. — Это покойная графиня Наинская, умерла лет тридцать тому назад. Вос-хи-тительная была женщина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего повара вышла...

— За своего повара, князь!

— Ну да, за своего повара... за француза, за границей. Она ему за гра-ни-цей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими у-си-ка-ми.

— И — и... как же они жили, князь?

— Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились...

— Маменька, что мне играть? — спросила Зина.

---

[1] Здесь: статная женщина (*франц.*).
[2] Но какое очаровательное существо! (*франц.*)

— Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?

— О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.

— С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном! — кричит в восторге Марья Александровна. — Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бетховеном?

— Ну да... мы были с ним на дру-жес-кой но-ге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!

— Бетховен?

— Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бет-хо-вен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень много нем-цев... Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.

— Что же мне петь, маменька? — спросила Зина.

— Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур... Ах, князь! Как я люблю всё это рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры... Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь, поближе! Ах, эти замки, замки!

— Ну да... замки. Я тоже люблю зам-ки, — бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. — Но... боже мой! — восклицает он, — это романс!.. Но... я знаю этот ро-манс! Я давно уже слышал этот романс... Это так мне на-по-минает... Ах, боже мой!

Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый, звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, — всё это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями (а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно... Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.

— О ma charmante enfant! [1] — вскричал он, целуя ее пальчики. — Vous me ravissez! [2] Я теперь, теперь только вспомнил... Но... но... о ma charmante enfant...

И князь даже не мог докончить.

Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута.

— Зачем же вы губите себя, князь? — воскликнула она тор-

---

[1] прелестное дитя! (*франц.*)

[2] Вы меня восхищаете! (*франц.*)

жественно. — Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединение! убежать от людей, от друзей! Но это непростительно! Одумайтесь, князь! взгляните па жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, — воспоминания золотой вашей молодости, золотых, беззаботных дней, — воскресите их, воскресите себя! Начните опять жить в обществе, меж людей! Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию — в Испанию, князь!.. Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу всё и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами... и даже, если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели!

— И я уверен, что вы были une charmante personne в свое вре-мя, — проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.

— Мы живем в наших детях, князь, — с высоким чувством отвечала Марья Александровна. — У меня тоже есть свой ангел-хранитель! И это — она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже семь предложений, не желая расставаться со мною.

— Стало быть, она с вами поедет, когда вы бу-дете со-про-вож-дать меня за гра-ницу? В таком случае я непременно поеду за гра-ницу! — вскричал князь, одушевляясь. — Неп-ре-менно поеду! И если б я мог льстить себя на-деж-дою... Но она очаровательное, оча-ро-ва-тельное дитя! O ma charmante enfant!.. — И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать перед ней на колени.

— Но... но, князь, вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою? — подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. — Но вы странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии! вы — представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и... манер! Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот очаровательный маркиз двора Людовика... я забыла которого, — уже в преклонных летах, уже старик, — победил сердце одной их первейших придворных красавиц!.. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах, с молодою женой, с такой же красавицей, как например моя Зина, — я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения, — и вы увидите, какой колоссальный будет эффект! Вы — обломок аристократии, она — красавица из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку;

она поет в блестящем обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием, — да все воды сбегутся смотреть на вас! Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос... Князь, князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?

— Фельетоны... ну да, ну да!.. Это в газетах... — бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марьи Александровны и раскисая всё более и более. — Но... ди-тя мое, если вы не ус-тали, — повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели!

— Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще лучше... Помните, князь, «L'hirondelle»? [1] Вы, вероятно, слышали?

— Да, помню... или, лучше сказать, я за-был. Нет, нет, прежний ро-манс, тот самый, который она сейчас пе-ла! Я не хочу «L'hirondelle»! Я хочу тот романс... — говорил князь, умоляя, как ребенок.

Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колена. Он плакал.

— O ma belle châtelaine! [2] — восклицал он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. — O ma charmante châtelaine! [3] О милое дитя мое! вы мне так много на-пом-нили... из того, что давно прошло... Я тогда думал, что всё будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты... с виконтессой... этот самый романс... а теперь... Я не знаю, что уже те-перь...

Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масла в огонь.

— Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! — вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.

Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.

— Я до безумия влюблен в нее! — вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, всё еще стоя на коленах и весь дрожа от волнения. — Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог на-деяться... Но подымите меня, я не-мно-го ос-лаб... Я... если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то... я... она бы мне каждый день пела ро-ман-сы, а я бы всё смотрел на нее... всё смотрел... Ах, боже мой!

— Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери! — Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно

---

[1] «Ласточку» (*франц.*).
[2] Здесь: моя прекрасная владычица! (*франц.*)
[3] Здесь: моя очаровательная владычица! (*франц.*)

отталкивали... Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала, а это — всё, что было надо Марье Александровне.

— Она девять раз отказывала, чтоб только не разлучаться с своею матерью! — кричала она. — Но теперь — мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас... Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!.. О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..

— Я о-бо-жаю ее! — пробормотал князь, всё еще дрожа как осиновый листик.

— Итак, ты оставляешь мать свою! — воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.

Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.

— Я только теперь на-чи-наю жить, — бормотал он, захлебываясь от восторга.

— Зина! — торжественно проговорила Марья Александровна, — взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это знает, князь; она знает, на горе моему сердцу... О! зачем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и какая мать осудит меня за мою горесть!

— Маменька, довольно! — прошептала Зина.

— Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?

— Довольно, маменька, или я...

— Ну да, блеснет... — бормотал князь. — Я только теперь начинаю жить... Я хочу, чтоб сейчас же, сию ми-нуту была свадьба... я... Я хочу послать сейчас же в Ду-ха-но-во. Там у меня брил-ли-анты. Я хочу положить их к ее ногам...

— Какой пыл! какой восторг! какое благородство чувств! — воскликнула Марья Александровна. — И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской...

— Что ж мне де-лать, я так бо-ялся! — бормотал князь, хныча и расчувствовавшись. — Они меня в су-мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли... Я и испугался.

— В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные люди! О низкое коварство! Князь — я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей! Но за что же, за что?!

— А я и сам не знаю за что! — отвечал старичок, от слабости садясь на кресло. — Я, знаете, на ба-ле был и какой-то

анекдот рас-ска-зал; а им не понра-ви-лось. Ну и вышла история!

— Неужели только за это, князь?

— Нет. Я еще по-том в карты иг-рал с князем Петром Дементьи-чем и без шести ос-тал-ся. У меня было два ко-ро-ля и три дамы... или, лучше сказать, три дамы и два ко-ро-ля... Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были и да-мы...

— И за это? за это! о адское бесчеловечие! вы плачете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и посмотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже, знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их! Они увидят, что вы еще способны... то есть они поймут, что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица! Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо...

— Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо, — пробормотал князь, закрывая глаза.

«Однако он совсем раскис, — подумала Марья Александровна. — Только слова терять!»

— Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения, — сказала она, матерински нагибаясь к нему.

— Ну да, я бы хотел немно-го по-ле-жать, — сказал он.

— Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения... Постойте, я сама провожу вас... Я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери — этого ангела, а не женщины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была праведница! князь, праведница! — иначе я не называю ее!

— Пра-вед-ни-ца? c'est joli... [1] У меня тоже была мать... princesse... [2] и — вообразите — нео-бык-новен-но полная была жен-щина... Впрочем, я не то хотел ска-зать... Я не-мно-го ослаб. Adieu, ma charmante enfant!.. Я с нас-лажде-нием... я сегодня... завтра... Ну, да всё рав-но! au revoir, au revoir! — тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге.

— Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку, — кричала Марья Александровна.

— Charmant! charmant! — бормотал он, уходя. — Я теперь только на-чи-наю жить...

Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее... В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбежал в комнату.

---

[1] это мило (*франц.*).
[2] княгиня (*франц.*).

Глава IX

Он слышал всё, всё!

Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением.

— Так-то вы! — вскричал он задыхаясь. — Наконец-то я узнал, кто вы такая!

— Кто я такая! — повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблистали гневом.

— Как смели вы так говорить со мной! — вскричала она, подступая к нему.

— Я слышал всё! — повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.

— Вы слышали? вы подслушивали? — сказала Зина, с презрением смотря на него.

— Да! я подслушивал! да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам... какая вы теперь выходите! — отвечал он, всё более и более робея перед взглядом Зины.

— А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?

— Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права!.. да вы мне слово дали, вот что!

— Когда?

— Как когда?

— Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.

— Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас! значит, вы завлекали меня.

В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство.

— Если я вас не прогоняла, — отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, — то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но разглядеть вас поближе, и «тогда, — сказали вы, — тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете». Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали? Знайте, что того не

завлекают, перед кем не могут и *не хотят* скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, — мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!

Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.

Мозгляков, догадавшись, что всё потеряно, закипел от ярости.

— А! так я дурак, — кричал он, — так я теперь уж дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова.

Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь.

В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима! У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.

— Что с вами, mon ami? — сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку.

— Как: *mon ami!* — вскричал он в бешенстве, — после того, что вы натворили, да еще: *mon ami*. Морген фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?

— Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком *странном* состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой.

— Перед дамой! Вы... вы всё, что хотите, а не дама! — вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое.

Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.

— Сядьте! — грустно проговорила она, показывая ему на кресла, в которых, четверть часа тому, покоился князь.

— Но послушайте наконец, Марья Александровна! — вскричал озадаченный Мозгляков. — Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой тон!.. ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения... знаете ли вы это?

— Друг мой! — отвечала Марья Александровна, — вы позволите мне всё еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой! вы страдаете, вы измучены,

вы уязвлены в самое сердце — и потому не удивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам всё, всё мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.

Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий.

В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресла.

— Вы подслушивали? — продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.

— Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать; вот бы олух-то был! По крайней мере узнал всё, что вы против меня затеваете, — грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.

— И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О боже мой!

Мозгляков даже вскочил со стула.

— Но, Марья Александровна! — вскричал он, — это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте других!

— Еще вопрос, — сказала она, не отвечая на его вопросы, — кто вас надоумил подслушивать, кто рассказал, кто тут шпионил? — вот что я хочу знать.

— Ну уж извините, — этого не скажу-с.

— Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете всё, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра.

— Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!

И он повернулся в креслах так, что они затрещали.

— Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить всё, всё, и вы узнали бы от меня всё дело, до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча, то единственно потому, что всё дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.

— Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви *до безумия,* — иронически проговорил Мозгляков.

— Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.

— Ну, не до тону теперь, Марья Александровна! А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем,

а вы меня ну честить! Вы чернили меня, — вот что я вам говорю-с! Я это всё знаю, всё!

— И, верно, из того же грязного источника? — заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь. — Да, Павел Александрович, я чернила вас, я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, — уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего! Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных усилий, достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова; пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы...

Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.

— Но вы, вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна? — вскричал он. — За что вы чернили меня, клеветали на меня, — в чем сами признаетесь теперь?

— А, это другое дело! Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы! Всё это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, — может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, — тогда Зина — молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила.

— Гм! — промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги.

— Во-вторых, — и об этом я упомяну только вкратце, — продолжала Марья Александровна, — потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и *очень добры*, но еще слишком молоды, — а я мать, Павел Александрович! Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика.

Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние, закатные дни! Где же тут эгоизм, — скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм!

— Так вы... так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия? — промычал Мозгляков насмешливым голосом.

— Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович; он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте в это дело Зину! Она чиста как голубь: она не рассчитывает; она только умеет любить, — милое дитя мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем неприметно, невольно! Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать: я сознаюсь, что, при всем благородстве моих целей, — я рассчитывала. Но, спроси́те, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти, и — какая мать может обвинить меня в этом случае?

Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами.

— Ну да, какая мать... — проговорил он наконец. — Вы хорошо поете, Марья Александровна, — но... но ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня... Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете, с каким носом?

— Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня, главным образом, исполнить всё это предприятие.

— Моя выгода! — вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. — Это как?

— Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным! — вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. — О молодость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем, — живя чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете, *добрый* мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление: Зина вас любит, — это несомненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами, — плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?

— За-ме-чал; и даже сегодня... Однако что же вы хотите сказать, Марья Александровна?

— Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать — и мне ли не угадать сердца моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того чтоб вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, — вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души...

— Гм!..

— Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастия, и я уже не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь!» И тут бы вы устремили на нее взор, — взор закалаемого агнца, если можно так выразиться, — вообразите всё это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце!

— Да, Марья Александровна, положим, всё это так; я это всё понимаю... но что же, — я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего...

— Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин, и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну (но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки

Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, — а вы один, бледный и убитый вашею страстию! Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я, — подумает она, — я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!» Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою!

Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгляков повернулся в креслах с такою силою, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала.

— Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, — в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, — где страна любви, где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней; вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается ваша любовь с неудержимою силой; любовь, молодость. Испания, — боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая; но вы, наконец, *томитесь,* смотря друг на друга. Вы меня понимаете, mon ami! Конечно, найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочною, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но — что до этого! Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, — и в какое же время? — когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Чрез нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества; через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты; князь устроит всё в своем завещании; я берусь за это. И наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» Павел Александрович, помилуйте!

— Марья Александровна! — вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении, — теперь я всё понял! я поступил грубо, низко и подло!

Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.

— И не расчетливо, — прибавила Марья Александровна, — главное: не расчетливо!

— Я осел, Марья Александровна! — вскричал он почти в отчаянии. — Теперь всё погибло, потому что я до безумия люблю ее!

— Может быть, и не всё погибло, — проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.

— О, если б это было возможно! Помогите! научите! спасите!

И Мозгляков заплакал.

— Друг мой! — с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку, — вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили себя! ведь должна же она понять всё это...

— Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! — кричал Мозгляков.

— Послушайте, я оправдаю вас перед нею...

— Марья Александровна!

— Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете ей всё, всё, как я вам сейчас говорила!

— О боже! как вы добры, Марья Александровна!.. Но... нельзя ли это сделать сейчас?

— Оборони бог! О, как вы неопытны, друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность! Завтра же я устрою всё, а теперь — уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу... пожалуй, приходите вечером; но я бы вам не советовала!

— Уйду, уйду! боже мой! вы меня воскрешаете! но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро умрет?

— Ах, боже мой, как вы наивны, mon cher Paul. Напротив, нам надобно молить бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая, со слезами, и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох боюсь, чтоб это окончательно не довершило его! Но — будем молиться, cher Paul, а остальное — в руце божией!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное — мужайтесь! Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших...

Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.

— Ну, проводила одного дурака! — сказала она с торжеством. — Остались другие...

Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.

— Маменька! — сказала она, — кончайте скорее, или я не вынесу! Всё это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня тошнит от всей этой грязи!

— Зина! что с тобою, мой ангел? Ты... ты подслушивала! — вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину.

— Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу всё и покончу всё разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость! Но... я не знала себя! Я задохнусь от этого смрада!.. — И она вышла, хлопнув дверями.

Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.

— Спешить, спешить! — вскричала она, встрепенувшись. — В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, — что, уж верно, и сделано, — то всё пропало! Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться! А там тот выспится — и отправимся! — Она позвонила.

— Что ж лошади? — спросила она вошедшего человека.

— Давно готовы-с, — отвечал лакей.

Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя.

Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб сообщить ей, в главных чертах, свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы.

Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, и чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи.

«Скверно то, что Зина подслушивала! — думала она, сидя в карете. — Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась... Гм! Но главное, главное — успеть всё обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!..»

И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеичу; она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.

Глава X

Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была: в свою очередь конфисковать князя и, как можно скорее,

увезти его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеич. Не скроем, что на Марью Александровну всё более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в деревне, — рассуждала она, — так тут хоть весь город вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Всё могло случиться, всё, решительно всё, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обделывались! Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое comme il faut; внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец, можно было всё выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае можно даже и напоить его или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не обойдется потом без скандалу, например хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, всё это еще впереди; а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Mémoires du Diable».[1] Что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно: везти князя в деревню значило везти его к Афанасию Матвеичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сановитого отца семейства, в белом галстухе и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло про-

---

[1] «Записок дьявола» (*франц.*).

извести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец карета пролетела три версты, и кучер Софрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни.

— Где болван? — закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. — Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?

Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеичем гораздо мягче, но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеича; такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.

— Да не даются, оттого и не стриг, — проговорил он ворчливым и осиплым голосом. — Десять раз с ножницами подходил, — вот, говорю, барыня ужо-тка приедет, — нам обоим достанется, тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне надо, чтоб волосы длинные были.

— Как? так он завивается! так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? — кричала супруга, накидываясь всё более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасья Матвеича.

— Ма-матушка! — пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу, — ма-ма-матушка!..

— Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!

— Да... да ведь ты, Марья Александровна, всё же законная жена моя, так вот я и говорю... по-супружески... — возразил

было Афанасий Матвеич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить свои волосы.

— Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно-низкое слово: «*законная*»? — и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы? совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как теперь везти его? Как теперь людям показать? Что теперь делать?

И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая; но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасья Матвеича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвеич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.

— Гришка! — вскричала наконец она, — тотчас же барину одеваться! фрак, брюки, белый галстух, жилет, — живее! Да где его головная щетка, где щетка?

— Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу, если в город ехать...

— Не простудишься!

— Да вот и волосы мокрые...

— А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери головную щетку, три его досуха; крепче! крепче! крепче! вот так! вот так!

Под эту команду усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть не плакал.

— Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где помада? Нагнись, нагнись, негодяй, — нагнись, дармоед!

И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не остриг. Афанасий Матвеич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностию выдержал всю операцию.

— Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! — проговорила Марья Александровна. — Да нагнись еще больше, нагнись!

— Чем же я, матушка, высосал твои соки? — промямлил супруг, нагибая как только мог более голову.

— Болван! аллегории не понимает! Теперь причешись; а ты одевай его, да живее!

Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.

— Куда ж это ты везешь меня, Марья Александровна? — проговорил он, охорашиваясь.

Марья Александровна не поверила было ушам своим.

— Слышите! ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя!

— Матушка, да ведь надо же знать...

— Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю.

Испуганный супруг умолк.

— Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты этакая, — продолжала она, с презрением смотря на черный фрак Афанасия Матвеича.

Афанасий Матвеич наконец обиделся.

— Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка, — проговорил он в благородном негодовании.

— Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился! ах ты, мужик ты этакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час всё было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь?

Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, — как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее.

— А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел, — возвестил он, совсем неожиданно, посреди обоюдного молчания.

— Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и бог знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я, — я уж и не знаю, что с тобой сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К. Помнишь князя К.?

— Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?

— Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?

— Ну, а если что-нибудь спросят?

— Всё равно молчи.

— Но ведь нельзя же всё молчать, Марья Александровна.

— В таком случае отвечай односложно, что-нибудь этакое, например «гм!» или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.

— Гм.

— Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?

— Гм.

— Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай.

— Хорошо, матушка, всё будет по-твоему; только зачем я приглашать-то буду князя?

— Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело: зачем? да как ты смеешь об этом спрашивать?

— Да я всё к тому, Марья Александровна: как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?

— Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?

— Понимаю, мат... Марья Александровна.

— Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на всё отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь?

— Гм.

— Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай: слышишь иль нет?

— Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я всё про то же, матушка; как же это: если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?

— Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе: молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.

— Да ведь он подумает, что я немой, — проворчал Афанасий Матвеич.

— Велика важность! пусть думает; зато скроешь, что ты дурак.

— Гм... Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?

— Никто не спросит, никого не будет. А если, на случай, — чего боже сохрани! — кто и приедет, да если что тебя спросит

или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?

— Это остроумная, что ли, матушка?

— Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая улыбка, понимаешь, — насмешливая и презрительная.

— Гм.

«Ох, боюсь я за этого болвана! — шептала про себя Марья Александровна. — Решительно, он поклялся высосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем не брать!»

Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей всё казалось тихо. Афанасий Матвеич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая — Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания:

— Марья Александровна! и вместе с Афанасием Матвеичем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам, на весь вечер! Какой сюрприз!

Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим.

«Провалились бы вы! — подумала она про себя. — Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но... не вам, сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»

Глава XI

Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимоходом, под шумок,— внимание какой-нибудь графини из «выс-

шего общества», в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К., вице-губернаторское место, денежки, — одним словом, всё, так красноречиво расписанное Марьей Александровной, еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот — и не знаю, право, как это объяснить, — когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае, всё это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Всё это, неизвестно почему, начало сердить Павла Александровича — признак очень дурной, потому что, при хорошем обороте дел, всё, напротив, кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми — в отставке! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел наконец на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда ли это всё? Да сбудется ли это всё так, как Марья Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна — чрезвычайно хитрая дама, что она, как ни достойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины и что, наконец, расписывать — всякий мастер. Думал он и о Зине; припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее дурака. При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие: он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел наконец до угла улицы и тут

только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице; его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи! — говорил он про себя, плюя от злости. — А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей — он удивился. «Неужели же гости, неужели званый вечер? — подумал он. — С какою же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвеича, в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться.

Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его.

— Как ваше здоровье, дядюшка? — спросил Мозгляков.

— Как... это ты? — проговорил наконец дядюшка. — А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой! — вскрикнул он, весь оживившись, — ведь я... без па-рика!

— Не беспокойтесь, дядюшка! я... я вам помогу, если вам угодно.

— А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь говорил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты должен не-мед-ленно дать мне свое честное сло-во, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы нак-лад-ные.

— О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня считаете способным на такую низость! — вскричал Мозгляков, желая угодить старику для... дальнейших целей.

— Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благородный человек, то, уж так и быть, я тебя у-див-лю... и открою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой милый, мои у-сы?

— Превосходные, дядюшка! удивительные! как могли вы их сохранить так долго?

— Разуверься, мой друг, они нак-лад-ные! — проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александровича.

— Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы, верно, черните их?

— Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные!

— Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мною смеетесь!

— Parole d'honneur, mon ami! [1] — вскричал торжествующий князь, — и предс-тавь себе, все, реши-тельно все, так же как и ты, обма-ны-ваются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их нак-ла-ды-вает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово...

— Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам: неужели вы меня считаете способным на такую низость?

— Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вы-валил.

— Вывалил опять! когда же?

— А вот мы уже к мо-нас-тырю подъезжали...

— Знаю, дядюшка, давеча.

— Нет, нет, два часа тому назад, не бо-лее. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил; так на-пу-гал, — даже теперь сердце не на месте.

— Но, дядюшка, ведь вы почивали! — с изумлением проговорил Мозгляков.

— Ну да, почивал... а потом и по-е-хал, впрочем, я... впрочем, я это, может быть... ах, как это странно!

— Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого послеобеда.

— Неужели? — И князь задумался. — Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я всё помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то престрашный бык с рогами; а потом приснился какой-то про-ку-рор, тоже как будто с ро-гами...

— Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.

— Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бона-парте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

— Ну да, это en face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбитной, ве-сельчак такой, так что он чрез-вы-чайно меня позабавил.

---

[1] Честное слово, мой друг! (*франц.*)

— Это вы про Наполеона, дядюшка? — проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове, — мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.

— Ну да, про На-по-леона. Мы с ним всё про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили... анг-ли-чане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек! Но всетаки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-о-битаемый остров...

— Почему же на необитаемый? — спросил Мозгляков рассеянно.

— Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе, как благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чения для него устроить: театр, музыку, балет — и всё на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется под присмотром, а то бы он сейчас у-лизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы у меня и рас-ка-ялся...

Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, — он еще сам не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.

— Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Представь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.

— Предложение, дядюшка? — вскричал Мозгляков оживляясь.

— Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. C'est une charmante personne... Но... признаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно. Я только теперь это ви-жу. Ах, боже мой!

— Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?

— Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю наверно когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-на-ко же, стран-но!

Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове.

— Но кому, когда вы сделали предложение, дядюшка? — повторил он в нетерпении.

— Хозяйской дочери, mon ami... cette belle personne... [1] впрочем, я забыл, как ее зо-вут. Только, видишь ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся. Что же мне теперь делать?

— Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?

— Ну да... я уверен.

---

[1] этой прелестной особе (*франц.*).

— А если всё это вы видели во сне, так же как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?

— Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне! Так что я теперь и не знаю, как туда по-ка-заться. Как бы это, друг мой, узнать на-вер-но, каким-нибудь по-сто-ронним образом: делал я предложение иль нет? А то, представь, каково теперь мое положение?

— Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего.

— А что?

— Я наверно думаю, что вы видели это во сне.

— Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более что мне часто снятся по-доб-ные сны.

— Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец...

— Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.

— Тем более, дядюшка, что, как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и...

— Ну да, ну да.

— Представьте только одно: если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, — что бы тогда было?

— Ах, боже мой! — вскрикнул испуганный князь. — А что бы тогда было?

— Помилуйте! да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.

Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.

— Ах, боже мой! — вскричал князь, дрожа как лист. — Неужели бы посадили?

— И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы всё это видели во сне.

— Непременно во сне, неп-ре-менно во сне! — повторял напуганный князь. — Ах, как ты умно рассудил всё это, мой ми-лый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил.

— А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе: без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно!

— Ну да... да, опасно!

— Вспомните только, что этой девице двадцать три года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете.

— Неужели?

— И наконец, вспомните, дядюшка: человек с вашими достоинствами...

— Ну да, с моими достоинствами...

— С вашим умом, с вашею любезностию...

— Ну да, с моим умом, да!..

— И наконец, вы — князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники?

— Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж испытал от них столько коварства и злобы... Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в су-мас-шедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать... в су-мас-шедшем-то доме?

— Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.

— Гости? Ах, боже мой!

— Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.

— Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше уеду.

— Завтра, дядюшка, завтра, утром, в семь часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.

— Непременно уеду... к отцу Мисаилу... Но, мой друг, ну, как они меня там сос-ва-тают?

— Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы всё это видели во сне... так, как оно и действительно было.

— Ну да, неп-ре-менно во сне! только, знаешь, мой друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тельный сон! Она удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы...

— Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы...

— Как! так ты меня одного оставляешь! — вскричал князь в испуге.

— Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь: сначала я, а потом вы. Это будет лучше.

— Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.

— Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром...

— А завтра утром к иеромонаху, непре-менно к ие-ро-мо-наху! Charmant, charmant! А знаешь, мой друг, она у-ди-ви-тельно хороша собой... такие формы... и если б уж так мне надо было непременно жениться, то я...

— Боже вас сохрани, дядюшка!

— Ну да, боже сохрани!.. Ну, прощай, мой милый, я сейчас... только вот за-пи-шу. A propos, я давно хотел тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?

— Читал, дядюшка, а что?

— Ну да... Я вот теперь и за-был, что хотел сказать...
— После вспомните, дядюшка, — до свиданья!
— До свиданья, мой друг, до свиданья! Только все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!..

Глава XII

— А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинишна тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть, — щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и, сверх того, очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе с Зиной.

— И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата Михайловна тоже хотели быть-с, — прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которою давно уже увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком, вместе с косточками.

— Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня, и еще вечером, — запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления, — но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?

— О боже мой, Марья Александровна, какие вы, право-с! — сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностию.

— Mais, ma charmante, — защебетала Анна Николаевна, — ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером да и думаем: поедем-ка к Марье Александровне да и решим всё разом! Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange? — прибавила она игриво, целуя Марью Александровну. — Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый день всё более хорошеете! — Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине.

— Да им и нечего делать больше-с, как хорошеть-с, — сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.

«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом театре! изловчились, сороки!» — прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства.

— Тем более, мой ангел, — прибавила Анна Николаевна, — что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то — кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться: ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет, — он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо.

— Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать-с, — многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.

Анна Николаевна не обманула Марью Александровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и комильфотностию.

Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если б пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостию приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось самые естественные; но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кой о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела всё, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеича можно было кой-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.

— Марья Александровна! Афанасий Матвеич с нами совсем говорить не хочет, — вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. — Прикажите ему быть поучтивее с дамами.

— Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, — отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь, — такой, право, неразговорчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Athanase? Что вы его спрашивали?

— Но... но... матушка, ведь ты же сама... — пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, всё было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж всё и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увезти от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.

Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.

— Ах, боже мой! Павел Александрович! — вскрикнуло несколько голосов.

— Ах, боже мой! да ведь это Павел Александрович! как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева-с, Павел Александрович, — пропищала Наталья Дмитриевна.

— Скрылся? — повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. — Странное выражение! Извините, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать, — прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну.

Марья Александровна затрепетала.

«Как, неужели и этот болван бунтуется! — подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. — Нет, это уж будет хуже всего...»

— Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка... по службе, разумеется? — выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза.

— Отставка? какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, — сухо отвечал Мозгляков.

— Ну, так поздравляю вас, — продолжала Фелисата Михайловна, — а мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь.

— Разве одни учительские, в уездном училище; тут еще можно найти вакансию, — заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.

— Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки? — включила Фелисата Михайловна.

Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеичем, который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:

— Это всё по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам — дурак я иль нет?

— Зачем откладывать? Это и теперь видно, — громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.

Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса.

— Вы от Бородуева? — решилась наконец спросить Марья Александровна.

— Нет-с, я от дядюшки.

— От дядюшки? так вы, значит, были теперь у князя?

— Ах, боже мой! так, значит, князь уж проснулись; а нам сказали, что они всё еще почивают-с, — прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марью Александровну.

— Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна, — отвечал Мозгляков, — он проснулся и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили, сначала у вас, а потом, уж окончательно, здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того некрепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за всё ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как например сегодня; а там уж его примет, с рук на руки,

Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать, — за это я отвечаю.

Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела как будто онемевшая от изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила.

— Так они завтра чем свет уезжают? как же это-с? — проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.

— Как же это так? — наивно раздалось между гостями. — А мы слышали, что... вот, право, странно!

Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, закусывала, — для желудка, как она выражалась, — и после закуски обыкновенно была в самом эманципированном состоянии духа, чтоб не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.

— А, так вот вы как, Марья Александровна, — закричала она на всю комнату, — вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг, и mon ange, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоколаду à la santé,[1] по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома! тьфу!

— Это видно-с, — заметила Наталья Дмитриевна.

— Но, помилуйте, Софья Петровна, — вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады, — что с вами? образумьтесь по крайней мере.

— Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я всё знаю, всё, всё узнала! — кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. — Всё узна-

[1] Буквально: для здоровья (*франц.*).

ла! Ваша же Настасья прибежала ко мне и всё рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, — герцогиня в кружевах, — тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала; за меня обер-комиссар Курочкин сватался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!

— Видите ли, Софья Петровна, — отвечала Марья Александровна, выходя из себя, — уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в *таком виде*, и если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры.

— Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим людишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте, выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне наплевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой Матрешке вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей Матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться, тьфу! — Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.

— Я думаю, они выпили-с, — сладко произнесла Наталья Дмитриевна.

— Но только какая дерзость!

— Quelle abominable femme![1]

— Вот так уж насмешила!

— Ах, какие они неприличности говорили-с!

— Только что ж это она про сговор говорила? Какой же сговор? — насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.

— Но это ужасно! — разразилась наконец Марья Александровна. — Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества, — нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их...

— Князь! князь! — закричали вдруг все гости.

— Ах, боже мой! ce cher prince!

— Ну, слава богу! мы теперь узнаем всю подноготную, — прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

---

[1] Какая отвратительная женщина! (*франц.*)

Глава XIII

Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею особою до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром (конечно, несерьезно), что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, — «потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности!» Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что всё дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.

— Ах, боже мой! вот и князь! а мы вас ждали, ждали, — закричали некоторые из дам.

— С нетерпеньем, князь, с нетерпеньем! — пропищали другие.

— Мне это чрезвычайно лест-но, — шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеич почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресла, близ камина.

— Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете? — пропищала Фелисата Михайловна.

— Ну да, mesdames, уезжаю. Я не-мед-ленно хочу ехать за гра-ни-цу.

— За границу, князь, за границу! — вскричали все хором. — Да что это вам вздумалось?

— За гра-ни-цу, — подтвердил князь, охорашиваясь, — и, знаете, я особенно хочу туда ехать для но-вых идей.

— Как это для новых идей? Это об чем же? — говорили дамы, переглядываясь одна с другой.

— Ну да, для новых идей, — повторил князь с видом глубочайшего убеждения. — Все теперь едут для новых и-дей. Вот и я хочу получить но-вы-е и-деи.

— Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка? — включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.

— Ну да, мой друг, ты не ошибся, — неожиданно отвечал дядюшка. — Я, дейст-ви-тельно, в старину к одной масонской ложе за границей при-над-лежал и даже имел, в свою очередь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много

сделать для сов-ре-мен-ного прос-вещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-век. Потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом таким, в бакенах, идет по бульвару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним такая бойкая, востроглазая, такая за-ман-чивая...

— Ну, дядюшка! Да вы, после этого, всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, — вскричал Мозгляков, хохоча во всё горло.

— Ты совершенно уга-дал мои желания, мой милый, — отвечал князь без запинки. — Я именно хочу их отпустить всех на во-лю.

— Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить? — вскричала Фелисата Михайловна.

— Конечно, все разбегутся, — тревожно отозвалась Анна Николаевна.

— Ах, боже мой! Не-уже-ли они и в самом деле убегут? — вскричал князь с удивлением.

— Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и оставят-с, — подтвердила Наталья Дмитриевна.

— Ах, боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю. Впрочем, ведь это я только так.

— Этак-то лучше, дядюшка, — скрепил Мозгляков.

До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл и что это вовсе не натурально.

— Позвольте, князь, — начала она громко и с достоинством, — вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме.

Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили.

— Ах, я очень рад, — сказал князь, — А-фа-насий Матвеич! Позвольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий Мат-ве-ич. Ну да, это тот, который в деревне. Charmant, charmant, очень рад. Друг мой! — вскричал князь, обращаясь к Мозглякову, — да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выхо-дило. Как бишь это? Муж в дверь, а жена... ну да, в какой-то город и жена тоже по-е-хала...

— Ах, князь, да это, верно, «Муж в дверь, а жена в Тверь», тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли, — подхватила Фелисата Михайловна.

— Ну да, именно в Тверь; я всё за-бы-ваю. Charmant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами позна-комиться, — говорил князь, не вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеичу. — Ну, как ваше здоровье?

— Гм...

— Он здоров, князь, здоров, — торопливо ответила Марья Александровна.

— Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы всё в де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий, и всё смеется...

Афанасий Матвеич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг, ни с того ни с сего, самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александровну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.

— Как вы почивали, князь? — спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно убирался на свое место.

— Ах, я очень хорошо спал, — отозвался князь, — и, знаете, видел один очарова-тельный сон, о-ча-ро-ва-тель-ный сон!

— Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, — вскричала Фелисата Михайловна.

— И я тоже-с, люблю-с очень-с! — прибавила Наталья Дмитриевна.

— О-ча-ро-вательный сон, — повторял князь с сладкой улыбкой, — но зато этот сон вели-чайший секрет!

— Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это, должно быть, удивительный какой-нибудь сон? — заметила Анна Николаевна.

— Ве-ли-чайший секрет, — повторял князь, с наслаждением подзадоривая любопытство дам.

— Так это, должно быть, ужасно интересно! — кричали дамы.

— Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви! — вскричала Фелисата Михайловна. — Ну, признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!

— Признайтесь, князь, признайтесь! — подхватили со всех сторон.

Князь торжественно и с упоением внимал всем этим крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.

— Хотя я и сказал, что мой сон — величайший секрет, — отвечал он наконец, — но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совер-шенно его от-га-дали.

— Отгадала! — с восторгом вскричала Фелисата Михайловна. — Ну, князь! Теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица?

— Непременно откройте!

— Здешняя иль нет?

— Миленький князь, откройте!

— Душенька князь, откройте! хоть умрите, да откройте! — кричали со всех сторон.

— Mesdames, mesdames!.. если вы уж хотите так на-сто-я-тельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это — самая о-ча-ро-вательная и, можно сказать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я знаю, — промямлил совершенно растаявший князь.

— Самая очаровательная! и... здешняя! кто ж бы это? — спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.

— Разумеется, те-с, которые здесь первые красавицы считаются-с, — проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.

— Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться? — спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом.

— А как бы мы славно женили вас! — подхватила другая дама.

— Миленький князь, женитесь! — пропищала третья.

— Женитесь, женитесь! — закричали со всех сторон. — Почему ж не жениться?

— Ну да... почему ж не жениться? — поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками.

— Дядюшка! — вскричал Мозгляков.

— Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии более жениться. и, проведя очарова-тельный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за евро-пейским про-све-щением.

Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла всё и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова как таракана и одним решительным, смелым ударом завоевать вновь всё свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне!

— Mesdames, — начала она торжественно и с достоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность), — mesdames, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора

мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе — совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)... Никогда бы я, первая, не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя; но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же самое обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения... Не правда ли, князь, я не ошиблась?

— Ну да, вы не ошиблись... и я очень, очень рад... — проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.

Марья Александровна, для большего эффекта, остановилась перевести дух и оглядела всё общество. Все гостьи с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина покраснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.

— Да, mesdames, я с радостию готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и... достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь! — заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом, — милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и... какая мать может обвинить меня в этом случае?

Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведенный неожиданною выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гостьи, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине? Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепились даже за Афанасия Матвеича. Марья Александровна живописно простерла руки и, почти насильно, заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удив-

лением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились и к нему с поздравлениями.

— Поздравляем, князь! поздравляем! — кричали со всех сторон.

— Так вы женитесь?

— Так вы действительно женитесь?

— Миленький князь, так вы женитесь?

— Ну да, ну да, — отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами, — и признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое учас-тие ко мне, которое я никог-да не забуду, ни-когда не забуду. Charmant! charmant! вы даже просле-зили меня...

— Поцелуйте меня, князь! — громче всех кричала Фелисата Михайловна.

— И, признаюсь вам, — продолжал князь, прерываемый со всех сторон, — я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ива-но-вна, наша почтен-ная хозяйка, с такою необык-но-вен-ною проницательностью угадала мой сон. Точно как будто она вместо меня его ви-дела. Необыкновен-ная проницательность! Не-о-бык-но-венная проницательность!

— Ах, князь, вы опять за сон?

— Да уж признайтесь, князь, признайтесь! — кричали все, обступив его.

— Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить эту тайну, — решительно и строго сказала Марья Александровна. — Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. Да, mesdames, это правда: сегодня князь стоял на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.

— Совершенно как будто наяву и даже с теми самыми обсто-я-тельствами, — подтвердил князь. — Мадмуазель, — продолжал он, с необыкновенною вежливостью обращаясь к Зине, которая всё еще не пришла в себя от изумления, — мадмуазель! Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б другие раньше меня не про-из-нес-ли его. Это был очаровательный сон, оча-ро-вательный сон, и я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это выс-ка-зать. Charmant! charmant!..

— Но, помилуйте, как же это? Ведь он всё говорит про сон, — прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы! У Марьи Александровны, и без этих предостережений, давно уже ныло и трепетало сердце.

— Как же это? — шептали дамы, переглядываясь одна с другой.

— Помилуйте, князь, — начала Марья Александровна с болезненно искривившеюся улыбкою, — уверяю вас, что вы меня

удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но... Если это шутка, то это довольно неуместная шутка... Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но...

— В самом деле, это, может быть, у них от рассеянности-с, — прошипела Наталья Дмитриевна.

— Ну да... может быть, это и от рассеян-ности, — подтвердил князь, всё еще не совсем понимая, чего от него добиваются. — И вообразите, я вам расскажу сейчас один а-нек-дот. Зовут меня, в Петербурге, на по-хороны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnête,[1] а я и смешал, что на именины. Именины-то еще на прошлой неде-ле прош-ли. Букет из камелий име-нин-нице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Человек почтенный, солидный — лежит на столе, так что я уди-вился. Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом.

— Но, князь, дело не в анекдотах! — с досадою перебила Марья Александровна. — Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь, у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это... Это меня, можно сказать, фраппировало... Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это всё до вашего пробуждения. Но я — мать; она — дочь моя... Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы, под видом аллегории, хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают... я даже подозреваю, кто именно... но... объяснитесь, князь, объяснитесь скорее, удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным домом...

— Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, — поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться.

— Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же подтвердите здесь, при всех, что вы делали давеча предложение моей дочери.

— Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я всё это уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно угадала мой сон.

— Не сон! не сон! — закричала в ярости Марья Александровна, — не сон, а это было наяву, князь, наяву, слышите ли, наяву!

— Наяву! — вскричал князь, в удивлении подымаясь с кресел. — Ну, друг мой! как ты давеча напророчил, так и вышло! — прибавил он, обращаясь к Мозглякову. — Но уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен, что я это видел только во сне!

— Господи помилуй! — вскрикнула Марья Александровна.

— Не убивайтесь, Марья Александровна, — вступилась Наталья Дмитриевна. — Князь, может быть, как-нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.

---

[1] мещанское, но порядочное семейство (*франц.*).

— Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна, — с негодованием возразила Марья Александровна, — разве такие вещи забываются? разве это можно забывать? Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? какого-нибудь Ферлакура, Лозёна? Но, кроме того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся! Моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот здесь, она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я иль нет?

— Ну да... а, впрочем, может быть, нет... — отвечал растерявшийся князь. — Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...

— Фу ты, боже мой, что это такое: не во сне — во сне, во сне — не во сне! да это черт знает что такое! Вы бредите, князь, или нет?

— Ну да, черт знает... впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился... — проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.

— Но как же вы могли видеть во сне, — убивалась Марья Александровна, — когда я, вам же, с такими подробностями, рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?

— Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывали-с, — проговорила Наталья Дмитриевна.

— Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал, — подтвердил совершенно потерявшийся князь.

— Вот комедия-то! — шепнула Фелисата Михайловна своей соседке.

— Ах ты, боже мой! да тут всякое терпенье лопнет! — кричала Марья Александровна, в исступлении ломая руки. — Она вам пела романс, романс пела! Неужели вы и это во сне видели?

— Ну да, и в самом деле как будто пела романс, — пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его.

— Друг мой! — вскричал он, обращаясь к Мозглякову. — Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс и в этом романсе были всё какие-то замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур! Ну да, я это всё помню... так что я и заплакал... А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне...

— Признаюсь вам, дядюшка, — отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги, — признаюсь вам, мне кажется, всё это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна вам спела романс. Меня тогда не было, но

вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину; может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам, вследствие приятных впечатлений, и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение...

Марья Александровна была просто оглушена такою дерзостью.

— Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было, — закричал князь в восторге. — Именно вследствие приятных впечатлений! Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и захотел жениться. И виконтесса тоже была... Ах, как ты умно это распутал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен, что всё это видел во сне! Марья Васильевна! Уверяю вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне. Иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами...

— А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! — закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову. — Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы всё это наделали! вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!

— Марья Александровна, — кричал Мозгляков в свою очередь, покраснев как рак, — ваши слова до такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова... Ни одна светская дама не позволит себе... я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать...

— Ну да, так завлекать... — поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.

— Афанасий Матвеич! — взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. — Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства!..

— Жена! — с важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда, — жена! Да уж не видала ль ты и в самом деле всё это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала всё, по-свойски...

Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гостьи удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности. Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку, да подлила еще яду.

— Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь, — проговорила она самым медоточивым голосом.

— Как было? что такое было? — кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.

— Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с...

— Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли, тянуть хотите?

— Может быть, вы и в самом деле видели это во сне-с.

— Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?

— Что ж, может быть, и в самом деле так было, — отозвалась Фелисата Михайловна.

— Ну да, может быть, и в самом деле так было, — пробормотал тоже князь.

— И он, и он туда же! Господи боже мой! — вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.

— Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомните-с, что сны ниспосылаются богом-с. Уж коли бог захочет-с, так уж никто как бог-с, и на всем его святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.

— Ну да, сердиться нечего, — поддакивал князь.

— Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? — едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.

— Это они из приличия-с в обморок упали-с, — шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.

Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно, безмолвное доселе, лицо — и вся сцена немедленно изменилась в своем характере...

Глава XIV

Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась «этого дурака» Шекспира с «своим учителишкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою, Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать.

Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза.

— Маменька! — сказала Зина. — К чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Всё уже до того загрязнено теперь, что, право, не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь!

— Зина! Зина! что с тобою? опомнись! — вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив с своих кресел...

— Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора, — продолжала Зина. — Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я всё возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой... интриге! Вы — мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по своим понятиям, устроить мое счастье. Вас еще можно простить; но меня, меня — никогда!

— Зина, неужели ты хочешь рассказывать?.. О боже! я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!

— Да, маменька, всё расскажу! Я опозорена, вы... мы все опозорены!..

— Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут смысла нет... Стыд не на нас... Я докажу сейчас, что стыд не на нас...

— Нет, маменька, — вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе, — я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?.

— Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же! Это нас обижают! — послышалось со всех сторон.

— Да они и впрямь сами не понимают, что говорят-с, — проговорила Наталья Дмитриевна.

Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такою огласкою, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Всё бы могло быть исправлено! Всё бы могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностию и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом старикашкой да и выгнать его вон! Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю.

— Князь, — сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула, — так поразила она его в эту минуту. — Князь! простите меня, простите нас! мы обманули, мы завлекли вас...

— Да замолчишь ли ты, несчастная! — в исступлении вскричала Марья Александровна.

— Сударыня! сударыня! ma charmante enfant...[1] — бормотал пораженный князь.

Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.

— Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас — слабого, беззащитного — *облапошили*, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Всё это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле! Но объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плясуньей, рабой... я поклялась и свято бы сдержала клятву мою!..

Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гостьи как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина.

— Но я женюсь на вас, ma belle enfant,[2] если уж вы так хо-ти-те, — бормотал он, — и это для меня будет боль-шая честь! Только уверяю вас, что это был действи-тельно как будто бы сон... Ну, мало ли что я увижу во сне? К чему же так бес-по-коиться? Я даже как будто ничего и не понял, mon ami, — продолжал он, обращаясь к Мозглякову, — объясни мне хоть ты, пожа-луй-ста...

— А вы, Павел Александрович, — подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, — вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, — неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила, и если решалась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада... Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой... Вы жестоко отмстили мне, и, если это льстит вашей гордости...

— Зинаида Афанасьевна! — вскричал Мозгляков.

---

[1] милое дитя (*франц.*).
[2] прелестное дитя (*франц.*).

— Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть...

— Зинаида Афанасьевна!!

— Если когда-нибудь, — продолжала Зина, давя в себе слезы, — если когда-нибудь вы любили меня...

— Зинаида Афанасьевна!!!

— Зина, Зина! дочь моя! — вопила Марья Александровна.

— Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего! — скрепил Мозгляков, и всё пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу...

Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся наконец взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, — близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб всё было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе; насытив свое негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.

— Я — осел, Зинаида Афанасьевна! — вскричал он в порыве исступленного раскаяния. — Нет! что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка! я обманул вас! Я, я обманул вас! Вы не спали; вы действительно, наяву, делали предложение, а я, я, подлец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели всё это во сне.

— Удивительно любопытные вещи-с открываются-с, — прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.

— Друг мой, — отвечал князь, — ус-по-койся, по-жа-луй-ста; ты меня, право, испугал своим кри-ком. Уверяю тебя, что ты о-ши-ба-ешься... Я, пожалуй, готов жениться, если уж так на-до; но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне...

— О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! подумайте!

— Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постой, дай же мне вспомнить всё по поряд-ку. Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла...

— Э! не до Феофила теперь, дядюшка!

— Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом был На-поле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...

— Но, дядюшка, — брякнул Мозгляков в затмении ума своего, — ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это слышал! Я спрятался и смотрел на вас в дырочку...

— Как, Марья Александровна, — подхватила Наталья Дмитриевна, — так вы уж и князю рассказывали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к вам сахар воровать езжу-с!

— Прочь от меня! — закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.

— Нет, не прочь, Марья Александровна, вы этак не смеете говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с? Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказывала-с... Так я у вас сахар краду-с?..

— Но, mesdames, — закричал князь, — ведь это было только во сне! Ну, мало ли что я увижу во сне?..

— Кадушка проклятая, — пробормотала вполголоса Марья Александровна.

— Как, я и кадушка-с! — взвизгнула Наталья Дмитриевна. — А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с...

— Ну да, я помню, была и ка-ду-шка, — пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.

— Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы смеете, князь, дворянку бранить-с? Коли я кадушка, так вы безногие-с...

— Кто, я безногий?

— Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!

— Да еще и одноглазый! — закричала Марья Александровна.

— У вас корсет вместо ребер-с! — прибавила Наталья Дмитриевна.

— Лицо на пружинах!

— Волос своих нет-с!..

— И усишки-то, у дурака, накладные, — скрепила Марья Александровна.

— Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий! — вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. — Друг мой! Это ты меня продал! Это ты рассказал, что волосы у меня нак-лад-ные...

— Дядюшка!

— Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оста-ваться. Уведи ты меня куда-нибудь... quelle société![1] Куда это ты завел меня, бо-же мой?

— Идиот! подлец! — кричала Марья Александровна.

— Боже ты мой! — говорил бедный князь. — Я вот только не-много за-был, зачем я сюда приехал, но я сей-час вспом-ню. Уведи ты меня, братец, куда-ни-будь, а то меня растерзают! Притом же... мне не-мед-ленно надо записать одну новую мысль...

— Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами...

— Ну да, в гос-ти-ницу. Adieu, ma charmante enfant... вы одна... вы только одна... доб-родетельны. Вы бла-го-род-ная девушка! Пойдем же, мой милый. О боже мой!

Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась наконец одна, среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы! сила, слава, значение — всё исчезло в один этот вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? — философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут бесконечные! Ужас!

Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу, который забился наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило наконец и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит...

Глава XV

Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и получше.

Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесточенною радостью, — как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть! — кричали со всех сторон, — до такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы!» и проч. и проч. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи

---

[1] какое общество! (*франц.*)

Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая целый год, чуть ли не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что чрез несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Всё лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и — всё прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.

— Зина, — говорил он, — Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду

смотреть на тебя, — вот так, как теперь смотрю, — буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь... Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, — потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!

Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.

— Что ты плачешь, мой ангел? — продолжал больной. — О том, что я умираю, об этом только? Но ведь всё прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного... не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я всё мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь всё это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств...

— Полно, — говорила Зина, — полно!.. всё это не так, напрасно... ты убиваешь себя!

— Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла — кто я таков; вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А я, я! Когда дошло до дела... Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, — куда! — может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь

лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час... Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но... но... о ангел ты мой!

Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым голосом.

— Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить! — сказала Зина. — Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!

— Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю, — продолжал больной. — Во всем я один виноват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! Рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день... ну, знаешь, после записки-то... и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, — но всё мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих... Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

— Не поминай об этом! — сказала Зина, — не говори этого! ты не такой... будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!

— Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь всё то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой,

беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

— Нет, нет, Вася, нет! — говорила Зина.

Она припала к нему на грудь и целовала его руки.

— А как я ревновал тебя всё это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караулил, шпионил... вот она всё ходила (и он кивнул на мать). — Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел мой? Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..

— Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!.. ты мой первый... всегдашний...

— Всё умирает, Зиночка, всё, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится, — не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О золотые, невозвратные дни... Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний, закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас... А теперь! Посмотри, посмотри!

И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.

И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось всё хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец пережи-

вет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он всё смотрел на Зину, всё искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он всё еще блуждающею, неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу.

— Это ты, змея подколодная, извела его! — закричала она в отчаянии Зине. — Ты, разлучница проклятая, ты, злодейка, его погубила!

Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым как обезумевшая. Наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что всё ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он нарочно поджидал на этом месте.

— Зинаида Афанасьевна, — начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло, — Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осел! То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел... Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна, но... вы извините, это от разных причин...

Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо.

— Зинаида Афанасьевна, — продолжал он, — я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть всё, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием: покамест мы здесь, всё останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так, чтоб с вами был только маленький чемоданчик... а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть вместе.

Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же всё понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.

«Как же это? — подумал он. — Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла? Видно, день на день не приходит!»

А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. Не отвергали и некоторого нравственного потрясения. Заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок, на третий же день к вечеру, помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили «убийц несчастного князя», подразумевая под этим, конечно, Марью Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандалезности, может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и — чего-чего не было переговорено и пересказано. Всё это время Мозгляков суетился, кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником, как и где хоронить, кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обществе!» — думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день, рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по Большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь

Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицеймейстер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения; да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо, хотя, казалось бы, нельзя быть недовольну наследством. Он тотчас же взялся за дело сам, лично. Мозгляков же немедленно и постыдно стушевался перед настоящим, не самозванным племянником и исчез — неизвестно куда. Решено было немедленно перенесть тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. Назавтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и, на коленях перед гробом, будет громко испрашивать себе прощения и что всё это должно быть так по закону. Разумеется, всё это оказалось вздором и Марья Александровна не явилась в церковь. Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла к городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезжем лице и всё время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома — и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах; за ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна.

Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеичем... Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский

город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич... Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; всё это очень неверно.

Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверно не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец, после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на какого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши *из себя-с,* даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то

число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с» — но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса. Кругом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч. и проч. — всё пропало даром. Зина совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, — потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, — воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.

Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

ДОМОВОЙ

...— Да как же, Астафий Иванович, ты,[1] такой храбрый человек, домового видел?.. Что ж это, брат, за история?

— То есть видеть-то, по правде, не видал, сударь, — заметил Астафий Иванович, поставив свой стакан на стол и утерев платком пот с лица. — Глаз человеческий его никогда не увидит, как старые бабы да кучера-мошенники говорят; а слышать слышал его. Проказил, сударь, и он надо мной.

— Да что ты, не смеешься, Астафий Иванович; после твоего уж и я, пожалуй, начну домовым верить.

— Какой тут смех, сударь, — отвечал улыбнувшись Астафий Иванович. — А впрочем, история была совсем не смешливая. Это было, сударь, лет тому десять, а может и боле, назад. Я еще был молоденек. Случись, сударь, мне на одном месте заболеть. Я тогда на фабрике жил, экономским помощником. Ну, и вышел в больницу. Лежал я там месяца три; да наскучило. Как стал мало-мальски оправляться, прикинулся совсем здоровым, лекаря обманул и выписался. Сунулся было на фабрику; а фабрика-то и сгори без меня; только черные стены нашел; да и фабрикант в Москву на целый год выехал. Ну, места нет. Сосчитался с деньжонками — вижу, с бережью еще на три месяца хватит. Да руки есть, думаю; начну-ка платье на господ чиновников строить. Да не расчелся я хорошо. Время-то[2] было на ту пору раннее, весеннее, холодное. Ветры дули такие, — ну, известно, Петербург! А я вдобавок совсем еще нездоров, еле на ногах стою. Думаю: угораздит еще меня как-нибудь простудиться; вот одолжусь-то! Хорошо еще, что одежа была знатная, теплая. Бараний тулуп славный был; это Эмиль Вильмович, братец хозяйской, когда еще из Саратова приезжали, мне подарили. Наконец отыскал квартиренку, в Коломне нашел. Смотрю: указывает дворник в деревянной избушке, в светелке, наверху, угол,

---

[1] *Далее было начато:* домово⟨го⟩

[2] *Далее было начато:* судар⟨ь⟩

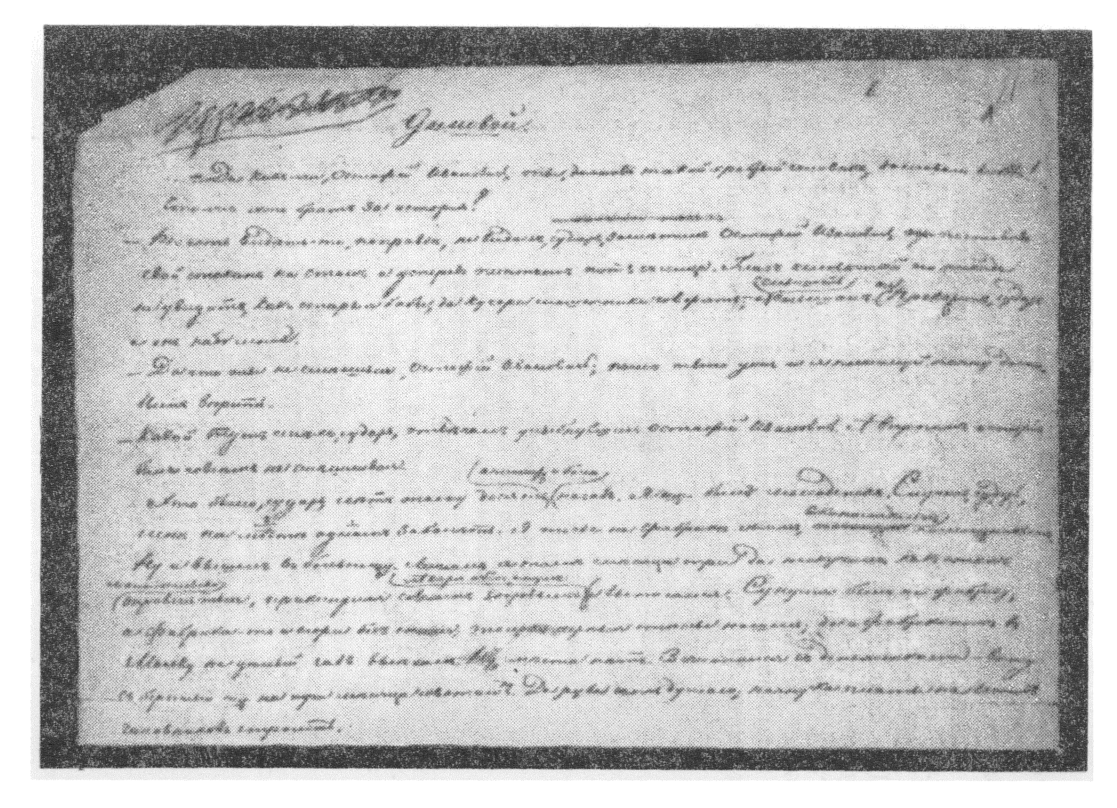
говорит, отдается. Э, говорю, да тут и приют нашинскому человеку, особенно как в кармане [3] дыра завелась. Вхожу: квартира вся из одной комнаты, и живут в ней хозяева, муж да жена, да детей человек пять небось, — всё мал мала меньше. Мне-то за перегородкой пришлось. Начал толковать с хозяином да вижу: чудной такой, словно не понимает меня. Я к хозяйке: и та тоже женщина [4] совсем простая, невинная; так на вид лет тридцати пяти будет. Сдала мне угол, т. е. всё, [5] что было комнаты за перегородкой, и лежанка [6] тут, и за всё за это два с полтиной в месяц пришлось. Знатно, думаю, и переехал.

Весь-то следующий день я на лежанке лежал, совсем разломало, и уж бредить начал, и как будто впросонках слышу, что в хозяйской комнате делается. А доселева я и разглядеть моих хозяев не успел хорошенько. [7] И узнал в тот день спросонья, что дети больны, что дворник за квартиру деньги спрашивать приходил да что есть какой-то Клим Федорыч, благодетельный человек. На второе утро вышел я дельце справить одно. Ан тот Федорович,[8] княжеский камардин, место обещались найти;[9] приказал побывать к себе справиться. Уж я, сударь, шел назад по Сенной, как вдруг, вижу, человек подле меня бежит, увязался за мной. И такой странный человек: длинный сам такой, нескладный, сухой и, несмотря на дождь и время холодное, в одном фраке идет и со мной всё говорит, да такое нескладное, что я и понять не могу. Спрашиваю, чего тебе, добрый человек? Смотрю ему в лицо, да ба! что-то знакомое и недавнушко видел. Глаза у него красные, заплывшие, пухлые, надветрило в них, губа нижняя толстая, отвислая — такой глупый вид!.. Ах, думаю, вспомнил, да ведь это хозяин мой новый, вот не узнал. Начал я его допрашивать — ну, ничего не понимаю; догадался только, что он в Медицинскую академию, что ли, куда-то ходил, что глаза у него разболелись, что шинель он с плеч среди бела дня потерял да что Клим Федорович бумагу дать изволили. Смотрю, наконец: совсем шатается, идти не может, бедный человек; а увязался за мной затем, что меня признал. Довел я его; жена так и ахнула. Уж он больной совсем, обессилен и говорить здраво не может, одурел совсем. Положили мы его под образа. Он всё стонет да кричит про Клим Федорыча.

И узнал я, сударь, потом от хозяйки всю их историю. Жили они до тех пор в Обломове-городе, губернском. Он-то в писцах, что ли, был каких, — растолковать мне она не умела хорошо. Только узнал, что до четырнадцатого дослужился и пошел по своим

---

[3] *Далее было начато:* пу⟨сто⟩
[4] *Далее было начато:* проста⟨я⟩
[5] *Было:* всю
[6] *Было:* печка
[7] *Вместо:* не успел хорошенько — *было:* хорошенько не мог
[8] *Было:* Прохор Степанович
[9] *Далее было:* справиться



«Домовой». Страница белового автографа с правкой Достоевского.

Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

делам. Честный человек и способный, да глупый, и она тоже, на него глядя, глупая; детей у них куча — а не удается ничего, хоть ты тресни поди. То есть вот как, сударь: поступил он на контору какую-то. А с конторы-то и пропади две тысячи рублев. Начали его таскать, да вор отыскался; отпустили. Только, говорят, такого конторщика,[10] что воровству попускает быть, не нужно. Он, сударь, мыкался-мыкался, на другую контору поступил, и трех недель не прошло — хозяина-купца под суд взяли. Ну, и контора разрушилась. Он к другим: его гонят. Вы-де с хозяином, верно, вместе мошенничали. А злы все были на того купца: всех утеснял, благо, богат слишком был. Он туды да сюды — и взяли его в деревню, в приказчики, — малолетних каких-то наследство. Да в первый год половина вотчины [11] и погори. Ну, говорят, не надо тебя, коль такому [12] быть попустил. Ну, что делать человеку; он было на службу опять; а там начальство переменилось, на прежнее ревизор донес; стали всё новые люди. Нет, говорят, знать, и ты человек подозрительный, да и мест таких нету, куда тебя посадить. Ну, погибать совсем приходится; только...

---

[10] *Далее было:* нам
[11] *Было:* деревни
[12] *Было:* тому

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ в 1854 году

С чего взялась всесветная беда?
Кто виноват, кто первый начинает?
Народ вы умный, всякой это знает,
Да славушка пошла об вас худа!
Уж лучше бы в покое дома жить
Да справиться с домашними делами!
Ведь, кажется, нам нечего делить
И места много всем под небесами.
К тому ж и то, коль всё уж поминать:
Смешно французом русского пугать!

Знакома Русь со всякою бедой!
Случалось ей, что не бывало с вами.
Давил ее татарин под пятой,
А очутился он же под ногами.
Но далеко она с тех пор ушла!
Не в мерку ей стать вровень даже с вами;
Заморский рост она переросла,
Тянуться ль вам в одно с богатырями!
Попробуйте на нас теперь взглянуть,
Коль не боитесь голову свихнуть!

Страдала Русь в боях междоусобных,
По капле кровью чуть не изошла,
Томясь в борьбе своих единокровных;
Но живуча святая Русь была!
Умнее вы, — зато вам книги в руки!
Правее вы, — то знает ваша честь!
Но знайте же, что и в последней муке
Нам будет чем страданье перенесть!
Прошедшее стоит ответом вам, —
И ваш союз давно не страшен нам!

Спасемся мы в годину наваждений,
Спасут нас крест, святыня, вера, трон!
У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменье побед и избавлений!
Мы веры нашей, спро́ста, не теряли
(Как был какой-то западный народ);
Мы верою из мертвых воскресали,
И верою живет славянский род.
Мы веруем, что бог над нами может,
Что Русь жива и умереть не может!

№ 3335

13 Іюля 1854 года

ШТАБЪ
ОТДѢЛЬНАГО
СИБИРСКАГО
КОРПУСА.

Дежурство
Отдѣленіе 1

26 Іюня 1854 г.

№ 3634

Корпусная Штабъ-Квартира
Въ Г. Омскѣ.

Оставить

Управляющему III Отделением Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи Господину Генерал-Лейтенанту и кавалеру Дубельту.

Командир Сибирскаго Линейнаго № 7 баталиона Подполковник Белихов, от 1-го минувшаго Мая № 715, представив написанное рядовым вверенного ему баталиона из политических преступников Федором Достоевским, патриотическое стихотвореніе, просит ходатайства о дозволеніи напечатать оное в С.-Петербургских ведомостях.

По приказанію Господина Корпуснаго Командира, имею честь препроводить при сем

Письмо подполковника Белпхова к Л. В. Дубельту по поводу стихотворения Достоевского «На европейские события в 1854 году».
Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

Писали вы, что начал ссору русской,
Что как-то мы ведем себя не так,
Что честью мы не дорожим французской,
Что стыдно вам за ваш союзный флаг,
Что жаль вам очень Порты златорогой,
Что хочется завоеваний нам,
Что то да се... Ответ вам дали строгой,
Как школьникам, крикливым шалунам.
Не нравится, — на то пеняйте сами,
Не шапку же ломать нам перед вами!

Не вам судьбы России разбирать!
Неясны вам ее предназначенья!
Восток — ее! К ней руки простирать
Не устают мильоны поколений.
И властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь дает,
И возрожденье древнего Востока
(Так бог велел!) Россией настает.
То внове Русь, то подданство царя,
Грядущего роскошная заря!

Не опиум, растливший поколенье,
Что варварством зовем мы без прикрас,
Народы ваши двинет к возрожденью
И вознесет униженных до вас!
То Альбион, с насилием безумным
(Миссионер Христовых кротких братств!),
Разлил недуг в народе полуумном,
В мерзительном алкании богатств!
Иль не для вас всходил на крест господь
И дал на смерть свою святую плоть?

Смотрите все — он распят и поныне,
И вновь течет его святая кровь!
Но где же жид, Христа распявший ныне,
Продавший вновь Предвечную Любовь?
Вновь язвен он, вновь принял скорбь и муки,
Вновь плачут очи тяжкою слезой,
Вновь распростерты божеские руки
И тмится небо страшною грозой!
То муки братий нам единоверных
И стон церквей в гоненьях беспримерных!

Он телом божьим их велел назвать,
Он сам, глава всей веры православной!
С неверными на церковь воевать,
То подвиг темный, грешный и бесславный!
Христианин за турка на Христа!
Христианин — защитник Магомета!
Позор на вас, отступники креста,
Гасители божественного света!
Но с нами бог! Ура! Наш подвиг свят,
И за Христа кто жизнь отдать не рад!

Меч Гедеонов в помощь угнетенным,
И в Израили сильный Судия!
То царь, тобой, всевышний, сохраненный,
Помазанник десницы твоея!
Где два иль три для господа готовы,

Господь меж них, как сам нам обещал.
Нас миллионы ждут царева слова,
И наконец твой час, господь, настал!
Звучит труба, шумит орел двуглавый
И на Царьград несется величаво!

На европейскія событія въ 1854 году.

Съ чего взялась всесвѣтная бѣда!
Кто виноватъ, кто первый начинаетъ?
Народъ вы умный, каждый это знаетъ,
Да славушка пошла объ васъ худа.
Ужъ лучше бъ вамъ въ покоѣ дома жить
Да справиться съ домашними дѣлами.
Вѣдь, кажется, намъ нечего дѣлить,
И мѣста много всѣмъ подъ небесами.
Католики и то, хоть всё уже понимаютъ.
Смѣшно Французамъ Русскихъ пугать.

Знакома Русь со всякою бѣдой!
Случалось ей, что не бывало съ вами.
Давили съ Татариномъ подъ пятой,
А тушилася она подъ ногами.
Но далеко она съ тѣхъ поръ ушла!
Не въ мѣру ей стать въ ровнѣ даже съ вами,
Заморскій ростъ она переросла,
Тягаться ли вамъ въ одно съ богатырями!

«На европейские события в 1854 году». Писарская копия.
Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

НА ПЕРВОЕ ИЮЛЯ 1855 ГОДА

Когда настала вновь для русского народа
Эпоха славных жертв двенадцатого года
И матери, отдав царю своих сынов,
Благословили их на брань против врагов,
И облилась земля их жертвенною кровью,
И засияла Русь геройством и любовью,
Тогда раздался вдруг твой тихий, скорбный стон,
Как острие меча, проник нам в душу он,
Бедою прозвучал для русского тот час,
Смутился исполин и дрогнул в первый раз.

Как гаснет ввечеру денница в синем море,
От мира отошел супруг великий твой.
Но веровала Русь, и в час тоски и горя
Блеснул ей новый луч надежды золотой...
Свершилось, нет его! Пред ним благоговея,
Устами грешными его назвать не смею.
Свидетели о нем — бессмертные дела.
Как сирая семья, Россия зарыдала;
В испуге, в ужасе, хладея, замерла;
Но ты, лишь ты одна, всех больше потеряла!

И помню, что тогда, в тяжелый, смутный час,
Когда достигла весть ужасная до нас,
Твой кроткий, грустный лик в моем воображеньи
Предстал моим очам, как скорбное виденье,
Как образ кротости, покорности святой,
И ангела в слезах я видел пред собой...
Душа рвалась к тебе с горячими мольбами,
И сердце высказать хотелося словами,
И, в прах повергнувшись, вдовица, пред тобой,
Прощенье вымолить кровавою слезой.

Прости, прости меня, прости мои желанья;
Прости, что смею я с тобою говорить.
Прости, что смел питать безумное мечтанье
Утешить грусть твою, страданье облегчить.
Прости, что смею я, отверженец унылой,
Возвысить голос свой над сей святой могилой.
Но боже! нам судья от века и вовек!
Ты суд мне ниспослал в тревожный час сомненья,
И сердцем я познал, что слезы — искупленье,
Что снова русской я и — снова человек!

Но, думал, подожду, теперь напомнить рано,
Еще в груди ее болит и ноет рана...
Безумец! иль утрат я в жизни не терпел?
Ужели сей тоске есть срок и дан предел?!
О! Тяжело терять, чем жил, что было мило,
На прошлое смотреть как будто на могилу,
От сердца сердце с кровью оторвать,
Безвыходной мечтой тоску свою питать,
И дни свои считать бесчувственно и хило,
Как узник бой часов, протяжный и унылый.

О нет, мы веруем, твой жребий не таков!
Судьбы великие готовит провиденье...
Но мне ль приподымать грядущего покров
И возвещать тебе твое предназначенье?
Ты вспомни, чем была для нас, когда он жил!
Быть может, без тебя он не был бы, чем был!
Он с юных лет твое испытывал влиянье;
Как ангел божий, ты была всегда при нем;
Вся жизнь его твоим озарена сияньем,
Озлащена любви божественным лучом.

Ты сердцем с ним сжилась, то было сердце друга...
И кто же знал его, как ты, его супруга?
И мог ли кто, как ты, в груди его читать,
Как ты, его любить, как ты, его понять?
Как можешь ты теперь забыть свое страданье!
Всё, всё вокруг тебя о нем напоминанье;
Куда ни взглянем мы — везде, повсюду он.
Ужели ж нет его, ужели то не сон!
О нет! Забыть нельзя, отрада не в забвеньи,
И в муках памяти так много утешенья!!

О, для чего нельзя, чтоб сердце я излил
И высказал его горячими словами!
Того ли нет, кто нас, как солнце, озарил
И очи нам отверз бессмертными делами?
В кого уверовал раскольник и слепец,
Пред кем злой дух и тьма упали наконец!
И с огненным мечом, восстав, архангел грозный,
Он путь нам вековой в грядущем указал...
Но смутно понимал наш враг многоугрозный
И хитрым языком бесчестно клеветал...

Довольно!.. Бог решит меж ними и меж нами!
Но ты, страдалица, восстань и укрепись!
Живи на счастье нам с великими сынами
И за святую Русь, как ангел, помолись.
Взгляни, он весь в сынах, могущих и прекрасных;
Он духом в их сердцах, возвышенных и ясных;
Живи, живи еще! Великий нам пример,
Ты приняла свой крест безропотно и кротко...
Живи ж участницей грядущих славных дел,
Великая душой и сердцем патриотка!

Прости, прости еще, что смел я говорить,
Что смел тебе желать, что смел тебя молить!
История возьмет резец свой беспристрастный,
Она начертит нам твой образ светлый, ясный;
Она расскажет нам священные дела;
Она исчислит всё, чем ты для нас была.
О, будь и впредь для нас как ангел провиденья!
Храни того, кто нам ниспослан на спасенье!
Для счастия его и нашего живи
И землю русскую, как мать, благослови.

⟨ НА КОРОНАЦИЮ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА⟩

Умолкла грозная война!
Конец борьбе ожесточенной!..
На вызов дерзкой и надменной,
В святыне чувств оскорблена,
Восстала Русь, дрожа от гнева,
На бой с отчаянным врагом
И плод кровавого посева
Пожала доблестным мечом.
Утучнив кровию святою
В честно́м бою свои поля,
С Европой мир, добытый с боя,
Встречает русская земля.

Эпоха новая пред нами.
Надежды сладостной заря
Восходит ярко пред очами...
Благослови, господь, царя!
Идет наш царь на подвиг трудный
Стезей тернистой и крутой;
На труд упорный, отдых скудный,
На подвиг доблести святой,
Как тот гигант самодержавный,
Что жил в работе и трудах,
И, сын царей, великий, славный,
Носил мозоли на руках!

Грозой очистилась держава,
Бедой скрепилися сердца,
И дорога родная слава
Тому, кто верен до конца.
Царю вослед вся Русь с любовью
И с теплой верою пойдет
И с почвы, утученной кровью,
Златую жатву соберет.
Не русской тот, кто, путь неправый
В сей час торжественный избрав,
Как раб ленивый и лукавый,
Пойдет, святыни не поняв.

Идет наш царь принять корону...
Молитву чистую творя,
Взывают русских миллионы:
Благослови, господь, царя!
О ты, кто мановеньем воли
Даруешь смерть или живишь,
Хранишь царей и в бедном поле
Былинку нежную хранишь:
Созижди в нем дух бодр и ясен,
Духовной силой в нем живи,
Созижди труд его прекрасен
И в путь святой благослови!

К тебе, источник всепрощенья,
Источник кротости святой,
Восходят русские моленья:
Храни любовь в земле родной!
К тебе, любивший без ответа

Самих мучителей своих,
Кто обливал лучами света
Богохулителей слепых,
К тебе, наш царь в венце терновом,
Кто за убийц своих молил
И на кресте, последним словом,
Благословил, любил, простил!

Своею жизнию и кровью
Царю заслужим своему;
Исполни ж светом и любовью
Россию, верную ему!
Не накажи нас слепотою,
Дай ум, чтоб видеть и понять
И с верой чистой и живою
Небес избранника принять!
Храни от грустного сомненья,
Слепому разум просвети
И в день великий обновленья
Нам путь грядущий освети!

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА

(Стр. 142)

Отрывок ранней редакции (ЧА)

... Никогда, никогда!..

Боже, какой они подняли крик! Как мне страшно за тебя. Я только что встретил твоего мужа. Один он праведник, и мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны перед ним. Он нас видит, он понимает всё; он геройски стал за тебя, он спасет тебя, тогда как я бегу!.. Я хотел броситься целовать его руку. Он обнял меня, — мы были одни! Он сказал мне, чтоб я ехал немедля. Решено! Говорят, что он поссорился из-за тебя с твоими родными. Там все против тебя. Они не знают, они *не могут понять!* Прости, прости им, бедная сестра моя, [1] как я им прощаю, а они взяли у меня больше, чем у тебя!..

Забудь меня! Я не помню себя и не знаю, что́ пишу тебе! А нужно было что-то сказать еще, — кажется, важное... Да! вспомнил. У тебя осталась моя гравюра „Христос и та женщина" Синьоля. Там есть надпись: „Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat". Бедная, бедная моя! Ты ли та грешница! Ох! еще бы раз облить твои руки слезами, как теперь я обливаю слезами это письмо, [2] еще бы раз припасть к ногам твоим! Если б они знали, что целому миру был бы прекрасен союз наш; но они слепы; их сердца горды и надменны, они не видят и вовек не увидят [3] того. Они не уверуют, хотя бы всё на земле им в том поклялось. „Сестра! брат!" — им ли понять наше братство! Какой же камень подымут они на тебя! Чья первая рука подымет его! Они подымутся все, разом, они грех возьмут на себя и заклеймят нас насмешкой, неверием.[4] О, если б знали, что они делают. Если б только можно было им всё рассказать без утайки! Если б они поверили, поняли, понять могли! Один понял, один, [5] он спасет тебя, благословение ему, и — это твой муж!

Прощай, прощай — я не благодарю тебя [6] — прощай навсегда!»

Смущение овладело Овровым, когда он прочел еще, в третий раз, эти строки. Сердце застучало сильнее; дух его захватило.

Целую повесть прочел он между строками найденного письма, прочел ее частию в мечтах и догадках, дополняя, дорисовывая воображением то, что смутно и темно проглядывало из смысла написанного. Повесть эта была

---

[1] *Вместо:* бедная сестра моя — *было:* родная моя

[2] как теперь ∾ письмо *вписано.*

[3] и вовек не увидят *вписано.*

[4] *Вместо:* Они подымутся все ∾ неверием. — *начато позднее:* Но они подымутся все и не постыдятся. У них есть оружие ⟨*не зачеркнуто*⟩.

[5] *Далее было:* и

[6] *Далее было:* за всё

странная; она отзывалась всею жизнию мечтателя; но горячая и страстная; в ней сосредоточился весь порыв страстного, но неопытного сердца, [7] волнующегося долгим неутоленным желанием и надеждою тем более соблазнительною, чем менее сбыточною.

Сначала он едва мог успокоить свои возмутившиеся чувства. Но потом, мало-помалу, он стал видеть яснее то, что [8] невольно, насильно представлялось ему. Это были уже не одни грезы мечтателя, перед ним были факты. Писавший это письмо как будто стоял теперь перед ним; он понимал его как себя самого.

Кто же он? где он? Оврову хотелось бы обнять его теперь как брата своего, потому что из души его вылились слезы братской любви, когда он прочел эту исповедь невыразимой муки, исповедь, написанную так странно, на чужие глаза, даже более чем странно. Как понимал наш мечтатель писавшего! [9]

---

[7] *Было:* в ней отразился весь порыв страстного и неопытного сердца

[8] *Далее было начато:* пред ставлялось⟩

[9] *Далее было: а.* Это самоуничижительное [Это пись⟨мо⟩] письмо [хотя и], которое он посмел написать *б.* Слог витиеватый в такую минуту — рабское желание, хотя неудачное, показаться хоть как-нибудь достойным этой любви, подавлявшей его, желание, преследовавшее его даже перед тою, перед которой он ничего не скрывал, преследовавшее его на этом письме, в котором никто, кроме нее, не стал бы осуждать слогу, и эта грусть не под⟨...⟩



ВАРИАНТЫ

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

(Стр. 16)

Варианты первопечатного текста (ОЗ)

Стр. 17.

4 жертвочку / свою жертвочку

42–43 не говорит более ни слова / не говорит более слова

Стр. 22.

19 ночь / опять ночь

Стр. 24.

19 захрустели все его ленточки / захрустели в воздухе все его ленточки

28 перенеся всю любовь свою / перенеся на миг всю любовь свою

Стр. 28.

27 наблюдать за ним / наблюдать над ним

29 даже жить будет с ними вместе / даже будет жить с ними вместе

Стр. 32.

34 проснешься / проснешься ночью

Стр. 33.

46 панталончики мне зашила / панталончики мне зашивала

Стр. 34.

12 Смотри, брат, что мне пишет / Смотри, брат, смотри, что мне пишет

36 Стой, брат, стой / Стой, братец, стой

Стр. 35.

4–5 расписавшихся в швейцарской / расписывавшихся в швейцарской

24–25 как не снесть этого! / как не снести этого!

Стр. 36.

7 перед кем нельзя было отказаться / перед кем нельзя было отказываться

Стр. 43.

5 прошла бы забота / прошла бы и забота

13 облокотясь локтем на стол / облокотясь локтем на Васин стол

43 — Вася, Вася! — вскричал Аркадий Иванович / — Вася, Вася! — кричал Аркадий Иванович

Стр. 44.

42 ранний посетитель / ранний проситель

Стр. 45.

45 вытянувшись в нитку и опустив руки по швам / вытянувшись в нитку, как рекрут перед новым начальством, сплотив ноги и опустив руки по швам

Стр. 46.

27–28 как будто надеялся / как будто надеясь

Стр. 47.

25–26 *После:* и снова перебегал далее. — В своем кружке он слыл за отчаянного вольнодумца.

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

(Стр. 49)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 49.

5 I / Чужая жена. (*Уличная сцена*) (*ОЗ*)
29 смущало / чрезвычайно смущало (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 51.

24 даму-с / одну даму-с (*ОЗ*)
45 Я говорю, одна дама / Одна дама (*ОЗ*)

Стр. 52.

18 Видно, что вам это всё неинтересно / Не знаю; видно, что вам это всё вовсе неинтересно (*ОЗ*); Видно, что вам это всё вовсе неинтересно (*1860*)
34 посещать Софью Остафьевну / посещать (*ОЗ*)

Стр. 53.

4–5 я как сумасшедший бросился / я как сумасшедший и бросился (*ОЗ*, *1860*)
18 — Видите ли-с, — продолжал он, — я хотел / — Видите ли-с, я хотел (*ОЗ*)

Стр. 54.

8 Впрочем, извините, молодой человек / Извините меня, молодой человек (*ОЗ*)
12–13 вы знаете фамилию мужа вашей... то есть той, которая составляет ваш предмет? / вы знаете фамилию мужа? (*ОЗ*)

Стр. 55.

13 молодой человек / один молодой человек (*ОЗ*, *1860*)
23 Нет, я только так / Нет, я только (*ОЗ*)
26–27 — Нет, не совсем Глафира... извините, я вам не могу сказать ее имя. — Говоря это, почтенный человек был бледен как платок. / — Нет, не Глафира... извините, я вам не могу сказать ее имя. (*ОЗ*)
34–35 Да ведь вы говорите — вашу не Глафирой зовут!.. / Да ведь вашу не Глафирой зовут!.. (*ОЗ*)

Стр. 56.

20–21 Сделайте так, что как будто не знаете, что генерал переехал, приходите как будто к нему за женой / Не знаете, что генерал переехал, прихóдите как будто к нему (*ОЗ*)
23 накрывайте кого следует / накрываете кого следует (*ОЗ*)

Стр. 57.

47 *Фразы:* Ведь муж-то на Вознесенском мосту? — *в ОЗ нет.*

Стр. 58.

37–38 ибо не стал бы я так теперь из-за него сокрушаться / ибо не стал бы я так теперь (*ОЗ*)

43–44 вынуждено необходимостию!.. / вынуждено необходимостию — он пьет чашу теперь!.. (*ОЗ*)

Стр. 59.

12 он почтенный человек! / почтенный человек! (*ОЗ*)

Стр. 60.

20 во ста шагах / во сте шагах (*ОЗ*, *1860*)

34 *Слов:* которого называли Коко — *в ОЗ нет.*

Стр. 61.

9 сапожищем / своим сапожищем (*ОЗ*, *1860*)

31 II / Ревнивый муж. (*Происшествие необыкновенное*)

Я еще видел одну свадьбу... Не понимаю, решительно не понимаю, отчего я так люблю говорить и писать о семейном счастии. Вот уж мне-то, кажется, нет до него никакого дела. Порой мне приходит в голову, что уж не хочу ли я сам жениться? Но нет, кажется, совсем не похоже на то... Решительно не понимаю... Вот и теперь, например, ведь, право, хотел было писать о чем-то другом, а ведь-таки свернул на свадьбу... Решительно уж, знать, судьба моя такая! Итак, я еще видел одну свадьбу. Но знаете ли что, господа? я уж лучше расскажу, что было ровно через год после свадьбы. Это будет понятнее.

Но... и опять я нахожусь в затруднении, потому что вы, может быть, уж и знаете, что было ровно через год после свадьбы, — разумеется, если вы только не забыли того счастливого мужа, который, скоро тому минет год, дожидался на Вознесенском мосту, тогда как приятель его, его истинный и лучший друг, сторожил *чужую жену*, * атакуя почти разом с обоих подъездов (так велико было его усердие!) один бесконечноэтажный дом близ Вознесенского моста. Помните, он еще нашел себе такую бескорыстную помощь в одном прекрасном молодом человеке, который так интересовался под конец его калошами и еще утверждал, что в резинных калошах потеет нога... Ну, да вы помните; а если и нет, то беда не велика, потому что настоящее происшествие — совершенно особенное и независимое от первого, хотя и случилось ровно на другой день после того происшествия. Осмелюсь еще прибавить два слова — всё еще в качестве предисловия: я утверждаю, что мой рассказ совершенно нравственный и что мораль его — окончательное торжество добродетели и совершенное поражение ревнивого мужа. Вместе с тем я доказываю, что ревность вообще, и по преимуществу ревность, подозревающая даже самую невинность, — есть порок, порок смешной и нелепый, разрушающий семейное счастие и ввергающий даже умного и ученого человека часто в положения самые щекотливые, самые ... как бы вам это сказать?.. ну, да вы, я надеюсь, приищите слово, как только прочтете рассказ.

Ну, так вот-с, изволите видеть. (*ОЗ*)

32 На другой же вечер / В этот вечер (*ОЗ*)

Стр. 62.

45 приключение, которое никакое перо не опишет / приключение, которого никакое перо не опишет (*ОЗ*)

---

* См. «Отеч. зап.» 1848 года, январь (том LVI, Смесь).

Стр. 63.

15–16 *Слов:* как-то пруссаков и проч. — *в ОЗ нет.*
22–23 ревнивого, раздраженного / ревнивого и раздраженного (*ОЗ*, *1860*)
39 а статский юноша / а юноша (*ОЗ*)

Стр. 64.

21 стал к нему задом / стоял к нему задом (*ОЗ*)
36 *После:* самая исключительная страсть в мире. — Ревность — самая смешная страсть, господа! Я на этом стою. (*ОЗ*)

Стр. 65.

5–6 из всех пяти ярусов разом / из всех пяти ярусов, даже из всех пяти ярусов разом (*ОЗ*, *1860*)
12 аплодисменты / аплодиссманы (*ОЗ*, *1860*)
22 лицо этого франта / лица этого самого франта (*ОЗ*)
35 потом явился человек / потом из-за перегородки явился человек (*ОЗ*)

Стр. 66.

1 отворилась дверь / отворялась дверь (*ОЗ*, *1860*)
9 Дон-Жуаном / Дон-Хуаном (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 67.

29 вы еще очень молодой / вы еще очень молодой человек (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 68.

16 *После:* Я в ужаснейшем страхе. —
— Молчать!
— Ну, после этого, согласитесь сами, милостивый государь! я заключаю, что вы неспособны понимать деликатность поступков. (*ОЗ*)
28–29 Как же ты думаешь, душенька? / Так как ты думаешь, душенька? (*ОЗ*, *1860*)
42 *После:* спокойно лежать... —
— Милостивый государь! как вы думаете об вашем положении?
— Отчего же только мое? ваше, конечно, не хорошо.
— Ну, я думаю, что и ваше так же?
— Ну нет, я все-таки на других основаниях. Молчите! (*ОЗ*)
43–44 хотите меня уязвить / вы хотите меня уязвить (*ОЗ*)

Стр. 69.

11–14 неужели он будет здесь ночевать? — Кто? — Да этот старик... / неужели эта развалина будет здесь ночевать? — Кто такой? — Да этот чахоточный... (*ОЗ*)
39 уж не о смерти ли он мне нашептывает? / уж не смерть ли он мне нашептывает? (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 70.

19 Ах, по поводу ваты / Ах да, по поводу ваты (*ОЗ*)
29 Тсс! слышите! / Тсс! слышите! Молчать! (*ОЗ*)

Стр. 71.

10 вспомнил: преплутовочка! / вспомнил: преплутовочка такая! (*ОЗ*)
33 не говорите, пожалуйста! / не говорите, пожалуй! (*ОЗ*)
46 то я не сержусь, ей-богу, не сержусь / то я, не сердитесь, ей-богу, не сержусь (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 72.

7–8 *Фразы:* Мы бы полюбили друг друга; я даже готов пригласить вас к себе на обед. — *в ОЗ нет.*
10 Вы не знаете... / Вы не знаете... вы не знаете... (*ОЗ*)
12–13 Она, может быть, теперь меня ждет... / Она, может быть, ждет... (*ОЗ*)
25–26 свое состояние / всё свое состояние (*ОЗ*)

[38] *После:* — Тсс!.. —

— Молодой человек, если б вы только знали, с кем вы так говорите! Я, я... я бы простил вас тогда. Я добрый! видите, я какой добрый! Отчего же вы не хотите заплатить мне взаимностью? Мы бы любили друг друга. Я даже готов пригласить вас к себе в дом... Боже! я не знаю, что говорю, я не имею нисколько понятия, о чем говорю. О, неужели я всё потерял? Молодой человек, вот вам урок! Взирайте на меня, я, так же как и вы, был во цвете лет, так же беспечно протекла моя молодость, так же как и вы, срывал я цветы удовольствия, тонул в пуховиках наслаждения... Нет, нет, я не то говорю... Боже мой! я уже заговариваюсь... — Тут Иван Андреевич всхлипнул, и из глаз его покатились слезы.

— Ну, это хорошо; по крайней мере удара не будет, — прошептал молодой человек.

— Со мною уж это случалось не раз! Я еще вчера таким же образом подружился с двумя прекрасными молодыми людьми. Подружимся! Кто нам мешает, хотя уже вы раз отвергли руку мою! Я... я... Но вы, верно, тот самый молодой человек, который был в театре?.. Скажите мне ваше горе, молодой человек!

— Да замолчите ли вы? У меня нет горя, говорят вам. Мне только нужно быть на свиданье здесь, в третьем этаже.

— На свиданье! Так я и предчувствовал! — прошептал Иван Андреевич. — Ну, разите, колите разом: это вы или ваша дама уронила записку?

— Записку? записку? — перебил молодой человек в крайнем смущении. — Так это вы ее подняли?

— Боже мой! молодой человек! говорите мне всё, без утайки, как бы вы сказали отцу...

— Какой тут отец! Нет, нет, уж теперь позвольте... вы кто?

— А вы-то кто?

— Э! еще с вами возня! Ну, да просто к вам слетела записка, вы прочли и попались впросак.

— Понимаю! (*ОЗ*)

Стр. 72—73.

[39–2] — Что это? как будто ∾ я не женат. / — Что это? как будто наверху я опять слышу возню, — проговорил старичок, как бы проснувшись и нарушая таким образом супружеское молчание.

— Наверху?

— Слышите, молодой человек, наверху!

— Ну, слышу!

— Боже мой! молодой человек! я выйду.

— А я так не выйду! Мне всё равно! Уж если расстроилось, так всё равно. А всё оттого, что вы перехватили записку! — проговорил молодой человек, в припадке досады стиснув руку Ивана Андреевича.

— Но я разве знал, что это ваша записка? Рассудите лучше, молодой человек. Зачем же вы дурно ее передали? Молодой человек! всё, об чем прошу я вас, об чем умоляю, — скажите мне, в которой вы ложе сидели? Ну, всё равно, уж что бы там ни было, так-таки просто скажите... Режьте правду, молодой человек! Сознание — первый признак раскаяния...

— О, боже мой, боже мой! — прошептал молодой человек, вне себя от смеха. — Какой же вы странный муж! Боже, какой же вы непроходимый муж!..

— Боже, какой цинизм!.. Но почему же муж... то есть я не женат. (*ОЗ*)

Стр. 73.

[4] Я, может быть, сам любовник! / Да! Я, может быть, тоже любовник! (*ОЗ*)

15–16 срывали цветы ∾ наслаждения». / срывали цветы, вместе под одной буркой...

— Как, под буркой? — прервал молодой человек, заливаясь от смеха.

— Под пулями чеченцев... — всхлипывал Иван Андреевич.

— Как, под пулями?.. — снова прервал молодой человек.

— Ну! Когда я на Кавказ ездил следствие делать — это так говорится... (*ОЗ*)

22 *После:* воспаление в мозгу! —

— А записку-то зачем вы перехватили? Как же вы не муж?

— Милостивый государь, милостивый государь! Это он, это друг мой говорит: «Поди, мой друг, исследуй, перехвати записку, когда она падать будет...»

— Как? как? как? — прервал молодой человек, надрываясь от смеха... — Когда падать будет?

— Боже мой! а я и не сообразил! Молодой человек! я...

— Ха-ха-ха!

— Я вас проклинаю!!!

— Ха-ха-ха! (*ОЗ*)

35 *Слов:* Как же бы он меня встретил? — *в ОЗ нет.*

37 *После:* будет обморок. —

— О, какой вы тип, какой тип!..

— А! вы, верно, литератор? — проговорил Иван Андреевич.

— Какой литератор? Зачем?

— Да, литератор! Это всё литераторы про типы говорят.

— Хи-хи-хи! (*ОЗ*)

Стр. 74.

6 нюренбергскую / нирембергскую (*ОЗ*, *1860*)

20 из моего кармана / из кармана (*ОЗ*)

23–24 вы бегаете как угорелый / вы бегаете с чужой запиской как угорелый (*ОЗ*)

33–36 старца ∾ по всем закоулкам! / старичка, которому прежде всего нужен покой, — а всё отчего? оттого, что вам вообразилось, что записка выпала из той ложи, где была ваша жена! (*ОЗ*)

Стр. 75.

3–5 я ошибся этажом. ∾ (не вас, разумеется). / я ошибся этажом. Но почем вы знаете, с какой целью я назначил свидание, — а? почем вы знаете? Может быть, это бедная девушка, на которой я хочу жениться, но не позволяют обстоятельства. Почем вы знаете, может быть, это целый роман, самый простой, невинный роман?

— А зачем же вы здесь?..

— Да ошибкой. Черт знает, почему меня впустили! Может быть, ждали кого-нибудь. (*ОЗ*)

7–8 *После:* ревнивый старик. —

— Нет, не старик; почему же старик? Я молодой... Я, может быть, тоже еще довольно молодой человек.

— Ах, вы! Вы, батенька, только трус порядочный, больше ничего. (*ОЗ*)

11 как пень / как пень, как столб (*ОЗ*)

15 *После:* Нет, я найдусь. —

— Вот вы и обижаетесь! А сами и выходите первый безнравственный...

— Нет, я не безнравственный; у вас такой низкий слог! Почему же безнравственный? Я нравственный, я не таков, как вы думаете.

— А как же вы похвалялись, что когда были молоды, то соблазняли девиц?

— Когда? Нет, я не говорил.

— Как не говорили? Вот вы и лжете.

— Нет, молодой человек, вы ошибаетесь. Я вам всё расскажу; это не так; вы в ужасном заблуждении. Я, молодой человек, прихвастнул; я малодушно прихвастнул, чтоб выманить вашу дружбу, для того чтоб вы подвинулись; но я ничего! я не таков! я совсем нравственный... (*ОЗ*)

Стр. 76.

2 в припадке самохранения / в припадке самосохранения (*ОЗ*, *1860*)
5 закричала дама / кричала дама (*ОЗ*)
8 закричал старичок / кричал старичок (*ОЗ*)
41 какой странный человек! / какой страшный человек! (*ОЗ*)

Стр. 77.

5 Вы вор, пришли обокрасть... а не товарищ детства... / это вы лжете всё, что товарищ детства. А вы вор, пришли обокрасть... (*ОЗ*)
6–7 *Слов:* я действительно товарищ детства... — *в ОЗ нет.*
20–21 не одну чашу выпили, — судя по вашему положению, оно и видно / не одну чашу выпили — оно и видно (*ОЗ*)
41 Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе... / Нет, не с князем, да и не с превосходительством, милостивый государь; я, милостивый государь, сам по себе; не с князем... (*ОЗ*)
42 вашим сиятельством / вашим сиятельством да превосходительством (*ОЗ*)
46 обдумался / обманулся (*ОЗ*)

Стр. 78.

7 сидит и чихает. / сидит... (*ОЗ*)
17 Это история самая комическая, ваше превосходительство! / Я думаю так! Это история самая комическая, ваше превосходительство. Особенно вы, ваше превосходительство! (*ОЗ*)
20 видите на сцене / увидите на сцене (*ОЗ*)
25 Виноват! / Виноват! я виноват! (*ОЗ*)

Стр. 79.

1–4 я ученый человек ∾ смех ваш! / я ученый человек и знаю литературу, только немного ошибся, сказав Робинзон вместо Ловеласа: — любовник, я хочу сказать, это герой, который лезет по шелковой лестнице, а героиня своими голыми руками поддерживает. А я не похож на это!.. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что *провокировал* смех ваш, ваше превосходительство... Видите, я употребляю французские выражения; я образованный человек, ваше превосходительство, я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете. О, как я рад, что провокировал смех ваш! (*ОЗ*)
7 Да, смешной, и какой запачканный / Да, смешной, такой запачканный, странный! (*ОЗ*)

Стр. 80.

1 это не та / это не то (*ОЗ*, *1860*)
19–20 принесите! / приносите! (*ОЗ*, *1860*)
24 кондитер / кондитор (*ОЗ*, *1860*)
38–39 впрочем, очень рад познакомиться / очень рад познакомиться (*ОЗ*)

Стр. 81.

38 мало того: даже — несчастие!.. / мало того: ревность, господа, — несчастие!.. (*ОЗ*)

ЧЕСТНЫЙ ВОР

(Стр. 82)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 82.

1–2 Честный вор. (Из записок неизвестного) / Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной (*ОЗ*)

Стр. 83.

30 и не глядя на паспорт / и не глядя в паспорт (*ОЗ, 1860*)

31–32 *После:* был из хороших между своими. — Отставной гораздо цивилизованнее крестьянина и во сто крат нравственно выше дворового человека. Хотя, конечно, во всяком звании есть пьяницы, воры и всякого рода мошенники, но этого исключения, именно потому, что оно возможно во всяком звании, я теперь не беру в расчет. Отставной всегда не буян и характера смирного; любит выпить, но не допьяна, то есть не до забвения обязанностей, а выпьет что следует, из необходимости. Его никогда не найдете пьяным на улице; впрочем, у него и хмельного дело споро работается. От дела он не бегает; работать ему что жить; да работой и не удивишь его. Сноровки, схватки дела, сметливости у него побольше, чем у крестьянина. Он никогда не позовет на помощь ни дядю Митяя, ни дядю Миняя и не любит кричать благим матом, как мужик в беде, а сделает что нужно сам, без крику и порядочно. Он не болтлив; самонадеян, но не хвастун. У него много выжито правил и практических истин, и его трудно сбить с толку хитрым словцом; он стоек в своих побуждениях. Трудно тоже удивить его какими-нибудь чудесами или диковинками. Говорит он всегда ровно, дельно и почти бесстрастно; жест его короткий и правильный; всё в нем получило известную форму. Говорить он будет с кем бы то ни было, даже с самыми нáбольшими, и всегда найдется, и всегда скажет дело, и скажет учтиво, прилично. А между тем в нем никогда не найдете униженного жеста. Он большой скептик; но зато в нем зачастую много задушевного и наивного. В нем много чувства терпимости. Человек он бывалый, «видал много видов» и сам знает свое превосходство над всей той средой, в которую входит после долголетней прогулки с ружьем на плече. Он вообще набожен, всегда имеет у себя образ, часто в богатой оправе, и лучше не съест, а купит масла в лампадку накануне всякого праздника. От привычки к порядку и от скептического воззрения на жизнь он очень любит оседлость, солидность, свой угол, свой особняк и крепко привязан к своей собственности. Какая-нибудь дрянная шинелишка, рваный сертучишка — у него всё на счету. Он любит обзавестись порядком, аккуратен и предусмотрителен; любит общество, ценит *хорошего* человека и сойдется часто с совершенно разнородным характером, затем что умеет жить. Он часто сострадателен к животным и любит их. Если он переселится на постоянное житье, то непременно заласкает к себе собаку или начнет прикармливать голубей... Отставной вообще хороший человек, и с ним приятно иметь дело...

Но жилец мой, Астафий Иванович, был отставной особого рода... Служба только заправила его на жизнь, но прежде всего он был из числа бывалых людей, и, кроме того, хороших людей. Службы его всего было восемь лет. Был он из белорусских губерний, поступил в кавалерийский полк и теперь числился в отставке. Потом он постоянно проживал в Петербурге, служил у частных лиц и уж бог знает каких не испытал должностей. Был он и дворником, и дворецким, и камердинером, и кучером, даже жил два года в деревне приказчиком. Во всех этих званиях оказывался чрезвычайно способным. Сверх того, был довольно хороший портной. Теперь ему было лет пять-

десят и жил он уже сам по себе, небольшим доходом, получаемым в виде ежемесячной пенсии от каких-то добрых людей, которым услужил в свое время; да, сверх того, занимался портняжным искусством, которое тоже кое-что приносило. Я скоро смекнул, сколько выгадал на том, что пустил его к себе в сожители. Он знал столько историй, столько видел, так много было с ним приключений, что я, чтоб не скучать по вечерам, решился с ним сойтись покороче. Несколько дней после его водворения, я пригласил его выпить стакан чаю. Сесть он не согласился, объяснив, что ему стоя свободнее, стакан чая принял с благодарностью и вообще с первого раза строго обозначил общественную черту, нас с ним разделявшую. Сделал всё это он не из самоуничижения, а для того чтоб не попасть в ложное положение, из собственного спокойствия и достоинства. Я полюбопытствовал о подробностях его службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов.

— Как!.. да сколько же тебе лет? — спросил я.

— Должно быть, лет пятьдесят теперь будет, сударь. Я на службу пошел сущим мальчишкой, пятнадцати лет; еще в двенадцатом году поступил. Ну, тогда разбирать было некогда да и нечего; все ополчались.

— Так ты и в Париже был?

— Был, сударь, и в Париже.

— И всё помнишь?

— Ну как же, сударь, как теперь помню; еще бы не вспомнить! И пресчастливо служил: сколько атак приходилось делать, и всегда из дела сух выходил. Ни одной-то ранки не бывало.

— А что, робел с первого раза?

— Уж известно, сударь, робел. Вестимо, ни жив ни мертв человек. Уж потом как пообтерпишься — всё равно. А сначала и долго не привыкнешь. Стоишь иной раз в строю, так пули просто уши задевают — жужжат. Только головой мотаешь, по сноровке. Наклонишься в одну сторону, как нарочно тотчас же под самым ухом провизжит, проклятая. Я уж потом всё держал голову прямо, чтоб от греха подальше: неравно еще сам смерть зацепишь, когда она еще не напрашивалась. А вот доложу, сударь, нет лучше фланкёрской обязанности: тот вертится, на месте не постоит, нацелить в него трудно!

— Ну, а в атаке легче?

— Ну, там, вестимо, полегче... Только нет, всё равно! Рубишь, конечно, свое дело делаешь; да только всего обиднее, как придется еще на марш-марше с коня от пули слететь. Беда! свои же растопчут. Кому тут разбирать? всяк за себя. А осадить коня тоже нельзя. Они, конечно, если б все были новобранцы, так, может, и до вражеского строя не доехали бы, все бы кто куда рассыпались. Да тут рядом с тобой едут старые ребята, народ храбрый, бывалый, много претерпевший, им всё равно. Со мной, помню, рядом наш вахмистр ехал да видит, что я, с первого раза, пропал совсем, дали б свободу, так с лошади бы соскочил, удрал. «Изрублю, — говорит, — только на волос отстань от меня!» — ну, и перестал тотчас бояться. Что там, что здесь смерть — оно и выходит уж всё равно.

— Ну, и поголодать, верно, случалось, Астафий Иванович?

— Да как же, сударь; как с Фигнером ходили, так иной раз и по три дни не едал. Такие были оказии.

— Как! так ты и с Фигнером был? — спросил я с любопытством. — Ну что ж, какой это был человек?

— А что, сударь, всё одно, человек; хороший был человек; строгий такой! У! дисциплину наблюдал... Бывало, по три дня в рот куска не берем, так куды! соснуть не смей. Сапогов иной раз по неделе не скидаешь. Беда! всегда настороже; каждую минуту врага на себя ожидаешь. Зато все одним Фигнером и дышали; через него и животы

свои вынесли; всех своим умом выручал; в нем одном и спасение всё было. Не было б его, все бы мы погибли. Строгий был человек.

— Что, он не любил французов?

— Французов? то есть, я думаю, ему и во сне только француз и снился. Вот как не любил! Бывало, пленных захватит; разношерстный народ; всякая нация под Бонапартом ходила, и немец ходил, и гишпанец ходил... Так немцев посадит Фигнер особо, гишпанца особо, тальянского человека особо, агличанин * тоже особо сядет, как кто какую веру исповедует, и им прощение дарует, и потом где-нибудь по дороге бросит, а француза всего тут же в кучку наберет и тотчас же злой смерти предать велит. Я сам штук тридцать врагов погубил таким образом.

— Как, пленных погубил?

— Пленных, сударь; так велено было. ** Оно и жалко теперь, что беззащитного бил, а тогда ничего. И юн-то я был тогда, да и самому смерть грозила на каждом шагу... Иной раз стоишь в болоте трое суток; выходу нет; кругом тьма-тьмущая врагов ходит; в середине ихней армии стоим; так уж тут в кулак дышишь: страшно! Все только на одного Фигнера и глядят. Уж так и знаем, что на нем от главнокомандующего обязанность поставлена нас выручать. А он что сделает? Жидом, шпионом аль немцем оденется да и пойдет прямо к врагу; на всех языках говорил человеческих. Выспросит всё, узнает с толком, в службу шпионскую к Бонапарту поступит, ест, пьет с ним, в карты играет, на верность ему присягнет по вере тамошней, католической, деньги за то возьмет, обманет, отведет неприятеля в сторонку, а мы и выйдем благополучно, а Фигнер-то всё главнокомандующему опишет, обо всем его предуведомит, и хоть Наполеону во сне что приснись, так главнокомандующий всё через Фигнера знает, обо всем мигом известен. Еда! Какая тут, сударь, еда! Да иной раз чего! Сам-то не съешь, так это ничего, дело наживное: потом поешь; а то коню три дни корму не выдаешь — уж это последнее дело. Известно, что такое конь некормленный.

— Ну, да как же конь некормленный? Как же он служит тебе?

— Да так, сударь, как-нибудь служит. Известно как. Конь, сударь, на войне словно живой человек; да иной конь, право, умнее нашего брата иного. Смирен, всю службу знает, всякую команду прежде тебя понимает, а в атаку лететь придется, так удила закусит, не сдержишь — и трус, словно храбрый человек, понесется. И уж коли суждено богом солдату убитым быть, так конь в то же утро за несколько часов предузнает и скажет.

— Каким же образом?

— А вот каким, сударь; как начнет голову к тебе оборачивать да твои ноги обнюхивать, значит, быть убитым тому. И так это верно, что ничто не спасет. Смирно стоит конь, так и бодро идешь; а начнет голову поворачивать да обнюхивать, так седок и повесит головушку. И не бывает того, чтоб в тот же день его не убили, хоть бы какой заговор против смерти с собой носил.

— А разве носят какой-нибудь заговор против смерти?

— Известно, сударь, как кто, всем запасаются; у иного есть, только трудно доставать. Вот, я помню, иные, еще из России не выходя, у цыганки кореньев каких-то, в ладонке зашитых, промыслили. Целых десять штук продала, брала за каждый по рублю серебром. Еще помню, у нас солдатик был один, глуповатенький и горячий, сердитый

---

* Ясное дело, что реляция Астафия Ивановича во многом не совсем справедлива. Надеемся, что читатели извинят наивность познаний его.

** Странный характер знаменитого Фигнера, вероятно, уже известен вполне каждому из читателей. Об нем встречается тоже много подробностей в известном романе г-на Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».

такой; его еще все дразнили потом. Покупает он у цыганки колдовство, долго торговался, отдал наконец целковый да и говорит: «Смотри, старая ведьма, хорошо, как не убьют, слава тебе; а убьют, нет тебе за обман пощады — за тридевять земель найду, голову сниму, изрублю».

— А! так глупенек солдат-то был?

— Глуповатенький, сударь. Куды иной конь умнее! Да ведь какой вороватый станет. Тут коня в стойло ставишь, привязываешь — забота, чтоб он не сбежал, а там, на войне, так, кажется, конь за тобой ходит да смотрит, чтоб ты как от него не сбежал. Ляжешь иной раз спать на поле, когда еще с Фигнером были, ляжешь как мертвый и коня бросишь, и всяк заснет, когда безопасно станет заснуть. Так что ж, сударь? проснешься — а конь над тобой стоит, всю ночь тебя стережет. Да ведь как иной раз... вот вы еще, сударь, говорите про коня некормленного, да он сам себе хлеб промышляет: нет травы, так иной раз всю ночь около тебя скитается, да обнюхивает, да норовит стащить, коль найдет у тебя что съестного припрятанного. Да и не то что, примером, хлеба кусок, мяса не пропустит, стащит и, как под изголовье ни подвертываешь, обнюхает, вытащит — не услышишь, словно фокусам его немец обучивал, и поминай как звали; такой смышленый! Через коня я и пропал было раз, когда подо мной его убили под Лейпцигом да в плен меня взяли.

— А ты был в плену?

— Как же! четыре месяца содержался. Мы ударили под Лейпцигом целым полком на орудия, которые француз вывозил из города. Два эскадрона занеслись. Одни погибли, других в полон взяли, и я тут же попал. Отвели нас, долго водили и потом посадили в сарай и караул приставили. Много нас сидело: со всех сторон нагнали и уже потом через четыре месяца назад сдали, когда об нас сам государь узнал и всех назад потребовал.

— А что? хорошо содержали вас?

— Да сначала ничего, как и следовало; всего вдоволь, и винная порция шла; а потом совсем почти ничего не стали давать, чуть не заморили насмерть. Не разочлись они, что ль, с припасами, господь ведает; рассчитать, что ли, некому было; может, и человека такого, чтоб рассчитать умел хорошо, меж их народом не нашлось... Чуть совсем не сгубили.

— А с Фигнером как же вы кончили? Ведь он был убит и вся партия рассеяна?

— Да, сударь; много тогда нашей крови пролилось. Меня самого уж не знаю как вынесло; даже не ранили. Напали на нас врасплох, поднялась тревога, пробились мы до реки, да все, как были, бух в воду! Подо мной лошадь была молодая, горячая, крепкая. Я сполз с седла, схватился за хвост и поплыл. А пули так сыпались кругом, что я в полминуты счет потерял. Да вынесло. Много наших положили; горсточка от отряда осталась. И Фигнер тут смерть нашел. И кажись, только одного шагу до берега не доплыл, как пуля его хватила в затылок, и пошел ко дну... А решительный был человек! жаль, что до Парижа не дожил.

— Ты тоже в Париж вступал?

— Да, сударь; тут же и нашему полку было назначено вступить; славный был день! И торжество было какое; встречали нас как! На киверах у нас лавры были. По одну сторону улицы стоял женский пол, по другую мужской, и со всех сторон цветы бросали и кричали: «Ура белому царю!» А сзади всех Бонапарт выступал и тоже: «Ура белому царю!» — кричал. А потом, как пришли во дворец, рапорт государю подал, в котором слезно ему представлял, что во всех прегрешениях раскаивается и вперед больше не будет русский народ обижать, только б за сыном его престол французский оставили. Да государь не согласился; сказал, что рад бы душою (добрый был царь,

врага миловал!), да веры больше иметь нельзя — обману было много. А было ему представлено, Бонапарту, чтоб крестился он в русскую веру и по русской вере присягу дал. Да не согласился француз; верой своей не пожертвовал... На том только и разошлись. Славное, сударь, времечко было! (*ОЗ*)

32–37 *Текста:* Зажили мы хорошо. ∾ этот рассказ. — *в ОЗ нет.*

38 Однажды я остался в квартире один / В квартире, кроме меня, никого не оставалось (*ОЗ*)

Стр. 84.

7 не сделала / не делала (*ОЗ*)

18 всё устроилось / всё так устроилось (*ОЗ*, *1860*)

35 время твое у тебя крадет... / время твое у тебя крадет, как трусишка, лентяй такой! (*ОЗ*)

Стр. 85.

6 ходил он уж бог знает в чем! / ходил уж он бог знает в чем! (*ОЗ*)

34 в который бог знает что завертывал / в который он бог знает что завертывал (*ОЗ*)

Стр. 87.

9 нет, мое счастье! / нет, счастье мое! (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 88.

11–12 зло меня такое взяло / зло меня взяло (*ОЗ*, *1860*)

31 по белой щеке / по бледной щеке (*ОЗ*)

Стр. 89.

32 — Нет, говорит, Астафий Иваныч, не видал совсем. / — Нет, говорит, Астафий Иваныч; я их, Астафий Иваныч, не видал совсем. (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 90.

6–7 не завалились ли туда куда-нибудь / не завалились ли туда как-нибудь (*ОЗ*)

31–32 как хотите, простите, коли я / как хотите. Простите, коли я (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 91.

5 *После:* плакать начнет. — То есть вот как: легче женские слезы полюбовнику от своей любы видеть, чем этакие. (*ОЗ*)

Стр. 93.

28 коли суконная вещь? / коли суконная? (*ОЗ*)

Стр. 94.

13–14 *После:* да тут и богу душу отдал. — Так вот, сударь, это я вам для того теперь рассказал и нравоучение, — если уж нужно, чтоб оно было тут, — для того вывожу, чтоб вы поняли, что если человек раз вошел в порок, как, примером сказать, Емеля в пьяную жизнь, так постыдное дело какое, хотя бы он прежде был и честный человек, для него уж возможным становится — то есть станет возможным помыслить об нем. А как у порочного человека воли не может быть мужественной, да и обсуждение-то не всегда здравое, так он и совершит это постыдное дело и мысль его нечистая тотчас делом становится. А коль совершит, да коль, несмотря на свою порочную жизнь, всё еще не загубил в себе всего человека, коли осталось в нем сердца хоть на сколько-нибудь, так оно тотчас ныть примется, кровью обливаться начнет, раскаяние, как змея, его загрызет, и умрет человек не от постыдного дела, а с тоски, потому что всё свое самое лучшее, что берег

помимо всего и во имя чего человеком еще звался, за ничто загубил, как Емеля свою честность, что одна только и оставалась за ним, — за полштофа глупой горькой сивухи. Оно хоть, сударь, пример из нашего простого, черного быта, а и во всяком звании случается, только в виде другом. Так вы и моей сказкой не брезгайте. Да и Емелю-горемыку простите: ему, сударь, выпить захотелось, только, уж видно. больно захотелось! А вы, сударь, павшим человеком не брезгайте; этого Христос, который нас всех больше себя возлюбил, не велел! Емеля-то мой, если б остался в живых, был бы не человек, а, примером сказать, плевое дело. А что вот умер с тоски да от совести, так всему свету доказал на себе, что каков он ни был, а он всё человек; что от порока-то человек умирает, как от яду смертного, и что порок, стало быть, наживное, человеческое дело, а не природное — оно было да сплыло; иначе и Христос бы к нам не пришел, если б нам порочными из века в век от первородного греха было суждено оставаться. Оно ведь никто как бог, сударь...

— Да, конечно, никто как бог, Астафий Иваныч!

— Ну, а теперь, прощайте, сударь, до другого раза. Когда-нибудь еще расскажу вам историю... (*ОЗ*)

ЕЛКА И СВАДЬБА

(Стр. 95)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 95.

5–6 смотря на эту свадьбу / смотря на свадьбу (*ОЗ*, *1860*)

10 детский бал этот / детский бал (*ОЗ*, *1860*)

11 сойтись в кучу / сбиться в кучу (*ОЗ*); сойтись в кучку (*1860*)

12 *После:* нечаянным образом. — Делать же официальное собрание для этих материй было бы некоторым образом неловко и круто. (*ОЗ*)

15 не было ни роду, ни племени / почти не было ни роду, ни племени (*ОЗ*)

Стр. 96.

7 таким образом принимавшей участие / таким умилительным образом принимавшей участие (*ОЗ*, *1860*)

15 поили его, лелеяли / поили его, кормили, лелеяли (*ОЗ*, *1860*)

30–31 прелестная, как амурчик, тихонькая / прелестная, как амурчик, с античными чертами лица, тихонькая (*ОЗ*)

31–32 с большими задумчивыми глазами / с большими разумными глазами (*ОЗ*, *1860*)

33–34 в уголку — своей куклой / в уголку с своей куклой (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 97.

4–5 поиграть с другими детьми / поиграть в них с другими детьми (*ОЗ*)

25–26 сценою ссоры ∾ из залы / сценою в зале и по всему видно было, что решился на какой-то маневр (*ОЗ*)

Стр. 98.

18–19 строго посмотрев / строго посмотря (*ОЗ*, *1860*)

32 Сказав это, Юлиан Мастакович / Тут Юлиан Мастакович (*ОЗ*)

Стр. 99.

2 всю солидность и важность / всю солидность и важность свою (*ОЗ*)

14 его гонитель / Юлиан Мастакович (*ОЗ*)

23–24 Юлиан Мастакович оборотился / Юлиан Мастакович обратился (*ОЗ*, *1860*)

26 свои колени и локти / свои колени и локти, которые были в пыли (*ОЗ*)

32 своего гостя / Юлиана Мастаковича (*ОЗ*)
42 справлялся / хлопотал (*ОЗ*)

Стр. 100.

3 Тут он, кажется, не мог утерпеть / Тут Юлиан Мастакович, кажется, не мог утерпеть (*ОЗ*)
7 Они зашептались / Тут они зашептались (*ОЗ*)
10 великий муж / Юлиан Мастакович (*ОЗ*)
14–15 Теперь он рассыпался / Почтенный муж рассыпался (*ОЗ*)
16 *Фразы:* Он заметно юлил перед маменькой. — *в ОЗ нет.*
17 слушала его чуть ли не со слезами восторга / слушала его со слезами восторга (*ОЗ*)
19–20 чтоб не мешать разговору / под предлогом того, чтоб не мешать разговору (*ОЗ*)
31–32 Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд. / Юлиан Мастакович покраснел и бросил на меня испытующий взгляд. (*ОЗ*)
38 сытенький человечек / сытенький человек (*ОЗ*)
41 увидел чудную красавицу / увидал дивную красавицу (*ОЗ*)
42 Но красавица была / Но она была (*ОЗ*)

Стр. 101.

8 стал протесняться скорее из церкви / стал протесняться как можно скорее из церкви (*ОЗ*)

БЕЛЫЕ НОЧИ

(Стр. 102)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 102.

21–22 Но к чему мне знакомства? / Но, сами посудите, к чему мне знакомства? (*ОЗ*)

Стр. 103.

9–10 и на третий день встретились / и на третий встретились (*ОЗ*)

Стр. 105.

34–35 шел и пел / шел и громко пел (*ОЗ*)
35–36 я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя / я должен петь (*ОЗ*)

Стр. 106.

11 Я не посмел перейти через улицу. / Я, как всегда за мной в подобных случаях водится, не посмел перейти через улицу. (*ОЗ*)
12 Вдруг один случай / Вдруг один благословенный случай (*ОЗ*)
14–15 недалеко от моей незнакомки, вдруг появился / недалеко от моей незнакомки, неизвестно каким случаем вдруг появился (*ОЗ*)
27 незваный господин / неустойчивый господин (*ОЗ*)
34 свою руку / свою ручку (*ОЗ*)
35 О незваный господин! / О неустоявшийся господин! (*ОЗ*)

Стр. 107.

20 вот это уж дурно / Об этом не говорят; вот это уж дурно (*ОЗ*)
21 Виноват, не буду / Ну, виноват, я не буду (*ОЗ*)

Стр. 108.

5–6 добрая женщина / порядочная женщина (*ОЗ*)
7 в ту минуту / в эту минуту (*ОЗ*)
8 так робко вымаливаете / так робко, так страстно вымаливаете (*ОЗ*)

8–10 Впрочем, что я! ∾ как люди на свете живут! / Впрочем, я сужу по себе. (*ОЗ*)

25–26 не мог слышать это / не мог слышать этого (*ОЗ*)

33 но вот уже я дома / Послушайте, вот уже я дома (*ОЗ*)

Стр. 109.

9–10 — Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра / — Хорошо; послушайте, — сказала девушка, и ручка ее задрожала в моих руках, — я приду сюда завтра (*ОЗ*)

11 Вот в чем дело, мне нужно быть здесь / Видите ли, мне нужно быть здесь (*ОЗ*)

15–16 но это в сторону... одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть... / но это в сторону. Во-вторых, мне хотелось бы вас видеть... (*ОЗ*)

17 *После:* два слова. — Ну, да я вам после скажу! (*ОЗ*)

32 Не осуждайте меня / Но, послушайте, не осуждайте меня (*ОЗ*)

45–46 Тем лучше для вас / Тем лучше (*ОЗ*)

Стр. 111.

23–24 Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка / Послушайте, да с вами превесело! Видите ли: вот здесь есть скамейка (*ОЗ*)

Стр. 114.

17 изобретают и другие веселые темы / изобретая и другие веселые темы (*ОЗ*)

39–40 *После: своею особенною* жизнью — и дорога не дает ему никаких впечатлений (*ОЗ*)

Стр. 115.

44–45 Да и вправду, смотрите / Да и вправду, Настенька, смотрите (*ОЗ*)

Стр. 116.

4–5 *После:* восторженных грез — то грациозных и нежных, то бурных и пламенных, то сладко-грустных или томительно-радостных! (*ОЗ*)

5–15 *Текста:* Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? ∾ мой маленький ангельчик... — *в ОЗ нет.*

13 а подле милое создание / и подле милое создание (*1860*)

17–18 он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая / Бедная, жалкая жизнь эта! — думает он, не предугадывая (*ОЗ*)

26 *После:* по новому произволу. — Он захочет — и века, по одному мановению фантазии, исчезают перед ним и предстает ему давно прошедшее. Древность угрюмая разоблачается от своего тумана. Всё, что манит и волнует наш дух, всё, что еще с детства влечет нас к себе неотразимым призывом и соблазнительно манит нас в жизнь, всё перед ним воплощается в такую роскошную, такую сладостную форму!.. (*ОЗ*)

27 *После:* этот сказочный, фантастический мир! — Как будто и в самом деле живешь в этих небывалых мирах! (*ОЗ*)

29 не возбуждения чувства / не заблуждение чувства (*ОЗ*); не возбуждение чувства (*1860*)

31 скажите, Настенька / скажите мне, Настенька (*ОЗ*)

38 угрюмую комнату / угрюмую комнатку (*ОЗ*)

39 *Слов:* как у нас, в Петербурге — *в ОЗ нет.*

45–46 И ведь какой обман — вот, например, любовь / Смотрите — вот любовь (*ОЗ*)

Стр. 117.

12 Неужели всё это была мечта / Неужели всё это было мечта (*ОЗ*, *1860*)

15 *Слов:* любили друг друга так долго, «так долго и нежно»! — *в ОЗ нет.*

27 задрожав, бросилась / задрожав, зарыдав, бросилась (*ОЗ*, *1860*)

32 О, согласитесь, Настенька / О, согласитесь, милая Настенька (*ОЗ*, *1860*)
38–39 тут люди / а тут люди (*ОЗ*)

Стр. 118.

16 чтоб сказать мне это / чтоб сказать это мне (*ОЗ*, *1860*)
22–23 уже я могу сказать / уже я могу теперь сказать (*ОЗ*, *1860*)
25–26 *Фразы:* Что такое два вечера! — *в ОЗ нет.*
40 *После:* которые ужасны — потому что в эти минуты отрезвления ощущаешь всю пустоту, всю бесплотность этой фантастической жизни (*ОЗ*)

Стр. 119.

34 куда ты схоронил свое лучшее время? / куда ты схоронил свои лучшие дни? (*ОЗ*)

Стр. 120.

9 Вы очень умный человек / Послушайте, вы умный человек (*ОЗ*)
11 — Ах, Настенька, — отвечал я / — Ах, Настенька, Настенька! — отвечал я, чуть не плача от восторга (*ОЗ*)
45–46 в первое время отойти никак нельзя было / отойти никак нельзя было (*ОЗ*)

Стр. 121.

14 тотчас меня опять посадили / тотчас же меня опять посадили (*ОЗ*, *1860*)
43 чулок вязать / чулок вязала (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 122.

5 да вдруг и заплакала / да и залилась слезами (*ОЗ*)
7 Жилец, как увидел, увидел / Жилец, как увидел (*ОЗ*, *1860*)
32 нет записки / нет записочки (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 123.

3 а жилец в это время домой приходил / а жилец в это время всегда домой приходил (*ОЗ*)
35 билет пропадает / билет пропадет (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 124.

45 *После:* всё разом говорило во мне — так что наконец всё это обратилось в какое-то отчаяние (*ОЗ*)

Стр. 125.

20 опустила голову / опустила головку (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 126.

29 Я не обвиняю вас / Я не обвиню вас (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 128.

21–22 *После:* если б оно не сбылось. — Говорят, что близость наказания производит в преступнике настоящее раскаяние и зарождает иногда в самом зачерствелом сердце угрызения совести. Говорят, что это действие страха. (*ОЗ*)
23 что я люблю ее / что мне тяжело, что я люблю ее (*ОЗ*, *1860*)
27 не предчувствовал / и не предчувствовал (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 129.

20–21 Твоя рука холодная, моя горячая / Твоя рука холодна, моя горяча (*ОЗ*)
30–31 потом... потом я пришел / и потом... потом пришел (*ОЗ*)

Стр. 130.

17–18 *После:* робким, нерешительным голосом. — А что если он не придет? (*ОЗ*)

40–41 — Вот что вы сделайте, — продолжала она / — Послушайте, — продолжала она (*ОЗ*)

Стр. 131.

1 Ах, какое вы дитя! / Ах, какая вы дитя! (*ОЗ*, *1860*)

6 вы так добры / вы так добры, так добры (*ОЗ*)

45 *После:* О, дай вам бог за это счастия! — дай вам бог больше этой доброты и ясности душевной! (*ОЗ*)

Стр. 132.

5 крепко пожала руку мне / крепко пожала мне руку (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 133.

30–31 Но к последнему человеку на свете / Но к последнему, презренному существу на свете (*ОЗ*)

Стр. 134.

4 — Слушайте! — продолжала она / — Послушайте! — начала она (*ОЗ*)

20 *После:* — Слушайте! — сказал я решительно — подавляя слезы, которые готовы были хлынуть из глаз моих. (*ОЗ*)

Стр. 135.

11 я не мог теперь вытерпеть / я не мог, Настенька, я не мог теперь вытерпеть (*ОЗ*)

17 Я и уйду / Настенька, я уйду, я непременно уйду (*ОЗ*)

27–28 Вам, может быть, странно / Послушайте: вам, может быть, странно (*ОЗ*)

30–31 дружочек мой! / дружочек вы мой! Послушайте (*ОЗ*); дружочек вы мой! (*1860*)

48 а только я бы вас так любил / только я бы вас так любил (*ОЗ*)

Стр. 136.

7 Не плачьте же / Не плачьте же, не плачьте (*ОЗ*)

25 Стойте, выслушайте меня / Стойте, послушайте (*ОЗ*)

27 Я его люблю / Послушайте, я его люблю (*ОЗ*)

38–39 и горько заплакала / и заплакала как ребенок (*ОЗ*)

47 — Вот что, — начала она / — Послушайте, — начала она (*ОЗ*)

Стр. 137.

2 не думайте / слушайте! не думайте (*ОЗ*)

2–3 позабыть и изменить / позабыть, изменить (*ОЗ*, *1860*)

27–28 Настенька!.. О Настенька!.. / Настенька, я на коленях... О Настенька!.. (*ОЗ*)

40–41 переходили на набережную / приходили на набережную (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 138.

13 Ах, Настенька!.. / Ах, Настенька, Настенька!.. (*ОЗ*)

15 А где же вы живете? / А где вы живете? (*ОЗ*, *1860*)

41 слезинка набежит на глаза / слезинка набежит на глаза ее (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 139.

20 — Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька? / — Настенька, — сказал я вполголоса, — Настенька! (*ОЗ*)

Стр. 140.

18 приняли в дар мое, убитое / приняли в дар мое, изъязвленное (*ОЗ*)

19 вылечить его... / уврачевать его... (*ОЗ*)

Стр. 141.

23 Да разве этого мало / Да разве этого мало, господа (*ОЗ*)

НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА

(Стр. 142)

Варианты корректурных листов «Отечественных записок» (К)

Стр. 163.

25–26 к такому вечно страдавшему существу / к такому погибшему, к такому вечно страдавшему существу ◇
27 ее страдальческую жизнь / *а. Как в тексте. б.* эту погибшую жизнь ◇
28 об этой мученице / об этой страдалице ◇
30 часто сжималось мое сердце / даже и тогда часто сжималось мое сердце ◇
33 несправедливость свою к матушке / несправедливость свою, чувствовала, что напрасно ненавижу [ее] матушку ◇
35–36 *После:* потрясают мою душу — когда я вспоминаю [об этой бедной страдалице] о моем детстве ◇
44–45 вероятно от горя, она впадала в какое-то бессмыслие / вероятно от горя и — говорить ли всё — от нетрезвого поведения (несчастная от отчаяния, от нищеты увлеклась примером отца) в иные минуты она впадала в какое-то бессмыслие ◇
47 руки / руки ее ◇

Стр. 164.

19 фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. / фантазия, исключительная любовь моя к отцу. Я не любила матушки за то, что, по моим понятиям, она составила его несчастия, и мысль о смерти ее долго уже не покидала меня, хотя я сама мучилась от раскаяния. ◇
20–21 на своей коротенькой подстилке / на моей коротенькой подстилке ◇
22–23 когда я была поменьше / *а. Как в тексте. б.* когда была поменьше ◇
30–31 на целые недели / на целые месяцы ◇
48 впадала в забытье / впадала в какое-то бессмыслие и в забытье ◇

Стр. 165.

2 *После:* пренебрегала. — Я знала это и всё яснее и яснее понимала слова отца, которые всё чаще и чаще слышала: «что умрет же наконец ненавистная женщина!» ◇
3 всё тягостнее и тягостнее / *а. Как в тексте. б.* всё тягостнее ◇
5 и мучась / и мучаясь ◇
8 подозвал к себе / подозвал меня ◇
27 начинал читать / начинал мне читать ◇
35–36 давала волю / давала полную волю ◇
38 с красными занавесами / с красным занавесом

Стр. 166.

2 скоро совершится / очень скоро совершится ◇
19 как будем жить, что возьмем с собою / и как будем жить и что возьмем с собою ◇
28 отец мой говорил / *а. Как в тексте. б.* отец мне говорил ◇
36 он был очень огорчен / был очень огорчен ◇
46 однако почувствовала / но, однако, почувствовала ◇
47 что я обидела матушку / *а. Как в тексте. б.* что обидела матушку ◇
48 сомнения закрались в душу / сомнение закралось в мою душу ◇

Стр. 166—167.

48–1 я плачу и мучусь, начал утешать меня / *а.* я плачу и мучаюсь, начал меня утешать *б.* я плачу, начал меня утешать ◇

Стр. 167.

8–9 *После:* с большим талантом. — Этому несчастному человеку в это время было так мало случаев рассказать кому-нибудь о себе, какой он знаменитый артист, что не диво, если он заговорил об этом со мною. ◇

4) Неточка Незванова.

И какъ могла родиться во мнѣ такая ожесточенность къ такому погибшему, къ такому вѣчно страдавшему существу, какъ матушка? Только теперь понимаю я ~~ея страдальческую~~ жизнь и безъ боли въ сердцѣ не могу вспомнить объ этой страдалицѣ. Даже и тогда, въ темную эпоху моего чуднаго дѣтства, въ эпоху такого неестественнаго развитія моей первой жизни, даже и тогда часто сжималось мое сердце отъ боли и жалости, и тревога, смущеніе и сомнѣніе западали въ мою душу. Уже и тогда совѣсть возставала во мнѣ и часто, съ мученіемъ и страданіемъ, я чувствовала несправедливость свою, чувствовала, что напрасно ненавижу ~~ее~~. Но мы какъ-то чуждались другъ друга и не помню, чтобъ я хоть разъ приласкалась къ ней. Теперь часто самыя ничтожныя воспоминанія язвятъ и потрясаютъ мою душу, когда я вспоминаю ~~объ этой бѣдной страдалицѣ~~. Разъ, я помню,—конечно, что я разскажу теперь, ничтожно, мелочно, грубо, но именно такія воспоминанія какъ-то особенно терзаютъ меня и мучительнѣе всего напечатлѣлись въ моей памяти, — разъ, я помню, какъ въ одинъ вечеръ, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня въ лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не рѣшалась и вслухъ считала мѣдныя деньги — жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, я думаю, съ полчаса и все не могла окончить разсчетовъ. Къ-тому же, въ иныя минуты, вѣроятно отъ горя и — говорить ли все — отъ нетрезваго поведенія

«Неточка Незванова». Корректура второй главы с правкой Достоевского

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

25–26 был один из тех рыцарей / был одним из тех рыцарей ◇
26 все разом / все вместе, разом ◇
37 к моему отчиму / к моему вотчиму ◇
46–47 нюренбергским щелкуном / ниренбергским щелкунчиком ◇

Стр. 168.

1 о своей судьбе, о том / *а. Как в тексте. б.* о своей судьбе и о том ◇
13–14 Помню, что это была драма / Помню, что это драма
18 великого художника / великого древнего художника ◇
21 Всё оканчивалось очень плачевно. / Драма кончалась очень плачевно. Я, конечно, тогда не понимала всего, об чем толковали и плакали отставной фигурант и батюшка, читая эту книгу, и уже догадалась потом, припомнив некоторые слова их и перечитав вновь самую драму. ◇
35 грозил рукою / грозил мне рукою ◇
37 Как теперь вижу / Я как теперь вижу

Стр. 169.

5 притворясь / *а. Как в тексте. б.* притворяясь ◇
23 Ты виролёмный / *а.* Ты веролёмный *б.* Ти веролёмнпй ◇
33 с отцом / с батюшкой ◇
42–43 Но в эту минуту ∾ что-то особенное. / В эту минуту, когда я встретилась с ним на лестнице, он был именно в такой тоске, в таком грустном расположении духа, даже был нездоров [от какого-то органического расстройства]: до такой степени сильна была в нем пагубная привычка! ◇
44–46 Помутившиеся глаза ∾ вдруг покраснел / Увидев деньги, он вдруг покраснел ◇
46–47 чтоб взять у меня деньги / чтоб взять их у меня ◇

Стр. 170.

8–9 инстинктивный стыд / какой-то инстинктивный стыд ◇
20 Я побежала наверх / Я не могла более вынести этой сцены и побежала наверх ◇

Варианты прижизненных изданий

Стр. 142.

1 Неточка Незванова / Неточка Незванова. (История одной женщины). Часть первая. Детство (*ОЗ*)
3 Отца моего ∾ два года. / Отца я не помню. Он умер, когда мне было два года от рождения. (*ОЗ*)
9–10 на всю мою жизнь / на всю жизнь мою (*ОЗ*)
15 от одного бедного музыканта / и был сыном одного бедного музыканта (*ОЗ*)
17–18 и более всего, до страсти, любил музыку / и более всего любил музыку. Это была его страсть. (*ОЗ*)
19 *После:* даже в Москву — оттого, что любил сидеть на одном месте (*ОЗ*)
25–26 Ему было двадцать два года, когда он познакомился / Лет двадцати двух познакомился он (*ОЗ*)
27 В этом же уезде / В том же уезде (*ОЗ*, *1860*)
31 он совершенно унизился / он совсем опустился (*ОЗ*); он совсем унизился (*1860*)

Стр. 143.

37–38 тот всегда с гордостию говорил, что знает / помещик всегда с гордостью говорил, что он знает (*ОЗ*)
43 потому что ты не хочешь / потому что не хочешь (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 144.

9 на котором ты и играть не умеешь? / на котором нынче умеешь играть? (*ОЗ*)

32–33 *Фразы:* С первого взгляда доказательства его показались серьезными. — *в ОЗ нет.*

Стр. 145.

21 надменно отказывался / надменно отказывается (*ОЗ*)

22 прибавляя, конечно обиняками, что впредь / прибавляя, что впредь (*ОЗ*)

32–33 оклеветал его в глазах / оклеветал его, оклеветал в глазах (*ОЗ*)

36 что он скрипач / что он, наконец, скрипач (*ОЗ*)

Стр. 146.

26 и хоть опять / и, положим, опять (*ОЗ*)

31–32 и пригрозили, что завтра же отправят его в город / с тем, чтоб завтра же отправить в город (*ОЗ*)

Стр. 147.

14 Нет, он сам мало знал / Нет, он сам не знал (*ОЗ*)

17 всё могу тебе дать / всё дам, всё могу тебе дать (*ОЗ*)

33 Ну, быть так! / Ну, ин быть так! (*ОЗ*)

Стр. 148.

19–20 Тогда он совершенно упал духом / Тогда он совсем упал духом (*ОЗ*, *1860*)

36 в скором времени / в весьма скором времени (*ОЗ*, *1860*)

39–40 своего антрепренера / своего последнего антрепренера (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 149.

1 почти рассчитав заранее / рассчитав заранее (*ОЗ*)

2 было уже тридцать лет / было почти уже тридцать лет (*ОЗ*)

17 еще не иссякли в нем / еще не иссякла в нем (*ОЗ*, *1860*)

23–24 бессознательное отчаяние / отчаяние (*ОЗ*)

40 не зная ничего о контрапункте / не зная ничего в контрапункте (*ОЗ*, *1860*)

41 прибавлял Б. / прибавил Б. (*ОЗ*)

Стр. 150.

16–17 *После:* этого самоудовлетворения». — Здесь я спешу заметить (про себя), что если и написала целые две страницы об искусстве, прикрываясь авторитетом такого знатока, как Б., то это вовсе не для того, чтоб похвалиться глубиною познаний моих и прослыть русским «синим чулком», а единственно затем, чтоб рассказ мой был как можно понятнее. Но я продолжаю. (*ОЗ*)

20 последовало / последовало наконец (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 151.

4–5 чтоб он тоже попробовал заработывать деньги / чтоб и он тоже попробовал заработывать свою жизнь (*ОЗ*)

8–9 как ни в чем не бывало / как ни в чем не бывал (*ОЗ*)

10 дружба да еще сострадание / дружба из сострадания (*ОЗ*)

20 вспомнить / вспоминать (*ОЗ*, *1860*)

29 усмотрел ясно / ясно усмотрел (*ОЗ*)

30–31 побледнев как мертвый / побледнев как платок (*ОЗ*)

43 сильно и тяжело / сильно и мятежно (*ОЗ*)

Стр. 152.

9 твой добрый помещик / добрый помещик (*ОЗ*)

30 Ты еще совсем не так беден / Ты еще и совсем не так беден (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 153.

26 если не дадут / если ему не дадут (*ОЗ*, *1860*)
36 и что женитьба убила / ибо женитьба убила (*ОЗ*)
43–44 рублей с тысячу / рублей тысячу (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 154.

24–25 и уже два года тому, как матушка моя вышла за Ефимова / и уже два года, как матушка моя вышла в другой раз замуж (*ОЗ*); и уже два года, как матушка моя вышла за Ефимова (*1860*)
26–27 была прекрасно образована ∾ вышла замуж / получила блестящее образование, была хороша собой и вышла замуж (*ОЗ*)
28 отец мой / первый муж ее (*ОЗ*)

Стр. 155.

17 в враждебной действительности / в действительности (*ОЗ*)
24 *После:* с жестокой откровенностью. — Несчастный был почти сумасшедший! (*ОЗ*)
38 отвечал отчим / отвечал отец (*ОЗ*)
39–40 Муж часто заводил / Отчим часто заводил (*ОЗ*)
42 своего прежнего товарища / отчима (*ОЗ*)

Стр. 156.

17 хотя хвалился / хотя и хвалился (*ОЗ*)
18–19 *Текста:* Надобно было видеть ∾ гордилась им. — *в ОЗ нет.*
21 большие связи / огромные связи (*ОЗ*)
27 но, кажется, с величайшею радостью принял / и с величайшею радостью принял (*ОЗ*)
42 *Слов:* и избегал людей истинно талантливых.— *в ОЗ нет.*

Стр. 157.

13 за нерадивость / с дурным аттестатом, за нерадивость (*ОЗ*)
16 продано и заложено / продано (*ОЗ*)
19 глядеть злодейку жену его / поглядеть злодейку жену его (*ОЗ*)
21 заставлять его болтать / заставлять болтать его (*ОЗ*, *1860*)
32–33 он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят / гоним судьбою, обижен и по разным интригам не понят (*ОЗ*, *1860*)
45 не умеет / не сумеет (*ОЗ*)

Стр. 158.

6 он наскучил всем / он наскучил им (*ОЗ*)
7–8 отчим как будто в воду канул / отчим как будто исчез для всех, кто знал его, как будто в воду канул (*ОЗ*, *1860*)
27 *После:* я должна объяснить — чтоб понятен был мой рассказ (*ОЗ*)

Стр. 159.

3–4 стали для меня как-то страшно доступны / стало для меня как-то страшно доступно (*ОЗ*)
4–5 всё чрезвычайно скоро становилось понятным / всё становилось понятным без труда и усилий с моей стороны (*ОЗ*)
8 странный колорит / чрезвычайно странный колорит (*ОЗ*)
9 а вместе с тем / и вместе с тем (*ОЗ*, *1860*)
23 из какого-то остатка / из какого-то жалкого остатка (*ОЗ*)

Стр. 160.

44 осматриваться / осматриваться кругом (*ОЗ*)
48 на несколько грошей / на два гроша (*ОЗ*)

Стр. 161.

1 *После:* или хлеба? — Я невольно сравнивала и выводила свои заключения. (*ОЗ*)

4 обвинила / обвиняла (*ОЗ*)
13 Первая моя мысль / Первая мысль моя (*ОЗ*)

Стр. 162.

14–15 *После:* фантастическим ребенком. — К тому же меня начинало страстно увлекать сочувствие к отцу. Я уже начинала понимать его; я как-то любопытно к нему приглядывалась и слушала каждое слово его с матушкой. (*ОЗ*)
23 в моем воображении / и в моем воображении (*ОЗ*)
25 поведение отца / поведение батюшки (*ОЗ*)
27 слов отца / слов батюшки (*ОЗ*)
34 зарыдала / вдруг зарыдала от какого-то необъяснимого чувства, давившего мне сердце (*ОЗ*)

Стр. 163.

10 и вечном блаженстве / в вечном блаженстве (*ОЗ*)
12 волшебный для меня дом / волшебный дом (*ОЗ*)
17 рай и всегдашний праздник / рай, блаженство и всегдашний праздник (*ОЗ*)
17–18 Я возненавидела ∾ лохмотья / Я возненавидела наше бедное жилище, возненавидела лохмотья (*ОЗ*)
28 об этой мученице / об этой страдалице (*ОЗ*)
36 *После:* мою душу — когда я вспоминаю об этой бедной страдалице (*ОЗ*)

Стр. 164.

19 фантастическая, исключительная любовь / фантазия, исключительная любовь (*ОЗ*)
22 вспоминала / вспомнила (*ОЗ*, *1860*)
28 *После:* любят исключительно. — Всё зависит от воспитания и первых впечатлений ребенка. (*ОЗ*)
30–31 на целые недели / на целые месяцы (*ОЗ*)

Стр. 165.

35–36 давала волю / давала полную волю (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 166.

2 скоро совершится / очень скоро совершится (*ОЗ*, *1860*)
3–4 ломая над этим голову / вечно ломая над этим голову (*ОЗ*, *1860*)
4 и случалось это / и это случалось (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 167.

8–9 *После:* с большим талантом. — Этому несчастному человеку в это время было так мало случаев рассказать кому-нибудь о себе, какой он знаменитый артист, что не диво, если он заговорил об этом со мною. (*ОЗ*)

Стр. 168.

13–14 Помню, что это была драма / Помню, что это драма (*ОЗ*)
19–20 а на другой: «Я признан!» / и на другой: «Я не признан!» (*ОЗ*)
20 «Я бесталантен!» / «Я бесталанен!» (*ОЗ, 1860*)
21 Всё оканчивалось очень плачевно. / Драма кончалась очень плачевно. Я, конечно, тогда не понимала всего, о чем толковали и плакали отставной фигурант и батюшка, читая эту книгу, и уже догадалась потом, припомнив некоторые слова их и перечитав вновь самую драму. (*ОЗ*)
22–23 но вот чудо / но вот что чудно (*ОЗ*)
35 грозил рукою / грозил мне рукою (*ОЗ*)
37 Как теперь вижу / Я как теперь вижу (*ОЗ*)

Стр. 169.

30 *После:* а не смеяться над ним. — Эта беспорядочная, чадная жизнь, это вечное уныние и вечная неподвижная идея, с которой жил мой отец, не могли наконец не оставить по себе самых грустных последствий. Так и случилось. Я уже сказала, что он уже был полусумасшедший; до полного безумства было недалеко, и — да, я не ошибаюсь — я была свидетельницей, как началось в нем настоящее сумасшествие. Вот каков был этот случай: (*ОЗ*)

33 с отцом / с батюшкой (*ОЗ*)

Стр. 170.

8–9 инстинктивный стыд / какой-то инстинктивный стыд (*ОЗ, 1860*)

17 тебе я ручку поцелую! / я тебе ручку поцелую! (*ОЗ, 1860*)

20 Я побежала наверх / Я не могла более вынести этой сцены и побежала наверх (*ОЗ*)

25 но этого не случилось / но это не случилось (*ОЗ, 1860*)

37–38 в большом смущении / в каком-то смущении (*ОЗ*)

Стр. 171.

1 если я вперед буду слушаться / если я буду вперед слушаться (*ОЗ, 1860*)

11–12 как бы в забытьи, по своему обыкновению / в каком-то забытьи (*ОЗ*)

39 *Слов:* при моем веселом виде. — *в ОЗ нет.*

Стр. 172.

4 *После:* ключиком — который висел у него на шее (*ОЗ*)

36 о нем / об отце (*ОЗ*)

42–43 А между тем часто мне было до боли мучительно / Но можно ли поверить? Часто мне самой было мучительно до боли (*ОЗ*)

48 так жалок, унижен / так жалок, так унижен (*ОЗ*)

Стр. 173.

23 *После:* не смыслят в музыке — но только *глубоко чувствуют* (*ОЗ*)

Стр. 174.

46 уверен в нем / уверен в том (*ОЗ*)

Стр. 175.

6–7 как фантазер, как поэт / как фантазер, как мальчишка (*ОЗ*)

31 во всем мире / в мире (*ОЗ*)

Стр. 177.

2–3 гладил он меня по голове / гладил меня по голове (*ОЗ, 1860*)

Стр. 178.

17 что делать / что со мной делать (*ОЗ*)

24 стала просить / стала просить его (*ОЗ*)

39 буду приносить / буду тебе приносить (*ОЗ*)

Стр. 179.

13 *После:* о врагах своих. — Но это было очень естественно; к тому ж он еще поутру как бы впал в помешательство. (*ОЗ*)

29 *После:* всё что-то шептал про себя — и жестикулировал руками (*ОЗ*)

42 натолкнул меня на зло / натолкнув меня на зло (*ОЗ*)

Стр. 180.

5–6 *После:* и я мучилась этими вопросами — ⟨потому⟩ что чувство их порождало, а ум не разрешал их во мне, хотя мой твердый инстинкт уже давал мне предчувствовать многое, что было не по моим летам. (*ОЗ*)

7 *После:* последнего трудового — я уже понимала всю жизнь ее. И наконец, все мученья мои соединялись вдруг в идею о неизбежном

наказании, и при одной мысли о нем мороз пробегал по всем моим членам. (*ОЗ*)
27 подожди / подожди, ангельчик мой (*ОЗ*)

Стр. 181.
15–16 *Фразы:* Со мной повторился вчерашний нервный припадок. — *в ОЗ нет.*
17 стук / сильный стук (*ОЗ*)
18 Матушка отперла, и я увидела / Когда матушка отперла, я увидела (*ОЗ*)
21 и уведомил, что он от Б. / и уведомил, что она от Б. (*ОЗ*)

Стр. 182.
5–6 вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком / вместе с черным, почти новым фраком (*ОЗ*)
6–7 при поступлении его в должность ∾ отец / при поступлении его в должность. Мой отчим был музыкант старого времени, серьезно придерживался классических преданий и ни за что не решился бы явиться в публичном собрании одетый иначе, как бы он явился в собственном концерте. Кончив туалет, он (*ОЗ*)
44 Меня мучила она, мучил и батюшка / Меня мучил батюшка (*ОЗ*)

Стр. 183.
18 окликнуть его / окликнуть отца (*ОЗ*)
27 оставив ее / оставил ее (*ОЗ, 1860*)

Стр. 184.
8–9 отчего же она не проснулась ∾ ее лицо? / отчего же она не проснется? (*ОЗ*)

Стр. 186.
2 уже совсем овладело мною / уже начинало овладевать мною (*ОЗ*)
20–21 *я не виноват в этом.* Помни, Неточка! / я не виноват. Слышишь, Неточка? (*ОЗ*)
41 то ли создалось / то ли создавалось (*ОЗ*)

Стр. 187.
12 кольнуло меня в сердце / кольнуло мне в сердце (*ОЗ*)
36–37 почувствовала / слышала (*ОЗ*)

Стр. 188.
42–43 уже десять лет / десять лет уже (*ОЗ*)
44 IV / Часть вторая. I. Новая жизнь (*ОЗ*)

Стр. 189.
1–2 мне хотелось / мне так хотелось (*ОЗ, 1860*)
36 *После:* книжку с картинками — чтоб мне не было скучно (*ОЗ*)

Стр. 190.
36 в чем виню / в чем и виню (*ОЗ, 1860*)
42 хотел было поцеловать меня / начал целовать меня (*ОЗ*)

Стр. 191.
15–16 Я же не могла сидеть / Я же и не могла сидеть (*ОЗ, 1860*)

Стр. 192.
46 расставаясь / расставаясь с ними (*ОЗ*)
48 *После:* но срок истекал в коротком времени — и уже везде говорили о бале, который хотели дать почти тотчас же после траура. Княгиня любила балы, которые у нее давались со вкусом и великолепием, любила принимать у себя и вообще вести жизнь пышную, светскую.

Но в свете еще до сих пор смотрели на нее с каким-то предубеждением, несмотря на то что она уже ровно тринадцать лет была замужем. В первые годы замужества она подвергалась даже некоторым светским исключениям и гонениям. Гласно говорили, что брак ее компрометирует князя, что они неровня. Происхождение княгини было довольно темное, то есть далеко не аристократическое, а первый муж ее был откупщик. Зато она принесла в приданое необъятное имение и, кроме того, поражала всех блестящей красотой, хотя и тогда уже ей было под тридцать лет. И потому аристократка-старушка, избрав дом князя Х-го убежищем своей старости, как будто сняла наконец с своей племянницы то клеймо незаконности, которое как будто всё еще оставалось на ней. Хитрая и ловкая княгиня, привыкшая первенствовать даже в несколько враждебном для себя кругу и не подчинявшаяся ничьим капризам, присмирела и вполне покорилась сестре своего мужа. Но замечательно, что даже и теперь всё еще не переводились такие лица, которые ездили в княжеский дом прямо наверх, к монастырке, не заходя к княгине, к которой и прежде упорно не хотели ездить, что глубоко язвило гордость и самолюбие надменной женщины. (*ОЗ*)

Стр. 193.

21 меня всю затормошили / меня всю затормошили и перепугали (*ОЗ*)
25 подходила к княжне / подходила к княжне, плакала (*ОЗ*)

Стр. 194.

4 *После:* никого не обеспокою. — В одну из таких прогулок я зашла в комнату, где стояло очень много цветов, у окна устроена была целая беседка из самых редких растений. Я любила эту комнату и останавливалась в изумлении перед деревьями, на которых были такие чудные, красивые листья, иные чуть ли не в аршин длиною. Вдруг я услышала за деревьями шорох. Пробравшись дальше, я увидела в амбразуре окна, в уголку, прятавшееся от меня существо, перепуганное и чуть не закричавшее, когда я подошла к нему. Это был мальчик лет одиннадцати, бледный, худенький, рыженький, который присел на корточки и дрожал всеми членами. Увидев меня, он немного ободрился, привстал, но все-таки смотрел на меня с каким-то недоверчивым удивлением. Испуг его всё еще продолжался.

— Кто вы такой? — спросила я, подходя к нему ближе.

— Я несчастный мальчик, — отвечал мой маленький незнакомец, показывая очевидное желание заплакать.

— А как вас зовут?

— Ларенькой.

Мальчик замолчал; чтоб ободрить его еще более и познакомиться с ним покороче, я придвинулась к нему ближе и поцеловала его. Мне показалось, что так непременно нужно начинать всякое знакомство. После того мы несколько времени смотрели друг па друга молча, ожидая, что будет далее.

— Уйдите, пожалуйста, — сказал наконец мальчик, — а то меня сыщут.

Я было и ушла, но с двух шагов воротилась с известием, что уж мы отобедали и что если он не обедал, так ему больше не дадут кушать.

— А мне хочется есть, — сказал мальчик.

— Так отчего же вы нейдете наверх?

— Да я еще утром заблудился. Фальстафка отнял у меня крендель; я побежал за ним посмотреть, не бросит ли он его куда-нибудь, чтоб потом поднять, но он съел его в этой комнате, там, в углу. А после того я испугался, когда кто-то вошел, и спрятался сюда.

— А как придет ночь, как же вы будете?

— Я уж думал и плакал об этом. Я сниму курточку и положу вместо подушки. А панталон не буду снимать, потому что здесь холодно;

только очень боюсь, что запачкаюсь. Но уж нечего делать; я так здесь и буду ночевать.

— Кто же вам будет кушать давать?

— Да я как-нибудь... не буду есть, — сказал мальчик, и по худым щекам его покатилась слезинка. Я схватила его за руку и потащила за собой. Он не хотел идти, но я так решительно сказала, что надобно, что бедняжка не посмел ослушаться.

— Ну, вот он! — закричала девушка, когда я привела его наверх. — Где это вы пропадали? Ступайте кушать, суп простыл.

Но мальчик не разобрал, что ему говорили, сам побежал в угол и стал на колени, будто наказанный; потом, сложив свои маленькие руки, с умоляющим видом и захныкав, начал просить прощения.

— Pauvre enfant! ⟨Бедное дитя!⟩ — сказала наша француженка, выводя его из угла и утирая ему слезы. Эта старушка была предобрая женщина.

Мальчик, будущий герой моего рассказа, был, тоже как и я, сиротка, сын одного бедного чиновника, которого князь знал за хорошего человека. Когда родители его умерли, князь выхлопотал ему место в одной школе; но он был такой убитый, такой слабый здоровьем, так боялся всего, что и порешили весьма благоразумно оставить его на некоторое время в доме. Князь очень о нем заботился и поручил мадам Леотар как-нибудь ободрить и развеселить его. Но мальчик приводил в отчаяние свою воспитательницу и с каждым днем становился чуднее и жальче. Его комната была очень отдалена от моей: вот почему я до сих пор не видала его. А главное, сам князь запретил до времени нас знакомить, боясь, чтоб унылый характер Лари не подействовал на меня мрачным образом, затем что я всё еще не оправилась от болезни, а между тем уже выказала свою болезненную впечатлительность. Теперь, когда мы сошлись так нечаянно, нас уже разлучить не могли, и знакомство осталось за нами. Ему не мешали. Это знакомство оставило на меня болезненное впечатление, потому что слишком сильно подействовало на мое сознание и развитие.

Но только трудно было встретить более странное существо, как это бедное дитя. Во-первых, я ужасно долго не могла с ним познакомиться: он всё бегал от меня, как от страха, и прятался по всем углам. Один раз я его вытащила, чтоб играть во что-то; только отвернулась, а его уж и нет: опять спрятался! Наконец я несколько приучила его к себе и он стал понемногу со мной разговаривать; но долго еще не клеился наш разговор. Я очень любопытствовала и расспрашивала его: кто он такой и где прежде был? Но на вопрос мой он менялся в лице, со страхом осматривался, как будто боясь, чтоб нас не подслушали, и потом начинал потихоньку плакать. Помню, что у меня сжималось сердце, глядя на него, может быть оттого, что я инстинктом чувствовала, что тоска его сродни моей тоске, которую я по временам больно ощущала в душе, но до сих пор вполне не осмыслила: какой-то страх нападал на меня, когда я начинала о себе задумываться. Как теперь вижу перед собой Ларю — бедненького мальчика, вздрагивавшего от малейшего шума, от каждого голоса, со слезой, набегавшей на его маленькие рыженькие ресницы, когда, бывало, он забьется в угол один и, думая, что его никто не видит, хнычет потихоньку... Одним словом, мне во что бы ни стало нужно было узнать, о чем он тоскует. И вот раз, в один необыкновенный вечер, когда княжна принимала у себя кого-то и когда все наверху были в большой суматохе, мы с Ларей забились в самую отдаленную комнату и уселись рядышком на диване. Мне вздумалось, чтоб утешить и развеселить его, рассказать одну из тех волшебных сказок, которые я слышала от батюшки. В эту минуту и сама я была в особенном настроении духа и поминутно прерывала сказку, объясняя, кто таков был батюшка, не забыв, разумеется, сказать, какой он был большой артист, и растолковать, по-своему, что такое артист, как мы оба жили с матушкой, и, чудное дело! даже

и теперь, когда уже всё сердце во мне было возмущено более чем сомнением — раскаянием, страданием за нее, мою мученицу, даже и теперь, говоря с Ларей, я не забыла изобразить ее как гонительницу нашу и единственную помеху нашему счастью — так медленно совершался во мне процесс сознания и перехода в новую жизнь! Вдруг, среди рассказа, какое-то необыкновенное чувство воодушевило бедного мальчика. Он припал ко мне и начал горячо целовать мою щеку, плечи, платье. Он был в сильном движении. Неизъяснимо приятное ощущение овладело мною. Я поняла, что победила наконец его страх, его недоверчивость и добилась любви его. Помню, я вся притихла, когда он целовал меня, и сладостное смущение охватило мое сердце. Минуты две мы не говорили ни слова. Наконец, он обхватил мою шею, прижался головою к груди моей и зарыдал, уже не стараясь подавить своих слез, надеясь на мое сочувствие.

— Тише, услышат! — проговорил он наконец, не переставая рыдать.

— Чего ты всё боишься, Ларя? — спросила я его, видя, что страх опять овладел моим мальчиком,— их бояться нечего. Они добрые люди. Я прежде сама их боялась, а теперь всех люблю — всех, кроме старой барышни.

— Неточка, да они все на меня так смотрят...

— Да как, Ларенька?

— Да так; они уж знают, что я сиротка.

— Что такое сиротка, Ларя? — спросила я, уже сама не будучи в силах преодолеть своего смущения. Как-то знакомо уже мне было это слово, подслушанное бог знает где. Но до сих пор я еще не совсем понимала, что оно значит.

— Сиротка — это такой человек (так именно сказал Ларя), у которого нет ни отца, ни маменьки, Неточка, и который остался совсем один и живет у чужих, так что все на него сердятся и бранят его.

Я бросилась к Ларечьке; мы обнялись и зарыдали разом, подавляя рыдания, боясь в этот раз более всего на свете, чтоб нас не услышали. Я тоже была сиротка, но как будто что-то другое, более мучительное, заныло в душе моей и яснее сказалось мне в эту минуту. Я всё теснее и теснее прижималась к Ларе, всё больше и больше меня озаряло сознание. И Ларе суждено было объяснить мне всю мою тоску своим рассказом!

Но боже мой, какой это был странный рассказ, — странный тем, что бедняжка вообразил себе, что он отчасти виновен в смерти своих родителей! Отец его умер от огорчения, а мать от отчаяния, что лишилась мужа. Оба они умерли в одну неделю. Но, по какой-то странной идее, по какому-то несчастному убеждению, Ларя вообразил, что они умерли, кроме огорчения, и оттого, что он не любил их; бедный сиротка замучил себя с тех пор раскаянием, укорами и восстановил на себя свою совесть. Всего ужаснее, что он хранил в тайне свое убеждение и что некому было разубедить его в целый год его сиротства, так что злая мысль пустила в нем глубокие корни и сделала бог знает что из ребенка. Да кроме того, нашлись и другие причины, которые способствовали ее вкоренению. Со слезами на глазах доказывал мне бедный Ларя, какой он был бесчувственный мальчик, и не слушал моих разубеждений. Особенно поражало его, как видно было из собственных его слов, зачем он не любил отца и мать при жизни их и только после их смерти догадался, бедняжка, как они ему были милы! Из всех рассказов его было видно, однако ж, что бедняжка слишком, даже не по летам своим, был симпатичен и впечатлителен, что он самою горячею любовью любил своих родителей; но неизлечимо было его убеждение! Он мне рассказывал, как его родители были бедны, как, бывало, по целым вечерам толкуют о какой-нибудь ничтожной копейке, и всё ахали, всё сетовали и рассчитывали, как бы сколотить, нажить что-нибудь... Много фактов привел Ларя, которые и мне и ему уже были

понятны, несмотря на то что мы оба были вовсе не в таких летах, чтоб понимать, из каких интересов бьются на свете многие люди. Потом рассказывал Ларя, как его отдали в школу, как ему сначала не хотелось идти в школу, потому что дома было так хорошо и тепло; как эта школа оказалась дурною школою, а не самой хорошей, а у папы денег не было, чтоб заплатить за хорошую; как, бывало, папа вместе с мамой по целым часам рассчитывают, сколько будет стоить отдать мальчика в хорошую школу, где бы и учитель был настоящий француз и произношение бы имел хорошее, где и обедать бы лучше давали, где бы и школьники были хорошие. «А я, бывало, — рассказывал Ларя, — я, бывало, такой глупый, бесчувственный, что, как приду из школы, и показываю нарочно, как меня исщипали; а показываю потому, что уж знаю, что мама заплачет, когда я всё расскажу. И когда мама плачет, бывало, так бы ее и обнял, голубушку, — да и не обниму, всё сержусь, потому что мне было любо, Неточка, что вот мама теперь *обо мне* плачет. Видишь, Неточка, какой я был совершенный *тиран!*» — заключил Ларя, обливаясь слезами.

И долго старался он доказывать мне подобными фактами свою бесчеловечность и неблагодарность к своим бедным родителям. Но, странное дело! как ни была я мала, какой ни была я ребенок, а я совершенно понимала весь рассказ моего преступника, хотя, конечно, никак не объяснила бы тогда, какая в том выгода заставлять плакать бедную маму, так что у самого болит и ноет сердце, на нее глядя, и между тем крепиться и не сделать ни шагу, чтоб остановить ее слезы. Но сколько таких детей! Даже все дети более или менее носят на себе что-то общее с подобным характером. Во-первых, все они по натуре чувствительны, мягки, но эгоисты и очень чувственны. Они, например, скупы и жадны, сенсуалисты в высшей степени. И потому никто так и не благодарен за любовь, как ребенок, но благодарность его часто корыстная: это признательность за всё баловство, за все удовольствия, которыми его окружают. В школах развиваются рано; там легко оскорбляется чувствительность... Ларю обижали, и ему даже приятно было это рассказывать дома: он чувствовал, что из этого будет выгода, что мама пожалеет, заплачет, что удвоятся попечения, ласки, что любовь матери проявится сильнее, и Ларя увидит эту любовь хотя бы в слезах своей мамы, и ощущение довольства усилится, и утонченнее, сибаритнее будет наслаждение теплым домашним уголком после неприветливой школы. Ребенок же по натуре деспот, и, кто знает, может быть, уже Ларе доступно стало малодушное наслаждение выместить на другом, невинном обиду свою, точно так же, как потом я много встречала на свете людей-эгоистов, доведших свой эгоизм до утонченности порочного сенсуализма и вымещавших на других за все обиды, которые они претерпели в жизни, не взлелеявших в оскорбленной душе ненависти к эгоизму, а вынесших одно убеждение — быть по принципу такими же эгоистами, чтоб ужиться на свете и мучить других во имя своих несчастий, чтоб потом посмотреть сбоку, как другие будут терпеть. К счастию, таких людей еще очень немного. И как легко недалеким родителям испортить ребенка, натолкнуть его на ложную сентиментальность, на фантазерство, заставить его зарисоваться, залюбиться и развить в себе эгоизм, самолюбие и раннюю порочную чувственность! Я видала таких детей, которые для удовлетворения этого порочного сенсуализма, происшедшего от ложно развитой чувствительности, становились совсем тиранами в доме и доводили утонченность наслаждения до того, что, например, нарочно мучили домашних животных, чтоб испытывать, во время самого процесса муки, какое-то необъяснимое наслаждение, состоявшее в ощущении чувства раскаяния, чувства жалости и сознания своей бесчеловечности... Но что со мною? Я разболталась о воспитании, не замечая, что отцы и матери гораздо больше и гораздо раньше меня знают обо всем, что я говорила. Итак, лучше прямо к рассказу.

Особенно со слезами и рыданиями рассказывал мне Ларя о последнем вечере, который он провел вместе с родителями. Это было накануне рождества Христова. Всё семейство было в большом горе. Нужно было завтра же заплатить какую-то значительную сумму денег, а в доме не было ни копейки. «Вот, — говорил Ларя, — папа и мама пошли в ряды закупки делать: няне ситцу купить, да еще гуся купить, да еще нужно было свечек купить. Я раскапризился, и меня взяли вместе. А в лавках было столько игрушек, столько фруктов продавали разносчики, и такие хорошие елки провозили мимо, что я кричал от радости, когда всё это видел, и хотел, чтоб и мне всего накупили. Только как взглянул я на маму — вижу, что она плачет потихоньку, на меня глядя, и потихоньку на папу смотрит, а папа такой сердитый идет, говорит: „Зачем мы его с собой взяли?“ Тут я увидал, что им меня жалко и что плачет мама оттого, что не на что мне подарков купить, и, как пришли домой, я стал сердиться, потому что был злой, глупый мальчик, и стал говорить, что какой я несчастный, что у других детей есть игрушки, а у меня-то их нет, и елки тоже нет, тут и про школу припомнил и на школьников начал жаловаться. Папа рассердился на меня и говорит: „Ты бесчувственный ребенок, ты только маму терзаешь!“ — а я всё сердился, и когда меня спать послали, я и с мамой проститься не хотел; а потом мне уж и жаль стало маму, Неточка, и я, как заснул, так всё плакал и думал, что как проснусь завтра, так буду совсем умный мальчик...»

Но назавтра не удалось моему Ларе быть умным мальчиком. От болезни ли или от глубокой тоски о безвыходном своем положении с отцом Лари сделался в эту же ночь удар, и к утру он умер. Мать его от ужаса, от отчаянья заболела горячкою и умерла через неделю. Схоронил их некто Федор Ферапонтович, дальний родственник его родителей, служащий человек и очень странный. Он был не злой; но оттого ли, что его обижал, унижал кто-нибудь и был какой-нибудь тайный враг, который беспрерывно оскорблял его самолюбие, или просто оттого, что Федор Ферапонтович был прекрасный человек, но к беде своей уж очень близко принял к сердцу свое последнее качество,— только он за неимением слушателей и почитателей чрезвычайно любил беспрестанно толковать в своем доме, жене и даже малолетним детям, которых держал в почтительном страхе, о том, какой он хороший, прекрасный человек, какие он заслуги оказал обществу, каких нажил врагов и как мало пожал... уж чего — не помню, но я говорю его слогом. Когда же он говорил таким образом, то так, бывало, расчувствуется от самоосклабления и обожания, что даже заплачет и непременно кончит какой-нибудь самой эффектной выходкой: или распахнет халат, откроет грудь и, подставляя ее невидимым врагам своим, говорит: «Разите!» — или, обращаясь к маленьким детям, спрашивает их грозно-укоряющим голосом: что сделали они за все благодеяния, которые он им оказал? вознаградили ли они его хорошим изучением и произношением французского языка за все неусыпные ночи, за все труды, за всю кровь, за всё, за всё?.. Одним словом, Федор Ферапонтович, зарисовавшись совсем, начинал вымещать на всех домашних непостижимое равнодушие людей и общества к его семейственным и гражданским добродетелям и каждый вечер делал из своего дома маленький ад. Случись же так, что в самую торжественную минуту, когда Федор Ферапонтович непременно хотел, чтоб ему поразили грудь и чтоб, поразивши его грудь, порок хохотал адским смехом, случись так, что шалуны дети подучили Ларю, чтоб он попросил их папу купить им яблок. Можно было представить себе гнев Федора Ферапонтовича, отчаяние его супруги, которая тем и пробивалась на свете, бедная, что ни слова не возражала своему мужу, когда тот впадал в самообожание, то есть была доброй, прекрасной женой, и, наконец, испуг самих детей. С одной стороны, обвинено, раздавлено целое общество, а с другой — простые, глупые, сладкие яблоки! Федор Фера-

понтович затопал ногами, засверкал глазами, едва не зарыдал от оскорбления и в сильных словах, обрадовавшись новому случаю, изобразил жене, детям и всем домочадцам, какой ужасный пример совершается здесь, перед глазами его, в недрах собственного семейства! Мальчик, бедный мальчик, который бы умер от мороза на улице, теперь пригрет им, призрен, несмотря на то что Федор Ферапонтович человек небогатый и, как благодетельный пеликан, питает своею кровью птенцов своих, — и, о ужас! этого никто не знает, никто не чувствует, никто не воздал ему, и даже самый мальчик, даже самый этот осыпанный благодеяниями мальчик потерял уважение. Тут он, обратившись к Ларе, засверкав и затопав, изобразил ему всю гнусность его поведения, сказал, что он бесчувственный, что он тиран, что он лишает хлеба детей его, что он, а не кто другой, низвел в могилу своих неосторожных родителей, внушил Ларе, что он строптив и необуздан, и окончательно запугал и загонял бедного Ларю, который и вынес из всей этой сцены то убеждение, что он бесчувственный и неблагодарный мальчик. Эти сцены повторялись всё чаще и чаще, и не знаю, что было бы с Ларей, если б князь не взял его к себе. Что же касается Федора Ферапонтовича, то он не в последний раз является на страницах моего рассказа. Впереди его очередь; но заранее говорю, это человек вовсе не злой, а только уморительный и смешной до последней степени.

Из всего, что мне рассказывал Ларя, я поняла, что глубоко уязвлено сердце ребенка, уже развитого не по летам, но развитого ненормально, развитого чувственно, сердцем, тогда как ум его всё более и более затемнялся мечтаниями, фантазией, и что какой-то фатализм отяготел над его бедной головкой. Конечно, тогда я так отчетливо не могла понимать Ларю; но, внимая рассказу его, я сама осмыслила себе почти всё мое прошлое. Я сама была в каком-то исступлении от горя, от ужаса, от всего, что так вдруг поднялось из моего сердца, но что уже задолго в нем накопилось. Я стала понимать наконец мою бедную матушку, и глубоко восстала на меня моя совесть! Я укоряла себя, терзалась раскаянием, чувствовала, как была я бесчеловечно несправедлива, когда вспоминала, что ни одна капля любви не вылилась из моего сердца, любившего, жаждавшего справедливости и любви в свою очередь, в ее уязвленную душу. Когда Ларя кончил рассказ, я плакала навзрыд, обняла его и уже не утешала, не разуверяла его более. Я сама была под влиянием того же впечатления, которое губило бедного ребенка, и какой-то энтузиазм сочувствия ему объял всю мою душу.

Бедняжка понял меня; он уже не удерживался более и рад-рад был, что есть наконец кому высказать свое горе. Но, увы! оно так глубоко пустило в нем корни, что бедная головка ребенка не вынесла. С какой-то таинственностью он объявил мне, понизив голос, что уже давно к нему приходит каждую ночь его мама, благословляет и любит его, и каждый раз как он просыпается, после того ему делается так тяжело жить в нашем доме, что хоть бы сейчас умереть. Тут он начал мне изображать в ярких красках тоску, которая окружает его: и французская грамматика, которою его мучат, и что все-то так сурово глядят на него, и что всем-то он в настоящую тягость, и что никто-то не любит его, и ненависть Фальстафки, огромного злого бульдога, проживавшего в доме, который поклялся и дал себе честное и благородное слово скушать когда-нибудь бедного Ларю вместо завтрака, и ненависть старушки княжны, которая будто бы смертельно невзлюбила его за то, что когда он еще жил в другой комнате, поближе от нее, то беспрерывно чихал от насморка и тем надолго потряс ее спокойствие, так что его сослали как можно дальше, — одним словом, мальчик впал в самую мрачную подозрительность и всё, что он видел, казалось ему сурово, неумолимо враждебным к нему.

Я была вне себя от рассказов Лари и проплакала всю ночь. Едва могла я дождаться утра, чтоб свидеться с ним, — так он стал необходим

для меня. Мы не расставались всю неделю, мы только и существовали друг для друга; но чем теснее мы сближались с ним, тем более дичали ко всему, окружавшему нас. Что касается до меня, я уже вполне усвоила себе его образ мыслей и потому погибала так же, как он. Это заметили, и я увидела, что нас стараются разлучить. Бог знает, чем бы кончилась наша привязанность (потому что Ларя серьезно сообщил мне свое непременное намерение бежать на могилку к своей маменьке, чтоб там умереть), но в одно утро он исчез из дома, так что нам даже не удалось и проститься. Прошло много лет до тех пор, как мы свиделись снова. Исчез он вот каким образом: князь уже давно видел, что бедный ребенок совсем больной и что здоровье его со дня на день становится хуже. Почитая себя обязанным заботиться о нем как о собственном сыне, он решился употребить все средства спасти его. Так как доктор почти приговорил его к смерти, если его оставят в Петербурге и не переселят куда-нибудь в лучший климат, где здоровье придет с свежим воздухом, а вместе с тем и восстановятся нравственные силы ребенка, то князь и положил переселить его в какой-то городок в Малороссию, отыскав там дальних родственников Лари, очень бедных, но превосходных, добрых людей. Их уговорили взять мальчика, снабдив его, конечно, весьма значительным пенсионом. Но виновницей его раннего отъезда была я: заметили, что наша дружба не принесет друг другу ничего хорошего. Мне и сказывать не хотели, что он отправляется, и только через несколько дней, когда уж я не хотела слушать никаких отговорок, узнала, что его нет в доме. Я была поражена его отъездом, но затаила тоску свою и не выказала вида, как мне мучительна эта разлука. Я была мрачно настроена, я подозревала всех и всех начинала бояться.

Знакомство с сироткой Ларей оставило во мне глубокое впечатление. Как будто пустыня стала кругом меня. Со мной обходились очень ласково, но я не могла выносить этих ласок, мне была тяжела эта жизнь, потому что всё кругом меня стало отражением моей любимой идеи. Тотчас, например, я припоминала нашу семью, где редко ласкали меня, где была такая суровая, тяжелая жизнь и где все были всегда так несчастны, — и контраст убивал, волновал, мучил меня! Я всегда заходила в какой-нибудь угол, так что трудно было потом там отыскать меня, и, помню, нарочно припоминала, бывало, какую-нибудь самую суровую минуту из нашего прежнего житья-бытья — и как-то весело было мне ожесточать, мучить, растравлять себе сердце. Но здоровье мое становилось всё хуже и хуже, и мало-помалу во мне приготовлялся болезненный кризис. (*ОЗ*)

5 в одной зале, внизу / в одной большой зале, внизу, где с отъездом Лари возобновила свои прогулки (*ОЗ*)

8 и всё тяжелее / и всё тяжеле (*ОЗ, 1860*)

21 — Дитя мое, что с тобой / — Дитя мое, дитя мое! — заговорил он, весь задрожав от волненья, — что с тобой (*ОЗ*)

26 — Прости меня, дитя мое! ∾ я напомнил ей... / — Прости меня, прости меня, дитя мое!.. Ах, бедная моя, бедная! Я напомнил ей... (*ОЗ*)

28–29 Он был потрясен до глубины души. / Он был бледен и потрясен до глубины души. (*ОЗ*)

41–43 я была поражена ∾ Я слегла в постель больная. / я была поражена, даже испугана, и со мной сделался нервный припадок. Я слегла в постелю больная. (*ОЗ*)

Стр. 195.

13 ходили / ходили люди (*ОЗ, 1860*)

16 как будто собрались / как будто бы собрались (*ОЗ, 1860*)

27–28 казалось, все с радостными, веселыми лицами / все с радостными, светлыми лицами (*ОЗ*)

29–30 всюду я встречала сверкающий от удовольствия взгляд. / Все, показалось мне, были так довольны, так счастливы; всюду я встре-

чала одну радостную улыбку, сверкающий от удовольствия взгляд. (*ОЗ*)

39–40 Разгоряченная болезнию фантазия вспыхнула в моей голове / Разгоряченная фантазия вспыхнула в моей голове, пылавшей в болезненном жару (*ОЗ*)

43–44 какой-то шепот / какой-то сладостный шепот (*ОЗ*)

45–46 *После:* волнение обнаружилось в зале. — Все хлынули в одну сторону. (*ОЗ*)

Стр. 196.

17 снилась та последняя ночь / снилась ночь (*ОЗ*)

19–20 Мне показалось, что все, как и я / Но боже мой! что-то болезненное отражалось и на этих лицах — всюду сжатые брови, стиснутые губы, дрожавший подбородок, глаза, омоченные слезами; все, как и я (*ОЗ*)

25 тот самый, тот крик! / тот самый, тот самый крик! (*ОЗ*)

26 так же как и тогда, в ту ночь / так же как и тогда (*ОЗ*)

30 Отчаянный, пронзительный плач / Отчаянный, пронзительный вопль (*ОЗ*)

40 это его убийца! / это убийца! (*ОЗ*)

43 всеобщим криком; я лишилась чувств. / всеобщим криком. Словно молнией поразило меня, и я лишилась чувств. (*ОЗ*)

Стр. 197.

15–16 по всегдашней привычке / по своей всегдашней привычке (*ОЗ*)

Стр. 199.

34–35 очень долго / целый час (*ОЗ*)

Стр. 201.

16–17 даже сделав больше / и даже сделав больше (*ОЗ, 1860*)

40–41 помочь ей разрешить вопрос / помочь ей и разрешить вопрос (*ОЗ, 1860*)

45 в ее ответах являлись / в ее ответах являлась (*ОЗ, 1860*)

Стр. 202.

2 необходимость учить меня / необходимость начать учить меня (*ОЗ, 1860*)

Стр. 203.

12–13 всё расскажу князю / всё расскажу его сиятельству (*ОЗ*)

28–29 ожидала, что будет, дрожала / ожидала, что будет, и дрожала (*ОЗ, 1860*)

Стр. 205.

30 схватил ее за руку и повел / схватив ее за руку и поведя (*ОЗ, 1860*)

32 хотела просить за Катю / хотела закричать, просить за Катю (*ОЗ*)

Стр. 206.

1 За тем днем / За этим днем (*ОЗ, 1860*)

16 увидала / увидела (*ОЗ*)

27 что-то опрокинулось и разбилось / опрокинулась чашка (*ОЗ*)

40 одним инстинктом / одним благородным инстинктом (*ОЗ, 1860*)

Стр. 207.

3 без утайки, открыта / без утайки, открыто (*ОЗ, 1860*)

9 безграничность любви ее, доходившей / безграничность любви ее, любви, доходившей (*ОЗ*)

11 мало помог потом / мало помог (*ОЗ*)

Стр. 208.

37 *После:* отгрызть у ней руку — оторвать ногу (*ОЗ*)

Стр. 209.

10 Княжна покраснела / Княжна вся покраснела (*ОЗ, 1860*)
16 и самою твердою поступью / и с самою твердою поступью (*ОЗ, 1860*)
23 чудную картинку / чудную картину (*ОЗ*)
34 она заметила / она заметила это (*ОЗ, 1860*)
43–44 вздрагивала / вся вздрагивала (*ОЗ, 1860*)

Стр. 210.

16 потеряли / уже потеряли (*ОЗ, 1860*)
39 она переселилась вниз / она переселилась совсем вниз (*ОЗ, 1860*)

Стр. 212.

8 а то я бы не выдержала / а то бы я не выдержала (*ОЗ*)
41 захохотала / захохотала во всё горло (*ОЗ*)

Стр. 213.

8–9 горд и амбициозен / горд и амбиционен (*ОЗ, 1860*)
38 приведя за собою щенка / приведя с собою щенка (*ОЗ*)
47 уносило быстро течением / уносило быстрым течением (*ОЗ*)

Стр. 214.

12 и скоро княгиня дошла до того / и в два года княгиня дошла до того (*ОЗ*)
23 оказывали должное уважение / оказывали ему должное уважение (*ОЗ, 1860*)

Стр. 215.

2 Он, взвизгнув от радости / Он взвизгнул от радости (*ОЗ*)
5–6 перевернулся на месте / перевернулся два раза на месте (*ОЗ*)

Стр. 216.

22 в сильном волнении / бледный от волнения (*ОЗ*)
39 Жан-Жак / Жан-Жак Руссо (*ОЗ*)

Стр. 217.

3–5 Князь тотчас же спохватился ∾ вышел из комнаты. / Князь тотчас же спохватился.

— О, простите, простите меня, мадам Леотар! Да, я забылся! Боже мой! я, кажется, назвал Руссо... дурным человеком. Боже! я не имел права сказать этого. Какое право имеем мы судить других? Каковы мы сами? Благодарю вас, вы образумили меня! Простите, простите меня; но я расстроен; я не могу; дайте мне руку вашу, мадам Леотар; вы забудете это, но я, я не забуду...

Князь закрыл лицо руками, повернулся, подошел ко мне, поцеловал меня со слезами на глазах и вышел в глубоком волнении. (*ОЗ*)

9–10 на губах / на губках (*ОЗ*)
10–11 схватила меня за плечи ∾ как будто чего-то стыдясь / схватила меня за плеча и сказала рассеянно (*ОЗ*)
29 Щеки ее / Щечки ее (*ОЗ*)

Стр. 218.

19 я ведь тебя так давно / ведь я тебя так давно (*ОЗ, 1860*)

Стр. 219.

7–8 уж замучу я ее / уж замучаю ее (*ОЗ, 1860*)
24 горячую голову / горячую головку (*ОЗ*)
41 *После:* отвечала я с восторгом. — Ты мальчику Ларе рассказывала? — А ты почем знаешь? — Уж я всё знаю. Мало ли я что знаю! (*ОЗ*)
43 Я ведь это знаю / Я ведь и это знаю (*ОЗ*)

Стр. 220.

4 Ты мне во всю ночь снилась. / Ты мне всю ночь снилась. (*ОЗ*)
11 терпеть не могла / утерпеть не могла (*ОЗ*)
46 такая скучная / такая всё скучная (*ОЗ*)

Стр. 221.

1 румяные щеки / румяные щечки (*ОЗ*)
37 А целовались мы / А поцеловались мы (*ОЗ, 1860*)
41 должна была доносить / должна была доносить княгине (*ОЗ, 1860*)
47 как безумные без умолку болтаем / без умолку болтаем (*ОЗ, 1860*)

Стр. 222.

37–38 она раскаивается / она уже раскаивается (*ОЗ, 1860*)

Стр. 223.

13 но рассчитал очень худо. / и слезы стояли в глазах его. Но он рассчитал очень худо. (*ОЗ*)
21–22 стала приводить ее в память / хладнокровно стала приводить ее в память (*ОЗ*)
23 вдруг засмеявшись / засмеявшись (*ОЗ*)
27 едем! / идем! (*ОЗ*)
45 Мы остались / Мы остались одни (*ОЗ, 1860*)

Стр. 224.

4–5 Я еще ничего не сказала ∾ один раз. / Я видела один раз Александру Михайловну. (*ОЗ*)
6–8 Происхождение и родство княгини ∾ вышла замуж вторично / Когда княгиня вышла замуж вторично (*ОЗ*)
9 На блестящую партию / На аристократический брак (*ОЗ*)
13–14 князь, вотчим ее / князь, бывший вотчим ее (*ОЗ*)
22 *После:* не почувствовав к ней глубокой симпатии — на ясном лице ее светлела вся прекрасная душа (*ОЗ*)
36 просил любить / просил меня любить (*ОЗ, 1860*)
44 VI / Часть третья. Тайна (*ОЗ*)
45–46 как будто я поселилась / как будто бы я поселилась (*ОЗ*)

Стр. 225.

1 каких-нибудь нескольких раз / каких-нибудь двух раз (*ОЗ*)
35–36 Характер ее был робок, слаб ∾ предположить с первого раза / Характер ее был робок, слаб, а между тем, смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить (*ОЗ*)

Стр. 227.

10 как будто была его раба / как будто была раба его (*ОЗ*)
12–13 Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. / Она как будто тщеславилась тем, что муж хвалил ее вкус, ее рисунки, игру на фортепьяно, выбор занятий; тогда она вдруг становилась счастлива. (*ОЗ*)
27 до глубины души возмущали / до глубины души возмущала (*ОЗ, 1860*)
29 прилежно следила / прилежно-прилежно следила (*ОЗ*)
37 то я бы измучилась / то я бы им измучилась (*ОЗ, 1860*)
39–40 Наступала неприятная минута, тоскливая минута / Наступала неприятная, тоскливая минута (*ОЗ, 1860*)

Стр. 228.

4–5 Какой-то гнев, какое-то негодование отражались / Какой-то гнев, какое-то негодование отражалось (*ОЗ, 1860*)
36 *После:* Но так как подобные сцены с мужем были очень редки — к тому же ничем другим не обнаруживалась и не прояснялась эта таинственность, которая, очевидно, была между ними (*ОЗ*)

Стр. 229.

2–3 что все те, которых она знала / что все-то, которых она знала (*ОЗ*, *1860*)

4 тоскует о ней / тоскует о ней, о ее болезни (*ОЗ*)

9–10 Они были правильны / Они были строго правильны (*ОЗ*)

11 строгую прелесть / античную прелесть (*ОЗ*)

29–30 и что свободнее ∾ точно в ней / и слышишь в такие мгновения, что свободнее, крылатее становится мысль, чище, теплее сердце, спокойнее душа, словно в ней (*ОЗ*)

Стр. 230.

29 с моим несчастным детством / с своим несчастным детством (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 231.

19–20 книг, прочитанных ею / десятков томов, а может и более, прочитанных ею (*ОЗ*)

26 *После:* которые в нем заключались — как будто и вправду можно было когда-нибудь их сосчитать. (*ОЗ*)

28–29 брались за книги и зачитывались иногда / брались за Плутарха и зачитывались его (*ОЗ*)

32 *После:* Мы одушевлялись обе — и часто до слез (*ОЗ*)

35 *После:* о чем мы читали. — Бесспорно выбор ее чтения был довольно странен, потому что она почти наизусть знала Плутарха. Но в оправдание ее скажу, что она читала его по-французски. (*ОЗ*)

36 мы так воспламенялись / мы воспламенялись до слез (*ОЗ*)

40–41 *После:* угадала многое в жизни. — Я росла незаметно. (*ОЗ*)

42 минуло тринадцать лет / уже минуло тринадцать лет (*ОЗ*)

Стр. 232.

28 между нами все-таки оставалась тайна / между нами оставалась тайна (*ОЗ*)

29–30 и я уж сама начала удаляться ∾ тяжело было с ней. / и в такие минуты я уже сама удалялась от нее. Мне тяжело было за нее. (*ОЗ*)

48 было три выхода / были три выхода (*ОЗ*)

Стр. 233.

10–11 *После:* Книг было очень много — несколько тысяч томов (*ОЗ*)

14 давали читать / давали читать книги (*ОЗ*)

47–48 уклонилось / умолкло или уклонилось (*ОЗ*)

Стр. 234.

9 Мне суждено было пережить всю эту будущность / Казалось, мне суждено было пережить всю мою будущность (*ОЗ*)

15 *После:* лукавая, нечистая страница — от которой я тотчас же отвернулась ⟨бы⟩ с отвращением. (*ОЗ*)

16 *После:* всё мое прошедшее. — Несмотря на свои тринадцать-четырнадцать лет, я уже слишком много жила сердцем, слишком много работала головою, хотя не всё еще вошло для меня в ясное сознание. (*ОЗ*)

17 *После:* всю прошлую жизнь мою. — Познав ее, я с благоговением заключила в свое сердце урок прошедшего как завет будущего. Судьба, столько раз сохранившая меня от погибели, как будто предупреждала меня теперь, как будто обязывала меня сохранить в чистоте свое сердце, надеяться и верить в нее. (*ОЗ*)

20–21 в таких неожиданных формах / в таких дивных формах (*ОЗ*)

21–22 *После:* была мною испытана. — Например, у меня не было никого из кровных моих; я потеряла семью свою слишком рано и слишком больно чувствовала свое одиночество. Случай сохранил меня: он послал мне благодетелей, заменивших мне всё, но вместе с тем уже дал мне слишком рано почувствовать всю степень опасности, которую перешла я. Жизнь

моя в чужой семье слишком сильно отражалась в первых впечатлениях моего сердца, и потому чувство семейственности, так опоэтизированное в романах Вальтер-Скотта, чувство, во имя которого создались они, чувство, доведенное до высочайшего исторического значения, представленное как условие сохранения всего человечества, проведенное во всех романах его с такою любовью, слишком сладко, слишком сильно втеснилось в мое сердце на отклик моих же воспоминаний, моих же сетований. Второе: передо мною заманчиво таилось будущее. Доселе в судьбе моей было уже столько произвола, столько случайного, что немудрено, если я уже слишком сильно мечтала об этом будущем, если уже слишком сильно волновалось мое сердце, робко, но с надеждой ожидая, что еще ему приготовит судьба и на что обречет его. (*ОЗ*)

23–24 передо мной в каждой книге / передо мной, в таких заманчивых, увлекательных формах, в каждой книге (*ОЗ*)

36–37 *После:* со всеми обольщениями поэзии — как будто оправданная им — затем что и в моей жизни было уже много чудесного и романического. (*ОЗ*)

Стр. 235.

16 *После:* истерзало бы мою душу — изнасиловало бы инстинкты (*ОЗ*)

25–26 я всё более и более ∾ видимо гасла / которой, наконец, я как-то пугалась, особенно смотря на Александру Михайловну, ибо жизнь ее, безотрадная, бесцветная, видимо гасла (*ОЗ*)

27–28 Как будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу / Как будто какое-то уныние вступило в ее душу, как будто какая-то безвыходная тоска всё сильнее и ожесточеннее точила ее сердце. (*ОЗ*)

28–29 она видимо была под гнетом чего-то неведомого, неопределенного / Всё казалось мне, она была под гнетом чего-то неведомого, чего-то неопределенного (*ОЗ*)

32 Сердце ее ожесточалось / Мне казалось, что даже самое сердце ее ожесточилось (*ОЗ*)

33 даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. / что даже ум ее принял другое направление, темное, грустное, что, наконец, природа ее приняла какой-то уклоненный, неестественный, болезненный путь. (*ОЗ*)

Стр. 236.

4 в минуты сознания / в минуту сознания (*ОЗ*)

5–6 начинала обо мне тревожиться / начинала тревожиться обо мне (*ОЗ*)

9 по целым дням / по целым неделям (*ОЗ*)

22 «Ивангое» Вальтер-Скотта / «Айвенго» Вальтера Скотта (*ОЗ*)

23 раза три / раз восемь или десять (*ОЗ*)

24–25 как будто взвешивала их / как будто взвешивала, оценивала их (*ОЗ*)

28–29 *После:* она была от меня в восторге — и обнимала меня со слезами гордой радости (*ОЗ*)

38 Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. / Конечно, мне тяжело было мое одиночество, моя отчужденность. Часто внезапный напор восторженных, горячих впечатлений теснил, разбивал мою душу. Мне нужно было другое сердце, с которым бы я могла любовно поделиться избытком моих возбужденных душевных сил. Но я боялась сблизиться с Александрой Михайловной, возмутить ее спокойствие — а для сердца ее был нужен покой. Но иногда минута была вне моей власти. (*ОЗ*)

Стр. 237.

2 проникла / проникала (*ОЗ*)

5 перешла в аккомпанемент / перешла в акомпаниман (*ОЗ, 1860*)

12 аккомпанемента / акомпанимана (*ОЗ, 1860*)

23 *После:* как приголубить меня — как поздравить меня, и молча крепко прижала меня к своему сердцу. (*ОЗ*)

33 послала за детьми / послала даже за мадам Леотар, которая становилась совсем глуха, послала за детьми (*ОЗ*)
40 был обрадован / был тронут до слез (*ОЗ*)
43–44 средства есть несомненные ∾ не учить меня невозможно. / талант есть несомненный, может быть, очень большой, и что не учить меня было бы преступлением. (*ОЗ*)

Стр. 238.
21 ускользнули доселе / ускользнула доселе (*ОЗ, 1860*)
30–31 *После:* я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. — Таким образом я переделала в голове всего Вальтера Скотта по-своему, затем что по канве его романов как-то любовнее принималось мое сердце рассказывать себе же самому, в самых узорчатых, самых прихотливых формах, свои теплые, прихотливые, досужие грезы. (*ОЗ*)

Стр. 240.
16 Письмо было к Александре Михайловне. / Письмо принадлежало Александре Михайловне. (*ОЗ*)
43 и так было прежде нас суждено! / а так было прежде нас суждено! (*ОЗ*)

Стр. 241.
1 и я до сих пор как будто без памяти / и я до сих пор как ошеломленный, как будто без памяти (*ОЗ*)

Стр. 243.
38–39 Ох! еще бы только раз / Ох! еще бы раз (*ОЗ*)

Стр. 244.
39–40 судорожные рыдания / беспредметные судорожные рыдания (*ОЗ*)
42 Я уж не могла / Я, страдая, предчувствовала свое одиночество и уж не могла (*ОЗ*)

Стр. 245.
36–37 столько терзающего душу отчаяния ∾ так неразрешим для меня / столько истинного, терзающего душу отчаяния, но форма и смысл которого были так странны, так неразрешимы для меня (*ОЗ*)

Стр. 246.
16 всё семейство / всё княжеское семейство (*ОЗ*)
22 плакала / рыдала (*ОЗ*)
24 за себя пугалась / за себя испугалась (*ОЗ*)
24–25 *После:* я сама не знала, что со мной делается — как будто весь мир души моей был разрушен, как будто чем-то глубоко оскорблено было мое сердце, как будто я обманулась во всем, что доселе было со мною. И странно! даже теперь, после долгого времени, вспоминая о прошедшем, не могу дать себе отчета в тогдашней минуте моей. Что было со мною? Это нервное беспокойство, это душевное волнение, эта боль сердца, вдруг застигнувшие меня как грозою, мне до сих пор непонятны. Казалось, я уже слышала, угадывала новую жизнь, которая уже началась для меня с новым возрастом, и инстинкт пугал меня тем, что я так грустно, таким тяжелым впечатлением начинаю новую жизнь мою. (*ОЗ*)
41 почти никогда не видала / никогда не видела (*ОЗ*)

Стр. 247.
3 сзади меня шорох / сзади себя шорох (*ОЗ, 1860*)

Стр. 248.
35–36 Мне было чего-то стыдно / К тому же мне было чего-то стыдно (*ОЗ*)
46 стала спокойнее / стала покойнее (*ОЗ, 1860*)

Стр. 248—249.

48-1 путешествия к моему учителю / путешествия в нашу консерваторию (*ОЗ*)

Стр. 249.

11 провожавшая меня / провожавшая меня к учителю (*ОЗ*)

33–34 что это такое делалось / что со мною делалось (*ОЗ*)

43 чуть не вскрикнула / чуть не вскрикнула от изумления (*ОЗ*)

Стр. 250.

38–39 было при нем тяжело / было тяжело быть вместе с ним (*ОЗ*)

Стр. 251.

36 как бесславно пойманный / как будто бесславно пойманный (*ОЗ*)

45–46 только через полчаса / только через час (*ОЗ*)

Стр. 252.

2 и начала целовать их / и со слезами начала целовать их (*ОЗ*)

6 Вошел Петр Александрович. / Через час вошел Петр Александрович. (*ОЗ*)

48 *Вам,* а не *мне* краснеть / разве *вам,* а не *мне* краснеть (*ОЗ*)

Стр. 253.

27–28 Я схватила руку Петра Александровича и горячо сжала ее. / В это мгновение что-то горячее обожгло мою руку. Я посмотрела на Петра Александровича и вздрогнула от изумления: по обеим щекам его катились слезы. Всё лицо его изображало глубокое страдание. Я схватила его руку и горячо сжала ее. (*ОЗ*)

31–32 сказал он, как-то странно смотря на меня / сказал он мне полушепотом (*ОЗ*)

37–38 Петр Александрович прислал сказать / Петр Александрович приказывал мне сказать (*ОЗ, 1860*)

42–43 *После:* чувствовала себя всех виновнее. — Слезы Петра Александровича не выходили у меня из ума. (*ОЗ*)

Стр. 254.

16 уверяю тебя. Но, слушай, — отвечай мне правду / только от этого, уверяю тебя. Но слушай и отвечай мне правду (*ОЗ*)

34 Я обняла ее и заплакала. / Рыдания вырвались из груди моей, и я бросилась на грудь ее. (*ОЗ*)

Стр. 255.

5 *После:* Прощайте! — Моя грудь стонала от слез. (*ОЗ*)

16 *После:* Она говорила с трудом — как будто глотая рыдания. (*ОЗ*)

25 Полноте / Полноте, полноте!

27 помолчав и улыбнувшись / помолчав и простодушно улыбаясь (*ОЗ*)

32 не пугай его / не напугай его (*ОЗ, 1860*)

Стр. 256.

16 знала теперь всё наизусть / знала всё наизусть (*ОЗ*)

26 и выбрать что-нибудь / и выбирала что-нибудь (*ОЗ*)

27–28 Сумерки сгущались ∾ и тоска моя. / Сумерки сгущались, и какое-то неизъяснимо-сладкое, а вместе с тем и мучительно-грустное чувство посетило меня. (*ОЗ*)

28 В руках моих очутилась опять эта книга / Вдруг как будто что-то зажглось в уме моем, вдруг прояснела память, задрожало мое сердце, и разом, как бы по чьему-нибудь мановению, передо мной развернулась картина всего моего прошедшего. Я припомнила все эти длинные монастырские годы, проведенные мною в этом доме с самой разлуки с моей Катей, мое первое детство; потом ее, теперь умирающую!.. ту

минуту, когда она в первый раз обняла меня и назвала своей дочерью; припомнила все эти первые годы моего учения, когда целый источник любви пролился на мое детство из ее материнского сердца; припомнила все сцены, даже самые маленькие, но в которых так роскошно мелькал ее праведный образ и проглядывала ее чистая душа. Я припомнила почти каждое слово ее, каждую книгу, которую мы прочитали вместе, все рассказы ее, которые она так просто, так наивно рассказывала, с такою любовью снизойдя до меня и так легко, сама, силой любви своей, превращаясь в ребенка. Потом явился предо мною другой ряд годов, годов моего отчуждения, уединения страстного, горячего и чудного волнения, когда голова и сердце так опередили возраст, так спешили в жизнь, когда душе моей так нетерпеливо снилось и гадалось будущее... Я взглянула на все эти книги, которые я теперь перебрала одну за другою, и каждая мне напомнила столько прошедшего, столько прожитого, столько радостных, вдохновенных минут, столько надежд, счастья!.. Наконец, и в руках моих была теперь эта книга (*ОЗ*)

29–30 увидала следы письма / увидела следы письма (*ОЗ*)

34–35 «Что с нами будет,— думала я,—угол, в котором мне было так тепло / Я долго думала, припоминала, и так грустно, так сурово становилось в душе моей с этой думой! Угол, в котором мне было так тепло (*ОЗ*)

36–37 Что впереди?» Я стояла в каком-то забытьи / Что впереди? — спрашивала я и, затаив в себе рыдания, стояла в каком-то забытьи (*ОЗ*)

39 *После:* грозившее мне — полными слез и робкой надежды глазами... (*ОЗ*)

Стр. 257.

7 спрятала письмо на груди / спрятала письмо за пазуху (*ОЗ*)

33 где взяли ключ? / где взяли вы ключ? (*ОЗ, 1860*)

37–38 вы так не уйдете! / вы не отвечали. Стало быть, вы не хотите отвечать? (*ОЗ*)

42 в моем доме... / и потому... (*ОЗ*)

46 — Остановитесь! — закричала я. — Как вы можете? / Остановитесь, ради бога! — закричала я. — Но как вы можете? (*ОЗ*)

47 *После:* Боже мой! боже мой!.. — Я перестала говорить. (*ОЗ*)

Стр. 258.

8 я было колебался / я было поколебался (*ОЗ*)

17–18 *После:* Становилось темно. — На меня начал нападать какой-то безотчетный страх. (*ОЗ*)

20–21 *После:* не могла понять злобы этого человека — и вдруг, в это мгновение, ужас нарисовал перед моими глазами странное видение. Мне представилась Александра Михайловна, смущенная, в слезах, беззащитная, изнемогающая перед этим же взглядом, как пред холодным, бесчувственным обвинением, упреком, жившим подле нее во плоти всю жизнь. Мне представилась вся судьба ее, как будто в каком-то видении. В это мгновение я в первый раз всё осмыслила ясным сознанием — всё прошлое, все подозрения свои; я в первый раз всё угадала, и душа моя содрогнулась. (*ОЗ*)

22–23 *После:* при входе в кабинет Александры Михайловны — куда привлечена была инстинктом самохранения. В эту минуту я не верила ни в искренность негодования его, ни даже в его уверенность, что я виновата. Я чувствовала, что ищут только предлога; мне казалось, что тут что-то другое, и страх мой удвоился. (*ОЗ*)

23–24 послышались и его шаги; я уже хотела / послышались его шаги; я уж хотела (*ОЗ*)

31 шепнула я / шептала я (*ОЗ, 1860*)

36 Ради бога! / Ради бога! ради бога! (*ОЗ*)

41 наши голоса / наш голос (*ОЗ, 1860*)

Стр. 259.

15 на кресла / в кресла (*ОЗ*)
41 побледнела / побледнела как смерть (*ОЗ*)

Стр. 260.

25–26 посмотрел на меня — и смешался / посмотрел на меня. Он смешался (*ОЗ*)

Стр. 261.

36 старалась не глядеть на него / не смотрела на него (*ОЗ*)

Стр. 262.

10 Сказав это, она робко и краснея взглянула на мужа / Говоря это, она робко и краснея глядела на мужа (*ОЗ*)
12 на его губах / на губах его (*ОЗ*)
15 *После:* она смешалась — понизила голос и наконец совсем замолчала. (*ОЗ*)
20 перестав смеяться / ⟨перестав⟩ совсем смеяться (*ОЗ*)

Стр. 263.

1–2 об этих гадостях! / об этих неприятностях! (*ОЗ*)
6 пусть вы насмеялись / пусть бы вы насмеялись (*ОЗ*)
10–11 утишить ее волнение / утишить ее волнения (*ОЗ*)
25 — Молчите! — закричала я / — Молчите! — вскричала я (*ОЗ, 1860*)
32 *После:* не видали, не заметили! — Стенания вырвались из груди моей. (*ОЗ*)

Стр. 264.

35 взглянула на мужа / взглянув на мужа (*ОЗ*)

Стр. 265.

36 *Слов:* и меня тоже — *в ОЗ нет.*

Стр. 266.

6 О, ради бога, хоть в этот раз пощадите ее! / О, ради бога, пощадите ее! (*ОЗ*)
16–17 Обморок и припадки ∾ был в страхе. / Обморок продолжался два часа. Целый дом суетился у постели больной. (*ОЗ*)
30 остолбенев от изумления / с глубоким изумлением (*ОЗ*)
46 Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были безжалостны. / Ваше тщеславие было безжалостно. (*ОЗ*)

Стр. 267.

2 остановил Овров / остановил Веров (*ОЗ*)

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

(Стр. 268)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 268.

3 Было мне тогда без малого одиннадцать лет. / «Ну да! — сказал я, — я расскажу тебе историю, Машенька, и ты никак не должна сердиться за то, что тебе рассказывают историю про ребенка, а не про большого человека, будто девочке маленькой. Слушай же покорно и смирно. Ведь сама же ты напросилась на мою историю, сама же вспорхнулась, словно птичка испуганная, когда услышала, что часы бьют одинна-

дцать, и догадалась, что мы уже целые два часа сидим да молчим. А для всякой такой резвушки, как ты,— ух! как страшно промолчать два часа. И уж видел я, что всему бы ты рада была, только бы не молчать; и если б что вдруг разбилось, и если б зеркало сорвалось со стены, и, пожалуй, чтоб дом загорелся, — всё хорошо, всё было бы лучше, чем молчать два часа. И стали мы помаленьку злиться за то, что нам сделалось скучно, губки наши маленькие надули с досады, кружево с платка принялись общипывать — сердечко неугомонное! Так что уж волей-неволей, а мне пришлось предложить свою историю. Но если б ты знала, Машенька, как мне хорошо вот так здесь сидеть, у огня, и смотреть, всё смотреть на тебя, целые два часа с тебя глаз не спускать, с тебя да с твоей маленькой ножки, которая всё время грелась, лежа на решетке камина, и всё время дразнила меня, плутовка! Что с тобой было, мой маленький, хорошенький друг? Какие грезы тебя убаюкали? в какое волшебное царство летала твоя фантазия? И как смирно, не пошелохнувшись, сидела ты эти два часа, склонив головку на правую руку, перебирая и путая в светло-русых локонах свои точеные пальчики, полузакрыв глаза, будто в раздумье о чем-то, будто гоняясь мечтой за каким-то воспоминанием, счастливым и радостным, — затем что у тебя других и не может быть,— и сама улыбаясь мечте своей, как дитя сквозь сон. Ох! если б ты знала, резвушка, что ты так была хороша и что мне было так хорошо смотреть на тебя, ты бы еще такие же два часа просидела, не шевельнулась бы, словечка бы не вымолвила!.. Даже наш камин как будто обрадовался, что мы оба так присмирели, словно для того чтоб слушать его веселую трескотню, и так охотно, так весело разгорелся нам в угоду, что, право, он, ни дать ни взять, был похож на приветливого, доброго хозяина, к которому собрались хорошие гости и который уж не знает от радости, как их пригреть, приласкать и подольше удержать у себя... И как он затрещал и засверкал, когда я подбросил ему два славные березовые полена, сухие, с цельной корой, и если б ты слышала тогда, какую славную принялся он рассказывать сказку! А потом и он вдруг затих, будто на нас глядя, или как старый человек, которого только на мгновение озарило ярким воспоминанием и которому вдруг изменила память на половине рассказа, так что уж и совестно ему, что не спохватился заранее и что так поздно пришлось извиняться слабостью старческой памяти, и так медленно, будто нехотя, гаснул!.. Но, видно, и его одолела дрема, и вот теперь, смотри, только синие зайчики по угольям прыгают...

Но боже мой! еще я слышу, какой звонкий смех сорвался с твоих губок, когда я предуведомил тебя, что герою романа, который я намерен рассказывать, еще не было одиннадцати лет, и объявил тебе, кто был этот герой. Но, слушай, резвушка: ведь сама же хотела ты, чтоб я рассказал что-нибудь такое, отчего бы воскресли пред тобою все любимые воспоминания твои, и, право, я ничего не мог лучше придумать, как рассказать тебе про мое первое счастье. Еще я помню слово в слово весь твой заказ и наказ, как рассказывать повесть, и, право, стоило бы его повторить, этот заказ твой, причудница. Дескать, так рассказать, чтоб Машенька, во-первых, никак не заснула, а напротив, чтоб было ужасно как любопытно слушать; во-вторых, чтоб вовсе не было трогательно, потому что Машеньке совсем не хочется плакать, да чтоб уж и не было очень смешно, затем что ей и смеяться тоже не хочется; в-третьих, чтоб отнюдь не было страшно, потому что Машенька, видите ли, уж и так прошлую ночь всю измучилась: какой-то страшный сон видела, уж какой — мы не помним, давно позабыли, а только очень был страшный сон. Ну, а потом чтоб не было длинно, а потом чтоб не было путаницы, — словом, чтоб мы прослушали тихо, спокойно, но только с большим, большим, с очень большим любопытством... Ну, чтоб, наконец, впечатление было точно такое же и чтоб Машенька точно так была рада слушать, как, помните (и это нам вдруг

теперь вспомнилось, ни с того ни с сего залетело в головку!), во время наших вечерних прогулок прошлого лета, в деревне, когда мы оба так весело болтали, так взапуски друг другу рассказывали всё, что на ум приходило, и так резво, так радостно смеялись своей болтовне, что, кажется, только тогда и умели так хорошо говорить и смеяться, а теперь совсем разучились... И тут ты так чудно вся оживилась, среди целого роя милых видений прошедшего, внезапно воскресших в твоей горячей головке, так вдруг захотелось тебе заставить забиться причудливое сердечко свое на старый лад, что тотчас же было положено непременно так сделать, таким волшебствам быть, чтоб и в моем рассказе отразилось всё это прошлое счастье, чтоб как-нибудь припомнилось нам и всё прошлое лето, „когда мы всего только месяц как были знакомы", и вся деревенская жизнь, и прогулки вечерние, и наши столетние липы подле дома, и роща за садом, и наше черемушное дерево, которое нам в окно подавало цветы свои и словно просилось к нам каждое утро, когда ты отворяла окно, а сочные темно-зеленые листья ворвутся, бывало, к нам в комнату, и скошенный луг, на котором убирали сено... помнишь, еще стал накрапывать дождь, и мы все бегали, с граблями в руках, с криком, смехом, весело, резво и —

И всё мое сердце задрожало, когда, вслед за тобой, и мне всё это припомнилось, Машенька, это время золотое, когда нам обоим было так хорошо, что как будто и правда, что мы тогда зараз прожили всё наше счастье, за всю нашу жизнь, и ничего про запас не оставили; когда, кажется, последний цветок полевой был милее для нас и душистее, чем теперь хоть бы эти дорогие розы твои, которые нежатся там, у тебя, в фарфоровой вазе; „когда мы всего только месяц как были знакомы", про что ты так слишком кстати упомянула, злая, чересчур наивная Машенька. Всё припомнил, всё так, как хотела ты, даже бедную черемуху нашу, которую, может быть, теперь сломил зимний ветер и которая только теперь почему-то так мила и дорога тебе стала. Всё припомнил, когда слушал твой длинный заказ и не сводил глаз с твоих горячих губок, так бегло и нетерпеливо лепетавших твои желания, и я так рад, так рад был этим воспоминаниям, так рад, что мне наконец грустно стало, зачем я так рад им; будто ты и теперь не такая же, не лучше в тысячу раз, чем тогда была; будто не горит мое сердце от каждого взгляда твоих ясных глазок; будто не прекрасен теперь этот смех твой, который засверкал сейчас сквозь радостную краску на твоем торжествующем, захваленном личике, самолюбивая моя плутовочка; будто не льется этот смех в мое чуткое, настороженное сердце, как музыка? Но отчего же, скажи мне, Машенька, — думала ли когда об этом шаловливая головка твоя? — отчего только то нам и в радость, что, как теперь например, давно уже прожито, чего уже никаким наговором, никакой ворожбой не воротишь и что только припомнить осталось, опять, как теперь, в поздний вечер сидя у огня, в который я брошу сейчас вот это полено, чтоб было нам светлее и веселее, когда в окно бьется и стучит злая вьюга своими отмороженными, костлявыми пальцами и когда уже нет ни наших прогулок вечерних, ни цветов, ни душистого луга, ни теплого синего неба? Неужели же и в самом деле мне не дороже всего мое *настоящее* счастье, не дорога ты мне, моя милая, чудная девушка? Зачем же и я так одушевился вместе с тобою твоими же воспоминаниями и так дорого стало мне вдруг всё прошедшее, так сладко сказалось оно вновь сердцу, что теперь как будто и тяжело и грустно по нем, как будто и впрямь тогда... лучше было! Так ли, Машенька? Полно, правда ли это? Лучше ли нам было тогда, чем теперь, или нет? Или мы только капризные, недовольные, неблагодарные дети и просто хандрим, говоря, что нам скучно; только сердимся да мучим наших добрых друзей, дразним и обманываем их досадной похвальбою прошедшему, так и сяк намекая, что тогда-то вот жизнь была, а теперь и жизнь не в жизнь, и друзья не друзья, и годятся разве на то, чтоб

от скукп сказкп рассказывать, подлаживая их с горя на бывалый лад? Разреши же мне загадку мою, баловница, капризная девушка! Правда ли это? так иль не так? Но ты молчишь; о, да ты смеешься теперь, лукавая Машенька! Вижу, вижу я, как бегут от меня твои быстрые глазки, чтоб с моими не встретиться, как потрогиваются кончики губок, как вздрагивает слегка подбородок... Еще минутку — и ты засмеешься... ну вот, ну, не правда ли? Ох, как хорошо ты смеешься, Машенька! и, клянусь, я нарочно соблазнил тебя засмеяться. Долой хандру, и ничего мы теперь не хотим разрешать, никаких вопросов! Мы хотим одним взглядом наших бирюзовых сияющих глазок разбить в прах всё непрошеное резонерство загрустившего нашего друга и разрешить все досадные вопросы разом, по-своему; и ты сделаешь это — клянусь тебе, ты уже сделала всё это, волшебница Машенька! И право, если я еще долее буду смотреть в эти соблазнительные глазки, я повинюсь во всех взбалмошных, непочтительных вопросах моих, отрекусь от них; продам или даром отдам в твою власть, не ценя и не оглядываясь, всё мое прошедшее, дорогую мне память мою, так что, пожалуй, всё позабуду, всё, даже с обещанной историей, которую уж давно было пора начать, а может, и кончить!.. Но ты качаешь головкой — ты не хочешь, чтоб я забывал свои обещания; ты даже отвела свои глазки, плутовка, чтоб и вправду я не остался перед ними навек в созерцании, как Лотов столб, о! предусмотрительная девушка!.. Что ж это? мы обижаемся? мы не жалуем таких непозволительных шуток! вот уж мы нахмурили бровки... так скорее же за историю, и недаром же я заговорил о прошедшем! А только история будет все-таки детская история, про ребенка, а не про большого человека, Машенька, — досадно, не правда ли? да нечего делать, уж такая случилась. Ну, слушай же, я начинаю».

Так или почти так окончил я мое... предисловие. Тогда шалунья уставила на меня свои глазки, притихла; я стал рассказывать, и вот таким-то образом произошла на свет моя «история».

Было мне тогда (начал я) без малого одиннадцать лет. (*ОЗ*)

10 и ему удалось-таки / и, кажется, ему удалось-таки (*ОЗ*, *1860*)

19 наши дамы / все наши дамы (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 269.

33 что, видно, доставляло ей / что, видимо, доставляло ей (*ОЗ*)

37 *После:* стыдливеньких блондиночек — например таких, как ты, Машенька (*ОЗ*)

39 невысока и немного полна / невысока и немного уж слишком полна (*ОЗ*)

41 да и вся она — как огонь / да и вся она была как огонь (*ОЗ*)

Стр. 270.

6–7 раскрыть, с первым лучом солнца / раскрыть, вместе с первым лучом солнца (*ОЗ*, *1860*)

37 заботой / своею заботой (*ОЗ*)

Стр. 271.

6 обрадовавшись, что / обрадовавшись тому, что (*ОЗ*, *1860*)

17 больно так / так больно (*ОЗ*, *1860*)

29–30 наделать криком суматоху / наделать криком суматохи (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 272.

21–22 баловница / баловница и школьница (*ОЗ*)

Стр. 273.

28 надобилось сочувствие / понадобилось сочувствие (*ОЗ*)

41 *После:* и родятся на подвиг... — Ну вот, Машенька, между сказкой мы съехали на похвальное слово; но это ничего, и потому пойдем дальше. Скажу тебе только, что так всегда представлялась мне и судьба m-me M*. Впрочем, не я один так о ней говорю. (*ОЗ*)
46 не молившее о защите / не молившее о защите — уверяю тебя (*ОЗ*)
47 Я уже сказал / Я уже сказал, кажется (*ОЗ*)

Стр. 274.

20 потому что это была она / потому что это была она, Машенька (*ОЗ*)
36 я и сам еще не понимал / ведь я и сам еще не понимал (*ОЗ*)
39 конечно, не решился бы / конечно бы не решился (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 275.

18 следил потихоньку за m-me M* / следил за m-me M* (*ОЗ*)
27 приехал муж m-me M* / доложили о приезде мужа m-me M* (*ОЗ*)

Стр. 276.

11 чужие ошибки и слабости / людские ошибки и слабости (*ОЗ*, *1860*)
19 пока сок надобится / когда сок понадобится (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 277.

1 *После:* не устоялось и бродит — что еще не совершенно готово! (*ОЗ*)
5 и отомстит / и отмстит (*ОЗ*, *1860*)
9 Но, впрочем, m-r M* имел и особенность / Но ты смеешься, Машенька; тебе чудно смотреть на мою горячку, и, право, если б не я собой рассмешил тебя, ты бы заснула от моего *умного человека*. Виноват, не буду. Но, впрочем, мсье M*, чтоб поднять его в твоем мнении, имел и особенность (*ОЗ*)
11 *После:* собирался кружок — и уж наверное ты бы не последняя подошла его слушать. (*ОЗ*)
12 удалось произвесть впечатление / удалось произвесть глубокое впечатление (*ОЗ*)
26 человек сто гостей / человек сотня гостей (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 278.

17 гуляю поутру одна / гуляю по утрам одна (*ОЗ*)
32–33 перепрыгнул три ступеньки террасы... / перепрыгнул чрез три ступеньки террасы. (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 279.

40–41 чтоб приготовиться / чтоб всем изготовиться (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 280.

8 «Много шума из пустяков» / «Много шума из пустого» (*ОЗ*, *1860*)
10 болтовня / болтовня ее (*ОЗ*)
17–18 не пропала даром / не пропадала даром (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 281.

19 роль, — однако ж, был / роль, но, однако ж, был (*ОЗ*, *1860*)
22 к моей тиранке / к моей блондинке (*ОЗ*)
22–23 закричал прерывающимся от слез и негодования голосом / закричал, сложив руки, прерывающимся от слез и негодований голосом (*ОЗ*); закричал прерывающимся от слез и негодований голосом (*1860*)
31 мне самому становится ужасно смешно... / у меня как-то неприятно звенит в ушах... (*ОЗ*)
42–43 что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? / что ж могло быть ужаснее? (*ОЗ*)

Стр. 282.

13–14 кипели негодование и ненависть / кипело негодование и ненависть (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 283.

41 протянул было руку/ протянув было руку (*ОЗ*)
42 но вдруг / вдруг (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 284.

42 Плохо ж вы знаете Танкреда / плохо ж вы знаете моего Танкреда (*ОЗ*)

Стр. 285.

37 *После:* ногой в стремя — прежде чем успел он опомниться (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 286.

18 стрясая меня со спины / отрясая меня со спины (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 288.

12 m-me M* подошла ко мне / m-me M*, которой я не видел во весь вечер, подошла ко мне (*ОЗ*)

Стр. 289.

5–6 достала мне чаю / сделала мне чаю (*ОЗ*)
25 с белокурой нашей красавицей / с белокудрой нашей красавицей (*ОЗ*, *1860*)
45 и, пройдя несколько шагов, услышал голоса / и, ступив несколько шагов, услыхал голоса (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 290.

34 Что значит этот пакет? / Что значил этот пакет? (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 291.

43 через минуту / что через минуту (*1860*)

Стр. 292.

39 бессознательно взглянув / бессмысленно взглянув (*ОЗ*)

Стр. 293.

25–26 Туда я сбегал за васильками. / Туда я бегал за васильками. (*ОЗ*)

Стр. 294.

20 покраснела / вся покраснела (*ОЗ*, *1860*)
34 *После:* Natalie! Natalie! — Два женские голоса. Один очень знакомый: голос моего друга блондинки; другого не знаю (*ОЗ*); Два женские голоса. Один очень знаком: голос моего друга блондинки; другого не знаю (*1860*)
48 я один мог слышать ее / я один мог ее слышать (*ОЗ*, *1860*)

Стр. 295.

6 ее уже не было / ее уже не было подле (*ОЗ*, *1860*)
8–9 не помня себя от восторга / не слыша себя от восторга (*ОЗ*, *1860*)

ДЯДЮШКИН СОН

(Стр. 296)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 296.

21 она их умеет доказывать / она умеет доказывать (*РСл*, *1860*)
22 на эти секреты / на все эти секреты (*РСл*, *1860*)

Стр. 297.

3 такая черта есть уже принадлежность / такая тонкая черта есть уже принадлежность (*РСл*, *1860*)

Стр. 298.

18 в подгородную деревню / в подгородную свою деревню (*РСл*, *1860*)

Стр. 299.

43 несколько слов и о самом князе К. / несколько слов о самом князе К. (*РСл*)

Стр. 300.

13–14 и отнюдь не был похож на затворника / и отнюдь был не похож па затворника (*РСл*, *1860*)

Стр. 301.

14 достались ему одному / досталось ему одному (*РСл*)

20–21 по возвращении у него будут / по возвращении его у него будут (*РСл*, *1860*)

Стр. 302.

1–2 Утверждали, что он и не хотел узнавать. / Утверждали, что и не хотел узнавать. (*РСл*, *1860*)

24 на смирной английской кобыле / на смирной английской кобылке (*РСл*, *1860*)

Стр. 303.

37 которое к ней идет / которое к ней очень идет (*РСл*, *1860*)

Стр. 304.

3–14 если хоть раз на них взглянете / если вы хоть раз на них взглянете (*РСл*)

14 Выражение ее / Выражение лица ее (*РСл*, *1860*)

Стр. 305.

6–7 прежде обращаю внимание / прежде всего обращаю внимание (*РСл*, *1860*)

9 что уже рассказывал / что я уже рассказывал (*РСл*, *1860*)

Стр. 306.

35 ваше родство с князем! / ваше родство князю! (*РСл*, *1860*)

45 Но я все-таки повторю / Но я все-таки повторяю (*РСл*, *1860*)

Стр. 307.

11 Однако ж, что он так долго / Но, однако ж, он так долго (*РСл*, *1860*)

23 и говорит на пружинах! / он и говорит на пружинах! (*РСл*, *1860*)

26 вам, молодому человеку / вам, вам, молодому человеку (*РСл*, *1860*)

Стр. 308.

22 *После:* и стала подслушивать. — Она ужасно любила подслушивать. (*РСл*, *1860*)

Стр. 309.

8 а говорю / я говорю (*РСл*, *1860*)

Стр. 311.

11 но и это делает / но, впрочем, и это делает (*РСл*, *1860*)

30 Ну да, Антиповну, именно Анти-повну / Ну да, Антипову, именно Анти-пову (*ОЗ*)

33 никак не ожидала / никак, никак не ожидала (*РСл*, *1860*)

Стр. 313.

2 Вот у меня Те-рен-тий есть. / Вон у меня Те-рен-тий есть. (*РСл*)
34 я производил / то я производил (*РСл*)

Стр. 315.

26–27 я уж фамилью забыл / я уж и фамилью забыл (*РСл*)
35 полезная вещь / преполезная вещь (*РСл*)

Стр. 318.

4 Но это искусственная. / Но это искусственное. (*РСл*)
25–26 не вправе разочаровывать / не вправе вас разочаровывать (*РСл*, *1860*)

Стр. 319.

7 о чем начал говорить... / о чем я начал говорить... (*РСл*, *1860*)

Стр. 321.

1 не говорила об этом / не говорила об этом, Зина (*РСл*, *1860*)
6 слишком много поэтических вдохновений / слишком много поэтического вдохновения (*РСл*)
46 никогда не напоминать / никогда не поминать (*РСл*, *1860*)

Стр. 323.

29 несколько седых волос на голове моей / несколько седых волос в голове моей (*РСл*, *1860*)
33 ты мучишься / ты мучаешься (*РСл*, *1860*)
37–38 не растерзать его сердца / не растерзать его сердце (*РСл*, *1860*)

Стр. 324.

22–23 выдать меня за этого князя? / выдать за этого князя? (*РСл*)

Стр. 325.

19 в самом первом, главном! / в самом первом, в главном! (*РСл*)

Стр. 327.

27–28 Так обмани его, если тебе жаль! / Так обмани его, если тебе его жаль! (*РСл*)
39–40 пожалуй, и выйди за него / выйди за него (*РСл*)

Стр. 328.

12 не беремся описывать чувства / не беремся описывать чувств (*РСл*)

Стр. 328—329.

45–1 с остренькими глазками / с востреньким носиком, с быстрыми глазками (*РСл*); с остреньким носиком, с быстрыми глазками (*1860*)

Стр. 329.

37–38 в коротеньком платье / в коротком платье (*РСл*)

Стр. 333.

1 но ты не сердись на меня / только ты не сердись на меня (*РСл*, *1860*)
33–34 Ах, Зиночка, душенька! / Ах, Зиночка, душечка! (*РСл*, *1860*)

Стр. 334.

45–46 отирать их, — останавливать / отирать их, их останавливать (*РСл*, *1860*)

Стр. 337.

41 Мордасов / весь Мордасов (*РСл*, *1860*)

Стр. 338.

32–33 изумление, радостный испуг / изумление, радость, радостный испуг (*РСл*)

40–41 со мной случилась престранная история / со мной престранная история (*РСл, 1860*)

Стр. 339.

7–8 Семьдесят лет, — подумайте! / Семьдесят лет. А ведь он как любил меня прежде! Подумайте! (*РСл*)

29 самой догадаться вас надоумить!/ самой догадаться, вас же надоумить! (*РСл, 1860*)

Стр. 340.

39 а он куражится! / а он-то куражится! (*РСл, 1860*)

Стр. 341.

5 в этом самом салоне / в этом салоне (*РСл, 1860*)

14–15 и, знаете, беспо-добней-шая женщина, Наталья Дмитриевна / и, знаете, это беспо-добней-шая женщина, эта Наталья Дмитриевна (*РСл*)

38–39 осталось сахару / оставалось сахару (*РСл*)

Стр. 344.

12 нашу дружбу / нашу прежнюю дружбу (*РСл*)

Стр. 345.

13–14 Нет, нет, прежний ро-манс / Нет, нет, прежний, прежний ро-манс (*РСл, 1860*)

23–24 с виконтессой... этот самый романс... а теперь... / с виконтессой... а теперь... (*РСл*)

24 Я не знаю, что уже те-перь... / Я и не знаю, что уж те-перь... (*РСл, 1860*)

43 Марья Александровна бросилась / и Марья Александровна бросилась (*РСл*)

Стр. 348.

15 Да! я подслушивал! / Ну да! я подслушивал! (*РСл, 1860*)

29 Однако же вы не прогнали меня / Но, однако же, вы не прогнали меня (*РСл, 1860*)

Стр. 350.

10 Да, я подслушивал! / Ну да, я подслушивал! (*РСл, 1860*)

Стр. 352.

5 что-то рыцарское. / что-то рыцарское, Павел Александрович! (*РСл*)

Стр. 353.

14–15 Однако что же вы хотите сказать / Но, однако, что же вы хотите сказать (*РСл, 1860*)

28 всю картину / всю эту картину (*РСл*)

Стр. 355.

20–21 Завтра же я устрою всё / Завтра же, завтра же я устрою всё (*РСл, 1860*)

42–43 до того грязно и подло / до того низко, до того грязно и подло (*РСл, 1860*)

Стр. 356.

1 Да, подслушивала. / Ну да, подслушивала. (*РСл, 1860*)

10 и если все эти мерзавцы / а если все эти мерзавцы (*РСл, 1860*)

Стр. 357.

7–8 так тут хоть весь город вверх ногами!» / так тут хоть весь город ходи вверх ногами!» (*РСл, 1860*)

Стр. 358.

34 Как? так он завивается! / Как! так он завиваться! (*РСл, 1860*)
38 накидываясь всё более и более / накидываясь всё более, и более, и более (*РСл*)

Стр. 359.

19–22 Да и, наконец, всем известно ∾ с трепетом следил / Афанасий Матвеич с трепетом следил (*РСл*)
20 утонченные дамы / самые утонченные дамы (*1860*)
47–48 промямлил супруг / жалобно промямлил супруг (*РСл, 1860*)

Стр. 361.

25–26 как же приглашать-то его буду / как же я приглашать-то его буду (*РСл, 1860*)

Стр. 362.

5 Насмешливая улыбка / Это насмешливая улыбка (*РСл, 1860*)
30 не верила глазам и ушам своим / не верила своим глазам, ни ушам своим (*РСл*); не верила своим глазам и ушам своим (*1860*)
39 объяснение с Зиной / объяснение его с Зиной (*РСл*)

Стр. 363.

40 в следующую минуту / в следующую же минуту (*РСл, 1860*)

Стр. 364.

1 заметил, что заблудился / заметил, что он заблудился (*РСл*)

Стр. 366.

20–21 полупроснувшегося старика / полупроснувшегося старичка (*РСл*)
38–39 повторил он / повторял он (*РСл*)

Стр. 367.

5–6 по-сто-рон-ним образом: делал я предложение иль нет? / по-сто-рон-ним образом? (*РСл*)

Стр. 369.

31–32 все наши сборы / все эти наши сборы (*РСл, 1860*)

Стр. 370.

35–36 Марья Александровна удесятерилась / Марья Александровна удесятерялась (*РСл, 1860*)

Стр. 371.

25 ее гости / ее гостьи (*РСл, 1860*)

Стр. 372.

17 Павел Александрович согласится / Павел Александрович согласятся (*РСл, 1860*)

Стр. 373.

9–10 *После:* к Марье Александровне. — Как же это? — повторила удивленная Анна Николаевна. (*РСл*)
15–16 послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания / послышался какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания (*РСл, 1860*)

28 вот вы как со мной поступаете! / так вот вы как со мной поступаете! (*РСл*)
39 Это видно-с / Это и видно-с (*РСл*)

Стр. 374.
35–36 Какой же сговор? / Какой же это сговор? (*РСл, 1860*)

Стр. 376.
35 Ах, я очень рад / Ах, очень рад (*РСл*)
43 прошлого года / прошлого году (*РСл, 1860*)

Стр. 377.
24 рассказывать нельзя? / рассказать нельзя? (*РСл*)

Стр. 378.
28 завтра же отправляюсь / завтра же отправлюсь (*РСл*)
33–34 дело слишком испорчено / дело уже слишком испорчено (*РСл*)

Стр. 378—379.
48–1 пора мне сказать / пора и мне сказать (*РСл*)

Стр. 379.
9 он желает / он сам желает (*РСл*)

Стр. 380.
20–21 она вместо меня его ви-дела / она сама вместо меня его ви-дела (*РСл*)

Стр. 381.
18 вы сами / вы, вы сами (*РСл*)
22 сами говорили / сами заговорили (*РСл, 1860*)

Стр. 382.
23 ваш собственный сон / ваш же собственный сон (*РСл*)
39 замки, так что / замки, всё замки, так что (*РСл*)

Стр. 384.
2 а вы убиваетесь / а вы убиваетесь-с (*РСл, 1860*)
18 Как вы убиваетесь / Как вы убиваетесь-с (*РСл, 1860*)

Стр. 385.
16 всё расскажу! / всё, всё расскажу! (*РСл, 1860*)
21 Нет, маменька / Нет, маменька, нет! (*РСл*)
28–29 Это нас обижают! / Это нас обижают! — Сама-то какая! (*РСл*)

Стр. 386.
19 Сильный горловой спазм / Сильная горловая спазма (*РСл*)

Стр. 388.
46 Это ты меня продал! / Это ты меня предал! (*РСл, 1860*)

Стр. 389.
12–13 Вы бла-го-род-ная девушка! / Вы благородная девушка, бла-го-род-ная девушка! (*РСл, 1860*)

Стр. 391.
36 даже не понимал / даже и не понимал (*РСл, 1860*)
47 прошли бы года / прошли бы годы (*РСл*)

Стр. 393.
14 Нет, нет / О нет, нет (*РСл*)
26 вспомни! вспомни то время! / вспомни то время! (*РСл*)

33 но ее душа / но и ее душа (*РСл*)
42 в другую комнату / в другую комнатку (*РСл*)

Стр. 394.

26 поджидал / поджидал ее (*РСл, 1860*)

Стр. 395.

4 Третьего дня еще / Вчера еще (*РСл, 1860*)
26–27 подразумевая под этим, конечно / подразумевая под этим, разумеется (*РСл, 1860*)

Стр. 396.

26 тотчас по возвращении / тотчас же по возвращении (*РСл, 1860*)
40–41 с дочерью и Афанасием Матвеичем / с дочерью и с Афанасием Матвеичем (*РСл, 1860*)

Стр. 398.

2 есть маменька-с / есть и маменька-с (*РСл, 1860*)
5–6 не наглядится и не надышится на свою супругу / не наглядится и не надышит на свою супругу (*РСл, 1860*)
28 не сходили с лица его / не сходила с лица его (*РСл*)

ПРИМЕЧАНИЯ

Во втором томе Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются художественные произведения 1848—1859 гг.

Рассказы «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», повесть «Слабое сердце», «сентиментальный роман» «Белые ночи» и оставшаяся незаконченной «Неточка Незванова» создавались в Петербурге и были опубликованы в 1848—1849 гг., до осуждения Достоевского по делу петрашевцев. Рассказ «Маленький герой», написанный в Петропавловской крепости в 1849 г., был напечатан М. М. Достоевским без указания имени автора в 1857 г. «Дядюшкин сон», замысел которого возник и осуществлялся в Семипалатинске, был опубликован в 1859 г.

В разделе «Незавершенные замыслы» печатается беловой автограф наброска очерка «Домовой» (из цикла «Рассказы бывалого человека»), в разделе «Другие редакции» — сохранившийся рукописный отрывок ранней редакции «Неточки Незвановой». Рукописи остальных произведений, входящих в том, утрачены.

Готовя в 1859 г. первое собрание сочинений, Достоевский подверг все произведения, включенные в настоящий том (кроме рассказов «Ползунков» и «Слабое сердце», не печатавшихся в этом издании), существенной стилистической правке. Некоторые из них — «Честный вор», «Чужая жена и муж под кроватью», «Неточка Незванова» — он сократил и перекомпоновал. В собрании сочинений *1865* писатель ограничился незначительными поправками. Все произведения настоящего тома, входившие в указанное собрание сочинений, были выпущены тогда же Ф. Т. Стелловским отдельными изданиями, напечатанными с того же набора.

Характер и последовательность художественной обработки, которой Достоевский подверг произведения, печатающиеся в данном томе, прослеживаются по вариантам (см. стр. 413—466).

Тексты настоящего тома (за исключением рассказа «Ползунков», который при жизни автора не перепечатывался) воспроизводятся по последнему прижизненному собранию сочинений (*1865*, *1866*).

В Приложении к тому помещены три стихотворения Достоевского, написанные в Семипалатинске в 1854—1856 гг. и не публиковавшиеся при жизни писателя; из них два до настоящего времени в собрания сочинений не включались.

Период 1848—1859 гг. был насыщен событиями, имевшими важные последствия для личной и творческой биографии Достоевского. Это увлече-

ние писателя идеями утопического социализма, участие в кружках М. В. Петрашевского, С. Ф. Дурова и Н. А. Спешнева, арест и заключение в Петропавловской крепости, гражданская казнь, пребывание на сибирской каторге, солдатчина, жизнь на поселении, борьба, продолжавшаяся в течение трех лет (1854—1857), за право печататься.

Произведения 1848—1849 гг., хотя и были созданы в атмосфере разлада с участниками кружка «Современника», по своей манере во многих отношениях близки общему направлению «натуральной школы». П. В. Анненков, написавший после смерти Белинского обзор русской литературы за 1848 г., рассматривал все, что создал в этом году Достоевский, в ряду других произведений гоголевского направления (*С*, 1849, № 1, отд. III, стр. 2—7). Впоследствии тот же Анненков признал, что, хотя жизнь и развела Достоевского и Белинского «в разные стороны», «довольно долгое время взгляды и созерцания их были одинаковы» (см.: *Анненков*, стр. 284). Справедливость слов Анненкова подтверждается, если сопоставить фельетоны «Петербургской летописи» Достоевского, печатавшиеся в «С.-Петербургских ведомостях» с апреля по июнь 1847 г., с суждениями Белинского о «натуральной школе», реформах Петра I, славянофилах и пр., высказанными в статьях 1847—1848 гг.

В то же время уже в 1840-е годы своеобразие произведений Достоевского заключалось в том, что в них центральное место занимали нравственно-психологические проблемы. Эту особенность творчества молодого писателя чутко уловил В. Н. Майков. Он писал, что в противоположность Гоголю, для которого «индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга», Достоевскому «самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума». [1] Нравственные искания героев произведений Достоевского этого периода, их мечты о всеобщем братстве людей отражали увлечение самого автора идеями утопического социализма.

А. А. Григорьев писал в 1848 г.: «Вся современная литература есть не что иное, как, выражаясь ее языком, протест в пользу женщин, с одной стороны, и в пользу бедных, с другой; одним словом, в пользу слабейших».[2] В творчестве молодого Достоевского основная социально-психологическая тема «бедных людей» была тесно связана с изображением пробуждения личности женщины и ребенка, требующих от общества глубокого внимания к себе и уважения своих человеческих прав. Начиная с «Елки и свадьбы», «Неточки Незвановой» и «Маленького героя», «детская» тема проходит через все творчество Достоевского, получая высшее развитие в его последнем романе «Братья Карамазовы».

В ночь на 23 апреля 1849 г. Достоевский был арестован в связи с процессом петрашевцев. Заключение в Петропавловской крепости и даже смертный приговор не сломили его духовно. Впоследствии в «Дневнике писателя» Достоевский признавался: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния 〈...〉. И наши убеждения лишь

---

[1] Вал. М а й к о в. Критические опыты (1845—1847). Изд. журн. «Пантеон литературы», СПб., 1891, стр. 325. См. также: наст. изд., т. I, стр. 476.

[2] А. Г р и г о р ь е в. Собрание сочинений, вып. 8. М., 1916, стр. 28.

поддерживали наш дух сознанием исполненного долга» (*ДП*, 1873, гл. XVI, «Одна из современных фальшей»).

И действительно, в Петропавловской крепости Достоевский написал одно из своих самых лиричных произведений — пронизанный светом и солнцем рассказ «Маленький герой».

Повесть «Дядюшкин сон» отделяет от «Маленького героя» почти десятилетний период, когда Достоевский был лишен возможности писать. В это время в мировосприятии и творческой манере писателя произошли существенные сдвиги. При всем том стилистически «Дядюшкин сон» близок к произведениям Достоевского 1840-х годов. В этой повести явственно ощущаются не только влияние пушкинской и гоголевской традиций, но и разнообразные широкие связи с предшествующим и современным писателю русским реализмом.

Мечта Достоевского написать в 1840-е годы роман не осуществилась: «Неточка Незванова» не была завершена. Однако работа над этой повестью и над другими произведениями той поры, в центре которых находился интеллектуальный герой, наделенный аналитическим отношением к жизни, подготовила Достоевского к созданию его романов 1860—1870-х годов.

Тексты и варианты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и комментарии к ним написали: Н. М. Перлина («Ползунков», «Слабое сердце», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Маленький герой», «Приложение»; комментарии к повести «Дядюшкин сон» (с использованием отдельных материалов Б. В. Мельгунова) и реальный комментарий к повести «Белые ночи») и Н. Н. Соломина («Неточка Незванова», «Белые ночи»; текст рассказа «Чужая жена и муж под кроватью», повести «Дядюшкин сон» и белового автографа очерка «Домовой»).

Общая редакция тома принадлежит А. С. Долинину и Е. И. Кийко. Данная вводная заметка написана Е. И. Кийко.

ПОЛЗУНКОВ

(Стр. 5)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Иллюстрированный альманах, изданный И. Панаевым и Н. Некрасовым. СПб., 1848, стр. 502—516, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 26 февраля 1848 г.).

Печатается по тексту первой публикации.

Замысел рассказа относится к 1847 г. В письме от 25 июня 1847 г., адресованном Тургеневу, Белинскому и Анненкову в Зальцбрунн, Некрасов сообщал о своем намерении «дать в приложении к 10-му или 11-му № ⟨«Современника»⟩ „Иллюстрированный альманах“», материалы для которого были заказаны нескольким авторам, в том числе и Достоевскому (см.: *Некрасов*, т. X, стр. 73). Достоевский обещал закончить свой рассказ к 1 января 1848 г. (см. письмо к Некрасову от конца августа — начала сентября 1847 г.), однако завершил его раньше и в начале декабря 1847 г. передал в редакцию «Современника» (см. письма Некрасова к Тургеневу от 11 декабря и к Н. А. Степанову от 18 декабря 1847 г. — там же, стр. 93, 97).

Первоначально произведение носило название «Рассказ Плисмылькова» (см. объявление об издании «Иллюстрированного альманаха» — *С*, 1848, № 2); в отпечатанных экземплярах этого альманаха рассказ был озаглавлен «Ползунков», а в письме редакции «Современника» в С.-Петербургский цензурный комитет от 7 декабря 1848 г. он назван «Шут» [1] (см.: Дело о разрешении к печати «Иллюстрированного альманаха» при журнале «Современник» — *ЦГИА*, ф. 777, оп. I, ед. хр. 1994, л. 9 об.).

«Иллюстрированный альманах», прочитанный в корректуре цензором А. Н. Очкиным, был допущен к печати, но, по причинам, зависевшим от работы типографии и граверов, издание задержалось (*С*, 1848, № 4, «От редакции»).

Когда в конце августа того же года соредактор Некрасова И. И. Панаев вновь обратился в Цензурный комитет за разрешением на выпуск альманаха, сборник был в сентябре вторично просмотрен и запрещен.[2] Цензор

---

[1] Заглавие «Шут», столь характерное для физиологических очерков, было предложено, по-видимому, не Достоевским, а редакцией «Современника». Это заглавие встречается только в переписке редакции «Современника» с С.-Петербургским цензурным комитетом (см.: Дело о разрешении..., л. 9 — письма от 7, 14, 19, 20 и 21 декабря 1848 г.).

[2] Усиление цензурного надзора было связано с деятельностью Комитета 2 апреля 1848 г. (см. письмо И. И. Панаева к председателю Цензурного комитета М. Н. Мусину-Пушкину от 9 октября 1848 г. — *ЦГИА*, ф. 772, он. I, ч. 1, ед. хр. 2157, л. 15; см. также: Дело о разрешении..., лл. 1—8).

А. Л. Крылов усмотрел в двух повестях сборника — «Семейство Тальниковых» А. Я. Панаевой и «Лола Монтес» А. В. Дружинина — «увлечение теми идеями, которые ⟨...⟩ подготовляли юную Францию и Германию», и признал, что альманах окажет «влияние на умы читателей самое неблагоприятное». Что же касается помещенных в альманахе других произведений (включая и рассказ Достоевского «Ползунков»), то они, по мнению цензора, «могли бы сами по себе, с небольшими разве изменениями, доставить чтение довольно безукоризненное». «Но в альманахе, — продолжает цензор, — они принимают совсем иной свет потому, что помещены в подбор с другими статьями, которых цензура не может не осудить» (*ЦГИА*, ф. 772, оп. I, ч. 1, ед. хр. 2157, л. 12).

После неоднократных просьб Панаева и редакции «Современника» 14 декабря 1848 г. Цензурный комитет разрешил выпустить в 1849 г. взамен запрещенного новое издание, включающее в себя ряд материалов из «Иллюстрированного альманаха», в том числе рассказ Достоевского «Шут» (там же, лл. 9—11). Этим новым изданием явился «Литературный сборник» (СПб., 1849, ценз. разр. — 22 марта 1849 г.).

Однако «Ползунков» в сборник не попал, по всей вероятности, из-за ухудшившихся отношений между Достоевским и редакцией журнала. Следует учесть также, что Некрасову рассказ и прежде не нравился (см.: *Некрасов*, т. X, стр. 97). Таким образом, принятый редакцией «Современника» и уже отпечатанный, рассказ Достоевского остался неизвестным публике. От издателя «Иллюстрированного альманаха» Панаева Цензурный комитет потребовал письменного обязательства не выпускать в свет ни одного печатного экземпляра этого издания. Давая подписку, Панаев, однако, указал, что не несет ответственности за те несколько экземпляров, которые были розданы им, «когда книга эта только отпечаталась с разрешения цензора г. Очкина» (письмо И. И. Панаева в С.-Петербургский цензурный комитет от 23 ноября 1848 г. — *ЦГИА*, ф. 777, оп. I, ед. хр. 1994, л. 8). «Иллюстрированный альманах» стал библиографической редкостью. Помещенный в нем рассказ Достоевского «Ползунков» сделался известным читателям только в 1883 г., когда Н. Н. Страхов опубликовал его в приложениях к первому тому собрания сочинений Достоевского (см.: *Биография*, Приложения, стр. 1—16).

«Ползунков» — произведение, близкое к физиологическому очерку. Но Достоевского интересовал не столько устойчивый социальный тип, один из многих типов, изображавшихся авторами различных «физиологий», сколько сложность психологии и характера личности, не укладывающейся в привычные социальные рубрики. Заглавие рассказа указывает не на профессиональную или социальную принадлежность героя (ср.: «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича, «Гробовой мастер» А. П. Башуцкого, «Петербургский фельетонист» И. И. Панаева и т. д.), а на его нравственные свойства (ползать, пресмыкаться).

К образу бедняка, из угодничества надевающего шутовскую маску, под которой нередко скрыты обида и горечь, Достоевский впервые обратился еще в фельетоне «Петербургской летописи» в «С.-Петербургских ведомостях» от 11 мая 1847 г. (наст. изд., т. XVIII). Но там образ этот остался неразвернутым. [1] Ползунков — следующая ступень в развитии того же характера.

История запрещения «Иллюстрированного альманаха» исследована в работе В. Е. Евгеньева-Максимова «„Современник“ в 40-х—50-х гг. От Белинского до Чернышевского» (Л., 1934), где на стр. 249—254 в извлечениях приведены указанные выше архивные материалы.

[1] О характере главного героя рассказа «Ползунков» и о связи его с характерами других «страдающих шутов» Достоевского см.: Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. Изд. «Наука», М., 1963, стр. 47—48; Г. А. Шарапова. К проблеме характера в творчестве Достоевского 40-х годов (рассказ «Ползунков»). «Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской», т. 239, Русская литература, вып. 13, М., 1969, стр. 94—106.

Он предстает перед нами далеко не односложным существом, полным противоречивых стремлений. Ему присущи амбиция, — черта, свойственная также героям предшествующих произведений писателя — Макару Девушкину и Голядкину (см. об этом: *Добролюбов*, т. VII, стр. 246, 247), и сознание уязвленного человеческого достоинства. Добровольное вышучивание самого себя и одновременно горечь от ощущения своего унижения, рождающая злобное чувство по отношению к вышестоящим, характерные для Ползункова, перешли ко многим позднейшим героям Достоевского. Эти черты в разных психологических вариантах повторяются в характерах Ежевикина и Фомы Опискина («Село Степанчиково и его обитатели», 1859), героя «Записок из подполья» (1864), Мармеладова («Преступление и наказание», 1866), капитана Снегирева и Федора Павловича Карамазова («Братья Карамазовы», 1879—1880). Последний следующим образом объяснял причины своего шутовства: «Мне всё так и кажется⟨...⟩ что меня за шута принимают, так вот давай же я и в самом деле буду шутом, не боюсь ваших мнений! Вот почему я и шут, по злобе, от мнительности. Я от мнительности буяню» (см. главу «Старый шут» в «Братьях Карамазовых» — наст. изд., т. XVI, а также: *Д, Материалы и исследования*, стр. 87, 100—101). О возможной связи социально-психологической проблематики «Ползункова» с «Племянником Рамо» Дидро см.: А. Л. Григорьев. Достоевский и Дидро (к постановке проблемы). *РЛ*, 1966, № 4, стр. 88—102. Достоевский считал амбициозную мнительность, болезненно обостренное самолюбие чертами человека, подвергающегося унижению в силу своего неравноправного социального положения. Весьма вероятно, что он касался этой проблемы на одном из собраний петрашевцев, где говорил «о личности и эгоизме». «Я хотел доказать, — писал он в показаниях следственной комиссии, — что между нами более *амбиции*, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий» (см.: *Бельчиков*, стр. 107).

О речи Ползункова, напряженной, прерываемой не логическими, а скорее нервными паузами, обильно уснащенной каламбурами вроде «на большую ногу жил, затем что были руки длинны!» (стр. 10), см.: М. С. Альтман. Использование многозначности слов и выражений в произведениях Достоевского. «Ученые записки Тульского гос. педагогического института им. Л. Н. Толстого», т. XI, Тула, 1959, стр. 3—44.

В «Иллюстрированном альманахе» «Ползунков» сопровождался четырьмя рисунками П. А. Федотова (анализ его творческих взаимоотношений с Достоевским см. во вступительной статье В. С. Нечаевой «Достоевский и Федотов» в кн.: Ф. М. Достоевский. Ползунков. М.—Л., 1928, стр. 7—32).

Стр. 5. *...походил на жируэтку.* — Жируэтка (франц. girouette) — флюгер.

Стр. 8. *И дым отечества нам сладок и приятен!* — Эти слова Чацкого («Горе от ума», действие I, явление 7) в свою очередь являются цитатой из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798).

Стр. 9. *Вижу, — говорит Федосей Николаич ∽ Марии Египетские-с...* — Память св. Марии Египетской отмечалась 1 (13) апреля.

Стр. 11. *...гусара, который на саблю опирался...* — Имеется в виду романс М. Ю. Виельгорского на слова элегии К. Н. Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...», 1812—1813). Романс этот был популярен в 1840—1850-е годы; его вспоминает в «Преступлении и наказании» Катерина Ивановна (см.: *Гозенпуд*, стр. 97, 98).

Стр. 12. *Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь.* — Перифраз евангельского поучения: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (см.: Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 39).

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

(Стр. 16)

Источники текста

ОЗ, 1848, № 2, отд. I, стр. 412—446.
1865, том I, стр. 52—69.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1848, № 2, отд. I, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 31 декабря 1847 г.).

Печатается по тексту *1865* со следующими исправлениями по *ОЗ:*

Стр. 20, строка 34: «ведь он мне, Аркаша» вместо «ведь он мне, Вася» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 32, строки 16—17: «Ну, если б от тебя потребовали благодарности» вместо «Ну, если от тебя потребовали благодарности».

Стр. 37, строка 21: «Я как будто из какого-то сна выхожу» вместо «Я как будто из какого сна выхожу».

Стр. 45, строки 9—10: «испуганный, расстроенный» вместо «испуганный, растроганный».

Стр. 47, строки 9—10: «Говорили, что бедняк недавно из податного звания» вместо «Говорят, что бедняк недавно из податного звания».

Стр. 47, строки 14—15: «И не то чтобы таки был» вместо «И не то чтобы так был».

Готовя повесть «Слабое сердце» к переизданию в 1865 г., Достоевский убрал повторения однокоренных или одинаковых слов (см., например, «Варианты», стр. 34, строка 12) и исправил отдельные стилистические неточности (см. там же, стр. 44, строка 42). В издании 1865 г. была опущена также фраза о молодом человеке, который в своем кружке «слыл за отчаянного вольнодумца» (см. там же, стр. 47, строки 25—26). В остальном текст «Отечественных записок» воспроизведен почти без изменений.

Сюжет повести подсказан писателю личными наблюдениями. Как явствует из переписки современников Достоевского и воспоминаний его приятеля тех лет А. П. Милюкова, в «Слабом сердце» отражены некоторые эпизоды из жизни литератора Я. П. Буткова, который во многом послужил прототипом Васи Шумкова. О дружбе Достоевского с Бутковым и о любовном, заботливом отношении Федора Михайловича к нему упоминает С. Д. Яновский (см.: *Яновский,* стр. 801—803). В 1846—1847 гг. Достоевский, Бутков и Милюков одновременно сотрудничали в «Отечественных записках» А. А. Краевского. Вспоминая об этом периоде, Милюков писал: Бутков «был мещанин из какого-то уездного города ⟨...⟩ не получил почти никакого образования и принадлежал к числу тех русских самородков, которые почти без всякого учения воспитывались и развивались на одном только чтении» (см.: *Милюков,* стр. 107). Вскоре после начала его литературной деятельности «объявлен был рекрутский набор, и ему ⟨Буткову⟩, по званию и семейному положению, необходимо было идти в солдаты. К счастию, его спас от этого А. А. Краевский: он купил ему рекрутскую квитанцию, с тем чтобы Бутков выплачивал за нее вычетом части гонорара за статьи, помещаемые в „Отечественных записках“. При трудолюбии и особенно при той умеренной жизни, какую вел литературный пролетарий, это было бы не очень трудно, но он писал немного и, сколько я знаю, далеко не выплатил своего долга» (там же, стр. 108).

Как сообщает в своих письмах В. Г. Белинский, Бутков был выкуплен Краевским на деньги Общества посещения бедных. Пользуясь его зависимым положением, редактор «Отечественных записок» завалил своего сотруд-

ника срочной работой, оплачивая ее чрезвычайно низко (см.: *Белинский*, т. XII, стр. 418, 422, 429).

Об эксплуатации Краевским сотрудников писали многие современники (см., например: *Панаев*, стр. 253; *Яновский*, стр. 804). О том же свидетельствует и письмо Достоевского к редактору «Отечественных записок» от 1 февраля 1849 г. Называя свое состояние всегдашней зависимости от Краевского «самовольным рабством», писатель продолжал: «Знаю, Андрей Александрович, что я ⟨...⟩ посылая вам записки с просьбой о деньгах, сам называл каждое исполнение просьбы моей *одолжением*. Но я был в припадках излишнего самоумаления и смирения от ложной деликатности. Я, н⟨а⟩прим ер, понимал Буткова, который готов, получа 10 р. серебр., считать себя счастливейшим человеком в мире». [1]

О том, что Бутков был чрезвычайно застенчив, робок, мнителен и замкнут, вспоминает и Милюков. Мемуарист так передает одну из своих бесед с писателем:

«Я спросил, отчего он как будто стесняется чем-то в редакции?

Бутков, прежде чем отвечать, оглянулся назад, точно хотел увериться, не подслушивает ли нас кто-нибудь, и сказал:

— Нельзя... начальство-с.

— Какое начальство?

— Литературные генералы... Маленьким людям надо это помнить.

— Что это за пустяки! А со мной-то отчего же вы там не говорите?

— При начальстве неловко-с. Я мелкота.

— Полноте: разве вы не такой же литератор, да еще даровитее многих.

— Что тут даровитость! Я ведь кабальный.

— С чего вы это взяли?

— Верно-с.

— Зачем же вы туда ходите, если вам это неприятно?

— Нельзя не являться: к непочтению и строптивости нрава отнесут. Могут гневаться-с» (см.: *Милюков*, стр. 110—111).

Творческое использование фактов биографии Буткова при создании образа Васи Шумкова несомненно: подобно Буткову робкий и застенчивый Шумков, чтобы не казаться непочтительным, считает себя обязанным поздравлять «его превосходительство» по праздничным дням; как Краевский Буткова, Юлиан Мастакович избавил Васю от воинской повинности. Возможно, что и звуковое сходство обеих фамилий (Шумков — Бутков) не случайно. [2]

Повесть создавалась в период увлечения писателя идеями утопического социализма. Характерное для Достоевского трагическое ощущение противоречий жизни большого современного города выразилось в грозной, тревожной и мрачной символической картине исчезающего в тумане Петербурга, нарисованной в заключительных строках повести (ср.: Д. Д. Ахшарумов. Речь, написанная для обеда в честь Ш. Фурье. В кн.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, стр. 689; ср. также раннее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина «Тихое пристанище» — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1935, стр. 311). Эта зловещая картина повторяется в полуавтобиографических «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861; наст. изд., т. XVIII) и «Подростке» (1875; ч. I, гл. 8; там же, т. XIII), возникая каждый раз перед героем, находящимся накануне глубоких нравственных потрясений, как символ грядущих грозных перемен (см. об этом: *Анциферов*, стр. 42—45; *Шкловский*, стр. 70—73).

---

[1] О репутации Краевского в литературных кругах 1840—1860-х годов и об отношении Достоевского к этому журналисту-предпринимателю см. также: В. В. Виноградов. Достоевский и А. А. Краевский. В кн.: *Достоевский и его время*, стр. 17—32.

[2] К выводу о том, что Я. П. Бутков явился прототипом Васи Шумкова, пришел также и М. С. Альтман (см. статью этого автора «Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского» в кн.: *Достоевский и его время*, стр. 198—201).

Генетически связанное с ранним творчеством Достоевского, особенно с «Бедными людьми», «Слабое сердце» относится к тем его произведениям (от «Хозяйки» до «Неточки Незвановой»), в которых существенную роль играет образ мечтателя (см. об этом: наст. изд., т. I, стр. 508, а также ниже, стр. 485—486).

Следует отметить и смысловую емкость заглавия повести. «Слабое сердце» — так впервые характеризуется Катерина в «Хозяйке» (наст. изд., т. I, стр. 308). В обеих повестях эта характеристика героев ассоциируется с «глубокой, безвыходной тиранией над бедным, беззащитным созданием» (там же, стр. 319; о значении в раннем творчестве Достоевского темы «слабого сердца» см.: *Фридлендер*, стр. 361).

Образ «покровителя» Васи, его превосходительства Юлиана Мастаковича, изображенного в сатирических тонах (см. сцену безумия Васи), получил дальнейшее развитие в рассказе «Елка и свадьба» (1848). Упоминание о недавней женитьбе этого героя указывает на внутреннюю связь повести и с написанным ранее фельетоном «Петербургской летописи» (1847) — см. об этом: *Фельетоны*, стр. 108.

Первый критический отзыв о «Слабом сердце» появился в № 3 «Пантеона» за 1848 г. сразу после опубликования повести. К статье М. М. Достоевского «Сигналы литературные» редактором Ф. А. Кони было сделано следующее дополнение: «Почтенный критик „Пантеона“ не упомянул, из чувства скромности, о произведениях Достоевского; мы почли необходимым дополнить статью его от себя». Поскольку эти слова включены в текст рецензии М. М. Достоевского, можно предположить, что Кони излагает мнение, разделяемое рецензентом. Это тем более вероятно, что М. М. Достоевский жил в это время в Петербурге (1848 г. — период его наибольшей близости с братом: оба сотрудничали в «Отечественных записках» и посещали кружок Петрашевского). «Тут дело не в сюжете, — писал Кони, — тут неумолимый, безжалостный анализ человеческого сердца ⟨...⟩. Сердца слабые и нежные⟨...⟩ до того покоряются гнетущей судьбе ⟨...⟩ что на редкие радости свои смотрят как на проявления сверхъестественные, как на беззаконные уклонения от общего порядка вещей. Они принимают эти радости от судьбы не иначе как взаймы и мучаются желанием воздать за них сторицею. Потому и самые радости бывают для них отравлены ⟨...⟩ до того обстоятельства умели унизить их в собственном мнении» («Пантеон», 1848, № 3, стр. 100). Мучительное «чувство сознания своего неравенства» автор рецензии считал основной чертой героев Ф. М. Достоевского. «Повесть, — заключал Кони свой отзыв, — написана жарко и оставляет в читателе глубокое впечатление».

Благожелательно отнесся к «Слабому сердцу» и критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин, назвавший эту повесть, наряду с «Белыми ночами», рассказами «Из записок охотника», комедией «Где тонко, там и рвется» И. С. Тургенева, «Пикником во Флоренции» А. Н. Майкова и «Иваном Саввичем Поджабриным» И. А. Гончарова, одним из лучших произведений 1848 г. (*ОЗ*, 1849, № 1, отд. V, стр. 34).

В «Современнике» П. В. Анненков в обзоре русской литературы за 1848 г. признал повесть неудачной: «Литературная самостоятельность, данная случаю, хотя и возможному, но до крайности частному, как-то странно поражает вас», — писал он. Особые нарекания рецензента вызвало изображение любви Аркаши и Васи, «расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что большею частию и не верится ей, а кажется она скорее хитростью автора, который вздумал на этом сюжете руку попробовать» (*С*, 1849, № 1, отд. III, стр. 3).

Добролюбов в статье «Забитые люди» (*С*, 1861, № 9), написанной в связи с выходом в свет собрания сочинений Достоевского 1860 г., вспомнил также и о повести «Слабое сердце», не включенной автором в это издание. Критик подошел к произведениям Достоевского с социальной точки зрения: он считал, что в сочинениях писателя ставится вопрос о том, «какие общие условия развивают в человеческом обществе инерцию в ущерб деятельности и подвижности сил» (см.: *Добролюбов*, т. VII, стр. 268). Добролюбов доказывал, что герои Достоевского, «забитые люди», будят в читателе чувство протеста;

имея в виду самодержавно-бюрократическую систему России, он писал о герое повести «Слабое сердце»: «Идеальная теория общественного механизма, с успокоением всех людей на своем месте и на своем деле, вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия. Оно точно, будь на месте Васи писальная машинка, было бы превосходно. Но в том-то и дело, что никак человека не усовершенствуешь до такой степени, чтоб он уж совершенно машиною сделался ⟨...⟩. Есть такие инстинкты, которые никакой форме, никакому гнету не поддаются и вызывают человека на вещи совсем несообразные, чрез что, при обычном порядке вещей, и составляют его несчастие» (там же, стр. 263).

Представитель либерального направления русской критики О. Ф. Миллер в «Публичных лекциях», прочитанных в 1874 г. в Клубе художников, высказал мнение, что герои Достоевского, подобные Васе Шумкову, относятся к «ряду людей», которым недостает «свободного обладания своею личностью». Они «находятся под влиянием подначального страха даже тогда, когда бояться решительно нечего, потому что начальники их — люди добрые» (см.: *Миллер*, стр. 212, 215). Хотя Миллер и принял определение Добролюбова «забитые люди», содержание этого понятия он переосмыслил в либеральном духе. Позднее, оспаривая точку зрения Добролюбова, Миллер писал о главном герое повести Васе Шумкове: «Избыток нравственной мнительности, а вовсе не начальнический гнет, доводит его до помешательства» (см.: *Миллер, Русские писатели*, ч. I, стр. 117).

Стр. 16. *...а так как много таких писателей, которые именно так начинают...* — Достоевский имеет в виду ставшую уже трафаретной манеру физиологического очерка. Против авторов — эпигонов «натуральной школы» двумя годами позже выступил и некрасовский «Современник»: «Есть повести и романы, которые словно написаны по известному рецепту; в них вы почти не встретите индивидуального воззрения автора на жизнь и на людей, но взамен того найдете много подробностей, совершенно верных и совершенно лишних» (*С*, 1850, № 2, отд. VI, стр. 28).

Стр. 16. *...вследствие неограниченного своего самолюбия)...* — Намек на насмешки Тургенева и Некрасова над болезненным самолюбием Достоевского (см. об этом: *Григорович*, стр. 91, 92; А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., 1948, стр. 156—158, а также письма Достоевского к брату Михаилу от 1 апреля и 26 ноября 1846 г.).

Стр. 23. *...видя, что Вася норовит повернуть к Вознесенскому.* — Район Вознесенского проспекта (ныне проспект Майорова) — место действия многих позднейших произведений писателя: на углу Глухого переулка и Вознесенского проспекта Раскольников прячет вещи, похищенные у старухи процентщицы; на Вознесенском проспекте происходит в «Униженных и оскорбленных» встреча Ивана Петровича и Нелли, у Торгового моста находится квартира графини, куда возил Ивана Петровича князь Валковский. Торговый мост на Вознесенском проспекте упоминается в «Чужой жене...» и «Вечном муже» (см.: *Анциферов*, стр. 26, 27).

Стр. 23. *Мне хочется принести подарочек Лизаньке...* — Возможно, что имя героини дано по ассоциации с «Бедной Лизой» Н. М. Карамзина. То же имя носят добрые, забитые и несчастные героини «Записок из подполья» (1864) и «Преступления и наказания» (1866) (сестра старухи процентщицы), а также младшая Хохлакова в «Братьях Карамазовых» (1879—1880). См. также: *Бем*, стр. 39.

Стр. 23. *Manon Lescaut.* — Манон Леско — героиня одноименного романа (1733) французского писателя Антуана Франсуа Прево (1697—1763). О творческом переосмыслении Достоевским характеров героев Прево см.: В. Доровaтовская-Любимова. Французский буржуа. (Материалы к образам Достоевского). «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 211—213; М. С. Альтман. Иностранные имена героев Достоевского. В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.—Л., 1966, стр. 20.

Стр. 23. *Серизовые* (франц. cerise) — вишневые.

Стр. 23. *Бонбончик* (франц. bonbon) — конфетка.

С т р. 25. *Вивёр* (франц. viveur) — прожигатель жизни.

С т р. 38. *...ты вдруг манкировал!* — Манкировать (франц. manquer) — ошибиться, промахнуться; здесь: выказать неуважение, пренебречь.

С т р. 46. *Лоб! — сказал Вася...* — Если рекрута признавали годным к военной службе, председатель рекрутского присутствия говорил: «Лоб!», в противном случае произносилось: «Затылок!» Вслед за этим и выбранным, и «забракованным» цирюльник подбривал головы либо спереди, либо сзади. Такой порядок при рекрутском наборе существовал до 1862 г.

С т р. 47. *...бедняк недавно из податного звания...* — К податному сословию причислялись крестьяне и городские мещане. Помимо особого денежного налога (подушной подати), на них в законодательном порядке налагался ряд правовых ограничений. Лица податного звания обязаны были нести воинскую повинность.

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

(Стр. 49)

Источники текста

ОЗ, 1848, № 1, отд. VIII, стр. 50—58; № 11, отд. VIII, стр. 158—175.
1860, том I, стр. 449—500.
1866, том III, стр. 133—149.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1848, № 1, отд. VIII («Чужая жена. (Уличная сцена)»), с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 31 декабря 1847 г.); № 11, отд. VIII («Ревнивый муж. (Происшествие необыкновенное)»), с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 31 октября 1848 г.).

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по *ОЗ* и *1860:*

Стр. 53, строка 47: «Очень верю-с» вместо «Очень верно-с» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 58, строка 39: «звание есть у тебя» вместо «знание есть у тебя» (по *ОЗ*).

Стр. 60, строка 26: «но теперь ты здесь» вместо «но теперь вы здесь» (по *ОЗ*).

Стр. 62, строка 35: «решительно ничего не мог заметить» вместо «решительно не мог заметить» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 63, строка 13: «если они у вас есть в доме» вместо «если они у вас в доме» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 66, строка 47: «или я закричу» вместо «или закричу» (по *ОЗ*).

Стр. 67, строки 39—40: «знайте, что мы здесь на одной доске» вместо «знаете, что мы здесь на одной доске» (по *ОЗ*).

Рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» возник из двух самостоятельных произведений: «Чужая жена» (*ОЗ*, 1848, № 1, отд. VIII, стр. 50—58) и «Ревнивый муж» (*ОЗ*, 1848, № 11, отд. VIII, стр. 158—175).

Оба эти рассказа, по-видимому, должны были входить в цикл «Из записок неизвестного», о чем свидетельствуют первоначальные варианты рассказов, связывающие их с «Елкой и свадьбой» (см. «Варианты», стр. 61, строка 31), а также единый для этих произведений образ повествователя.

Подготавливая в 1859 г. двухтомное собрание сочинений, писатель объединил оба рассказа в один — «Чужая жена и муж под кроватью». В первой части (в «Отечественных записках» ей соответствовала «Чужая жена») были лишь незначительно изменены отдельные реплики Ивана Андреевича и молодого человека. Вторая часть (по «Отечественным запискам» — «Ревнивый муж») была изменена существенно: опущено авторское вступление, а вместе с ним и указание на связь этого произведения с рассказом «Елка и

свадьба»; сокращены сцены споров соперников «под кроватью». Достоевский отказался также от частого повторения одних и тех же слов и выражений, например: «Нет, не старик; почему же старик? Я молодой... Я, может быть, тоже еще довольно молодой человек» и др. (см. «Варианты», стр. 75, строки 7—8).

Достоевский с юных лет увлекался театром (см. об этом воспоминания А. Е. Ризенкампфа — *Биография*, стр. 41; М. П. Алексеев. Драматургические опыты Достоевского. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 41—63; *Гозенпуд*, стр. 18—37). Живя в Петербурге, он был постоянным читателем журнала «Репертуар и Пантеон», печатавшего русские и иностранные пьесы (по преимуществу водевили). В 1847—1848 гг. в этом журнале сотрудничал брат писателя М. М. Достоевский.

В свой рассказ Достоевский перенес некоторые приемы водевильного жанра. По водевильным образцам построены диалоги, насыщенные многочисленными каламбурами. Связь с водевильной традицией усилилась в редакции 1860 г.: заглавие рассказа напоминает названия популярных водевилей 1830—1840-х годов (ср., например: Ф. А. Кони. Муж в камине, а жена в гостях (1834); Д. Ленский. Муж с места, другой па место (1840), Жена за столом, а муж под столом (1841) и др.). Внешними, «техническими» приемами водевильного стиля — динамичностью, умением живо строить диалоги, остроумной и неожиданной игрой слов — Достоевский не раз пользовался и в дальнейшем (см., например, «Дядюшкин сон»).

Отчетливо прослеживается также связь этого рассказа с традициями фельетонов и очерков 1840-х годов. Примечательно, что многие фамилии в «Чужой жене...» семантически значимы, являются элементом характеристики героев (см.: М. С. Альтман. Гоголевские наименования в произведениях Достоевского. «Slavia», 1961, t. III, стр. 451—461).

Впоследствии Достоевский дал иную, углубленно-психологическую, трактовку темы обманутого мужа в рассказе «Вечный муж» (1870).

Рассказ «Чужая жена...» при жизни автора не привлек внимания критики. В годовом обзоре русской литературы в «Отечественных записках» сказано лишь, что «Чужую жену» и «Ревнивого мужа» с удовольствием читала публика (*ОЗ*, 1849, № 1, отд. V, стр. 35). Справедливость этого замечания рецензента может подтвердить дневниковая запись Н. Г. Чернышевского от 28 декабря 1848 г.: «Вчера прочитал „Ревнивый муж“ ⟨...⟩ и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных: всё большой прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы» (см.: *Чернышевский*, т. I, стр. 208).

В 1882 г. в статье «Жестокий талант» (*ОЗ*, 1882, №№ 9, 10), посвященной анализу творчества Достоевского, Н. К. Михайловский остановился на забытом рассказе «Чужая жена и муж под кроватью», отметив, что водевиль перерастает в нем в трагикомедию. «Чужая жена...», писал Михайловский, всего лишь шутка, «которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль ⟨...⟩ если бы не эта растянутость мучений героя и не эта заключительная перспектива дальнейших терзаний Ивана Андреича» (см.: *Михайловский*, стр. 226). Трагикомический характер рассказа Михайловский пытался связать с центральным тезисом своей статьи о Достоевском как о «жестоком таланте».

Рассказ неоднократно переделывался для сцены: например, в 1900 г. В. Строниловым («Ревнивый муж»); в 1912 г. С. Антимоновым («Чужая жена и муж под кроватью»), а также Н. А. Крашенинниковым (см. рукопись № 18022, озаглавленную «Чужая жена и муж под кроватью» и хранящуюся в Ленинградской гос. театральной библиотеке им. А. Н. Островского, и разрешение А. Г. Достоевской на инсценировку рассказа, выданное Крашенинникову в 1904 г. — *ИРЛИ*, 29574/ССХб.35).

Стр. 51. *...а вся беда от Поль де Кока-то-с... вот!..* — Поль де Кок (1793—1871) — французский романист. Достоевский считал его произведения образцами литературы, не лишенной остроумия, грациозности и прив-

лекающей читателей своей фривольностью (об упоминаниях Поль де Кока в произведениях Достоевского см.: *ЛН*, т. 77, стр. 502—503).

Стр. 56. *К Покрову...* — Покровская площадь (ныне площадь Тургенева) именовалась так по бывшей Покровской церкви (к настоящему времени не сохранившейся).

Стр. 62. *Одни назывались *** зисты, другие ***нисты.* — Речь идет о соперничестве двух солисток Итальянской оперы, Терезы де Джиули Борси (1817—1877) и Эрминии Фреццолини (1818—1884), одновременно выступавших в Петербурге в 1843—1844 и 1847—1848 гг. Достоевский, который слушал их в сезон 1847—1848 гг., отдавал предпочтение таланту Борси (см.: *Яновский,* стр 814, и статью «Из текущей жизни» в «Гражданине», 1873, № 2, стр. 55—58, которая, по предположению В. В. Виноградова, высказанному в кн. «Проблема авторства и теория стилей», Гослитиздат, М., 1961, стр. 596, принадлежит Достоевскому; ср.: А. А. Гозенпуд. Русский оперный театр XIX в., Л., 1969, стр. 212—213, а также последнюю работу этого автора — *Гозенпуд,* стр. 29—33). По мнению А. А. Гозенпуда, ревнивый супруг из рассказа Достоевского попадает на представление оперы Россини «Отелло», где партию Дездемоны исполняла Фреццолини. Увлечение петербургской публики двумя соперничающими актрисами с комическими подробностями изображено в водевиле Вл. Соллогуба «Букеты, или Петербургское цветобесие», СПб., 1845 (рецензию см.: *ОЗ*, 1845, № 11, отд. VI, стр. 50—51).

Стр. 62. *Когда уж старость падает так страшно...* — Неточная цитата из «Гамлета» В. Шекспира в переводе Н. Полевого (М., 1837), действие III, явление 3:

Когда и старость падает так страшно,
Что ж юности осталось?..

Стр. 64. *Большой театр...* — Большой театр находился на Театральной площади, на месте нынешнего здания Ленинградской государственной консерватории. Он был построен в 1783 г. и дважды перестраивался — в 1817 и 1836 гг.; в 1889—1892 гг. был разобран.

Стр. 66. *...как будто бы считал себя Дон-Жуаном или Ловеласом!* — Ловелас — герой романа С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1747—1748; русский перевод — 1791—1792). Имя Ловеласа, как и Дон-Жуана, стало нарицательным для обозначения ловкого обольстителя.

Стр. 74. *...куклу я у девочки видел нюренбергскую...* — Нюренберг славился производством игрушек.

Стр. 79. *Рад, рад, что провокировал смех ваш...* — Провокировал (франц. provoquer) — вызвал.

Стр. 79. *Ринальдо Ринальдини, некоторым образом.* — Ринальдо Ринальдини — разбойник, герой одноименного авантюрного романа (1799; русские переводы — 1802—1804 и 1818) немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827).

ЧЕСТНЫЙ ВОР

(Стр. 82)

Источники текста

ОЗ, 1848, № 4, отд. I, стр. 286—306.
1860, том I, стр. 415—435.
1865, том I, стр. 268—274.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1848, № 4, отд. I, под заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор» и с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 29 февраля 1848 г.).

Печатается по тексту *1865* со следующими исправлениями по *ОЗ* и *1860:*

Стр. 87, строка 44: «Жду-пожду» вместо «Жду-подожду» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 93, строка 23: «такую злосчастную вещь» вместо «такую злостную вещь» (по *ОЗ* и *1860*).

Рассказ «Честный вор», по-видимому, первоначально входил в состав задуманного Достоевским цикла очерков, композиционно объединенных образом повествователя («неизвестный»). Этот повествователь выступает то как хроникер, передающий рассказы других лиц («Рассказы бывалого человека»), то как очевидец и комментатор изображаемых событий («Елка и свадьба», также имеющая подзаголовок «Из записок неизвестного»). Образ его поддается психологическому сближению и с фигурой фельетониста — фланирующего мечтателя в фельетоне «Петербургской летописи» в «С.-Петербургских ведомостях» от 15 июня 1847 г. Это дает основания предположить, что цикл «Из записок неизвестного» был задуман скорее всего во второй половине 1847—начале 1848 г.

Анализируя осколки цикла «Рассказы бывалого человека», можно сделать вывод, что он должен был состоять из трех небольших произведений, повествующих о жизни одного героя — Астафия Ивановича. В первом из них, «Отставном», Астафий Иванович вспоминает о своем военном прошлом и участии в походе 1812 г. (см. «Варианты», стр. 83, строки 31—32). Вторым, судя по последовательности событий, должен был явиться «Домовой» (Астафий, отставной солдат, ютится где-то в «петербургских углах» и работает на фабрике — см. стр. 399—402); третьим — «Честный вор», представляющий собою воспоминания Астафия Ивановича («... было, сударь, тому назад года два» — см. стр. 85, строка 1) о том, как он, находясь «без места», встретился с горемыкой и пьяницей Емелей.

Замысел «Домового» не был осуществлен (см. стр. 519), и в 1848 г. в «Отечественных записках» появились «Отставной» и «Честный вор» под общим заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного)».

Подготавливая издание 1860 г., Достоевский внес в «Рассказы бывалого человека» значительные изменения. Характер правки говорит о том, что писатель учел замечания критика «Современника» П. В. Анненкова (см. ниже). Достоевский снял общее заглавие «Рассказы бывалого человека» и из двух очерков сделал один — «Честный вор. (Из записок неизвестного)». Сокращение текста было произведено за счет изъятия большей части очерка «Отставной» (Анненков считал его «совершенно незначащим») и нравоучительного финала «Честного вора» (см. «Варианты», стр. 94, строки 13—14), о котором тот же критик писал: «В нем недостает главного: нравственного достоинства, так необходимого человеку, который повествует о собственном великодушии ⟨...⟩. Здесь уже чисто-начисто стоит сам автор» (*С*, 1849, № 1, отд. III, стр. 5—6). Текст был подвергнут также стилистической обработке. В издании *1865* «Честный вор» печатался без существенных изменений.

Название рассказа «Честный вор» восходит к популярной одноименной комедии-водевилю Д. Т. Ленского (1829), никак не связанной с рассказом по содержанию.

Как сообщает С. Д. Яновский, у героя «Честного вора» Астафия Ивановича был реальный прототип. В 1847 г., пишет мемуарист, «у Достоевских ⟨...⟩ проживал в качестве слуги отставной унтер-офицер Евстафий, имя которого Федор Михайлович отметил теплым словом в одной из своих повестей» (см.: *Яновский*, стр. 811).

Имя другого героя рассказа, Емели, впервые упоминается еще в «Бедных людях»; Макар Алексеевич говорит о нем: «чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается» (наст. изд., т. I, стр. 67).

Возможно, что к «Рассказам бывалого человека» имел отношение и эпизод, переданный в мемуарах С. Д. Яновского, который сообщает, что летом 1847 г. (т. е. всего за несколько месяцев до опубликования «Честного вора») он получил письмо от Федора Михайловича: тот был «занят сбором денег по

подписке в пользу одного несчастного пропойцы, который, не имея па что выпить ⟨...⟩ ходит по дачам и предлагает себя *посечься* за деньги» (см.: *Яновский*, стр. 801—802). Когда в апреле 1849 г. Достоевского арестовали, Яновский из предосторожности это письмо сжег, хотя и считал, что рассказ, в нем содержавшийся, «был верх совершенства в художественном отношении, в нем было столько гуманности, столько участия к бедному пропойце» (там же).

Как и другим авторам «физиологий» 1840-х годов, Достоевскому манера поведения, привычки и вкусы героя важны не только как черты индивидуальные, но как приметы определенного типа — отставного, и не просто отставного, а отставного «из числа бывалых людей» (ср. у Д. В. Григоровича, который среди петербургских шарманщиков выделяет несколько «разрядов»: итальянских, русских, немецких и т. д. — см.: Физиология Петербурга. СПб., 1845, ч. 1, стр. 133—195).

«Отставной» подчеркнуто документален и фактографичен. Так, рассказ Астафия Ивановича о заграничном походе 1812 г. и о А. С. Фигнере сопровожден сноской повествователя: «Странный характер знаменитого Фигнера, вероятно, уже известен вполне каждому из читателей. Об нем встречается тоже много подробностей в известном романе г-на Загоскина „Рославлев, или Русские в 1812 году“» (см. стр. 424). В романе М. Н. Загоскина Фигнер выведен в образе артиллерийского офицера, с которым не раз, в самые решительные моменты жизни, встречается главный герой. Кроме указанного романа, о жизни Фигнера читатели могли узнать и из воспоминаний Д. В. Давыдова «Дневник партизанских действий» (*СО*, 1840, № 2). В тех случаях, когда в простодушном рассказе отставного Астафия искажаются отдельные исторические факты, повествователь замечает: «Ясное дело, что реляция Астафия Ивановича во многом не совсем справедлива. Надеемся, что читатели извинят наивность познаний его» (стр. 424).

Близость «Рассказов бывалого человека» к очеркам «натуральной школы» отметил П. В. Анненков. «Нам кажется, если мы не ошибаемся, что оба эти рассказы порождены успехом „Записок охотника“ г. Тургенева», — писал он. «Но, — продолжал рецензент, — тут предстояла опасность, что читатели спросят, да не сидит ли этот бывалый человек постоянно где-нибудь за письменным столиком в Петербурге. Вероятно, в предчувствии подобного вопроса со стороны своих читателей, автор прибавил к заглавию в скобках: „Из записок неизвестного“, но внизу, однако ж, подписал большими буквами свое имя». Такой литературный прием Анненков не одобрил: это все, писал он, «маленькие хитрости, отзывающиеся наивной претензией» (*С*, 1849, № 1, отд. III, стр. 4—5).

Мнение П. В. Анненкова, изложенное в статье «Заметки о русской литературе прошлого года», является единственным отзывом современной Достоевскому критики о «Рассказах бывалого человека». Анненков писал свою статью, ориентируясь на годовые обзоры русской литературы 1846 и 1847 гг. Белинского. Он утверждал, что идея рассказа «Честный вор» — «старание открыть те светлые стороны души, которые человек сохраняет на всяком месте и даже в сфере порока». Как и Белинский, Анненков одобрил «мысль заставить говорить человека недалекого, но которому превосходное сердце заменяет ум и образование». «Мы, — писал Анненков, — должны быть благодарны автору за подобную попытку восстановления (réhabilitation) человеческой природы». Сцену «немого страдания бедного пьянчужки Емели» критик назвал одним из «действительно прекрасных мест в повести» (там же, стр. 5).

Стр. 89. *Куплево* (простореч.) — деньги.

Стр. 422. *Он никогда не позовет на помощь ни дядю Митяя, ни дядю Миняя...* — Дядя Митяй и дядя Миняй — персонажи из гл. V первой части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

Стр. 423. *...нет лучше фланкёрской обязанности...* — Фланкёрами назывались дозорные бокового или головного охранения в кавалерии.

С т р. 423. *...как с Фигнером ходили...* — Фигнер Александр Самойлович (1787—1813) — герой Отечественной войны 1812 г. После захвата французами Москвы проник в занятый врагами город с намерением убить Наполеона. Хорошо зная иностранные языки, остался в Москве и передавал в русскую штаб-квартиру важные сведения, затем стал руководителем партизанского отряда. Прославился во время осады Данцига в 1813 г. Погиб, переплывая Эльбу близ г. Дессау.

С т р. 425. *...под Лейпцигом...* — С 4 (16) по 7 (19) октября 1813 г. под Лейпцигом происходило сражение между войсками Наполеона и армиями союзников: России, Австрии, Пруссии и Швеции, получившее название «битвы народов» (см.: Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. Сборник документов. Изд. «Наука», М., 1964, стр. 212—381).

ЕЛКА И СВАДЬБА

(Стр. 95)

Источники текста

ОЗ, 1848, № 9, отд. VIII, стр. 44—49.
1860, том I, стр. 437—448.
1866, том III, стр. 129—132.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1848, № 9, отд. VIII, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 31 августа 1848 г.).

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по *ОЗ* и *1860:*

Стр. 95, строка 5: «Не знаю, каким образом» вместо «Не знаю, каким, каким образом» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 96, строка 27: «Особенно хорош был один мальчик» вместо «особенно хорош был мальчик» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 97, строка 34: «Да не по четыре со ста» вместо «Да не по четыреста» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 98, строка 10: «поосмотрелся кругом» вместо «осмотрелся кругом» (по *ОЗ*).

О возможной связи рассказа «Елка и свадьба» с рассказом «Честный вор» см. стр. 482. В жанровом отношении «Елка и свадьба» близка к фельетону (см.: Г. А. Ш а р а п о в а. Ф. М. Достоевский — художник и публицист. «Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской», т. 239, Русская литература, вып. 13, М., 1969, стр. 80—84).

Образ «добродетельного злодея», «покровителя» слабых Юлиана Мастаковича встречается впервые в фельетоне «Петербургской летописи» в «С.-Петербургских ведомостях» от 27 апреля 1847 г., а затем дополняется новыми выразительными штрихами в «Слабом сердце». Некоторые черты Юлиана Мастаковича намечены в «Бедных людях», в фигуре Быкова. Дальнейшее развитие они получили в Петре Александровиче («Неточка Незванова»), Лужине («Преступление и наказание»), Тоцком («Идиот»).

В «Елке и свадьбе», как это не раз отмечалось, звучит и другая тема зрелого Достоевского — «рано задумывающиеся дети». В характере маленького сына гувернантки бегло намечены психологические черты «члена случайного семейства» (*ДП*, 1876, январь, гл. I, § 2): мучительное ощущение своей бедности и зависимого положения; борьба гордости и трусости; детская наивность и первые попытки «поподличать», — присущие и Аркадию Долгорукому (ср. стр. 97 с гл. IX второй части «Подростка» — 1875).

С т р. 99. *Абордировать* (франц. aborder) — здесь: атаковать.

БЕЛЫЕ НОЧИ

(Стр. 102)

Источники текста

ОЗ, 1848, № 12, отд. I, стр. 357—400.
1860, том I, стр. 351—414.
1865, том I, стр. 246—267.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1848, № 12, отд. I, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 31 октября 1848 г.) и посвящением А. Н. Плещееву. Посвящение имеется также в издании *1860*.

Печатается по тексту *1865* со следующими исправлениями по *ОЗ* и *1860:*

Стр. 103, строка 43: «смотрел за окно» вместо «смотрел на окно» (по *ОЗ*).

Стр. 109, строка 2: «именно в этот час» вместо «именно в тот час» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 114, строка 23: «на его бледном, как будто несколько измятом лице» вместо «на его бедном, как будто несколько измятом лице» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 117, строка 23: «в дивном вечном городе» вместо «в дивно вечном городе» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 117, строка 31: «с последним страстным поцелуем» вместо «с последним странным поцелуем» (по *ОЗ*).

Стр. 118, строки 17—18: «страшно подумать о будущем» вместо «странно подумать о будущем» (по *ОЗ*).

Стр. 127, строки 16—17: «в моей руке письмо» вместо «на моей руке письмо» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 132, строка 35: «как я подошел к ней» вместо «как я пошел к ней» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 135, строка 10: «Я бы схоронил свою тайну» вместо «Я бы сохранил свою тайну» (по *ОЗ*).

Стр. 136, строка 31: «потому что вы не отвергли бы меня» вместо «потому-то вы не отвергли бы меня» (по *ОЗ*).

Подготавливая собрание сочинений 1860 г., Достоевский подверг повесть существенной правке. Наиболее значительные изменения писатель внес в монолог Мечтателя, придав бо́льшую определенность романтическим мотивам и включив в текст монолога пушкинские темы и образы (подробнее см. на стр. 487). В главе «Ночь третья» была вычеркнута фраза: «Говорят, что близость наказания производит в преступнике настоящее раскаяние и зарождает иногда в самом зачерствелом сердце угрызения совести. Говорят, что это действие страха». Возможно, переживший каторгу писатель сомневался в истинности этого утверждения (см. «Записки из Мертвого дома», главы «Первые впечатления», «II. Продолжение», «III. Продолжение», «Товарищи»). Из текста были также устранены некоторые обороты, в которых ощущалось воздействие традиционной сентиментально-романтической фразеологии (например: «и залилась слезами», «подавляя слезы, которые готовы были хлынуть из глаз моих», и т. п. — см. «Варианты», стр. 122, строка 5, стр. 134, строка 20). Готовя повесть для издания *1865*, Достоевский внес в текст незначительные стилистические поправки и снял посвящение А. Н. Плещееву.

В повести «Белые ночи» Достоевский вновь обратился к теме мечтателя, уже затронутой в «Хозяйке» (1847) и «Слабом сердце» (1848) (см. выше, стр. 477). Для уяснения творческой истории повести важное значение имеет обращение к циклу фельетонов «Петербургская летопись», созданному почти за полтора года до «Белых ночей». Как верно отметил В. Л. Комарович, в «Петербург-

ской летописи» газетная хроника «перерождалась в литературный жанр с характером исповеди» (см. подробнее: *Фельетоны*, стр. 91—100). Уже в этом цикле большое место занимают размышления о типе петербургского мечтателя, который Достоевский считал знамением времени. Появление этого типа писатель объяснял отсутствием в русской жизни общественных интересов, способных объединить «распадающуюся массу», невозможностью для значительной части общества удовлетворить на практике все растущую «жажду деятельности», «обусловить свое Я в действительной жизни». Как следствие этого «в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, — писал Достоевский в четвертом фельетоне, — мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*». Именно таков характер героя повести. В. С. Нечаева рассматривает четвертый фельетон из цикла «Петербургская летопись» как «первую зачаточную редакцию» «Белых ночей» (см.: Ф. М. Достоевский. Петербургская летопись. (Из неизданных произведений). С предисловием В. С. Нечаевой. Пб.—Берлин, 1922, стр. 19, 20). Действительно, психологический портрет, внутренняя жизнь мечтателя в главных чертах обрисованы уже в этом фельетоне. Из него же перенесено в повесть (с некоторыми стилистическими изменениями) описание петербургской летней природы. Картина летнего города, открывающая повесть, впервые дана, но более лаконично, в третьем фельетоне. Связь «Белых ночей» с циклом «Петербургская летопись» обнаруживается и в том, что в обоих произведениях воссоздан отмеченный чертами антропоморфизма образ больного и мрачного города (см. об этом: *Фельетоны*, стр. 101—103).

В герое «Белых ночей» явственны автобиографические элементы: «...все мы более или менее мечтатели!» — писал Достоевский в конце четвертого фельетона «Петербургской летописи», а в позднейшем фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и в прозе» (1861) вспоминал о своих «золотых и воспаленных грезах», очищающих душу и необходимых художнику. По героико-романтическому настроению рассказ его близок видениям героя «Белых ночей»: «Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа „Монастырь" Вальтер-Скотта и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве ⟨...⟩. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю свою молодость».

Возможно, что одним из прототипов главного героя явился и А. Н. Плещеев. Нечто родственное складу личности поэта угадывается в облике Мечтателя; в исповеди его переосмыслены некоторые мотивы плещеевской лирики (см. ниже, стр. 491). Повесть создавалась в дни тесной дружбы Достоевского и Плещеева, членов кружка А. Н. и Н. Н. Бекетовых, а затем социалистических кружков М. В. Петрашевского и С. Ф. Дурова. В момент работы Достоевского над «Белыми ночами» Плещеев обдумывал свой вариант повести о мечтателе под заглавием «Дружеские советы» (*ОЗ*, 1849, т. 63, стр. 61—126). [1]

Неудовлетворенность окружающей жизнью, стремление уйти в идеальный мир от убожества повседневности сближают Мечтателя «Белых ночей» с гоголевским Пискаревым из повести «Невский проспект» (1835), мечтателями Э. Т. А. Гофмана и других представителей западного и русского романтизма. [2] Перекличка со многими романтическими персонажами подчеркнута

---

[1] О дружбе Достоевского и Плещеева и об общих мотивах в их творчестве конца 1840-х годов подробнее см.: В. Л. Комарович. Юность Достоевского. «Былое», 1924, № 23, стр. 3—43. Об образе повествователя-рассказчика «Белых ночей» и о сходных образах у Я. П. Буткова и А. Н. Плещеева см.: Ю. М. Проскурина. Повествователь-рассказчик в романе Ф. М. Достоевского «Белые ночи». «Филологические науки», 1966, № 2, стр. 123—135.

[2] См.: Л. П. Гроссман. Заметки. Гофман, Бальзак и Достоевский. «София», 1914, № 5, стр. 87—96; *Родзевич*, стр. 222—237; N. Reber. Stu-

в повести при характеристике «восторженных грез» героя («Ночь вторая»). В самом названии повести и делении ее на «ночи» Достоевский следовал романтической традиции: ср. «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского (1828), «Русские ночи» В. Ф. Одоевского (1844). Но если у романтиков тема мечтательства сливалась с темой избранничества, то герой Достоевского, *обреченный* на мечтательство, глубоко от этого страдает: за один день *действительной* жизни он готов отдать «все свои фантастические годы».

Отчетливо ощущается в повести (особенно после некоторой переделки ее текста в 1859 г.) связь с пушкинскими мотивами. В своей исповеди, наряду с образами Гофмана, Мериме, Скотта, Мейербера, герой вспоминает «Египетские ночи» и «Домик в Коломне». Обращение героя повести к пушкинским произведениям знаменательно, — следует напомнить, что в начале 1860-х годов Достоевский посвятил многие страницы своих статей уяснению роли Пушкина в развитии русской культуры, писал о его таланте как о «могущественном олицетворении русского духа и русского смысла» («„Свисток“ и „Русский вестник“» — наст. изд., т. XVIII). В статье «Образцы чистосердечия» Достоевский назвал «Египетские ночи» «величайшим художественным произведением в русской литературе» (там же). О том, что писатель особенно любил стихи о Клеопатре из этой повести, вспоминают А. Е. Ризенкампф и А. Е. Врангель (см.: *Биография*, стр. 34; *Врангель*, стр. 33). В «Ответе „Русскому вестнику“» Достоевский дал глубокую трактовку этого «самого полного, самого законченного произведения нашей поэзии» (наст. изд., т. XVIII). Впервые возникающее у Достоевского в «Петербургской летописи» и «Белых ночах» философско-историческое осмысление темы Петербурга, созданный писателем образ одинокого интеллигентного героя, чувствующего себя чужим и заброшенным в большом шумном городе, его скромные мечты о тихом «своем уголке», рассказ Настеньки о жизни в доме бабушки, обращение к теме «белых ночей» для характеристики «призрачного» Петербурга, описания его каналов — места встреч Настеньки и Мечтателя, — все это как бы овеяно поэтической атмосферой «Медного всадника» и «Домика в Коломне» (см.: История русской литературы, т. IX, ч. 2. М.—Л., 1956, стр. 27). Неповторимый «петербургский» колорит «Белых ночей» превосходно передан в классических иллюстрациях к повести М. В. Добужинского (1922; см. о них статью В. С. Нечаевой «Иллюстраторы Достоевского» в кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 501—503).

Новое, углубленное истолкование мечтательство получает в последующем творчестве Достоевского. Оно осмысливается писателем как следствие «разрыва с народом огромного большинства образованного нашего сословия» в результате петровской реформы (*ДП*, 1873, гл. II, «Старые люди»). Поэтому чертами мечтателей наделены и герои романов и повестей Достоевского 1860—1870-х годов. В середине 1870-х годов писателем был задуман особый роман «Мечтатель» (наст. изд., т. XV).

При всей сложности встающих перед мечтателями зрелого периода творчества Достоевского «вековечных вопросов» о смысле человеческого бытия многих из них объединяет с героем «Белых ночей» жажда «действительной», «живой» жизни и поиски путей приобщения к ней.

Первые критические отзывы о повести появились в январе 1849 г. — сразу после ее опубликования. В «Современнике» А. В. Дружинин писал, что «Белые ночи» «выше „Голядкина“, выше „Слабого сердца“, не говоря уже о „Хозяйке“ и некоторых других произведениях, темных, многословных и скучноватых» (*С*, 1849, № 1, отд. V, стр. 43). Основная идея повести, по мнению критика, «и замечательна, и верна». «Мечтательство» он справедливо считал не только специфически петербургской, но и чрезвычайно характерной чертой современной жизни вообще. Дружинин говорил о существовании «целой

---

dien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffman. Gießen, 1964 (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe II. Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas. Bd. 6) и др.

породы молодых людей, которые и добры, и умны, и несчастны, при всей своей доброте и уме, при всей ограниченности своих скромных потребностей». Они становятся мечтателями и «привязываются к своим воздушным замкам» «от гордости, от скуки, от одиночества».

К недостаткам повести Дружинин относил поспешность, «с которой была она написана и следы которой попадаются на каждой странице». Он считал, что Мечтатель «Белых ночей» — лицо непонятное, поставленное вне места и времени, и что читателю неизвестны его занятия и привязанности. Процитировав обращенные к Настеньке слова Мечтателя о его «восторженных грезах», критик восклицал: «Да ради бога, какие же это грезы? из каких данных они почерпнуты?» «Ежели б личность Мечтателя „Белых ночей", — продолжал он, — была яснее обозначена, если б порывы его были переданы понятнее, повесть много бы выиграла» (там же, стр. 43—44).

Изменения, внесенные Достоевским в текст при подготовке издания 1860 г., свидетельствуют о том, что ряд критических замечаний Дружинина был им учтен. Так, например, строки, рисующие образы, которые возникают в минуты романтических грез Мечтателя, очевидно, появились в повести не без влияния этой рецензии (ср. стр. 116—117).

В «Отечественных записках» С. С. Дудышкин отнес «Слабое сердце» и «Белые ночи» к лучшим произведениям 1848 г. Отметив ведущую роль психологического анализа в творчестве Достоевского, он писал, что с художественной точки зрения «Белые ночи» совершеннее предшествующих произведений писателя: «Автора не раз упрекали в особенной любви часто повторять одни и те же слова, выводить характеры, которые дышат часто неуместной экзальтацией, слишком много анатомировать бедное человеческое сердце ⟨...⟩ в „Белых ночах" автор почти безукоризнен в этом отношении. Рассказ легок, игрив, и, не будь сам герой повести немного оригинален, это произведение было бы художественно прекрасно» (*ОЗ*, 1849, № 1, отд. V, стр. 34).

В 1859 г. в статье «И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа „Дворянское гнездо"» упомянул о «Белых ночах» А. А. Григорьев. Он счел повесть одним из лучших произведений школы «сентиментального натурализма», отметив при этом, что «вся болезненная поэзия» «Белых ночей» не спасла этого направления от очевидного кризиса (*РСл*, 1859, № 5, отд. II, стр. 22; см. также: наст. изд., т. I, стр. 478).

Несколько отзывов о повести появилось в 1861 г. В это время о ней обычно упоминалось в связи с романом «Униженные и оскорбленные». Так, Добролюбов в статье «Забитые люди» высказал мнение, что героя, близкого Ивану Петровичу, Достоевский уже показал в Мечтателе «Белых ночей». В статье, проникнутой стремлением пробудить в читателе сознание «человеческого права на жизнь и счастье», Добролюбов дал обоим этим «мечтателям» Достоевского намеренно ироническое истолкование. Протестуя против удовлетворения «вздохами и жалобами да пустыми мечтами», он писал: «Я признаюсь — все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только ⟨...⟩. Если же эти романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали еще нам как идеал чего-то!» (см.: *Добролюбов*, т. VII, стр. 275, 268, 230).

Положительные, но лаконичные и неглубокие оценки повести содержались в статьях об «Униженных и оскорбленных» в «Сыне отечества» (1861, 3 сентября, № 36, стр. 1062) и «Северной пчеле» (1861, 9 августа, № 176, стр. 713).

Характеристикой произведений Достоевского 1840-х годов открывалась и интересная статья Е. Тур. Несмотря на то что, по мнению писательницы, завязка повести «смахивает на сказку и никак не напоминает собою что-нибудь похожее на действительность», Е. Тур высоко оценила это произведение, назвав его «одним из самых поэтических» в русской литературе, «оригинальным по мысли и совершенно изящным по исполнению» («Русская речь», 1861, 5 ноября, № 89, стр. 573).

В начале 1880-х годов художественные достоинства повести были отмечены Н. К. Михайловским (см. стр. 507).

Стр. 102. *...Иль был он создан для того ∾ В соседстве сердца твоего?..* — Неточная цитата из стихотворения И. С. Тургенева «Цветок» (1843). У Тургенева:

Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.

Стр. 103. *...раскрасили под цвет поднебесной империи.* — Поднебесная империя — древнее название Китая. До 1912 г., когда произошло отречение от престола последнего представителя Дайцинской династии императора Сю-ан-туна, национальным флагом Китая было изображение дракона на желтом поле (цвет императорской династии).

Стр. 104. *Обитатели Каменного и Аптекарского островов ∾ невозмутимо-веселым видом.* — Каменный остров, некоторое время принадлежавший Павлу I, быстро оброс богатыми дачами и был, как и Петергофская дорога, местом летнего отдыха сановной знати. Аптекарский остров считался менее аристократическим районом, а Крестовский — кроме Белосельского проспекта (ныне улица Рюхина) — почти весь был занят парком, переходившим в лес, и оставался незастроенным. В Парголово выезжали на лето небогатые и малообеспеченные люди (см.: В. Курбатов. Петербург. СПб., 1913, стр. 585—588).

Стр. 105. *...ту девушку, чахлую и хворую ∾ даже полюбить ее вам не было времени...* — Сопоставление петербургской природы с образом больной, чахоточной девы развивает сходный мотив из стихотворения Пушкина «Осень» (1833; строфы V—VI) — см. об этом: Г. А. Шарапова. Ф. М. Достоевский — художник и публицист, стр. 73—74.

Стр. 105. *Дорога моя шла по набережной канала...* — Действие «Белых ночей» происходит на набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) (см.: *Анциферов,* стр. 27).

Стр. 114. *...теперь я похож на дух царя Соломона ∾ сняли все эти семь печатей.* — В «Сказке о рыбаке» из «Тысячи и одной ночи» (ночи третья и четвертая) говорится, что пророк Аллаха Сулейман (арабский вариант библейского царя Соломона) за ослушание запер упрямого джина (духа) в кувшин, залил сосуд свинцом и, поставив сверху свою магическую печать, бросил в море. Через 1800 лет рыбак случайно выловил этот кувшин и вскрыл его.

Стр. 114. *...«богиня Фантазия» ∾ свою золотую основу...* — Имеется в виду стихотворение В. А. Жуковского «Моя богиня» (1809), являющееся вольным переложением стихотворения Гете «Meine Göttin» (1780). Поэт воспевает здесь «Любимицу Зевсову, богиню Фантазию», которая

С лилейною веткою
Одетая ризою,
Сотканной из нежного
Денницы сияния,
По долу душистому,
По холмам муравчатым,
По облакам утренним
Малиновкой носится.

Стр. 114. *...перенесла его ∾ на седьмое хрустальное небо...* — т. е. на высшую ступень блаженства. Представление это восходит к Аристотелю (384—322 до н. э.), который в сочинении «О небе» писал, что небесный свод состоит из семи неподвижных кристальных сфер, на которых утверждены звезды и планеты (см.: Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. М., 1966, стр. 421).

Стр. 116. *Варфоломеевская ночь* — избиение гугенотов католиками в Париже 24 августа 1572 г., в ночь накануне праздника св. Варфоломея. Это событие легло в основу ряда произведений: «Хроники царствования Карла IX» П. Мериме (1829), романа «Королева Марго» А. Дюма-отца (1845), драмы «Гугеноты» Э. Скриба (1835), послужившей либретто одноименной оперы Дж. Мейербера (1836).

Стр. 116. *Диана Вернон* — героиня романа В. Скотта «Роб Рой» (1817). В характере ее мечтательность сочетается с отвагой и решительностью.

Стр. 116. *...геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем...* — Казань была взята в октябре 1552 г. после полуторамесячной осады и тяжелых боев. Стотысячное русское войско возглавлял царь Иван Грозный. Об этом событии подробно рассказывается в девятом томе «Истории государства Российского», которую Достоевский очень любил (см. воспоминания А. М. Достоевского о том, что брат перечитывал «Историю» Карамзина «всегда, когда не было чего-либо новенького», — *Достоевский, А. М.*, стр. 69). Теме взятия Казани посвящена поэма М. М. Хераскова «Россиада» (1779) и шестой том труда Н. А. Полевого «История русского народа» (М., 1829—1833).

Стр. 116. *Клара Мовбрай* (Clara Mawbray) — героиня романа В. Скотта «Сент-Ронанские воды» (1823), упоминаемого также в повести «Неточка Незванова» (см. стр. 239).

Стр. 116. *Евфия Денс* (Effie Deans) — центральный персонаж романа В. Скотта «Эдинбургская темница» (1818).

Стр. 116. *...собор прелатов и Гус перед ними...* — Гус Ян (1369—1415) — вдохновитель чешского национально-освободительного движения, вождь реформации в Чехии; возглавлял борьбу с папой и германским императором. Церковный собор в Констанце, признав Гуса еретиком, приговорил его в 1414 г. к сожжению. К образу Гуса не раз обращалось романтическое искусство. Так, немецкий художник Карл Фридрих Лессинг (1808—1880) создал три исторических полотна: «Гуситская проповедь» (1836), «Гус перед Констанцским собором» (1842), «Гус на костре» (1850). Работы Лессинга хранятся в Берлинской национальной галерее. В 1848 г. чешский драматург Йозеф Каэтан Тыл создал историческую драму «Ян Гус», в том же году была осуществлена ее первая постановка на сцене.

Стр. 116. *...восстание мертвецов в «Роберте»...* — «Роберт-Дьявол» (1824) — опера Джакомо Мейербера (1791—1864). Имеется в виду зловещая музыкальная тема, которая звучит в сцене заклинания душ (действие II):

Под хладным камнем почивая,
Монахини, вы слышите ль меня?

Этой же темой «восстания мертвецов» открывается увертюра и заканчивается опера. В 1843 г. в Петербурге побывала немецкая оперная труппа, в исполнении которой «Роберт-Дьявол» шел с шумным успехом (см.: *Гозенпуд*, стр. 29).

Стр. 116. *Минна.* — Возможно, имеется в виду стихотворение В. А. Жуковского «Мина» (1818), представляющее собою перевод баллады Гете «Миньона» (1782) из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793—1796). В переводе усилена тема романтического томления.

Стр. 116. *Бренда.* — Вероятно, речь идет о романтической балладе И. И. Козлова (1779—1840), созданной в 1834 г.

Стр. 116. *...сражение при Березине...* — Битва, завершившая (в конце ноября—начале декабря 1812 г.) изгнание наполеоновской армии из России. Это событие оказалось в центре внимания многих историков, мемуаристов и художников-баталистов. См., например: Д. В. Давыдов. Дневник партизанских действий. *СО*, 1840, № 2, стр. 67—96; Н. А. Полевой. История Наполеона, т. 5, кн. XIV. СПб., 1848; известна также работа немецкого художника-баталиста П. Гесса (1792—1871) «Переправа французов через Березину» (1839) — одно из его двенадцати полотен, посвященных событиям Отечественной войны 1812 г. (написаны по заказу Николая I).

Стр. 116. *...чтение поэмы у графини В—й-Д—й...* — Очевидно, имеется в виду Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова (1743—1810) — президент Академии наук и Российской Академии, по инициативе которой был основан журнал «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784). С Дашковой были дружны многие участники этого журнала: Г. Р. Державин, М. М. Херасков, В. В. Капнист, Д. И. Фонвизин, И. Ф. Богданович, Я. Б. Княжнин. Сомнительно, чтобы в этом перечне исторических событий и лиц герой упомянул о другой Воронцовой-Дашковой, Александре Кирилловне (1818—1856), блестящей светской красавице (см.: *Розенблюм*, стр. 646).

Стр. 116. *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — один из деятелей Французской буржуазной революции 1789 г. Обвиненный сторонниками Робеспьера в организации заговора против республики, был казнен Революционным трибуналом. Герой драмы немецкого революционного драматурга Г. Бюхнера «Смерть Дантона» (1835).

Стр. 116. *...Клеопатра ei suoi amanti...* — Тема, предложенная импровизатору в повести Пушкина «Египетские ночи» (1835). См. об этом также стр. 487.

Стр. 117. *Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни ꝏ злы были люди!* — Образы, навеянные стихотворением Г. Гейне «Sie liebten sich beide» (1823) — в переводе М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно» (1841) — смешиваются в фантазии Мечтателя с мрачными романтическими сюжетами готического романа конца XVIII — начала XIX в.; повестей Э. Т. А. Гофмана «Майорат» (1817; русский перевод — 1831) и А. А. Марлинского «Замок Нейгаузен» (1823), а также других близких произведений.

Стр. 117. *...неужели не ее встретил он потом ꝏ из занемевших в отчаянной муке объятий его...* — Воображаемый роман героя — своего рода вариации (с заменой обычного трагического финала счастливым концом) на темы любовной лирики А. Н. Плещеева (см. стихотворения 1846 г.: «Случайно мы сошлися с вами», «Элегия» и, в особенности, «Бал») и драматургии Н. В. Кукольника (палаццо, буря, сопровождающая переживания героев, — см., например: Н. В. Кукольник. Джакобо Санназар. СПб., 1834). Своеобразную параллель к фантазии Мечтателя представляют строки плещеевского «Бала», где изображена, однако, иная ситуация:

Вот руку мне дрожащими руками
Схватив, «Я замужем», — произнесла она;
А грудь ее высоко волновалась,
И томный взор горел болезненным огнем...

Стр. 123. *...„Севильского цирюльника“ дают...* — Опера Джакомо Антонио Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник» (1816) пользовалась в России широчайшей известностью. О многочисленных постановках этой оперы см.: *Вольф, Хроника*, ч. I, стр. 104, 114, 123, 139, 148.

Стр. 126. *«Я пишу к вам. ꝏ обидеть ту, которая вас так любила и любит».* — В содержании и стиле этого письма можно найти отзвуки романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1758), в котором влюбленный в Юлию Эдуард так же самоотверженно пытался помочь своей возлюбленной и ее любимому, г-ну д'Орбу. О популярности в России этого романа в первой половине XIX в. см.: Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960, стр. 139—140.

Стр. 127. *Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание ꝏ R, o — Ro, s. i — si, n, a — na, — начал я.* — Намек на сцену из второго действия оперы Россини «Севильский цирюльник», где Фигаро советует Розине написать любимому, а та вручает ему заранее приготовленное письмо к графу Альмавиве. Достоевский мог видеть этот спектакль в 1843—1844 гг., когда в роли Розины выступала Полина Виардо. По отзывам современников, сцена эта особенно удавалась певице (см.: *Гозенпуд*, стр. 27—28).

НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА

(Стр. 142)

Источники текста

ЧА — Черновой автограф отрывка ранней редакции «Неточки Незвановой» со слов «Никогда, никогда...» и кончая словами «Как понимал наш мечтатель писавшего!» 1 л., 2 стр. 1848 г. Хранится в *ЦГАЛИ*, ф. 212.1.2; см.: *Описание*, стр. 101. Впервые опубликовано (неполно и с рядом неточных прочтений): Н. Ф. Бельчиков. Как писал романы Достоевский (Неизданный вариант из «Неточки Незвановой»). «Печать и революция», 1928, кн. II, стр. 91—93.

К — Корректура «Отечественных записок» (в гранках), содержащая текст середины второй главы со слов «И как могла родиться во мне такая ожесточенность...» и кончая словами «... что обидела матушку», с правкой Достоевского, большая часть которой не вошла в журнальный текст. 4 полосы. Хранится в *ИРЛИ*, 2692.XI с. 31; см.: *Описание*, стр. 101.

ОЗ, 1849, № 1, отд. I, стр. 1—52; № 2, отд. I, стр. 307—356; № 5, отд. I, стр. 81—130.
1860, том I, стр. 153—349.
1866, том III, стр. 165—232.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1849, № 1, отд. I; № 2, отд. I, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 8 января и 10 февраля 1849 г.); № 5, отд. I, без подписи (ценз. разр. — 30 апреля 1849 г.).

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по *ОЗ*, *1860* и *К*:

Стр. 145, *строка 15*: «к его приезду» вместо «к его отъезду» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 150, *строка 8*: «большего мне не дано» вместо «большего мне не надо» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 153, *строки 7—8*: «пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый» вместо «пришел за ними в другой раз, потом в четвертый» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 153, *строки 30—31*: «опасения его сбылись» вместо «опасение его сбылось» (по *ОЗ*).

Стр. 158, *строка 32*: «с девятого года» вместо «с десятого года» (по *ОЗ*).

Стр. 159, *строка 4*: «Всё прояснялось» вместо «Всё прояснилось» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 163, *строка 23*: «она хочет помешать ему и в этот раз» вместо «она хочет помешать ему в этот раз» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 165, строки 6—7: «зарождались во мне» вместо «зарождались в миг» (по *К*).

Стр. 165, строка 33: «в какой-то рай» вместо «в какой-то край» (по *К*).

Стр. 165, строки 43—44: «до того перемешалось в уме моем» вместо «до того перемешивалось в уме моем» (по *К*).

Стр. 165, строки 45—46: «чутье настоящего» вместо «чувство настоящего» (по *К*).

Стр. 167, строка 48: «между прочим, что они не раз сходились вместе» вместо «между прочим, они не раз сходились вместе» (по *К*).

Стр. 170, строка 14: «ведь я знал» вместо «ведь знал» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 171, строка 9: «не смела глядеть на отца» вместо «не смела глядеть» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 173, строка 19: «Разнесся слух о приезде» вместо «Разнесся слух о проезде» (по *ОЗ*).

Стр. 175. строки 31—32: «Уверьте его, что» вместо «Уверьте, что» (по *ОЗ*).

Стр. 176, строка 45: «взглядывал на меня и на матушку» вместо «взглядывал на матушку» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 178, строки 20—21: «Она в это время всегда уходила» вместо «Она в то время всегда уходила» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 179, строка 46: «Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность» вместо «Я ведь понимала, что ужасная крайность» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 181, строка 24: «посылал нарочного» вместо «посылал нарочно» (по *ОЗ*).

Стр. 181, строки 39—40: «заново вспыхнувшего энтузиазма» вместо «заживо вспыхнувшего энтузиазма» (по *ОЗ*).

Стр. 187, строка 21: «такое же ощущение» вместо «такое ощущение» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 190, строка 17: «когда очнулась» вместо «когда я очнулась» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 190, строка 22: «не желала ничего более» вместо «не желала более» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 190, строка 45: «вспоминала отца» вместо «вспомнила отца» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 190, строки 46—47: «вспоминала о матушке» вместо «вспомнила о матушке» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 192, строка 16: «свидание кончилось» вместо «свидание кончалось» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 192, строки 40—41: «наследовав свою часть» вместо «наследовать свою часть» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 193, строка 19: «которые и без того» вместо «которые без того» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 194, строка 46: «знакомое имя раздалось» вместо «знакомое имя раздавалось» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 196, строки 7—8: «какое-то предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то ужасного» вместо «какое-то предчувствие чего-то ужасного» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 198, строки 27—28: «— Нет, видела. — А почему ж ты спросила?» вместо «— Нет, видела» (по *ОЗ*).

Стр. 201, строка 6: «— Ну, так я и буду играть одна» вместо «— Ну, так я буду играть одна» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 202, строка 25: «как будто желала сжечь меня взглядом» вместо «как будто желая сжечь меня взглядом» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 207, строка 22: «все были привиты» вместо «все были приняты» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 214, строка 21: «как истый англичанин» вместо «как чистый англичанин» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 219, строка 36: «Душу ломит!» вместо «Душа ломит!» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 220, строка 42: «И мы целовались» вместо «И мы поцеловались» (по *ОЗ* и 1860).

Стр. 226, строки 18—19: «она вся как будто трепещет пред ним, как будто обдумывает» вместо «она вся как будто обдумывает» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 228, строка 42: «не могла не задумываться» вместо «не могла не задуматься» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 229, строки 14—16: «голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось» вместо «голубых глаз, на котором отражалось» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 230, строка 33: «многому вновь научалась» вместо «многому вновь научилась» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 231, строка 29: «до глубокой ночи» вместо «до глубины ночи» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 233, строки 8—9: «уставленная кругом» вместо «установленная кругом» (по *ОЗ*).

Стр. 238, строки 14—15: «были для меня совсем непонятны» вместо «были для меня непонятны» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 242, строка 24: «ты любила меня» вместо «ты любила» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 242, строка 31: «я только об одном себе думаю» вместо «я только об себе думаю» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 243, строки 44—45: «Какой же камень» вместо « Как же камень» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 245, строки 37—38: «Но письмо выпадало из рук моих» вместо «Но письмо выпало из рук моих» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 245, строка 40: «а я не видела выхода» вместо «а я не видала выхода» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 251, строка 31: «сходство напомнило мне» вместо «сходство напоминало мне» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 260, строка 27: «повторила я» вместо «повторяла я» (по *ОЗ*).

«Неточка Незванова» — незаконченный роман, впоследствии превращенный автором в повесть.

В письме к брату от 7 октября 1846 г. писатель рассказывал, что в начале января 1847 г. собирается поехать в Италию и там «на досуге, на свободе» писать роман. Печатать его предполагалось в «Современнике». Первую часть, которая явилась бы прологом к произведению, Достоевский собирался прислать в редакцию журнала из-за границы, а вернувшись, издать «тотчас же» вторую. Закончить роман он хотел к осени 1848 г. В романе намечалось «3 или 4 части». «И сюжет (и пролог) и мысль у меня в голове», — сообщал Достоевский. По-видимому, именно о замысле «Неточки Незвановой» идет речь в этом письме. Первая часть повести почти целиком посвящена отцу героини и действительно является своего рода прологом к рассказу о дальнейшей судьбе Неточки (это предположение высказано А. С. Долининым — см.: *Д*, *Письма*, т. I, стр. 493).

В письме к брату от конца октября 1846 г. Достоевский вновь упоминает, что собирается с января 1847 г. ничего не печатать «до самого будущего года» и писать роман, который он хотел бы издать вместе с «Бедными людьми» и «Двойником».

В том же письме Достоевский рассказывает, что пишет повесть и что, хотя работа идет «свежо, легко и успешно», роман «уж и теперь» не дает ему покоя. Под повестью, очевидно, разумеется «Хозяйка» (см. об этом: наст. изд., т. I, стр. 507). Оба замысла — повести и романа — вначале развивались параллельно.

Из-за ссоры с Н. А. Некрасовым Достоевский отказался от мысли печатать роман в «Современнике», и ему вновь пришлось обратиться в «Отечественные записки». 26 ноября 1846 г. он писал об этом М. М. Достоевскому: «Я имел неприятность окончательно поссориться с „Современником“ в лице Некрасова ⟨...⟩. Между тем Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал, сверх того, уплатить за меня все долги к 15 декабря. За это я работаю ему до весны». Став должником А. А. Краевского, Достоевский был вынужден отказаться от поездки за границу.

Название «Неточка Незванова» впервые упоминается в письме к М. М. Достоевскому от 17 декабря 1846 г., в котором писатель сообщал брату, что «завален работою», так как к 5 января «обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа „Неточка Незванова“». Надежды автора на успех романа были чрезвычайно велики: «Это письмо пишу я урывками, ибо пишу день и ночь ⟨...⟩. Пишу я с рвением. Мне всё кажется, что я завел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками и тремя частями романа моего в „Отечеств⟨енных⟩ записках“ устанавливаю и за этот год мое первенство на́зло недоброжелателям моим». «Прощай, брат, — прибавлял он тут же. — Ты меня оторвал от моей самой любопытной страницы в романе, а дел еще куча впереди».

В письме от января-февраля 1847 г. автор уже выражал надежду на близкое окончание романа: «... скоро ты прочтешь „Неточку Незванову“. Это

будет исповедь, как *Голядкин*, хотя в другом тоне и роде». Об «очень прилежной» работе над романом упоминается и в письме к М. М. Достоевскому от апреля 1847 г. Из этого письма мы узнаем, что в это время Достоевский думал окончить роман к осени 1847 г.: «Он ⟨роман⟩ завершит год, пойдет во время подписки и, главное, будет, если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью в году». Однако в 1847 г. роман не появился, так как писатель, занятый другими произведениями, не раз прерывал работу над «Неточкой Незвановой». Тем не менее к середине 1848 г. была, по-видимому, написана значительная часть ранней редакции романа. П. П. Семенов-Тян-Шанский рассказывает в своих «Мемуарах», что на собраниях у М. В. Петрашевского Достоевский «читал отрывки из своих повестей „Бедные люди“ и „Неточка Незванова“» (см.: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. I. Детство и юность (1827—1855 гг.). Пгр., 1917, стр. 197). Это скорее всего могло происходить до ноября 1848 г., так как с этого времени Достоевский уже не посещал собраний у Петрашевского, став членом кружка С. Ф. Дурова.

И. М. Дебу также вспоминал, что на вечерах у Петрашевского Достоевский рассказывал «Неточку Незванову» «гораздо полнее, чем была она напечатана» (см.: *Биография*, стр. 91).

О ранней редакции романа, где повествование велось от лица автора, а не от лица героини, мы можем судить по сохранившемуся небольшому отрывку рукописи (*ЧА*). Из него видно, что значительную роль в ранней редакции играл образ мечтателя Оврова. Именно он, а не Неточка должен был обнаружить письмо неизвестного. Овров прочел в строках письма близкую и понятную ему повесть о братстве двух сердец, союз которых «был бы прекрасен» «целому миру». Мысль о *братском* союзе двух сердец и о *братском* сочувствии Оврова неизвестному мечтателю, настойчиво повторяясь, варьируется в тексте автографа.

Учитывая роль Оврова в ранней редакции, естественно предположить, что у него должны были возникнуть какие-то сложные отношения с Неточкой. В окончательном тексте характер его едва намечен: роман обрывается на первой краткой встрече Неточки с Овровым — помощником в делах Петра Александровича.

В автографе несколько иначе раскрывается и образ той, кому адресовано было письмо неизвестного мечтателя (в окончательной редакции — это Александра Михайловна). Она более настойчиво, чем в журнальном варианте, сближается с грешницей, приведенной к Христу книжниками и фарисеями и отпущенной им без осуждения (см.: Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 1—7). На память о пережитом у героини остается гравюра с картины широко известного в 1840-е годы французского художника Эмиля Синьоля «La femme adultère» (1840) с надписью — евангельской цитатой (слова Христа) на латинском языке «Кто из вас без греха, первым брось на нее камень».

В процессе работы над романом его форма, фабула и сюжет значительно видоизменились. В журнальной редакции 1849 г. повествование ведется уже от лица героини и роман имеет подзаголовок «История одной женщины», раскрывающий его основную тему. Каждая из трех дошедших до нас частей, по определению исследователя, не только звено в композиции целого, но и внутренне законченная новелла с особым сюжетом, особой завязкой, кульминацией и развязкой (см.: *Фридлендер*, стр. 87). Каждая часть имела в редакции 1849 г. свое заглавие — «Детство», «Новая жизнь», «Тайна».

По замыслу Достоевского, в журнальной редакции намечалось уже не 3—4 части, как в ранней, а более шести. Из письма к Краевскому от 1 февраля 1849 г. следует, что «первые шесть частей» Достоевский хотел напечатать до июля 1849 г. (по одной части в каждом номере журнала). Из того же письма видно, что во второй части автором были сделаны значительные сокращения: «выброшено» 1,5 печатных листа «вещей очень недурных, для круглоты дела».

К 15 февраля писатель обещал редактору «Отечественных записок» закончить третью часть. Он, вероятно, намеренно «увеличивал» в письме ее предполагаемые размеры, сообщая, что в ней «для полноты дела» непременно

должно быть 5 листов, — с целью убедить Краевского в необходимости выдать 100 рублей «вперед». На самом деле в третьей части оказалось немногим более трех листов.

К 15 февраля (материалы к каждому следующему номеру журнала сдавались обычно в середине месяца) Достоевский не успел прислать третью часть «Неточки Незвановой». К концу марта была готова лишь первая из двух глав. Посылая Краевскому конец первой главы, писатель обещал первую половину второй доставить в типографию 26 марта, к восьми часам, а остальное «аранжировать за ночь» (см. письмо от 25—26 марта 1849 г.).

Надеясь успеть к апрельской книжке, Достоевский посылал третью часть романа кусками. Но он не уложился в сроки, и третья часть появилась лишь в майском номере журнала. Достоевский же предполагал опубликовать в этом номере четвертую и пятую части романа. В четвертой намечалось им около четырех листов, в пятой — около трех. При этом четвертую часть писатель обещал доставить в редакцию к 10 апреля, а пятую — к 15 апреля (см. письмо к Краевскому от 31 марта 1849 г.). Но он ничего не прислал к этому сроку, а 23 апреля был арестован.

Роман остался незаконченным. 28 апреля 1849 г. Краевскому было дано разрешение III Отделения выпустить майскую книжку «Отечественных записок» с третьей частью «Неточки Незвановой», но без подписи Достоевского (см.: *Гроссман*, *Жизнь и труды*, стр. 56).

Рукописи напечатанных частей романа и наброски продолжения не сохранились. Кроме текста, опубликованного в «Отечественных записках», мы располагаем лишь отрывком второй главы первой части в корректурных гранках (*К*) с тщательной стилистической правкой Достоевского. По неизвестным причинам правка, нанесенная Достоевским на этот экземпляр гранок, не была учтена редакцией журнала. Часть исправлений, вероятно по памяти, писатель повторил, внеся при этом и новые, в следующей корректуре. Тем не менее сохранившиеся гранки являются существенным источником текста. Они дают возможность (в настоящем издании это делается впервые) устранить опечатки, исправленные только в этом экземпляре гранок и не замеченные автором в повторной корректуре и во всех прижизненных изданиях.

После каторги Достоевский отказался от мысли окончить «Неточку Незванову». Проектируя собрание своих сочинений, он писал брату 9 мая 1859 г. из Семипалатинска, что хотел бы в состав первого тома включить и шесть первых глав «Неточки Незвановой», «обделанные (которые всем понравились)». По другому плану, о котором писатель сообщал 1 октября того же года, он предполагал дать в первом томе только «Бедных людей» и две из трех частей «Неточки Незвановой».[1] Достоевский считал, что в этот том войдет лучшее из написанного им и что том «произведет некоторый эффект».

Хотя писатель думал лишь «слегка поисправить» произведения первого тома, его работа по подготовке к изданию «Неточки Незвановой» была значительной. Достоевский превратил начало романа, работа над которым была прервана каторгой, в повесть о детстве и отрочестве Неточки. Поэтому отпало деление на части и нумерация глав стала сплошной.

В двух первых главах писатель ослабил мотив сумасшествия отчима Неточки и курсивом выделил его слова, обращенные к ней после смерти ее матери: «*Это не я*, Неточка, *не я* ⟨...⟩. Слышишь, *не я*; *я не виноват в этом*». Так еще яснее обозначилась центральная тема первой части — трагедия совести Ефимова, который, по словам Б., кроме себя, загубил еще «два существования» и после восьми лет борьбы с собой почти «уверился в своем преступлении».

---

[1] Планируя состав первой книги трехтомника своих сочинений, Достоевский писал: «В 1-й — „Бедные люди", „Неточка Незванова", *2 части*, „Белые ночи"». Возможно, что указание на 2 части ошибочно. При переизданиях «Неточки Незвановой» Достоевский никогда не исключал третьей части этого произведения.

Кроме того, для нового издания были сделаны значительные сокращения, затронувшие те образы и сюжетные линии, которые должны были получить развитие в продолжении романа. Из второй части был исключен эпизод, полнее раскрывавший моральные убеждения князя Х-го: князь в очень трагическом тоне просил у мадам Леотар прощения за неуважительно-осуждающий отзыв о Руссо (см. «Варианты», стр. 217, строки 3—5). В этом эпизоде звучал важный в творчестве Достоевского мотив вины каждого человека перед другими. Слова князя: «Боже! я не имел права сказать этого. Какое право имеем мы судить других? Каковы мы сами?» — возможно, связаны с его прошлым, со всей судьбой князя, которая должна была раскрыться в романе.

Писатель убрал из текста и упоминания о других персонажах, характеры которых не получили развития в написанных частях романа — о «будущем герое» его сироте Ларельке (с ним Неточка подружилась в доме князя) и о дальнем родственнике и «благодетеле» мальчика Федоре Ферапонтовиче (см. «Варианты», стр. 194, строка 4). По исключенным отрывкам мы можем в какой-то мере представить себе возможное продолжение романа. Высказывалась гипотеза, что Неточка, вероятно, стала бы певицей, «артисткой» (см.: *Фридлендер*, стр. 88; *Гроссман*, *Биография*, стр. 124—127). В журнальном тексте о ее даровании говорится: «... талант есть несомненный, может быть, очень большой» (см. «Варианты», стр. 237, строки 43—44). Из письма к Краевскому от 31 марта 1849 г. мы узнаем, что третья часть, на которой обрывается роман, по замыслу Достоевского, составила бы единый эпизод с четвертой и пятой — один из важнейших и лучших в романе, по оценке автора. Достоевский так пояснял свое непременное желание опубликовать четвертую и пятую части вместе в майском номере «Отечественных записок»: «Я и теперь рву волосы, что эпизод доставлен не весь, а разбит на 3 части. Ничего не кончено, а только возбуждено любопытство. А любопытство, возбужденное в начале месяца, по-моему, уже не то, что в конце месяца; оно охлаждается, и самые лучшие сочинения теряют. Это всё равно, если бы я сцену с Покровским, лучшую в „Бедных людях", разбил на 2 части и томил публику месяц. Где впечатление? Оно исчезнет». В четвертой и пятой частях должна была, по-видимому, идти речь о новой встрече Неточки с семейством князя, вероятно в связи со смертью Александры Михайловны, которая в третьей части предчувствует свой близкий конец (см. выше, стр. 255, 256). Уже из опубликованного текста ясно также, что в жизни Кати к середине романа произошли какие-то тревожные перемены.

Готовя «Неточку Незванову» для издания 1860 г., писатель довольно тщательно правил и стиль повести. На стилистические погрешности и невыдержанность манеры изложения указывала критика (см. ниже). В издании 1860 г. Достоевским были устранены или значительно сокращены «разъяснения» Неточки о мотивах поступков отца, ее характеристики своих душевных состояний, рассуждения об искусстве, воспитании и т. п. Достоевский снял повторения одних и тех же слов в пределах фразы и несколько фразеологических оборотов, свойственных сентиментальному стилю, таких как «рыдания вырвались из груди моей, и я бросилась на грудь ее», «затаив в себе рыдания», «моя грудь стонала от слез» и т. д. Писатель стремился избежать инверсий, предпочитая в ряде случаев прямой порядок слов. В отчествах героев Достоевский дает теперь часто полную форму (изменения такого рода в разделе вариантов не приводятся).

В новой редакции три части «Неточки Незвановой» вошли в состав первого тома собрания сочинений Достоевского 1860 г. и затем дважды издавались Стелловским в 1866 г. (см. выше, стр. 469). От редакции 1860 г. текст двух последних изданий отличается лишь небольшой стилистической правкой.

В незаконченном романе много автобиографического. В размышлениях Неточки о судьбе отчима, о необходимом для всякого таланта сочетании бескорыстной любви к искусству с постоянным трудом, ведущим к мастерству, сказались раздумья писателя о своем творческом пути. Некоторые черты молодого Достоевского трансформировались в Ефимове — заносчи-

вом и гордом «некстати», болезненно самолюбивом, мучимом сомнениями в своей гениальности. В рассуждениях Б. о том, что зависть, мелочная подлость и глупость «друзей» истинного таланта ранят сильнее нищеты и могут «истерзать его булавками», отразились и тяжело переживавшиеся писателем разногласия с кругом «Современника» — после неудачи «Двойника», «Господина Прохарчина» и провала «Хозяйки» (см. об этом письма к М. М. Достоевскому от ноября 1846—апреля 1847 г., Е. П. Майковой от 14 мая 1848 г., А. А. Краевскому от 1 февраля 1849 г. и комментарий к ним А. С. Долинина: *Д*, *Письма*, т. I, стр. 498, 499; см. также: *Кирпотин*, стр. 194—200; *Мочульский*, стр. 88).

В «Неточке Незвановой» творчески переосмыслены и литературные впечатления Достоевского. Среди них надо упомянуть прежде всего произведения Ж. Санд и роман Э. Сю «Матильда» (1841). «Матильда, или Записки молодой женщины» — первый роман-фельетон Сю, имевший во Франции шумный успех.[1] Полный русский перевод его, сделанный Н. В. Строевым, появился в 1846—1847 гг. Но еще в 1844 г. Достоевский мечтал перевести этот роман вместе с братом Михаилом и товарищем по Инженерному училищу О. П. Паттоном (см. письма к М. М. Достоевскому от второй половины января и от 14 февраля 1844 г., а также: наст. изд. т. I, стр. 459).

При сравнении опубликованных глав «Неточки Незвановой» с первой и второй частями «Матильды» обнаруживается общность некоторых эпизодов и сюжетных линий. Действие романа Сю происходит в тридцатые годы XIX в. Начинается он, как и «Неточка Незванова», рассказом героини о своем раннем сиротстве. Она воспитывается у тетки, мрачной и всегда одетой в черное девицы де Маран, перед которой трепещет весь дом. Вскоре де Маран берет на воспитание дочь опекуна Матильды, д'Обервиля, — Урсулу. Тихая, робкая, страдающая Урсула носит траур по своей бабушке, как Неточка — по отцу. Между Урсулой и Матильдой возникает нежнейшая, ревнивая, все растущая привязанность. Матильда боится оскорбить Урсулу своими успехами в учении, за которые ее хвалят, и нарочно делает ошибки (ср. занятия Неточки и Кати с мадам Леотар). Матильда (как и княжна Катя в «Неточке Незвановой») старается причинить зло тетке. Наконец опекун отзывает Урсулу к себе. Девочки вновь встречаются лишь через восемь лет. Через такой же срок — восемнадцатилетними — должны были встретиться и Неточка с Катей. Воспользовавшись сходной фабулой для второй части романа, Достоевский создал на основе той же внешней канвы неизмеримо более глубокие, чем в «Матильде», характеры своих героинь.

К числу произведений, повлиявших на формирование сюжета и образов «Неточки Незвановой», А. С. Долинин относил новеллу Бальзака «Гамбара» (1837) (см.: *Д*, *Письма*, т. I, стр. 466). Общность ее с первой частью, правда, в значительной степени внешняя: герой Бальзака — сумасшедший музыкант, в конце своего пути тоже обреченный на муки нищеты, которые преданно разделяет с ним жена. Она работает для Гамбара, мечтая «быть разумом этого гения» (ср. отношение к Ефимову матери Неточки — «энтузиастки, мечтательницы»). Сближает музыкантов ненависть к балетам, а также стремление (в Ефимове несколько ослабленное) к созданию новой теории музыки. В остальном — и психологически, и социально — образы эти глубоко различны (об образе Ефимова и его связи с традициями русского и западного романтизма см.: *Кирпотин*, стр. 319—322, 345—347; *Розенблюм*, стр. 647, 648; *Фридлендер*, стр. 89—91).

Центральная тема «Неточки Незвановой» — судьба молодой женщины из разночинной среды — имела в русской литературе 1840-х годов остросоциальную окраску. С интересом передовой части публики к теме духовного формирования женщины и ее борьбы против семейного и общественного гнета связана популярность романов Ж. Санд, которыми горячо увлекался

---

[1] Об откликах на роман в России см.: Е. Б. Покровская. Литературная судьба Е. Сю в России (1830—1857). В кн.: Язык и литература, т. V. Л., 1930, стр. 236—238.

и молодой Достоевский (см. его позднейший отзыв о Ж. Санд — *ДП*, 1876, июнь, гл. I, § 1). Той же темы в русской литературе касались Зенеида Р-ва (Е. А. Ган; 1814—1842), А. Я. Панаева («Семейство Тальниковых», 1847), А. В. Дружинин («Полинька Сакс», 1847) (см.: История русского романа, т. I. М.—Л., 1962, стр. 422). При создании первых глав особое значение для Достоевского могла иметь «Сорока-воровка» А. И. Герцена (1846), опубликованная в № 2 «Современника» за 1848 г. (см.: *Гроссман*, *Биография*, стр. 125, 126).

Воспитание и обучение Неточки в доме Александры Михайловны проходит по свободной, «природосообразной» системе, близкой к идеям Руссо, изложенным в его знаменитом романе «Эмиль, или О воспитании» (1762). В начале третьей части «Эмиля» Руссо советовал учить ребенка всему доступному в его возрасте и утверждал, что не принуждение, а удовольствие или желание должны рождать внимание воспитанника (*Эмиль*, стр. 157, 164, 239). Упразднив роли ученицы и наставницы, Александра Михайловна следовала совету французского философа: не поддаваться глупому желанию разыгрывать роль мудрецов, не принижать своих учеников, «третируя их как детей». «Не подавляйте таким способом их юного мужества, — писал Руссо, — напротив, старайтесь всеми силами возвышать их душу ⟨...⟩ чтобы они действительно сравнялись с вами; а если они еще не могут подняться до вас, опускайтесь до них, не стыдясь, не смущаясь» (там же, стр. 237) Истинными учителями автор «Эмиля» считал опыт и чувство. Мнение Александры Михайловны о том, что нечего «набивать голову сухими познаниями» и что успех зависит от «уразумения инстинктов» Неточки и стремления возбудить в ней «добрую волю», соответствует мысли Руссо: «Мирный период развития ума так краток, так быстро проходит ⟨...⟩ что было бы безумием надеяться сделать ребенка ученым в течение этого периода. Дело идет не о том, чтобы обучить его наукам, а о том, чтобы внушить ему склонность любить их и дать ему методы изучения, когда эта склонность разовьется. Вот несомненно основной принцип хорошего воспитания» (там же, стр. 156). Во второй части «Неточки Незвановой» Руссо прямо назван в связи с проблемой наказания, при этом в сцене заключения девочки в темную комнату писатель близок к одному из эпизодов «Эмиля». Руссо считал, что воспитатель не должен наказывать, но должен устроить так, что все дурные последствия проступка обрушатся на голову провинившегося (*Эмиль*, стр. 70—75, 79). Автор «Эмиля» сделал единственное исключение: он советовал посадить в темную комнату мальчика, совершившего серьезный проступок, и продержать его там достаточно долгое время, чтобы он успел соскучиться и запомнить случившееся. Мальчика, оставленного в «темнице» на 2/3 ночи, нашли утром крепко спящим на диване (там же, стр. 70, 75, 79, 82, 103, 104; ср. у Достоевского: Неточку заключили в «темницу» на 4 часа, но она пробыла там до четырех утра — 2/3 ночи — и «спала, улегшись кое-как на полу»). В журнальной редакции романа дважды упоминается Плутарх, которого Александра Михайловна знала «почти наизусть» по французским переводам (см. «Варианты», стр. 231, строка 35). До глубокой ночи она читала Плутарха с Неточкой, скорее всего и в этом тоже следуя совету Руссо: «Чтобы начать изучение сердца человеческого, я предпочел бы чтение жизнеописаний» (*Эмиль*, стр. 230). Плутарха Руссо считал близким себе автором во всех отношениях, так как, по его мнению, Плутарх превосходно, с неподражаемым изяществом рисовал великих людей в подробностях, «в которые мы теперь не осмеливаемся входить» (там же, стр. 231). По поводу изучения истории Руссо писал также, что учитель может внести «хоть сколько-нибудь благоразумия» в чтение воспитанника, направить внимание ученика «на путь размышлений, которые он должен извлечь из этого чтения», и будет превосходный курс практической философии, «много лучше школьного» (там же, стр. 232). В соответствии с этой рекомендацией Александра Михайловна обучала Неточку истории «по-своему», читала ей книги, над которыми она же и «держала цензуру», и долго обсуждала с Неточкой прочитанное.

Сразу после опубликования второй части романа А. В. Дружинин высказал мнение о влиянии на «Неточку Незванову» детских образов романа

Диккенса «Домби и сын» (*С*, 1849, № 3, отд. V, стр. 69).[1] Подражание Диккенсу критик усматривал, очевидно, в том, что Неточка и Ларенька, подобно героям английского писателя, чувствуют себя совершенно одинокими и тоже живут взаимной нежной привязанностью, поверяя друг другу свои сложные и трагические, далеко не детские переживания. Современный исследователь справедливо полагает, что в большей степени, чем образы Поля и Флоренс, Достоевскому мог служить известной «опорой» образ Нелли Трент — героини «Лавки древностей».[2] Неточка уходит из дому с полубезумным отчимом, подобно тому как Нелли покидает с дедом «лавку древностей», хотя у Достоевского «странствия» обрываются в самом начале — бегством и гибелью Ефимова.

Как и в «Белых ночах», в «Неточке Незвановой» ощущается взаимодействие с романтической традицией, в частности с Гофманом. Непосредственно сопоставляется с персонажем немецкого романтика неудавшийся фигурант «родом из Германии», Карл Федорович Мейер, которого Б. называл «нюренбергским щелкуном».[3] В портрете Мейера можно уловить некоторое сходство как с внешностью придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюренберга — некрасивого сухощавого старичка, так и со сделанным им по своему подобию маленьким уродливым щелкунчиком. Сопоставление Мейера с игрушкой у Достоевского подчеркнуто: старичок «с преуродливыми кривыми ногами» «как будто хвалился *устройством* их и носил панталоны в обтяжку» (курсив наш, — *ред.*). Слово «щелкун» (в корректурных листах было «щелкунчик») имеет в тексте еще одно значение — пустой человек, шаркун.

К романтической традиции близок и фантастический колорит некоторых эпизодов романа, таких как «необъяснимая и странная» дружба Ефимова с «дьяволом» итальянцем, сцена последней игры на скрипке у трупа жены, страшные впечатления Неточки от встречи со С-цем.

Л. П. Гроссманом отмечалась общность черт двух кротких и страдающих женщин: Александры Михайловны и Евгении Гранде — героини одноименного романа Бальзака, переведенного Достоевским в 1845 г. (см.: *Библиотека*, стр. 43—45; о работе Достоевского над переводом «Евгении Гранде» см. также: наст. изд., т. I, стр. 459).

Об элементах исследования «диалектики души» в «Неточке», предваряющего в какой-то мере аналогичные опыты молодого Толстого, см.: Р. С. Спивак. К вопросу о становлении метода анализа «диалектики души» в творчестве предшественников Л. Толстого. В кн.: Творчество Л. Н. Толстого. Вопросы стиля. Пермь, 1963, стр. 28—33 (Ученые записки Пермского гос. университета им. А. М. Горького, т. 107).

В повести синтезированы музыкальные впечатления Достоевского 1840-х годов (см.: *Гозенпуд*, стр. 16—19, 34, 35). Высказывались различные предположения о реальных и литературных прототипах Ефимова, князя Х-го, С-ца (там же, стр. 37—48). Последний назван так, вероятнее всего, по ассоциации с именем чешского скрипача-виртуоза и композитора Иоганна Венцеля Антона Стамица (1717—1757), имя которого не раз упоминается в роман-

---

[1] В 1847—1848 гг. «Домби и сын» печатался в «Отечественных записках» и в приложении к «Современнику» (см. об этом: И. Катарский. Диккенс в России. М., 1966, стр. 162—248). Роман имел триумфальный успех и, разумеется, был хорошо известен Достоевскому

[2] См.: И. Катарский. Диккенс в России, стр. 370—373. — Перевод этого романа был напечатан в мартовском и апрельском номерах «Библиотеки для чтения» за 1843 г. Вольные композиции по «Лавке древностей» дважды появлялись в «Москвитянине»: «Торговец-антикварий» (1843, № 3) и «Нелли. Рассказ Чарльза Диккенса» (1847, № 2). Об отношении Достоевского к «Лавке древностей» в позднейшие годы см.: А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, стр. 182—184.

[3] С 1835 г. сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный царь» неоднократно появлялась в русских переводах (см.: Э. Т. А. Гофман. Библиография. М., 1964, стр. 43).

тической прозе, например в «Серапионовых братьях» Э. Т. А. Гофмана (1819—1821; русский перевод — 1836).

Многие идеи и образы вынужденно прерванного романа получили развитие в последующем творчестве Достоевского: в «Маленьком герое» (1849) (см. об этом стр. 506—507), в «Униженных и оскорбленных» (1861) (см. ниже отзывы Добролюбова и Евгении Тур). Как уже отмечалось (стр. 487), тема «мечтательства» в сложном социально-психологическом переосмыслении стала одной из главных в романах Достоевского 1860—1870-х годов и во многих фрагментах «Дневника писателя». «Вечной» в творчестве Достоевского сделалась и тема страдающего ребенка. По мнению Л. П. Гроссмана, в образе отца Кати писатель впервые изобразил «кроткого князя» (см. примечания в кн.: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. XXII. Изд. «Просвещение», Пгр., 1918, стр. 71; *Гроссман, Биография,* стр. 126).

Долго продолжал жить в творческом сознании Достоевского образ княжны Кати. Так, о героине неосуществленного романа «Брак» Достоевский записал в начале 1865 г.: «характер княжны Кати» (наст. изд., т. III). В Кате много общих черт с Аглаей Епанчиной (ср. поражающую, «сверкающую» красоту, самовластность, гордость, болезненную стыдливость обеих и отношение окружающих к ним как к «сокровищу», «идолу» всего дома; «княжна Катя» упоминается Достоевским в подготовительных материалах к «Идиоту» — наст. изд., т. IX). Отметим также, что писатель неоднократно возвращался мыслью к одной из самых важных психологических сцен второй части — сцене восторженного объяснения княжны с Неточкой. Катя со страстной наивностью рассказывает, как она полюбила Неточку, рассказывает подробно, «до малейших мелочей». Обдумывая в 1870 г. эпизод объяснения Лизы и «Князя» — будущего Ставрогина, Достоевский записал: «Лизу поражает до испуга известие, что Хромоножка, до помешательства, отдается в восторге, с страстной наивностью и в забвении, отдается вся Князю, рассказывая ему до малейших мелочей о том, как она его любила, наивность (княжна Катя)» (наст. изд., т. XI). Упоминается эта героиня Достоевского и в подготовительных материалах к «Подростку» (наст. изд., т. XIV).

В последнем эпизоде «Неточки Незвановой» — объяснении героини с Петром Александровичем — Достоевский впервые реалистически обрисовал встречающееся в большинстве его позднейших произведений столкновение «хищного» и «кроткого» характеров, которое в условно-романтической форме было изображено писателем уже в «Хозяйке».

В письме к Краевскому от 1 февраля 1849 г. Достоевский, сопоставляя роман с не удовлетворявшей его «Хозяйкой», писал: «Я очень хорошо знаю, Андрей Александрович, что напечатанная мною в январе 1-я часть „Неточки Незвановой" произведение хорошее, так хорошее, что „Отечеств⟨енные⟩ записки", конечно, *без стыда могут дать ему место.* Я знаю, что это произведение серьезное. Говорю, наконец, это не я, а говорят *все* ⟨...⟩. Я люблю мой роман ⟨...⟩ я знаю, что пишу вещь хорошую, такую, которая не принесет *риску,* а расположение читающих (я никогда не хвалюсь, позвольте уж теперь сказать правду, я вызван сказать это)». Однако первые части «Неточки Незвановой» не получили сразу после опубликования ожидаемой писателем высокой оценки. 12 января 1849 г. любопытную запись о первой части сделал в дневнике Н. Г. Чернышевский, сопоставив ее с повестью Д. В. Григоровича «Капельмейстер Сусликов» (*С*, 1848, № 12): «Прочитал „Неточку"; хотя содержание мне не нравится, но мне кажется, что это решительно не то, что „Капельмейстер Сусликов": то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки, хотя собственно мне и не понравилось» (см.: *Чернышевский*, т. I, стр. 221).

В «Сыне отечества» Л. В. Брант, вслед за А. А. Григорьевым, характеризовал Достоевского как основателя «фантастически-сентиментального направления» в недрах «натуральной школы» (см. об этом стр. 488). Отмечая оригинальность и самостоятельность таланта писателя, критик считал тем не менее, что в первой части много «несообразностей и неправдоподобностей», что похождения Ефимова «нимало не интересны» и плохо изложены, что

в повести слишком много «монологических отступлений, скучного резонерства, монотонного, утомительного анализа внутренних ощущений». Брант советовал автору «лучше обработывать язык и слог, избегать неправильных, грубых оборотов и неприятной для слуха какофонии» (*СО*, 1849, № 3, Смесь, стр. 35, 36, 42). Часть сделанных Брантом замечаний Достоевский учел при переиздании «Неточки Незвановой».

Положительно отозвался Брант лишь о конце первой части: страницы, «заключающие в себе рассказ и подробности катастрофы, разрешившей существование Ефимова и жены его, смерть последней, бегство мужа с Неточкой из дому, очень недурны; есть в них драматический и даже трагический эффект. Страницы эти производят довольно сильное, хотя и тяжелое впечатление, выкупающее несколько вялость, скуку и длинноты целого в начале и продолжении первой части» (там же, стр. 41).

В февральском и мартовском «Письмах иногороднего подписчика в редакцию „Современника"...» откликнулся на появление первой и второй частей «Неточки Незвановой» А. В. Дружинин. В противоположность Бранту он обвинял писателя в «излишней обработке» своих произведений. Критик отмечал, что «в первой части много страниц умных, проникнутых чувством, хоть и скучноватых», и что при «анализе характеров» в авторе заметно «постоянное усилие, напряжение». Он «*видимо* старается поразить, озадачить своего читателя глубиною своей наблюдательности, — разъяснял Дружинин. — Это вместе с отсутствием меры 〈...〉 производит неприятное впечатление. Господин Достоевский как будто не знает, что лучше недоговорить, чем сказать лишнее, как будто боится, что его не поймут 〈...〉 и вследствие того никогда не остановится в пору. И хоть бы от этого сочинение выигрывало в ясности! Ничуть не бывало! В целом многое остается темноватым, недосказанным. Тяжким трудом отзываются повести г. Достоевского, пахнут потом, если можно так выразиться, и эта-то излишняя обработка, которой автор не умеет скрыть, вредит впечатлению» (*С*, 1849, № 2, отд. V, стр. 185, 186). Приведенные слова надолго остались в памяти Достоевского; он частично цитирует их в эпилоге «Униженных и оскорбленных» (наст. изд., т. III).

Критик считал также, что в первой части романа «отсутствует женщина». «Поставьте на место Неточки, — писал он, — мальчика, воспитанного бедными и несогласными родителями, и всё, что ни говорит о себе героиня романа, может быть применено к этому мальчику» (*С*, 1849, № 2, отд. V, стр. 186).

К всегдашним недостаткам писателя, проявившимся и в «Неточке Незвановой», критик отнес «грустный, однообразно болезненный колорит» его произведений. На впечатлениях Неточки, писал он, «слишком лежит печать непрерывного уныния, болезненной сосредоточенности, не прерываемой ни одним ясным воспоминанием, ни одним беспричинно веселым порывом, который так часто вспыхивает в юношеской душе, несмотря на всю горечь внешних обстоятельств» (там же, стр. 186, 187).

После ознакомления со второй частью Дружинин пришел к выводу, что «до сих пор в этом романе нет ни завязки, ни действия» и что «соразмерность произведения явно нарушена излишними подробностями о детском возрасте героини» (*С*, 1849, № 3, отд. V, стр. 67). Тем не менее общее впечатление критика стало теперь более благоприятным; он отметил, что последние страницы второй части написаны увлекательно, в ней есть места «живые и оригинальные» и «весь роман, если рассматривать его как ряд отдельных сцен, читается с удовольствием». «Весьма верно и отчетливо выставлена безумная, жгучая привязанность загнанной и унылой Неточки к ее маленькой подруге: дети, развившиеся под гнетом враждебных обстоятельств, чрезвычайно способны к таким преждевременным, эксцентрическим страстям» (там же, стр. 67, 69).

Дружинин сочувственно выделил образ Кати: «В этой части автор заставил действовать трех детей; из них двое: мальчик Ларенька и слезливая Неточка — довольно вялы и бесцветны, но третье лицо, крошечная княжна Катя, очертано с живостью и грацией, которые делают честь г. Достоевскому» (там же, стр. 67).

В позднейшей критике несколько упоминаний о «Неточке Незвановой» встречаем в статьях, посвященных роману «Униженные и оскорбленные». Так, А. Хитров, обращаясь в начале своей рецензии к творчеству Достоевского 1840-х годов, охарактеризовал «Неточку Незванову» как «голос за бедную сироту» («Сын отечества», 1861, 3 сентября, № 36, стр. 1062). Е. Тур считала, что по стилю и проблематике «Неточка Незванова» предвосхитила новый роман Достоевского («Русская речь», 1861, 5 ноября, № 89, стр. 573).

Значительная, хотя и лаконичная, оценка романа принадлежала А. А. Григорьеву. После появления «Неточки Незвановой», отмечал Григорьев, «поэт сентиментального натурализма сам сделал важный шаг к выходу из него» (см.: И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа «Дворянское гнездо». *РСл*, 1859, № 5, отд. II, стр. 22).

Существенный интерес представляет суждение Н. А. Добролюбова о героях «Неточки Незвановой», которых он в статье «Забитые люди» сопоставляет с другими персонажами Достоевского. Отметив, что Достоевский «любит возвращаться к одним и тем же лицам по нескольку раз и пробовать с разных сторон те же характеры и положения», Добролюбов писал: «У него есть несколько любимых типов, например тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка, — и вот он возвращается к нему и в „Неточке“, и в „Маленьком герое“, и теперь в Нелли ⟨...⟩. Характер Нелли — тот же, что характер Кати в „Неточке“, только обстановка их различна. Есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, музыканта Ефимова (в «Неточке»), Фому Фомича (в «Селе Степанчикове»). Есть тип циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности, — он его намечает в Быкове (в «Бедных людях»), неудачно принимается за него в „Хозяйке“, не оканчивает в Петре Александровиче (в «Неточке») и, наконец, теперь раскрывает вполне в князе Валковском (которого, кстати, даже и зовут тоже Петром Александровичем)» (см.: *Добролюбов*, т. VII, стр. 238).

Из более поздних высказываний о «Неточке Незвановой» следует отметить отзыв О. Ф. Миллера. Изложив в своих «Публичных лекциях» содержание романа, он, вслед за Добролюбовым, сближает образы Неточки и Нелли, но считает, что, причисляя этих героинь к «забитым людям», критик «впадает в односторонность». Суждение Добролюбова, обратившего в трактовке образов Достоевского главное внимание на то, «до какой степени все эти люди придавлены жизнью», нужно, по мнению Миллера, восполнить «не менее верным суждением Белинского» (см.: *Миллер*, стр. 220, 214). По крайней мере некоторые из героев Достоевского, по Миллеру, «не дали окончательно подавить в себе всё человеческое». К таким героям он относил Неточку и Нелли, считая их не «забитыми», а преждевременно развившимися «до крайних пределов», способными к самоотверженной любви и страстной ненависти, «*не поддающимися*» жизни. «Нам приходится окончательно признать, — продолжал Миллер, — верным ⟨...⟩ сужденье Белинского, не дождавшегося ни „Неточки“, ни „Униженных и оскорбленных“, но как бы заранее угадавшего смысл и будущих произведений Достоевского» (там же).

Стр. 143. *Наконец, капельмейстер умер скоропостижно* ∾ *от апоплексического удара* (ср. стр. 144). — В рассказе о таинственной смерти капельмейстера, возможно, есть отзвук реального трагического события, пережитого молодым Достоевским: в 1839 г. отец писателя был убит своими крестьянами. Родственники решили не предавать огласке причину смерти М. А. Достоевского, и в документах следствия было записано, что «смерть произошла от апоплексического удара» (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 110).

Стр. 150. *...не зарыл, как ленивый раб* ∾ *а, напротив, возрастил сторицею...* — См. притчу об умноживших таланты: Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 14—30; от Луки, гл. 19, ст. 11—28.

С т р. 156. *Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами...* — Фигурант (франц. figurant) — артист балета, участвующий в групповых выступлениях (в отличие от солиста).

С т р. 158. *...он сделался каким-то домашним Ферситом.* — Ферсит (Терсит) — персонаж «Илиады» Гомера, трусливый, безобразный и злоязычный. Имя его стало нарицательным.

С т р. 167. *...в свите Фортинбраса...* — Фортинбрас — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет», норвежский принц, занявший после смерти Гамлета датский престол.

С т р. 167. *...был один из тех рыцарей Вероны* ∾ *«Умрем за короля!»* — По мнению исследователя, в последних словах звучит насмешка над «отечественными и переводными мелодрамами» верноподданнического характера. Достоевский мог, например, иметь в виду трагедию «Король Энцио» Г. Раупаха в переводе В. Зотова. Она с успехом шла в Александринском театре в 1842 г. Роль попавшего в плен короля Энцио, спасенного от гибели верными рыцарями, играл Каратыгин (см.: *Гозенпуд*, стр. 19).

С т р. 168. *Помню, что это была драма в стихах* ∾ *Всё оканчивалось очень плачевно.* — Речь идет о драматической фантазии Н. В. Кукольника «Джакобо Санназар» (1834), рассказывающей о детстве и юности итальянского поэта Якопо Саннадзаро (Sannazzaro; 1458—1530). Необыкновенно рано проявившийся талант и любовь к прекрасной Кармозине с детства причиняли поэту страдания. В конце пьесы мать Джакобо умирает, оплакивая тяжелую судьбу сына. Кармозина, которая долгие годы таила свое чувство и открылась Джакобо лишь после того, как дала обещание выйти за богатого дворянина, равнодушного к искусству, также умирает от несчастной любви. Сомнения Саннадзаро в своем таланте Достоевский намеренно окарикатуривает.

С т р. 175. *Его девиз: aut Caesar, aut nihil...* — Девиз Цезаря Борджиа (ок. 1475—1507), претендовавшего на господство над Италией.

С т р. 208. *...наслаждался своим послеобеденным кейфом.* — Кейф (турецк. kejf) — отдых.

С т р. 214. *Но имена Гектор, Цербер и проч. были уже слишком опошлены* ∾ *назвать бульдога Фальстафом.* — Гектор — воспетый Гомером в «Илиаде» смелый предводитель троянцев; Цербер — в древнегреческой мифологии свирепый пес, охраняющий выход из царства Аида (в переносном смысле — свирепый страж); Фальстаф — пьяница, жизнелюб и весельчак — персонаж из «Генриха IV» и «Виндзорских проказниц» Шекспира.

С т р. 214. *...уже приготовился скакнуть за свой Рубикон.* — Река Рубикон — в 1 в. до н. э. граница между Италией и Цизальпинской Галлией. Выражение «перейти Рубикон» («Rubiconem transeo»), принадлежащее Юлию Цезарю, стало употребляться в значении «сделать решительный шаг».

С т р. 216. *Жан-Жак не авторитет.* ∾ *Жан-Жак дурной человек, сударыня!* — У Руссо было пятеро детей, которых он отдал в воспитательный дом. Руссо предпочел сделать из них крестьян, объясняя это тем, что не имел средств их содержать, и тем, что они мешали бы ему спокойно заниматься литературным трудом. Впоследствии Руссо горько раскаивался в этом (см.: Исповедь. В кн.: Ж.-Ж. Р у с с о. Избранные сочинения, т. III. Гослитиздат, М., 1961, стр. 300, 310—312 и др.).

С т р. 216. *...потревожить классическую тень Корнеля, Расина, оскорбить Вольтера...* — Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, основоположник трагедии классицизма, один из любимейших писателей юноши Достоевского, считавшего, что «он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир» (письмо к М. М. Достоевскому от 1 января 1840 г.). Расин Жан Батист (1639—1699) — французский драматург-трагик. Восторженный отзыв Достоевского о трагедиях Расина см. в том же письме к брату. Об отношении Достоевского к творчеству Франсуа Мари Аруэ Вольтера (1694—1778) см.: *Д*, *Письма*, т. II, стр. 452, 453.

С т р. 236. *...на столе нашем явился «Ивангое» Вальтер-Скотта...* — «Ивангое» («Айвенго») (1820) — один из романов В. Скотта (1771—1832), особенно известных в России. Достоевский высоко ценил Скотта. В 1880 г., когда шотландский романист не пользовался в России прежней популяр-

ностью, писатель обращал внимание своих корреспондентов на его произведения: «Вальтер Скотт ⟨...⟩ имеет высокое воспитательное значение» (см. письмо к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. и письмо к Н. А. от 19 декабря 1880 г.).

Стр. 239. *...взяла роман Вальтер-Скотта «Сен-Ронанские воды»...* — Роман «Сент-Ронанские воды» (1823) уже в 1824 г. появился во французском переводе в книжных лавках Москвы и Петербурга. Достоевский упоминает о нем и в статье 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и в прозе»: «Мы прочли ⟨...⟩ историю Клары Мовбрай и ... расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения». История трагической любви Клары к Френсису Тиррелу, описанная в этом романе, должна была быть близка Александре Михайловне.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

(Стр. 268)

Источники текста

ОЗ, 1857, № 8, отд. I, стр. 359—398.
1860, том I, стр. 501—544.
1866, том III, стр. 150—164.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1857, № 8, отд. I, с подписью: М-ий (ценз. разр. — 4 июля 1857 г.).

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по *ОЗ* и *1860*:

Стр. 275, строка 47: «Это уж у них такая принятая пышная фраза» вместо «Это уж у них такая пышная фраза» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 277, строка 28: «потому что» вместо «потому-то» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 280, строка 3: «только что приехавший» вместо «только приехавший» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 282, строка 14: «которой я доселе не знал» вместо «которой доселе не знал» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 285, строки 25—26: «прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки шпаг» вместо «прекрасные дамы, звуки шпаг» (по *ОЗ*).

Стр. 285, строка 47: «в моем замиравшем сердце» вместо «в моем замирающем сердце» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 287, строка 40: «всеми силами стараясь» вместо «всеми силами старалась» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 288, строки 38—39: «Сказал бы, что где-нибудь положил» вместо «Сказал, что где-нибудь положил» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 291, строки 13—14: «во всяком движении ее» вместо «во всяком движении» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 291, строки 31—32: «не знаю этой тайны» вместо «не знаю тайны» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 292, строки 4—5: «Но что бы ни заключалось» вместо «Но что ни заключалось» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 293, строки 11—12: «и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое» вместо «и каждый раз как огонь горело лицо мое» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 293, строка 25: «с дозревавшею рожью» вместо «с дозревшею рожью» (по *ОЗ* и *1860*).

Стр. 295, строка 3: «обжег мои губы» вместо «обжег губы» (по *ОЗ*).

Рассказ «Маленький герой» (первоначальное название «Детская сказка» — см. письма к брату от 22 декабря 1849 г. и от 1 марта 1858 г.) создавался в Петропавловской крепости.

С апреля по июль, пока велось следствие над петрашевцами, заключенные были лишены права переписки с родными; им запрещено было чтение книг и составление бумаг, не имеющих отношения к показаниям следственной комиссии. В первом же письме из крепости к старшему брату от 18 июля 1849 г. Достоевский сообщал: «Я времени даром не потерял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь». Но в работе наступали иногда внезапные перерывы: «У меня был промежуток недели в три, в котором я ничего не писал; теперь опять начал. Но всё это еще ничего; можно жить» (см. письмо от 27 августа 1849 г.). И в этом же письме: «...мне опять позволили гулять по саду 〈...〉. И это для меня целое счастье. Кроме того, я могу иметь теперь свечу по вечерам — и вот другое счастье».

Таким образом, над «Маленьким героем» Достоевский работал летом и осенью 1849 г. Причем, по-видимому, замысел произведения представлялся сначала более широким (в письме от 18 июля Достоевский сообщал, что пишет роман).

К моменту отправки петрашевцев в Сибирь (декабрь 1849 г.) рассказ был закончен: «...несколько листков моей рукописи, чернового плана драмы и романа (и оконченная повесть «Детская сказка») у меня отобраны и достанутся, по всей вероятности, тебе», — обращается Федор Михайлович к брату в своем прощальном письме от 22 декабря 1849 г. Из замыслов писателя, упомянутых в цитированных письмах, известен только «Маленький герой». Возможно, М. М. Достоевский, получив бумаги брата, не посчитал нужным хранить черновые записи, а сберег только законченное произведение.

Рассказ был впервые напечатан братом писателя через восемь лет (*ОЗ*, 1857, № 8) под заглавием «Маленький герой (Из неизвестных мемуаров)». Имени автора указано не было: вместо подписи стояла анаграмма «М-ий». Хотя печатание рассказа шло и не без ведома Достоевского, о чем свидетельствуют его письма к А. Е. Врангелю от 21 декабря 1856 г. и к брату от 9 марта 1857 г., изменений в текст он внести не мог, о чем очень сожалел: «Известие о напечатании „Детской сказки“ было мне не совсем приятно. Я давно думал ее переделать, и хорошо переделать, и, во-первых, всё никуда не годное начало выбросить вон» (см. письмо к брату от 1 марта 1858 г.). В последующих изданиях (*1860*, *1866*) действительно опущено начало — обращение к Машеньке — и внесены соответствующие исправления в остальную часть текста (см. «Варианты», стр. 268, строка 3). Видимо, по недосмотру Достоевского, в этих изданиях осталось в одном месте обращение автора к слушательнице: «Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире...» (стр. 270, строки 2—3).

«Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ними не справишься, и прежняя жизнь так и ломится в душу, и прошлое переживается снова», — писал Достоевский брату из крепости 18 июля 1849 г. Пейзаж, общий тон повествования в «Маленьком герое» связаны с личными впечатлениями писателя — жизнью в Даровом (см. об этом: В. С. Н е ч а е в а. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 63—65, ср. также рассказ Вареньки Доброселовой в «Бедных людях» и воспоминания Ордынова в «Хозяйке»: наст. изд., т. I, стр. 83, 84, 278,279), а может быть, и на даче Куманиных в Покровском (Филях) под Москвой, как полагает Г. А. Федоров. Впоследствии в беседе с Вс. С. Соловьевым Достоевский рассказывал, что работа над рассказом оказалась для него спасительной: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал „Маленького героя“ — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны» (*ИВ*, 1881, № 3, стр. 615).

Сюжет «Маленького героя» своеобразно варьирует ряд тем «Неточки Незвановой», работа над которой была прервана арестом писателя. Как и в «Неточке Незвановой», в рассказе описано развитие души ребенка, зарождение высокого чувства любви-преданности, любви-самоотвержения. Рисуя

нежную и грустную красоту m-me M*, душевное обаяние и затаенную любовь героини, писатель словно добавлял новые штрихи к портрету Александры Михайловны из «Неточки Незвановой». И таким же бессердечным, жестоким и фальшивым человеком, как муж Александры Михайловны, в «Маленьком герое» изображен m-r M*.

Достоевский называет его одним из «прирожденных Тартюфов и Фальстафов». Первое имя традиционно для обозначения лицемерия и ханжества. С именем же Фальстафа в рассказе связано представление об «особой породе растолстевшего на чужой счет человечества» (см. выше, стр. 275). Бездельник, подобный Фальстафу, m-r M* с искусством Тартюфа выдает себя за непонятую гениальную натуру; естественный и не лишенный своеобразного обаяния эгоизм Фальстафа превращается у него в злобное тщеславие и скрытую жестокость (о шекспировских образах у Достоевского см.: К. И. Ровда. Под знаком реализма. В кн.: Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965, стр. 590—597). Обращению к образам английского драматурга (кроме Фальстафа, в повести упоминаются еще Бенедикт и Беатриче из «Много шума из ничего»), возможно, способствовало то, что в тюрьме Достоевский читал произведения Шекспира, которые ему прислал брат (см. письмо к М. М. Достоевскому от 14 сентября 1849 г.).

Рисуя первое пробуждение любви в сердце мальчика, Достоевский вспоминал и персонажей Шиллера: «маленький герой» как бы повторял подвиг Делоржа («Перчатка») и рыцаря Тогенбурга, приобщаясь к шиллеровскому высокому идеалу чистой и бескорыстной любви, не требующей награды. Шиллер «у нас ⟨...⟩ вместе с Жуковским, в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил», —писал впоследствии Достоевский (*ДП*, 1876, июнь, гл. I, § 1).

Как указывалось выше, напечатанный в августовском номере «Отечественных записок» за 1857 г. «Маленький герой» был вскоре включен в первый том собрания сочинений *1860* (вышло в свет в начале февраля). В этом же году, в третьем номере «Библиотеки для чтения», была опубликована повесть И. С. Тургенева «Первая любовь». Примечательна не только тематическая близость произведений — совпадают многие детали описания: оба мальчика — преданные «пажи» своих избранниц, всегда готовые на отчаянно смелый поступок; их рыцарство заслуживает искреннюю и нежную благодарность. Чтение «Маленького героя» могло послужить своего рода толчком для создания автобиографической повести Тургенева, первоначальные наброски которой датируются январем 1858 г. (см.: И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Сочинения в 15 томах, т. IX. Изд. «Наука», М.—Л., 1965, стр. 459).

Сопоставление «маленького героя» и Николеньки Иртеньева (в первой части автобиографической трилогии Л. Н. Толстого), выявляющее сходство и различие в психологическом анализе детского характера у Толстого и Достоевского, см. в статье: Р. С. Спивак. Индивидуальное своеобразие раннего Толстого в анализе «диалектики души». В кн.: Творчество Л. Н. Толстого. Вопросы стиля. Пермь, 1963, стр. 51—57.

При жизни писателя «Маленький герой» критикой замечен не был. В 1882 г. Н. К. Михайловский в «Отечественных записках» назвал «Маленького героя», так же как «Записки из Мертвого дома», «Белые ночи» и «Кроткую», в числе немногих произведений Достоевского, «вполне законченных в смысле гармонии и пропорциональности» (см.: *Михайловский*, стр. 249). Более подробно об этом рассказе писал в том же году О. Ф. Миллер. Его привлекало умение Достоевского воссоздавать сложный внутренний мир ребенка. В качестве примеров критик останавливался на эпизодах, рисующих пробуждение «святого и чистого чувства жалости ⟨...⟩ сострадания к добрейшему, но несчастному существу» (см.: «Женское образование», 1882, № 2, стр. 109, 110).

Стр. 269—270. *...блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки* ∾ *к мантилье его красавицы.* — В 1830—1840-е годы Испания была модной темой в русской романтической поэзии и драматургии (см. об этом:

М. П. А л е к с е е в. «Письма об Испании» Боткина и русская поэзия. «Ученые записки Ленинградского гос. университета», вып. 13, № 90, серия филологических наук, Л., 1948, стр. 131—165). Возможно, что Достоевский, иронизируя над увлечением испанской экзотикой, имеет в виду пародийное стихотворение Нового поэта (И. Панаева) «Серенада» (*С*, 1847, № 1, Смесь, стр. 67—68).

С т р. 271. *...какой-то скрибовской комедии...* — Скриб Огюстен Эжен (1791—1861) — французский драматург, автор комедий и водевилей с остроумными положениями и занимательной интригой; в 1840-х годах был хорошо известен в России и пользовался любовью светского зрителя.

С т р. 273. *Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. ∾ как будто и родятся на подвиг...* — По наблюдению Ю. Н. Тынянова, в этих строках «Маленького героя» ощущается стилистическая связь с теми письмами из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, где речь идет о русской женщине и ее призвании (см.: *Тынянов*, стр. 29, 30).

С т р. 276. *...их Молох и Ваал...* — Молох — у древних семитических народов божество палящего солнца, которому приносились человеческие жертвоприношения; Ваал — у народов Финикии и Сирии космический солнечный бог, божество молнии и грома, позднее — бог войны. Образом Ваала как символом гнетущих человека сил буржуазной цивилизации Достоевский позднее воспользовался в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863; наст. изд., т. V).

С т р. 277. *...наш режиссер, известный художник Р*...* — Скорее всего имеется в виду Андрей Адамович Роллер (1805—1891) — театральный художник, с 1834 г. — машинист и декоратор императорских петербургских театров; ему принадлежали декорации ко множеству балетов и опер, в частности к «Роберту-Дьяволу» (см. о нем: *СП*, 1848, 3, 4, 15 марта, №№ 49, 50, 58; *С*, 1849, № 4, Смесь, стр. 181).

С т р. 278. *...заметив омбрельку ∾ в руках жены.* — Омбрелька (франц. ombrelle) — зонтик.

С т р. 280. *...Бенедикт к Беатриче...* — Персонажи комедии Шекспира «Много шума из ничего», за постоянной перестрелкой остротами скрывающие свою любовь. Комедия эта («Much ado about nothing») появилась в русском переводе А. И. Кронеберга под названием «Много шуму из ничего» (*С*, 1847, № 12). В рассказе в изданиях 1857 и 1860 гг. приводится название «Много шума из пустого» (см. «Варианты», стр. 280, строка 8). В издании же *1865* комедия называется «Много шуму из пустяков», как она была озаглавлена в более позднем анонимном переводе, помещенном в «Сыне отечества» (1849, № 5).

С т р. 281. *...в костюм Синей бороды...* — Синяя борода — персонаж из одноименной сказки (1697) Ш. Перро (1628—1703).

С т р. 287. *Делорж! Тогенбург!..* — Герои двух баллад Шиллера — «Перчатка» и «Рыцарь Тогенбург» (1797; русский перевод В. А. Жуковского — 1831 и 1818).

С т р. 293. *...тех, которые «не жнут и не сеют»...* — Намек на слова Евангелия: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут» (см.: Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 26).

С т р. 293. *...каждый цветок, последняя былинка ∾ «Отец! Я блаженна и счастлива!..»* — Патетика этих строк, возможно, в какой-то мере навеяна «Вторым каноном на пятидесятницу» Иоанна Дамаскина (см.: Богослужебные каноны на русском языке, изданные Е. Ловягиным. СПб., 1861, стр. 107). Этот канон ежегодно исполнялся во время православного богослужения в праздник Троицы.

С т р. 458. *...чтоб и вправду я не остался перед ними навек в созерцании, как Лотов столб...* — По библейскому сказанию, ангелы, чтобы уберечь Лота с семьею от божьей кары, которая должна была уничтожить города Содом и Гоморру, повелели им, уходя из Содома, не оглядываться назад. Но жена Лота нарушила запрет и навеки застыла на месте, обращенная в соляной столб (см.: Бытие, гл. 19).

ДЯДЮШКИН СОН

(Стр. 296)

Источники текста

РСл, 1859, № 3, отд. I, стр. 27—172.
1860, том II, стр. 3—162.
1866, том III, стр. 233—286.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РСл*, 1859, № 3, отд. I, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 13 марта 1859 г.).

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по *РСл* и *1860*:

Стр. 305, строка 22: «Лошадей взял с бою» вместо «Лошадей взял с собою» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 309, строка 24: «Анна Николаевна уже присылала наведаться» вместо «Анна Николаевна уже прислала наведаться» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 310, строка 11: «я вас вижу» вместо «я вижу» (по *РСл*).

Стр. 317, строка 13: «Он на всё говорит: „Ну да, ну да!“» вместо «Он всё говорит: „Ну да, ну да!“» (по *РСл*).

Стр. 320, строка 25: «лучше их всех» вместо «лучше всех» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 323, строки 27—28: «прожить тот ужасный день!» вместо «прожить ужасный день!» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 327, строка 3: «Ты продала же свои серьги» вместо «Ты продала свои серьги» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 328, строка 15: «оно могло находиться» вместо «она могла находиться» (по *РСл*).

Стр. 328, строки 19—20: «Но что за нужда, что она мне не верит» вместо «Но что за нужда, она мне не верит» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 329, строка 28: «если его в картишки там не засадят» вместо «если его в картишки там не засадит» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 329, строки 30—31: «какие она вещи про вас распускает» вместо «какие она вещи распускает» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 332, строка 45: «так... какой-нибудь!» вместо «так... как-нибудь!» (по *РСл*).

Стр. 334, строки 33—34: «меня и в Петербурге узнают» вместо «меня в Петербурге узнают» (по *РСл*).

Стр. 335, строка 21: «но даже и дерзко» вместо «но даже дерзко» (по *РСл*).

Стр. 346, строка 44: «о бесчеловечные люди!» вместо «и бесчеловечные люди!» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 351, строки 31—32: «потому что мы все более или менее смертны» вместо «потому что мы все более и менее смертны» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 355, строка 2: «я до безумия люблю ее!» вместо «я до безумия любил ее!» (по *РСл*).

Стр. 357, строки 5—6: «Какой-то инстинкт подсказывал ей» вместо «Какой-то инстинкт подсказывает ей» (по *РСл*).

Стр. 357, строка 42: «Если же сам Афанасий Матвеич» вместо «Если же Афанасий Матвеич» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 373, строка 8: «Так они завтра» вместо «Так завтра» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 381, строка 12: «Букет из камелий» вместо «Букеты из камелий» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 386, строка 27: «я увижу во сне?» вместо «я вижу во сне?» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 391, строка 31: «вот это-то меня и мучит» вместо «вот это-то меня мучит» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 395, строки 14—15: «спеть ему какой-то романс» вместо «спеть ему какой-нибудь романс» (по *РСл* и *1860*).

Стр. 396, строка 32: «ее деревенского дома» вместо «ее деревянного дома» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

В 1855 г. в Семипалатинске Достоевский, по его признанию, задумал комедию. Вскоре из отдельных приключений героя стал составляться «комический роман». «Я шутя начал комедию, — писал об этом Достоевский А. Н. Майкову 18 января 1856 г., — и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман, но до сих пор всё писал отдельные приключения, написал довольно, теперь *всё сшиваю* в целое».

К замыслу «комического романа», занимавшему Достоевского в 1855—1856 гг., так или иначе восходят две первые повести, написанные им после каторги, — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859; наст. изд., т. III). Они, видимо, являются разработкой сюжетных линий и эпизодов, которые, по первоначальному намерению автора, должны были составить единый «комический роман», но затем обособились друг от друга и получили самостоятельное развитие в двух писавшихся параллельно произведениях (см. об эволюции замысла «комического романа» в письмах к брату от 9 ноября 1856 г. и Е. И. Якушкину от 1 июня 1857 г.). Для «Дядюшкина сна» это подтверждают свидетельства автора.

Как видно из позднейшей переписки с братом, к январю 1858 г. Достоевского занимали замыслы сразу трех произведений. Первое из них — «большой роман», его «будущий chef-d'œuvre», — писатель намерен был «оставить до времени». Идея, легшая в основу второго замысла, который предназначался для «Русского вестника» («Село Степанчиково»), по словам автора, «составилась уже восемь лет назад». Сообщая о третьем замысле, Достоевский, по-видимому, имел в виду «Дядюшкин сон». О нем он писал брату 18 января: «... в большом романе моем есть эпизод, вполне законченный, сам по себе хороший, но вредящий целому. Я хочу отрезать его от романа. Величиной он тоже с „Бедных людей“, но только комического содержания. Есть характеры свежие». «Переделанный совершенно отдельно», эпизод этот, как предполагал Достоевский, должен был составить самостоятельное произведение, которое автор думал завершить к сентябрю 1858 г. и напечатать в «Русском слове» (ср.: Н. Н. Сакулин. Второе начало. *Д, Письма*, т. II, стр. 536—538). Однако работа над «Дядюшкиным сном» затягивалась. «Уведомлял я тебя в октябре, что 8-го ноября непременно вышлю тебе повесть. Но вот уже декабрь, а моя повесть не кончена. Многие причины помешали. И болезненное состояние, и нерасположение духа, и провинциальное отупение, а главное, отвращение от самой повести. Не нравится мне она», — признавался Достоевский (см. письмо от 13 декабря 1858 г.).

При относительно долгом общем сроке работы (первое упоминание о замысле «комического романа» относится к началу 1856 г., а напечатана повесть была в марте 1859 г.) «Дядюшкин сон» писался урывками. Так, в конце 1858 г. Достоевский сообщал, что он, еще не кончив романа для «Русского вестника» («Село Степанчиково»), «схватился за повесть в „Русское слово“». «Пишу ее на почтовых, почти совсем кончил», — заверял он Е. И. Якушкина (см. письмо от 12 декабря 1858 г.). Видимо, в редакцию «Русского слова» повесть была выслана вслед за письмом, во всяком случае не позднее января 1859 г., так как уже в первых числах февраля друг Достоевского А. Н. Плещеев смог прочесть ее в рукописи или корректуре (см. об этом: *Д, Материалы и исследования*, стр. 442, 480). Впервые опубликованный в «Русском слове» «Дядюшкин сон» перепечатывался затем с незначительной стилистической правкой в изданиях *1860* и *1866*.

В основу произведения легли личные впечатления писателя и его наблюдения над провинциальным бытом Семипалатинска.[1]

Заметка, перепечатанная «Москвитянином» (1853, № 13) в разделе «Заграничные известия», могла подсказать некоторые комические черты внешнего облика старого князя. В ней сообщалось о молодящемся семидесятитрехлетнем графе Генрихе *** из Парижа, выдававшем себя за сорокалетнего. Тайна графа была раскрыта племянником уже после смерти старика. Эта заметка могла напомнить Достоевскому сходные анекдоты, которые рассказывали о военном министре Николая I графе А. И. Чернышеве (1785—1857), также широко известном своей страстью к «моложению».[2] Прототипом образа дядюшки в какой-то мере мог послужить и Ф. Ф. Кокошкин (1773—1838) — директор московских театров, комедиограф и переводчик Мольера. О нем Достоевский мог услышать еще в 1847—1849 гг. от своего приятеля А. П. Милюкова, который впоследствии в своих мемуарах (см.: *Милюков,* стр. 1—25) изобразил внешность Ф. Ф. Кокошкина и воспроизвел анекдотические истории об этом старом жуире, перекликающиеся с некоторыми эпизодами повести Достоевского (см.: М. С. А л ь т м а н. Этюды по Достоевскому. Двойники «дядюшки». «Известия Академии наук СССР», Серия литературы и языка, 1963, т. XXII, вып. 6, стр. 493, 494). Не исключено и то, что некоторые черты богатого слабоумного старика, «полуразвалины, полукомпозиции», объекта домогательств многих наследников, могли быть подсказаны письмом М. М. Достоевского от 18 апреля 1856 г., в котором говорилось о родственнике Достоевских П. А. Карепине: «На дядю плохая надежда. Он безвыходно живет в креслах и стал как ребенок, а братья его и племянники овладели тегушкой. Просто взяли целый дом в опеку» (цит. по кн.: *Д, Письма,* т. I, стр. 529).

Гротескный образ старого князя в какой-то мере связан с традициями народного кукольного театра. Об интересе Достоевского к последнему свидетельствуют главы «Записок из Мертвого дома» («Праздник рождества Христова», «Представление» — наст. изд., т. IV) и черновые записи к «Дневнику писателя» за 1876 г. «О народном театре „Петрушка“» (впервые опубликованы А. С. Долининым: «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. М. Н. Покровского», т. IV, вып. 2, факультет языка и литературы, Л., 1940, стр. 314—316). Писатель хорошо знал репертуар русских скоморохов. Он даже считал, что «Петрушку» можно поставить на Александринской сцене «так как есть, целиком, ровно ничего не изменяя» (там же, стр. 315). Почти во всех народных представлениях Петрушка (иногда Кедрила — такой вариант видел Достоевский в омском остроге) — обжора, плут, охотник погулять с девушкой, хотя внешность для «соблазнителя» у него самая неподходящая. Восхищаясь героем кукольных представлений, Достоевский говорил: «...какой характер, какой цельный художественный характер!» (там же). Любовь к этому виду искусства писатель сохранил с детских лет: дедушка его, В. М. Котельницкий, каждую пасху водил младших Достоевских смотреть праздничные балаганы, «различных паяцев, клоунов, силачей и прочих балагановых Петрушек» (см.: *Достоевский, А. М.,* стр. 38). В ряде ситуаций и эпизодов «Дядюшкина сна» можно увидеть отражение этих сцен народного театра: см., например, сцену «разоблачения» князя — неудачного жениха (стр. 375—384). «Моложению» князя соответствуют в кукольном театре сцены «помолаживания» стариков и старух с по-

---

[1] О пребывании писателя в Семипалатинске, об этом городе и нравах его обитателей см. подробнее: *Врангель,* а также: Б. Г-в ⟨Б. Г. Г е р а с и м о в⟩. Ф. М. Достоевский в Семипалатинске. «Сибирские огни», 1926, № 3, стр. 135, 136.

[2] См. об этом: Л. М. Л о т м а н, Г. М. Ф р и д л е н д е р. Источник повести Достоевского «Дядюшкин сон». В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX вв. М. — Л., 1959, стр. 370—374; о молодящемся министре А. И. Чернышеве см. также упоминания в подготовительных материалах к роману «Подросток» (наст. изд., т. XIV).

мощью переваривания их в котлах или перековывания в кузнице (о сюжетах петрушечных представлений см.: В. Н. Перетц. Кукольный театр на Руси. «Ежегодник императорских театров. Сезон 1894—1895 гг.». Кн. 1. СПб., 1896, стр. 183).

Как справедливо отмечалось, «„Дядюшкин сон“ — повесть, органически связанная с литературным движением, которое отразило общественное возбуждение конца 1850-х годов». Достоевский во многом сближается здесь с Островским, Писемским, Щедриным периода «Губернских очерков», которые в 1850-е годы «развивали в своем творчестве сатирические гоголевские традиции, выступая с резкой разоблачительной критикой дворянства и пореформенных порядков» (см.: История русской литературы, т. IX, ч. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 32).

При изображении глубокого провинциального застоя, невежества, жестокости и пошлости обитателей одной из отдаленных окраин России автор опирался на разнородные традиции, накопленные русской литературой в разработке этой темы. Сквозь сюжетную ткань «Дядюшкина сна» местами явственно просвечивают сцены и образы «Графа Нулина» и «Ревизора». Гротескно-сатирический образ «дядюшки» своеобразно варьирует черты характера Нулина (см. об этом: М. С. Альтман. Этюды по Достоевскому. Двойники «дядюшки», стр. 494, 495), а в еще большей мере — Хлестакова. Пустословие и легкомыслие этого гоголевского героя обращаются в старческую болтливость и слабоумие князя. Но Хлестаков — образ комедийный, в старом же князе комическое соединяется с жалким. От князя К. тянутся нити к «расслабленному старичку» князю Сокольскому в романе «Подросток» (см.: Л. М. Лотман, Г. М. Фридлендер. Источник повести Достоевского «Дядюшкин сон», стр. 374, а также: *Гроссман, Семинарий,* стр. 70). Кульминационный пункт романа — крушение грандиозных планов Москалевой и скандал, разразившийся в ее доме (главы XIII, XIV), — реминисценция заключительного, пятого акта «Ревизора» (о влиянии комедии Гоголя на создание «Дядюшкина сна» см.: *Кирпотин,* стр. 511).

Достоевский в подтексте повести искусно сопоставляет ряд героев с персонажами Фонвизина, Грибоедова, Пушкина. В сцене визита Марьи Александровны в деревню и ее разговора с мужем ощущается близость к фонвизинскому «Недорослю». Текстуальные параллели этому эпизоду см. в следующих сценах комедии: действие I, явление 3 (диалог госпожи Простаковой и ее мужа); действие II, явление 5 (Простакова Милону о своем супруге); действие I, явление 2 (Простакова и слуги). Замечания князя типа «Вывалил! вывалил! кучер вывалил!», как и некоторые детали его внешнего облика, возможно, подсказаны строками «Горя от ума»: «Когда-нибудь я с бала да в могилу», «Забыла волосы чернить и через три дни поседела», а непокорный кучер-«коммунист» Лаврентий заставляет вспомнить грибоедовское: «Ах, батюшки,он карбонари!» и «Да он властей не признает!» (проблема «Грибоедов и Достоевский» поставлена А. Л. Бемом в статье «Достоевский — гениальный читатель» (см. в кн.: *О Достоевском,* вып. I, стр. 7—24); ср.: М. Альтман. К статье А. Бема «Горе от ума» в творчестве Достоевского. «Slavia», 1933—1934, t. XII, стр. 486). В образе Мозглякова карикатурно воспроизведены черты «провинциального Онегина». Последние страницы «Дядюшкина сна» пародийно совпадают с гл. VII «Евгения Онегина» (о пародировании в «Дядюшкином сне» онегинских мотивов см.: *Кирпичников,* стр. 365; *Кирпотин,* стр. 511, 512).

В 1856 г. в №№ 8—12 «Русского вестника» было начато, а в 1857 г. в №№ 7—10 закончено печатание «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Находясь в Семипалатинске, Достоевский регулярно читал «Русский вестник» (см., например, упоминание этого журнала в письмах от 13 апреля 1856 г., 1 июня и 3 ноября 1857 г. и др.). Литературная судьба Щедрина, бывшего петрашевца, вернувшегося из ссылки только в 1856 г., особенно интересовала писателя еще и потому, что он внимательно следил за возвращением всех гражданских прав своим прежним товарищам по кружку. В «Дядюшкином сне» можно усмотреть некоторую перекличку с «Губернскими очерками». Подобно Щедрину, Достоевский строит повесть

в форме провинциальной хроники и поручает в ней рассказ о событиях хроникеру — обывателю Мордасова. Кроме того, хитрость, властность и мелочное тщеславие героини очерка Щедрина «Приятное семейство» Марьи Ивановны и тупоумие и апатичность ее супруга Алексея Дмитрича (см.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах, т. II. М., 1965, стр. 91—107) напоминают семейные отношения в доме Москалевых.

Б. В. Мельгунов обратил внимание на сюжетное сходство «Дядюшкина сна» и комедии Тургенева «Провинциалка». Героиня тургеневской комедии Дарья Ивановна, желая вырваться из провинциальной трясины и доставить место в Петербурге своему мужу, искусно обольщает уже немолодого, износившегося великосветского волокиту графа Любина, пробуждая в нем воспоминания об их первой, давней встрече и тогдашнем увлечении графа ею. Опубликованная впервые в 1851 г. и тогда же поставленная на сцене в Москве и Петербурге, «Провинциалка» в 1857 г. была переиздана Н. А. Некрасовым в шестом томе серии «Для легкого чтения». Это переиздание могло в период работы над повестью обратить внимание Достоевского на тургеневскую комедию, впервые прочитанную им, возможно, уже раньше — вскоре после выхода из каторги. О внимательном отношении и интересе Достоевского к «Провинциалке» свидетельствует позднейший его рассказ «Вечный муж» (1870), где упоминается эта комедия Тургенева и психологически переосмыслены и углублены ее основные ситуации (наст. изд., т. IX). Исходя из последующей сложной истории личных и идеологических взаимоотношений Достоевского и Тургенева, Б. В. Мельгунов высказал нуждающееся, однако, в дальнейшей проверке и уточнении предположение о том, что в личности «дядюшки»-князя в комическом освещении преломлены некоторые из черт личности Тургенева и что «Дядюшкин сон» представляет, таким образом, первый в творчестве Достоевского памфлет против автора «Провинциалки», предваряющий позднейшее карикатурное изображение Тургенева-«западника» в «Бесах».

Представляется более вероятным другое предположение. В герое комедии Тургенева автор, как видно из разбросанных в ней намеков, в известной мере пародировал самого себя в момент одной из встреч с предметом своих былых увлечений. О герое же «комического романа» Достоевский в цитированном выше письме к брату писал, что он ему «несколько сродни». Слова эти вряд ли можно считать случайной обмолвкой. По свидетельству А. Г. Достоевской, ее муж в 1860-х годах нередко любил в шутку разыгрывать перед нею роль «дядюшки». «Я бывала очень недовольна, — пишет мемуаристка, — когда Федор Михайлович принимал на себя роль молодящегося старичка. Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя из „Дядюшкина сна"» (см.: А. Г. Достоевская. Воспоминания. М., 1971, стр. 88). Таким образом, фигура князя в какой-то мере была для автора своеобразной «маской»: рассказывая об увлечении князя, Достоевский соотносил его, по-видимому, с собственным «запоздалым» романом с М. Д. Исаевой, высмеивая в лице своего героя себя, так же как Тургенев в «Провинциалке». Именно в этом и заключается подлинная близость между «Дядюшкиным сном» и «Провинциалкой»: родственные сатирические мотивы в обоих произведениях включают известный элемент автопародии, причем наличие подобного элемента в «Провинциалке» могло учитываться Достоевским.

В. Я. Кирпотин отметил, что «на заднем плане „Дядюшкина сна" проходят образы, являющиеся как бы рудиментами героев ⟨...⟩ Достоевского сороковых годов». Таков Вася, «мечтатель» со «слабым сердцем», любящий Зину и любимый ею (см.: *Кирпотин*, стр. 512). Отчетливо угадывается в истории любви этих персонажей и сходство с драмой героев «Неточки Незвановой» (ср. прощальное письмо С. О. к Александре Михайловне и исповедь умирающего Васи — стр. 240—244 и 390—394).

Некоторые герои «Дядюшкина сна» имеют общих прототипов с персонажами, фигурирующими в «Записках из Мертвого дома». Это ювелир Исай Бумштейн, которому Москалева закладывает свой фермуар, и арестант Устьянцев, который, подобно Васе в «Дядюшкином сне», желая умереть, выпил вина, настояв в нем нюхательного табаку, отчего заболел чахоткой

(см. об этом: М. С. А л ь т м а н. Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского, стр. 202—203).

Интерьер «Дядюшкина сна» близок картинам художника П. А. Федотова (см., например, «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848) и др.). С работами Федотова Достоевский познакомился в 1848 г., когда в Петербурге была устроена выставка картин художника (см. об этом: В. С. Н е ч а е в а. Достоевский и Федотов. В кн.: Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Ползунков, стр. 7—32).

Как указывалось выше, повесть выросла из переработки комедии. Поэтому авторские описания в ней, особенно в начале гл. III, открывающей действие, своей лапидарностью напоминают ремарки в драматическом произведении. Первая попытка инсценировки повести была сделана в 1870 г. А. В. Кирилловым. Пьеса предназначалась для бенефиса московской актрисы Е. Н. Васильевой. Но цензура не допустила ее к постановке. Рукопись пьесы с пометой о цензурном запрете (от 22 августа 1870 г.) хранится в Ленинградской гос. театральной библиотеке им. А. Н. Островского (ф. II. 6. 74). Следует указать, что не только в репликах действующих лиц, но и в ремарках сохранен текст Достоевского. Действие пьесы обрывается сценой скандала в доме Марьи Александровны. Позднейших обработок «Дядюшкина сна» для сцены насчитывается около двадцати. [1]

Лишенный возможности обсудить свою повесть с кем-либо из друзей-литераторов, Достоевский просил брата Михаила Михайловича, хлопотавшего в Петербурге о напечатании «Дядюшкина сна», передавать ему мнения журналистов и писателей об этом новом произведении (см. письма от 14 марта, 11 апреля, 9 мая 1859 г.).

Выполняя просьбу писателя, М. М. Достоевский еще до появления повести в печати дал другу Федора Михайловича, поэту А. Н. Плещееву, рукопись (а возможно — корректуру) «Дядюшкина сна». В письме к Ф. М. Достоевскому от 10 февраля 1859 г. Плещеев признавался откровенно: «Скажу вам прямо: я ждал больше ... роман отзывается спешностью ... Некоторые сцены шаржированы ⟨...⟩. Зиночка лицо несимпатическое — и вообще что-то есть в ней сочиненное, ненатуральное ⟨...⟩. Начало романа, по-моему, рутинно, — как будто фельетонно несколько. Вот недостатки». Далее Плещеев говорил о том, что́ ему в романе понравилось: «Лицо Марьи Александровны превосходно, великолепно. Мозгляков ⟨...⟩ — чрезвычайно верное, живое лицо. Провинция — в лице дам — очеркнута тоже хорошо; некоторые сцены с князем до того комичны, что невозможно не хохотать» (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 442). Получив письмо Плещеева, Достоевский с грустью сообщал брату: «Плещеев наполовину недоволен моей повестью. Может быть, он и прав ⟨...⟩. „Дядюшкин сон“ я отвалял на почтовых» (см. письмо от 14 марта 1859 г.).

М. М. Достоевский не утаил от автора отрицательного отзыва редактора «Отечественных записок» А. А. Краевского, который «не мог дочитать» «Дядюшкин сон». В этом же письме (от 21 октября 1859 г.) он предупреждал, что, по всей вероятности, критики произведений Достоевского (речь шла еще и о «Селе Степанчикове и его обитателях») не будет, так как «журналы перестали теперь обозревать друг друга» (см.: *Д, Материалы и исследования,* стр. 526). И действительно, «Дядюшкин сон» остался не замеченным критикой не только в год выхода в свет, но и в 1861 г., когда во многих периодических изданиях был опубликован ряд статей о творчестве Достоевского в связи с появлением двухтомного собрания его сочинений.

---

[1] См. перечень их: А. Г. Д о с т о е в с к а я. Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского. СПб., 1906, стр. 306—311; Н. А. С о к о л о в. Материалы для библиографии Достоевского. *Сб. Достоевский, II*, стр. 26; Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества, Пгр., 1921, 30 октября, стр. 28, 29; см. также каталоги Ленинградской гос. театральной библиотеки им. А. Н. Островского.

Едва ли не единственным свидетельством о сочувственном интересе мыслящих современников к «Дядюшкину сну», которым мы располагаем, является письмо матери критика Д. И. Писарева, В. Д. Писаревой, к Достоевскому от 7 апреля 1878 г. «В 60 году, — писала она, — после его ⟨Д. И. Писарева⟩ выздоровления ⟨...⟩ мы читали с ним вместе ⟨...⟩ Вашу повесть „Дядюшкин сон", и он так от души хохотал над старым князем, и у нас даже вошло в поговорку, когда слышишь вздор, говорить: „Ну да, и сахар, и кадушки там были". Ему так понравился этот рассказ своей игривостью, что он хотел из него составить пьесу для театра» (см.: «Красный архив», 1924, т. V, стр. 249).

Лишь в 1880 г. О. Ф. Миллер в работе «Русские писатели после Гоголя» посвятил повести несколько слов, отнеся одного из ее персонажей, бедного учителя Васю, к галерее «забитых людей» (см.: *Миллер, Русские писатели*, т. I, стр. 125).

Наиболее суровый, едва ли не уничтожающий, отзыв о повести принадлежит самому автору. В 1873 г., отвечая на предложение студента-юриста Московского университета М. П. Федорова обработать «Дядюшкин сон» для сцены, Достоевский писал: «15 лет я не перечитывал мою повесть „Дядюшкин сон". Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии — мало содержания, даже в фигуре князя, единственной серьезной фигуре во всей повести» (см. письмо от 14 сентября 1873 г.). Достоевский был настолько строг в своем суждении, что в случае осуществления постановки просил не указывать его имени в афишах.

К форме «скандальной» провинциальной «хроники», к которой Достоевский (возможно, под влиянием Щедрина) впервые обратился в «Дядюшкином сне», он позднее — в другую историческую эпоху — вернулся в «Бесах», значительно расширив рамки этого жанра и придав ему новый — политически злободневный — характер (см. об этом: История русского романа, т. II. М. — Л., 1964, стр. 236, 237).

С т р. 296. ... *в Мордасове* ... — Возможно, что это название подсказано повестью В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845), герои которой направляются в село Мордасы. «Тарантас» был весьма популярен в кругу Белинского, а с Соллогубом Достоевский познакомился и не раз встречался в 1846 г. (см. об этом комментарий А. С. Долинина: *Д, Письма*, т. I, стр. 481; ср.: Воспоминания В. А. Соллогуба. *ИВ*, 1886, № 6, стр. 561, 562). Название города, в котором происходит действие «Дядюшкина сна», заставляет вспомнить и о герценовском Малинове («Записки одного молодого человека», 1840—1841).

С т р. 296. ...*кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии*... — В характеристике Марьи Александровны, «первой дамы в Мордасове», как отметил Ю. Н. Тынянов, пародируются отдельные мотивы «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. Ср.: «Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что всё будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным» (см.: Женщина в свете. *Гоголь*, т. VIII, стр. 226; ср.: *Тынянов*, стр. 24—26).

С т р. 296. ...*лиссабонское землетрясение*. — Во время землетрясения 1755 г. было уничтожено около $^2/_3$ города Лиссабона и погибло более 30 000 жителей. Лиссабонским землетрясением было вдохновлено выступление Вольтера против теодицеи Лейбница в «Поэме на разрушение Лиссабона» (1756; русский перевод — 1763) и в «Кандиде» (1759; русский перевод — 1769) — мотив, близкий автору «Братьев Карамазовых».

Стр. 297. *Пинетти* — итальянский фокусник XVIII в. Его имя было популярно в Европе. О. И. Сенковский сделал Пинетти героем рассказа «Превращение голов в книги и книг в головы», напечатанного в сборнике «Сто русских литераторов» (СПб., 1839, т. I, стр. 1—47; об издании этого сборника Достоевский упоминал в письме к М. М. Достоевскому от 31 октября 1838 г.).

Стр. 297. *Один немецкий ученый ∾ из самого Карльсруэ.* — Слова эти перекликаются с позднейшей — заостренной против дворянского «западничества» — иронической характеристикой «заезжих путешественников»-иностранцев в первой из «Ряда статей о русской литературе» («Время», 1861, № 1, стр. 3 — наст. изд., т. XVIII; наблюдение Б. В. Мельгунова).

Стр. 297. *Защитники старого дома...* — Сторонники свергнутой во Франции в 1793 г. династии Бурбонов. К Наполеону I, как узурпатору, приверженцы монархии питали глубокую ненависть.

Стр. 299. *...по примеру писем ∾ в «Северной пчеле»...* — Имеется в виду постоянный в этой газете отдел «Смесь», где по большей части печатались Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. Их фельетоны обычно носили подзаголовки: «Письма к приятелю», «Из частного письма» и т. п. См., например, «Ливонские письма» Булгарина (*СП*, 1846, 14, 16 августа, №№ 181, 182 — «Письмо четвертое»); «Парижские письма» Греча (печатались с перерывами в течение 1845—1846 гг.). Об этих письмах Греча с сарказмом отозвался Достоевский в 1861 г. в журнале «Время» (наст. изд., т. XXIII).

Стр. 299. *Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны...* — Эти строки иронически перекликаются с заглавием романа Бальзака «История величия и падения Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки» (1838) (см.: *Розенблюм*, стр. 655).

Стр. 305. *...морозная пыль алеет, серебрится! ∾ Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии.* — Вышедшие в 1850 г. в Москве, а в 1856 г. в Петербурге сборники стихотворений Фета вызвали ожесточенные споры. Возможно, что лирический пассаж Мозглякова о «морозной пыли» отдаленно связан с циклом стихотворений Фета «Снега». См., например:

На пажитях немых люблю в мороз трескучий
При свете солнечном я снега блеск колючий...

Комический эффект слов Мозглякова заключается в том, что он приписывает Фету стих Пушкина «Морозной пылью серебрится...» («Евгений Онегин», гл. I).

Стр. 305. *...превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом.* — В точности такого выражения у Г. Гейне нет, но в «Путевых картинах» («Италия. II. Луккские воды» — 1828) длинный нос полукомического персонажа маркиза Гумпелино, человека доброго, делового и предприимчивого, не раз становится предметом насмешливых рассуждений автора (см.: Г. Гейне. Собрание сочинений в 10 томах, т. IV. М., 1957, стр. 239, 240, 253, 256).

Стр. 307. *...и всё это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира!* — Рассуждения Марьи Александровны воспроизводят тон тех поучений, которые в молодости Достоевский вынужден был выслушивать от своего родственника П. А. Карепина. См., например, письмо П. А. Карепина к Достоевскому от 5 сентября 1844 г.: «Вам ли оставаться при софизмах поэтических, в отвлеченной лени и неге шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа? Тогда как в вещественности Вам указан и открыт путь чести, труда уважительного, пользы общественной» (цит. по кн.: *Д*, *Письма*, т. IV, стр. 450).

Стр. 313. *У нас же сбираются составить театр, — для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых...* — Эти слова являются единственным в повести упоминанием о Крымской войне. Оно свидетельствует о том, что действие «Дядюшкина сна» должно происходить между 1854 и 1856 гг.

С т р. 313. *Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге.* — Эти слова князя, как и его предшествующая реплика о водевиле, — реминисценции из «Ревизора» Гоголя (ср. слова Хлестакова «Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге» — действие III, явление 6). Возможно, что некоторые подробности рассказов старого князя К., «друга» Байрона и Бетховена, «обломка аристократии», были подсказаны Достоевскому и романом А. Дюма-отца, один из персонажей которого, «почти последний дорогой остаток бедного оклеветанного осьмнадцатого столетия», «был знаком с Руссо, Вольтером, Флорпаном, Шенье, Демутье, m-me Тальен и m-me Рекамье» (см.: А. Д ю м а. Граф Амори, или Два рода любви. М., 1847, стр. VII). Находясь в омском остроге, Достоевский, по свидетельству П. К. Мартьянова, охотно перечитывал произведения Дюма (см.: *Мартьянов,* стр. 268).

С т р. 313. *...на Венском конгрессе.* — Венский конгресс состоялся в сентябре 1814—июне 1815 г., после победы коалиции европейских держав над Наполеоном I.

С т р. 318. *Вероятно, потому, что искусство выше натуры, дядюшка!* — Во фразе Мозглякова нашел отражение важнейший предмет литературных споров 1850-х годов о назначении искусства. Еще находясь в Семипалатинске, Достоевский хотел принять участие в них (см. письма к брату от 9 ноября 1856 г. и А. Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г.). Вопросу этому была впоследствии посвящена статья «Г.-бов и вопрос об искусстве» («Время», 1861, № 2; наст. изд., т. XVIII).

С т р. 319. *Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка...* — «Муж в дверь, а жена в Тверь» — водевиль А. И. В., шедший в 1845 г. на сцене петербургского Александринского театра.

С т р. 322. *...кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения»...* — В 1850-х годах русская поэзия в «Библиотеке для чтения» была представлена случайными именами. Так, за четыре года (1851—1854) в журнале были помещены стихотворения всего шести авторов, среди которых известностью пользовался лишь И. С. Никитин.

С т р. 322. *Но это достойно Флориана и его пастушков!* — Флориан Жан Пьер (1755—1794) — французский писатель, автор басен, пасторалей и романов. Почти все его произведения были переведены на русский язык.

С т р. 327. *...в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага...* — Южная провинция Испании Малага островом не является. Видимо, Марья Александровна путает Малагу и Майорку — остров в Средиземном море, славящийся своим мягким климатом. С этим островом связано имя Шопена, который несколько раз ездил туда отдыхать и лечиться. Возможно, что слова Марьи Александровны о «чудесном острове» подсказаны Достоевскому чтением статьи Евгении Тур «Жизнь Жорж Санда» (*РВ*, 1856, №№ 5—8), где говорится о пребывании Ж. Санд и Шопена на острове Майорка.

С т р. 327. *...эта волшебная Альгамбра ∾ эти испанцы на своих мулах!..* — Альгамбра — старинный памятник арабской архитектуры XIII—XIV вв. к юго-востоку от Гранады. Напыщенная декламация Марьи Александровны и комический эффект ее монолога скорее всего навеяны строками стихотворения Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем»: «Тихо над Альгамброй, Дремлет вся натура...» (*С*, 1854, № 2). В «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевский, также с целью создать комический эффект, приводит другое стихотворение Козьмы Пруткова — «Осада Памбры» (*С*, 1854, № 3).

С т р. 329. *...пятнадцать лет, а всё еще в коротеньком платье водит! ∾ «формы, говорит, формы!»* — В этих словах намечена трагическая тема позднейших романов и «Дневника писателя» Достоевского — тема жестокого развращения детей: ср. рассказ Свидригайлова о своей пятнадцатилетней невесте — «еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик» («Преступление и наказание», ч. V, гл. 4); см. также: *ДП*, 1876, январь, гл. I, § 3.

С т р. 329. *Монплезир* (франц. mon plaisir) — удовольствие, развлечение.
С т р. 329. *Я сама танцевала с шалью...* — Имеется в виду привилегия лучших учениц закрытых женских учебных заведений. В данном случае это замечание носит характер иронический. В ином эмоциональном ключе (лирико-сентиментальном) такой же эпизод передается Катериной Ивановной Мармеладовой в «Преступлении и наказании» (ч. I, гл. 2; ч. IV, гл. 2).
С т р. 330. *Я сама полковница!* — Возможно, мелочная и чванливая Софья Петровна Фарпухина наделена некоторыми чертами характера, свойственными сестре писателя, Александре Михайловне. О ней Достоевский с обидой писал брату: «Но какова же сестра Саша? За что она нас всех заставляет краснеть? 〈...〉 В кого же она так грубо развита? Я давно удивлялся, что она, младшая сестра, не хотела никогда написать мне строчки. Не оттого ли, что она подполковница?» (см. письмо от 9 марта 1857 г.).
С т р. 343. *...спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского ∾ Ах, эти замки, замки!* — Подобного рода романсы и арии были весьма популярны. Эта тема разрабатывалась многими композиторами — Ш. Дювалем, П. Лакомом, М. Дайоном, Д. Россини (см.: *Гозенпуд*, стр. 91).
С т р. 344. *...Лозён, этот очаровательный маркиз...* — Лозён Антонен де (Antonin de Lauzun; 1633—1723) — французский вельможа, фаворит Людовика XIV, прославившийся своими любовными похождениями.
С т р. 345. *Помните, князь, «L'hirondelle»?* — Как указывает А. А. Гозенпуд, существует множество романсов с таким названием, в том числе «Que j'aime à voir les hirondelles» («Как люблю я глядеть на ласточек») Ф. Девьена и «L'hirondelle» П. Скюдо (см.: *Гозенпуд*, стр. 90, 91).
С т р. 353—354. *Около вас льются упоительные звуки Штрауса...* — Иоганн Штраус (1825—1899) был приглашен в 1856 г. в Россию и дирижировал оркестром в Павловском вокзале. Его концерты привлекли широкое внимание публики и вызвали многочисленные отклики в прессе.
С т р. 357. *...вроде «Монте-Кристо»...* — «Граф Монте-Кристо» (1844) — известный роман А. Дюма-отца. В 1858 г. писатель совершил путешествие в Россию. О пребывании Дюма в Петербурге см.: *С*, 1858, № 7, отд. VIII, стр. 78—89.
С т р. 357. *«Mémoires du Diable»* — «Записки дьявола» — социально-авантюрный роман (1837—1838) французского писателя Фредерика Мельхиора Сулье (1800—1847); по свидетельству Д. В. Григоровича и А. Е. Ризенкампфа, Достоевский в юности читал этот роман с большим интересом (см.: *Григорович*, стр. 88; *Биография*, стр. 49—50). Следы этого чтения ощутимы в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» в «Братьях Карамазовых».
С т р. 359. *...тирания есть привычка, обращающаяся в потребность.* — Мысли о том, что эгоизм при известных условиях может перерасти в деспотизм и бесчеловечную жестокость, развивались Достоевским в произведениях послекаторжного периода начиная с «Записок из Мертвого дома» (см. ч. II, гл. 2, 3; ср. в гл. 3 почти дословно совпадающую с вышеприведенной фразу «Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается наконец в болезнь»).
С т р. 363. *...форштадт Мордасова.* — Форштадт (нем. Vorstadt) — предместье, слободка, пригород.
С т р. 368. *...читал ты мемуары Казановы?* — Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор широко известных мемуаров, полностью опубликованных после его смерти, в 1826—1832 гг., и затем в 1843 г. В 1861 г. в первом номере журнала Достоевских «Время» был помещен — с предисловием писателя — перевод одного эпизода из этих воспоминаний, изданного впервые еще при жизни автора в 1789 г.: Заключение и чудесное бегство Жана Казановы из венецианских темниц (пломб).
С т р. 370. *...приличием и комильфотностию.* — Комильфотность (франц. comme il faut) — здесь: порядочность.
С т р. 373. *...ворвалась Софья Петровна Фарпухина.* — В данном случае во всех изданиях: Карпухина.
С т р. 381. *Это меня, можно сказать, фраппировало ...* — Фраппировать (франц. frapper) — поразить.

Стр. 382. *...одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма?..* — Шематон (франц. chômer — бездельничать) — фат, проныра. Видимо, Марья Александровна имеет в виду годы регентства французской королевы Анны, когда после смерти Людовика XIII (1643) страной фактически управлял за малолетнего Людовика XIV первый министр Франции, возлюбленный королевы Джулио Мазарини. Придворная борьба и интриги этих лет отражены в романах А. Дюма-отца «Двадцать лет спустя» (1845) и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» (1848).

Стр. 382. *..какого-нибудь Ферлакура, Лозёна?* — Ферлакур — собственное имя, образованное от французского выражения «faire la cour» — ухаживать. О Лозёне см. комментарий к стр. 344.

Стр. 387. *...я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!..* — Эти слова Мозглякова как своего рода автопародия будут повторены Достоевским впоследствии в романе «Идиот», в рассказе князя Мышкина о его первых заграничных впечатлениях: «Осел — добрый и полезный человек» (ч. I, гл. 5).

Стр. 397. *...пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани...* — Эти районы Петербурга указаны иронически, так как на Васильевском острове и в Галерной гавани селились по преимуществу мелкие чиновники и мещане (см.: *Розенблюм*, стр. 656).

ДОМОВОЙ

(Стр. 399)

Печатается по рукописи: *ЦГАЛИ*, ф. 212. 1.1; см.: *Описание*, стр. 91, 92. Впервые опубликовано (с рядом неточных прочтений): Н. Ф. Бельчиков. Ф. М. Достоевский. «Домовой». Неизвестный рассказ. «Звезда», 1930, кн. VI, стр. 257—258.

Рукопись (1 л., 2 стр.) представляет собой недатированный беловой автограф без окончания с небольшой правкой Достоевского.

По первоначальному замыслу писателя, «Домовой» должен был явиться второй частью цикла «Рассказы бывалого человека» (см. об этом выше, стр. 482).

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ В 1854 ГОДУ

(Стр. 403)

Печатается по беловому автографу: *ЦГАОР*, ф. III, отд. I, эксп. 214/13, лл. 15—17 (приложен к отношению штаба отдельного Сибирского корпуса управляющему III Отделением от 26 июня 1854 г.; вшит в дело «Об инженер-поручике Федоре Достоевском»).

Впервые напечатано: «Гражданин», 1883, № 1, «Литературные приложения», стр. 3—7.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Биография*, Приложения, стр. 17—20.

НА ПЕРВОЕ ИЮЛЯ 1855 ГОДА

(Стр. 407)

Печатается по писарской копии: *ЦГВИА*, ф. 395, оп. 291, д. 45, лл. 9—11 об. (3 л., 6 стр.; приложена к рапорту командира отдельного Сибирского корпуса генерала-от-инфантерии Г. Х. Гасфорта военному министру от 3 сентября 1855 г.).

Впервые напечатано: *ЛН*, т. 22—24, стр. 709—710.

⟨НА КОРОНАЦИЮ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА⟩

(Стр. 409)

Печатается по писарской копии: *ЦГВИА*, ф. 395, оп. 291, д. 45, лл. 25—27 (3 л., 5 стр.; приложена к письму генерала-от-инфантерии Г. X. Гасфорта к Н. О. Сухозанету 2-му от 2 июня 1856 г.).

Впервые напечатано: *ЛН*, т. 22—24, стр. 719—721.

Помещенные в данном разделе три стихотворения Достоевского при жизни писателя не публиковались. Первое из них — «На европейские события в 1854 году» — было написано в апреле 1854 г. и послано Достоевским, проходившим в это время солдатскую службу в Семипалатинске, через его батальонного командира Белихова начальнику штаба отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенанту Яковлеву, откуда в официальном порядке было отправлено в Петербург начальнику III Отделения Л. В. Дубельту с просьбой поместить его в «С.-Петербургских ведомостях» (обращение Белихова в Управление III Отделения собственной его императорского величества канцелярии см.: *ЦГАОР*, ф. III, отд. I, эксп. 214/13, лл. 13—14). Но Дубельт не дал своего согласия на печатание стихотворения.

Второе стихотворение — «На первое июля 1855 года» (день рождения императрицы Александры Федоровны) — было написано летом 1855 г. и через командира отдельного Сибирского корпуса генерала Г. X. Гасфорта передано военному министру с просьбой «повергнуть его к стопам ее императорского величества вдовствующей государыни императрицы». Весной 1856 г. было написано третье стихотворение — ⟨На коронацию и заключение мира⟩ («Умолкла грозная война!..»), также пересланное в Петербург с просьбой, «если признается возможным, исходатайствовать высочайшее соизволение на напечатание оного в одном из петербургских периодических изданий» (*ЛН*, т. 22—24, стр. 708—719). Эта просьба не была удовлетворена.

Стихотворения свидетельствуют об отчаянных попытках Достоевского вернуться в литературу. Этим же стремлением проникнуты и первые после каторги письма к брату: «У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал, но это всё загадки, и потому мимо ⟨...⟩. Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может быть и раньше. Ведь много может перемениться, а я теперь вздору не напишу. Услышишь обо мне» (см. письмо от 22 февраля 1854 г.).

Но при жизни Николая I попытка привлечь внимание высочайших сфер к трагически безвыходному положению ссыльного литератора осталась безрезультатной. Некоторое облегчение участи Достоевского последовало лишь в конце 1855 г., после того как генерал Гасфорт, препровождая в Петербург военному министру стихотворение «На первое июля 1855 года», просил присвоить Достоевскому унтер-офицерский чин (*ЛН*, т. 22—24, стр. 708).

Приказ о производстве Достоевского в унтер-офицеры вышел 20 ноября 1855 г. Но писателю важнее всего было добиться разрешения печататься. Об этом свидетельствуют письма к А. Е. Врангелю от 23 марта, 13 апреля и 23 мая 1856 г. «Посылаю стихи на коронацию и заключение мира, — писал Достоевский 23 мая 1856 г. — Хороши ли, дурны ли, но я послал здесь по начальству с просьбою позволить *напечатать*. Просить же официально (прошением) позволения печатать, не представив в то же время сочинения, по-моему, неловко. Потому я начал со стихотворения. Прочтите его, перепишите и постарайтесь, чтобы оно дошло к монарху». Стихотворение ⟨На коронацию и заключение мира⟩, сопровожденное просьбой корпусного командира о предоставлении Достоевскому права печататься, было переслано в Петербург. Но, как следует из доклада Военного министерства от 17 сентября 1856 г., «его величество, согласившись на производство Достоевского в прапорщики, приказал учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды» (*ЛН*, т. 22—24, стр. 722).

Производство Достоевского в прапорщики состоялось 26 октября 1856 г. Но разрешение печататься задерживалось до апреля 1857 г. (см. об этом подробнее: «Былое», 1907, № 1, стр. 246 — приложение к письму Ф. М. Достоевского к Э. И. Тотлебену от 24 марта 1856 г.).

Стихотворения 1854—1856 гг. Достоевский писал в невыносимо тяжелой для него обстановке семипалатинской казармы, находясь в положении политического ссыльного, не имевшего права на возвращение в литературу. Поэтому в оценке лиц и событий он старался строго придерживаться официальных формул и клише русской периодической печати периода Крымской войны, отражавшей правительственные взгляды. Как установил Л. П. Гроссман, разрабатывая в стихотворении «На европейские события в 1854 году» тему Восточной войны, автор перенес в него ряд образов, общих для патриотической поэзии 1854 г., отвечавшей правительственной оценке войны и широко представленной в тогдашних газетах. Таковы стихотворения Ф. Глинки «Ура» (*СП*, 1854, 4 января, № 2), Н. Арбузова «Врагам России» (*СП*, 1854, 1 февраля, № 25), Н. Левашова «Святая брань» (*СП*, 1854, 8 марта, № 54) и др. То же относится и к двум другим стихотворениям (см.: Л. П. Гроссман. Гражданская смерть Достоевского. *ЛН*, т. 22—24, стр. 683—692).

Так как Достоевский был связан при работе над всеми тремя своими стихотворениями положением бывшего петрашевца и, создавая их, преследовал прежде всего цель убедить правительственные сферы в своей «благонадежности», чтобы вновь открыть себе дорогу в жизнь и в литературу, мы не можем с полной определенностью судить по ним о личных настроениях автора в это время. Однако несомненно, что Достоевский, как видно из его писем к А. Н. Майкову 1856 г., был захвачен общим патриотическим воодушевлением, которое переживали в эпоху Крымской войны широкие слои русского общества. Напрашивается также достаточно обоснованное предположение, что именно в это время сложилось его убеждение об особой роли России в борьбе за освобождение славянских народов от турецкого владычества, которое позднее, в 1876—1877 гг., получило свое выражение на страницах «Дневника писателя». Наконец, очевидно, что Достоевский, так же как большинство его современников (не исключая Герцена), ожидал после смерти Николая I изменений в правительственной политике и связывал со вступлением на престол Александра II определенные политические надежды. Тем не менее у нас нет оснований считать, что стихотворения 1854—1856 гг. означали отказ Достоевского от ряда центральных идей петрашевцев и в особенности от отрицательной оценки политического режима Николая I. Как показали произведения Достоевского начала 1860-х годов, писатель вернулся из Сибири по-прежнему убежденным в необходимости уничтожения крепостного права и проведения ряда других коренных политических и общественно-экономических преобразований, хотя развитие его взглядов на пути их проведения получило иное направление в период выработки его «почвеннической» платформы, сформулированной в журналах «Время» и «Эпоха».

Стихотворение «На европейские события в 1854 году» написано в связи с обострившимся конфликтом между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой, после того как Англия и Франция объявили России войну. Официальной причиной объявления войны было заступничество двух крупнейших европейских христианских держав за Турцию и нежелание их поддержать Россию в споре с Турцией о «святых местах» (Палестине) (см. об этом: Е. В. Тарле. Крымская война. М.—Л., 1950, т. I, стр. 435—485). В «С.-Петербургских ведомостях» в 1854 г. регулярно печатались сообщения под рубрикой «Восстания христиан на Востоке» и статьи, сообщавшие о религиозных преследованиях христиан мусульманами в Турции.

В стихотворении «На европейские события в 1854 году» Достоевский вспоминал политическую ситуацию в Европе в 1831—1832 гг. (русско-польский конфликт), о которой писал и Пушкин («Клеветникам России»). Мысли о славяно-русском единстве, гордость при воспоминаниях о событиях 1812 г., раздумья, омраченные чувством горечи (в связи с военными неудачами России: для Пушкина — под Варшавой в 1831 г., для Достоевского — в

Крымской войне), сближают оба эти произведения (см. об этом: *Мочульский*, стр. 137, 138).

Желание Достоевского подражать оде «Клеветникам России» становится особенно очевидным во второй половине стихотворения. Обращаясь, по примеру Пушкина, к западным дипломатам и журналистам, он отвечает здесь на обвинения, вызванные восточной политикой тогдашней России («Писали вы, что начал ссору русской...»).

Следует отметить, что А. С. Хомяков, Ф. И. Тютчев и другие поэты-славянофилы в первые месяцы после начала военных действий были склонны связывать войну со своими политическими мечтаниями. Они рассматривали ее как испытание, нужное России для ее возрождения, и вместе с тем как необходимое средство для освобождения славянских народов из-под власти Турции и для будущего торжества православного Востока над католическим Западом (см. об этом: Е. В. Тарле. Крымская война, т. I, стр. 449—452). Но вскоре отношение большей части славянофилов к войне изменилось: под влиянием поражений и сдачи Севастополя в их среде, как и во всем русском обществе, резко усилилось недовольство военной и политической системой Николая I.

Сопоставление стихотворения «На европейские события в 1854 году» с двумя позднейшими — обращенными к вдове Николая I и к Александру II при его коронации — делает вероятным вывод, что Достоевский в годы Крымской войны пережил эволюцию, аналогичную той, какую пережили в это время широкие слои русского общества. Если в стихотворении «На европейские события в 1854 году» при всем обилии в нем официальных формул ощущается искреннее авторское воодушевление, то патетические строки обоих позднейших стихотворений производят холодное и вымученное впечатление. В стихотворении «На первое июля 1855 года» акцент лежит уже не столько на событиях, переживаемых Россией, сколько на личной судьбе автора: Достоевский напоминает императрице о себе, призывая простить его и других подобных ему «отверженцев» перед лицом постигших ее и всю Русь испытаний. В третьем стихотворении ⟨На коронацию и заключение мира⟩ отчетливо звучит та же тема. В качестве высшего примера для Александра II здесь выдвигается Христос, простивший на кресте своим мучителям и оставивший человечеству завет всепрощения и любви.

Наряду с поэтическими формулами и фразеологическими оборотами, восходящими к оде «Клеветникам России» («Тянуться ль вам в одно с богатырями...» — ср. у Пушкина: «Иль старый богатырь, покойный на постеле...»), в стихотворениях есть другие реминисценции из Пушкина (ср. начальные строки стихотворения «На первое июля 1855 года» со стихотворением Пушкина «Полководец», 1835) и Лермонтова (ср. строку из стихотворения «На европейские события в 1854 году»: «И места много всем под небесами...» — со стихотворением Лермонтова «Валерик», 1840: «Под небом места много всем...»).

Стихотворение «На первое июля 1855 года» написано в жанре философских од и элегий: Достоевскому могли служить образцами ода Г. Р. Державина на смерть графини Румянцевой (1791), его же стихотворение «На кончину графа Орлова» (1796), элегия В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819). В стихотворении 1856 г. ⟨На коронацию и заключение мира⟩ Достоевский скорее следовал типу ломоносовских од: см., например, оду «На день восшествия на престол Елисаветы Петровны» (1746). В соответствии с канонами этого жанра, восхваляя Россию, он прославлял ее будущее, которое связывал с предстоящими политическими переменами. Нового царя, по сложившейся традиции, автор называл преемником Петра, — «гиганта самодержавного», тем самым побуждая его (хотя и робко) действовать в духе великого реформатора.

О несовершенстве стихотворений М. М. Достоевский тогда же откровенно писал брату: «Читал твои стихи и нашел их очень плохими. Стихи не твоя специальность» (см. письмо от 18 апреля 1856 г. — *Д, Письма*, т. I, стр. 529).

Слухи о том, что Достоевский написал верноподданнические стихи, распространились среди петербургских литераторов и вызвали возмущение

и насмешки в передовых кругах. В конце 1855 г. в «Современнике» был опубликован фельетон И. И. Панаева «Литературные кумиры, дилетанты и проч.» (*С*, 1855, № 12, Современные заметки, стр. 235—243), где Достоевский был обрисован в карикатурных тонах. По догадке А. Н. Лурье, фельетон этот был вызван стихотворениями Достоевского (см.: *Некрасов*, т. VI, стр. 576—578; ср.: *Панаев*, стр. 438).

На публикацию в 1883 г. стихотворения «На европейские события в 1854 году» резко и по сути своей несправедливо отозвался товарищ Достоевского по заключению в омском остроге Шимон Токаржевский. Перерабатывая свои воспоминания, написанные в начале 1860-х годов, Токаржевский включил отрицательный отзыв об этом произведении и его авторе в главу, посвященную Достоевскому (см.: S. Tokarzewski. Siedem lat katorgi. Warszawa, 1907, стр. 153—162), в которой написание стихотворений объясняется верноподданническими побуждениями Достоевского. Отзыв этот приведен в статье «Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка» (*РС*, 1910, № 3, стр. 611). Автор статьи В. Храневич ввел туда ряд извлечений из книги Токаржевского (в собственном переводе), главным образом для того, чтобы показать недостоверность его мемуаров (см. об этом: наст. изд., т. IV).

Ст. 5—6. *Уж лучше бы ∾ с домашними делами!* — Имеется в виду внутренняя политика Наполеона III, объявившего себя 2 декабря 1852 г. наследственным императором Франции.

Ст. 30. *И ваш союз давно не страшен нам!* — 12 марта 1854 г. Англия и Франция заключили с Турцией союзный договор, обязуясь поддерживать последнюю в ее войне с Россией; 27 марта Англия, а 28 марта Франция объявили России войну и вскоре заключили дипломатическое соглашение с правительствами Австрии и Пруссии, гарантировавшее неучастие этих стран в войне.

Ст. 41. *Писали вы, что начал ссору русской...* — Обострение отношений между Россией и Францией провоцировалось Наполеоном III и правительствами Австрии, Пруссии и Англии, хотя и политика Николая I на Востоке была также направлена на разжигание войны (см. об этом: Е. В. Тарле. Крымская война, т. I, стр. 117—145).

Ст. 85—86. *Христианин ∾ защитник Магомета!* — Почти дословное изложение суждений официальной прессы. Ср., например: «Католические интриганы во Франции охотно протягивают руку приверженцам лжепророка, чтобы этим союзом повредить православной церкви» (из статьи «Турецкие дела», напечатанной в *СПбВ*, 1854, 4 февраля, № 28).

Ст. 91. *Меч Гедеонов в помощь угнетенным...* — Гедеон — библейский герой (в переводе с древнееврейского языка — отважный воин), вступивший в неравную борьбу с врагами — см.: Книга судей Израилевых, гл. 6—8. Выражение «меч Гедеонов» символизирует борьбу за святое дело.

Ст. 1—7. *Когда настала вновь для русского народа ∾ Тогда раздался вдруг твой тихий, скорбный стон...* — Николай I умер 18 февраля 1855 г., в разгар Крымской войны.

Ст. 1. *Умолкла грозная война!* — Крымская война закончилась заключением Парижского мира 18 (30) марта 1856 г.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ[1]

Места хранения рукописей

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

Печатные источники

Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1960.
Анциферов — Н. П. Анциферов. Петербург Достоевского. Пгр., 1923.
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
Бельчиков — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. «Наука», М., 1971.
Бем — А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Изд. «Петрополис», Прага, 1936.
Библиотека — Л. Гроссман. Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С прилож. каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919.
Биография — Биография, письма и заметки из записной книжки. С портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I).
Вольф, Хроника — А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1881 года, чч. I—III. СПб., 1877—1884.
Врангель — А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856 гг. СПб., 1912.
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.
Гозенпуд — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка. Изд. «Музыка», Л., 1971.
Григорович — Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1961.
Гроссман, Биография — Л. П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, испр. и доп. Изд. «Молодая гвардия», М., 1965.

[1] В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными в перечне источников текста к каждому произведению.

Гроссман, Жизнь и труды — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922.
Д, Материалы и исследования — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935.
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Гослитиздат, М.—Л., 1961—1964.
Достоевский, А. М. — А. М. Достоевский. Воспоминания. Ред. и вступ. статья А. А. Достоевского. «Изд. писателей в Ленинграде», 1930.
Достоевский и его время — Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л., 1971 (Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом)).
ДП — «Дневник писателя».
Д, Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ — «Academia» — Гослитиздат, М.—Л., 1928—1959.
ИВ — «Исторический вестник» (журнал).
Кирпичников — А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы, т. I. Изд. 2-е, доп. М., 1903.
Кирпотин — В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). Гослитиздат, М., 1960.
ЛН — «Литературное наследство», тт. 1—83. Изд. АН СССР—«Наука», М., 1931—1971. Издание продолжается.
Мартьянов — П. К. Мартьянов. Дела и люди века. Из старой записной книжки, статьи и заметки, т. 3. СПб., 1896.
Миллер — О. Миллер. Публичные лекции. СПб., 1878.
Миллер, Русские писатели — О. Миллер. Русские писатели после Гоголя. Очерки, речи и статьи. Ч. I. СПб., 1890.
Милюков — А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
Михайловский — Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1957.
Мочульский — К. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество. Ymca Press, Париж, 1947.
Некрасов — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. Гослитиздат, М., 1948—1953.
О Достоевском — О Достоевском. Сб. статей, вып. I—II. Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929, 1933.
ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).
Описание — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центр. гос. архив литературы и искусства СССР — Институт русской литературы).
Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ред. текста, вступ. статья и прим. И. Ямпольского. Гослитиздат, М., 1950.
РВ — «Русский вестник» (журнал).
РЛ — «Русская литература» (журнал).
Родзевич — С. Родзевич. К истории русского романтизма (Э. Т. А. Гофман и 30—40 гг. в нашей литературе). «Русский филологический вестник», 1917, т. LXXVII, №№ 1—2, отд. I, стр. 194—237.
Розенблюм — Л. М. Розенблюм. ⟨Примечания⟩. В кн.: Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений, т. II. Гослитиздат, М., 1956, стр. 641—663.
РС — «Русская старина» (журнал).
РСл — «Русское слово» (журнал).
С — «Современник» (журнал).
Сб. Достоевский, II — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сборник II. Л.—М., Изд. «Мысль», 1924.
СО — «Сын отечества» (журнал).
СП — «Северная пчела» (газета).
СПбВ — «С.-Петербургские ведомости» (газета).

Творчество Достоевского — Творчество Ф. М. Достоевского. Изд. АН СССР, М., 1959 (АН СССР. Институт мировой литературы).
Тынянов — Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии). Изд. «Опояз», Пгр., 1921.
Фельетоны — Фельетоны 40-х годов. Под ред. Ю. Г. Оксмана. Изд. «Academia», М.—Л., 1930.
Фридлендер — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
Шкловский — В. Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском. Изд. «Сов. писатель», М., 1957.
Эмиль — Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, или О воспитании. Пер. М. А. Энгельгардта. СПб., 1912.
Яновский — С. Д. Яновский. Воспоминания о Достоевском. «Русский вестник», 1885, № 4, стр. 796—819.
1860 — Ф. М. Достоевский. Сочинения, тт. I—II. Изд. Н. А. Основского, М., 1860.
1865 — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. Изд. Ф. Стелловского. Т. I. СПб., 1865.
1866 — То же издание, т. III. СПб., 1866.

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Редакционная коллегия:
***В. Г. БАЗАНОВ** (главный редактор), **Ф. Я. ПРИЙМА**,*
***Г. М. ФРИДЛЕНДЕР** (заместитель главного редактора),*
М. Б. ХРАПЧЕНКО

Текст подготовили и примечания составили
Н. М. ПЕРЛИНА, Н. Н. СОЛОМИНА

Редакторы II тома А. С. ДОЛИНИН, Е. И. КИЙКО

*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том II

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. Ф. Виноградова*
Корректоры *Р. Г. Гершинская, А. И. Кац*
и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 9/XI 1971 г. Подписано к печати 2/II 1972 г. Формат бумаги 60×90$^1/_{16}$. Бумага № 1. Печ. л. 33+1 вкл. ($^1/_8$ печ. л.)=33.12 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 38.01. Изд. № 3808. Тип. зак. № 35. Тираж 200 000. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.